

Вера
Инбер

Вера  нбер

3



Вера Инбер



**собрание сочинений
в четырех
томах**



**Издательство
«Художественная литература»**

Москва 1965

Вера Инбер



собрание сочинений

том третий



**америка
в париж**



почти три года



очерки



**Издательство
«Художественная литература»**

Москва 1965

P 2

И 57

америка в париже

(Путешествие в прошлое)



ОТ АВТОРА

Очень давно, в дни юности, я прочла фантастический роман-памфлет французского писателя Лабулэ «Париж в Америке».

Герой романа, некий Рене Левефр, облеченный множеством псевдоученых званий, почетный член множества вымышленных академий наук, чудесным, «спиритическим» способом перенесен на некоторое время из родного Парижа в Нью-Йорк.

Став американским гражданином, но сохранив сознание француза, Рене Левефр начинает сравнивать социальную природу американского общества в целом и жизнь отдельных его членов с жизнью Франции, отдавая безоговорочное предпочтение Америке, как подлинной «стране свободы».

В 1928 году я вспомнила об этой занятой книге и, как бы полемизируя с ней, назвала сборник своих очерков о Франции «Америкой в Париже».

О ВРЕМЕНИ И О ПРОСТРАНСТВЕ

Я был в Иерусалиме
И на Мадагаскаре,
И в Северной и в Южной
Америке я был.

Слова одной песни

Самые большие расстоянья заключены в мозгу. Что касается земли, то она уменьшается по мере того, как человечество растет. Она уменьшается, как для взрослого — комната его детства. Она уменьшается с каждым веком, с каждым десятилетием.

Первобытному пешеходу земля казалась плоской и необозримой. Полугода его жизни едва хватило бы на преодоление пространства, отделяющего Париж от Москвы. И то при условии идти, не замедляя шага и не отвлекаясь охотой на мамонтов. Это же пространство локомотив одолевает в три дня. Аэроплан — в сутки.

Некий шотландский мальчик горько жаловался на то, что его страна — одна из самых маленьких на земном шаре. «Дитя,— пытались утешить его,— наша родина мала только потому, что гориста». И шотландский мальчик, улучив свободный часок между уроком геометрии и футболом, мысленно произвел операцию: разгладил горные морщины и получил площадь, равную Великому океану. Таким образом он основал новый материк и был прав, ибо пространство — внутри нас.

Пространство — внутри нас. От Европы до Америки — всего шесть дней пути. Выехав из Гамбурга в субботу, вы прибываете в Нью-Йорк в пятницу. Но эта неполная неделя, начатая в Старом и законченная в Новом Свете, заключает в себе годы. Она заключает в себе волны прощаний и встреч. Приливы и отливы событий. Бури. Событий чрезмерно много. Они теснят друг друга. На протяжении одного часа образуются воспоминанья. Пропорции вещей утрачены. Утерянный и вновь найден-

ный паспорт заполняет горизонт. Скрип иллюминатора превращается в ночной ураган. Вы едете воскресенье, вторник, четверг. И, наконец, в Новом Свете, в совершенно новом свете, вы встречаете свою пятницу с таким же трепетом, с каким Робинзон встретил свою.

И все же, несмотря на то что земля мала, или именно поэтому, хочется увидеть ее всю. Но для путешественника, кроме опасности потерять паспорт или голову от почной бури, есть другие опасности, более серьезные. Их две.

Опасность первая — это протащить по всему пути атмосферу всего оставленного позади: переулка, комнаты, стола, солнца на соседней крыше. Опасность — герметически укутаться во все «привычное» и «родное» и так, ничего не увидав, прогуляться по свету непроницаемо безглазым, словно кокосовый орех. Опасность вторая: привыкнуть чрезмерно быстро ко всему непривычному. Обрастать чуждым бытом и, обрастая, уже не замечать его.

И то и другое — опасность.

Приступая к описанию путешествия хотя бы самого скромного, рассказывая о стране хотя бы самой близкой, нужно пожелать себе счастливо избежать этих опасностей... Вообще говоря, описывать трудно. Гораздо труднее, чем измышлять. Трудно и ответственно описывать малознакомую страну. Трудно изобразить с достаточной отчетливостью рисовую плантацию тем, кто сеет рожь. И наоборот. Между двумя этими видами земледельческих работ лежат те самые неизмеримые пространства, которые находятся в мозгу.

Но еще труднее описывать страну полузнакомую, — страну, о которой писали много. Здесь больше чем когда бы то ни было необходимы зоркость и острота глаза и меткость пера. Счастлив тот, о ком говорится в песне, предпосланной этой главе. Он побывал в Иерусалиме и на Мадагаскаре и в обеих Америках. Но Франция... но Германия... Они так близко от нас. И опасность не увидеть их как следует вдвое велика. Или не увидеть их вовсе за близостью расстояния, или потерять их в извилинах собственного мозга.

СТРУНЫ, КОТОРЫЕ НЕ РВУТСЯ

В Москве в ноябре месяце темнеет рано. В начале пятого фонари зажжены и горят ярко, как ночью. В начале пятого под взглядом этих фонарей уезжают за границу.

Теперь уезжают с Александровского вокзала. Он — в центре города, на Тверской. Не успеваешь опомниться, и ты уже там. А раньше, с Виндавским, было иначе. Сначала шло Садовое кольцо. Потом выростала Сухарева башня. Она стара. Со времени Ломоносова ее не удивишь ничем. Но приятно было мысленно сказать ей, хотя бы и безответной: «Прощай! Не забывай!» И она, по мере сил, не забывала. А еще потом, после башни, широко развевалась Мещанская, первая из трех. Это была уже не улица, а почти дорога. Дорога в Европу.

Теперь все изменилось. Прощальным приветом заведует уже не Сухарева башня, а Триумфальная арка. Вокзал — несколько в стороне. Трамвай, первый и восьмой, и первый автобус почтительно останавливаются перед ним и начинают обратный путь. Вокзальные часы круглы, крупны и янтарно-желты. Черные цифры просвечивают в них, как семечки зрелого плода. Часы показывают без четверти пять. Время — ноябрь. Осень. Москва. Небольшой чемодан выглядит беспомощно. На перроне у каждого вагона, у каждого окна образуются небольшие человеческие водовороты. Есть и у меня свой собственный водоворотик. «Пишите!» — несется оттуда. Я киваю головой: «Непрременно!» Второй звонок взрывается, как бомба. «Не забывай, не забывайте!» — доносится снова. «Как можно, — отвечаю я, — никогда на свете!» Увы, вскоре выясняется, что я забыла многое. Но об этом потом...

Третьего звонка теперь не бывает. Путешествие начинается.

В купе — чистота, блеск протертого металла. Чемодан, заняв подобающее ему место в сетке, выглядит уже менее жалким. Разговорчивые колеса завели свои железные частушки. И это надолго... С дивана приподымается

плотная, но стройная фигура европейского покроя. Фигура вежливо приподымает кепи и спрашивает по-немецки, говорю ли я на этом языке. Я отвечаю, что, кажется, да.

— В таком случае, — и вежливая фигура вынимает из бумажника паспорт, — будьте добры... Так как мы едем с вами вдвоем, я хочу, чтобы вы точно знали, кто я такой. А то мало ли что может случиться. Разрешите представиться: Вильгельм Эренпрайз. Прошу вас, проверьте по паспорту. Всегда лучше знать точно, с кем едешь, особенно женщине. Представитель фирмы «Бергманн и компания». Специальность — хирургические принадлежности, главным образом — струны для зашивания ран. Из Нюрнберга.

Таким образом заграница начинается еще в Москве.

Должна сознаться, что Вильгельм Эренпрайз из Нюрнберга меня очень интересует. Это — настоящий немец довоенной выделки, но уже тронутый послевоенным брожением. Эта двойственность делает его вдвое занимательным в моих глазах. Я трачу час на то, чтобы как следует подружиться с Эренпрайзом Вильгельмом. По опыту я знаю, что человек охотнее и легче всего говорит о своей профессии, и поэтому прежде всего я подбираюсь к струнам для зашивания ран. Необходимо прибавить, что Вильгельму Эренпрайзу всего двадцать восемь лет (я узнала это из паспорта). В эти годы люди еще разговорчивы. Итак, струны...

— Знаете ли вы, что такое струна, — начинает представитель фирмы «Бергманн и компания», и чуткие колеса, прислушавшись к ритму его речи, ввязываются в разговор о струнах. — Знаете ли вы, что такое струна? Нет, уважаемая, вы не знаете, что такое струна. Вы думаете, что это то, на чем играют. То, на чем играет, например, скрипач, Шуберта, например. Что речь идет о тех струнах, которые в самую неподходящую минуту рвутся. До известной степени это так. И *эти* струны тоже струны. Но главные струны это те, которые не рвутся. Единственная фирма, которая выделяет их, — это фирма «Бергманн и компания», чьим представителем я имею честь состоять. Знаете ли вы, в чем вся трудность медицинских струн?

— Не знаю,— говорю я.

— Я так и думал. Так слушайте. После операции необходимо зашить рану. Лучше всего зашить ее самой тонкой струной, той, на которой скрипач берет самую нежную ноту. Но для этого необходимо сделать эту струну стерильной. Как это сделать? Что для этого нужно?

— Кипятить,— отвечаю я в простоте души.— Так же, как все остальные медицинские принадлежности.

— Прекрасно. Допустим. Но знаете, что произойдет со струной, если вы начнете ее кипятить? Она просто лопнет. А операция — это не концерт. Это — гораздо серьезнее... Долго думали хирурги над этой задачей: как стерилизовать струну, не нагревая. И, наконец, фирма «Бергманн и компания» додумалась до этого. Конечно, это — ее секрет. И вот меня послали в Советскую Россию предложить наши струны, которые стерильны и в то же время не рвутся, вашим больницам. Я был в Москве и Ленинграде. Я был у профессора Розанова и профессора Федорова. У меня есть теперь список всех ваших больниц и клиник. Я думаю, что мы будем делать с вами дела...

Со струнами покончено. С *этими*. Но ведь есть еще и другие, самые заветные. Задев за которые, можно знать, чем дышит человек, в данном случае Вильгельм Эренпрайз... За окном ночь... Колеса, покончив со стерильными струнами, готовы начать новую беседу. И действительно, она начинается. Вильгельм Эренпрайз говорит теперь о своем детстве, о своих братьях, о «старом доме» в Нюрнберге, где на чердаке зимой лежали яблоки и груши из собственного сада и куда вход юным Эренпрайзам был, естественно, запрещен.

— И вот,— вздыхает Вильгельм Эренпрайз,— наступила война, и нужно было идти защищать и дом, и сад, и яблоки, и груши. Пошли два брата и отец. Ну, и...

— Ну, и?..

— Ну, и один из братьев не вернулся. Второй контужен. Только отец невредим.

— Ну,— продолжаю я,— теперь, когда будет следующая война, вы отомстите.

— Какая следующая война? — вопрошает Вильгельм Эренпрайз, и его аккуратные брови лезут вверх. — Какая война?

— Та, в которой вы будете мстить французам и англичанам. Этим вероломным англичанам, которые...

Эренпрайз Вильгельм встает и закрывает вентилятор, как бы желая в самом зародыше прервать струю ветреных речей.

— Нет, — отвечает он, — если спросят нас, нас, которые работают, мы скажем, что войны не нужно. Война нужна тем, у кого много здесь, — и он хлопает себя по карману. — А мы... Дайте нам только возможность работать. Мир должен вступить в полосу мира.

Проходит контроль. Опускают шторы. Ночь отступает дальше от окна. Все далеко. Все осталось в Москве...

Как выглядит неприятность? По-разному. В данном случае она приняла мужественный чернобородый облик дежурного по станции. На одной из остановок, если не ошибаюсь, в Вязьме, он вошел в вагон-ресторан, вошел, перепоясанный ремнем, в барашковой шапке по самые брови, как настоящий вестник беды.

— Здесь гражданка такая-то? — спросил он.

— Здесь. Это я, — ответила я тонким голосом.

— А!.. Вы только не пугайтесь.

Но было поздно; я уже испугалась. Выясняется, что в Москве, в ящике моего письменного стола, таком просторном и уютном, я забыла все свои деньги: и валюту, и чек на парижский банк, потому что целиком все на руки не выдают. Забыла потому, что слишком много народу меня укладывало и слишком обо мне все заботились.

«Не забывай, не забывайте!» — вспомнила я прощальный клич. Увы! Я забыла.

В вагоне-ресторане стихли разговоры. Вилки опустились. Англичанин, не понимавший по-русски, запросил у своего ближнего соседа, что происходит. Вильгельм Эренпрайз оставил филе с шампиньонами, про которое он вначале сказал, что вкусно, но только очень дорого. В Германии за эти деньги можно пару башмаков купить. А теперь, отставив это дорогое филе, он с тревогой уставился на меня.

Последующие два часа описывать не стоит. Там было всякое: рассуждение о вреде многолюдства, недоеденное филе и, главное, телеграммы, телеграммы из Москвы. Все они советовали мне самое разное. Они неслись, перегоняя друг друга, вслед поезду, словно искры паровоза. Одна из них предлагала остановиться в Минске и ждать следующего московского поезда, который доставит мне все забытое мной. Вторая спрашивала, сколько при мне наличных денег. Третья просила не волноваться. И, наконец, когда все распоряжения относительно Минска были даны проводнику: разбудить на рассвете (поезд прибывал туда в пять часов утра), разбудить обязательно и высадить, Вильгельм Эренпрайз после долгой, очевидно, душевной борьбы вынул свой бумажник и сказал:

— К сожалению, у меня с собой очень мало денег. Я очень поистратился в Москве. На последние деньги я купил икры, этой прекрасной русской икры, которой нет в Германии. В гостинице вместо чаевых я оставил официанту свой галстук. У меня всего десять долларов, но мы поделимся. А вы телеграфируйте, чтобы вам ваши деньги выслали в Берлин. Я вам объясню, как это надо сделать.

Но в ту самую минуту, когда я с благодарностью глядела на представителя нервующихся струн, который последними десятью долларами хотел поделиться со мной, в эту самую минуту пришла четвертая и последняя телеграмма, несущая успокоение. В ней было сказано, чтобы я ехала дальше, что есть возможность переслать мне мои деньги частью в Берлин, частью в Париж... Сразу лампы вспыхнули ярче. Минск снова отодвинулся в ночную глубь. Проводник сказал:

— Ну, теперь спите спокойно до границы. Вот вам второе одеяло. Теплее будет.

Колеса, испуганно притаившиеся, снова запели.

И словно в награду за перенесенную печаль, Вильгельм Эренпрайз, улегшийся на верхней койке, свесив вниз голову, рассказывает мне на сон грядущий свою последнюю и самую лучшую историю, — ту, которую рассказывают не всякому и не каждый день.

— Я познакомился с ней в Тироле, — начинает рассказчик в полосатой пижаме. — Она была учительница

и в Тироль приехала отдохнуть, эта красивая, отважная и мужественная девушка. Она была сирота и сама пробилась в жизни. Звали ее Ингеборг.— Он делает небольшую паузу и продолжает: — Должен сказать, что это была настоящая Ингеборг.

Неизвестно, что мой спутник хотел сказать своим «настоящая Ингеборг». Может быть, он думал о героине одноименного романа Келлермана. Но так или иначе он вложил в это слово частицу души. И мне тоже начинало казаться, что в нем, в этом имени, заключено действительно очень много красоты, мужественности и отваги. Ингеборг!.. В этом имени сверкание снега на холодном солнце, горячая крепкая рука в меховой рукавице, твердость, уверенность, румяные губы и серые глаза. Я думаю, а Вильгельм Эренпрайз продолжает:

— Мы полюбили друг друга. Она играла в гольф лучше, чем я, и я подумал: «Мы с ней вдвоем выиграли партию у англичан. Она и в жизни мне будет такой же подружкой и помощницей, как на ледяном поле. Она и в жизни будет для меня хорошей партией». Но это только для сердца. Потому что она была бедна, и мои родители не хотели слышать о ней. А сам я был молод. И мы расстались. Но вот теперь я думаю... Конечно, хорошо, когда у невесты есть деньги, а жених устроен так, что можно сразу свить себе гнездо. Но теперь я думаю: так ли уж это важно? Мы поумнели после войны. Так ли уж это важно: деньги?

«Так-ли-уж-это-важ-но-день-ги»,— повторяют за ним колеса. Вильгельм Эренпрайз умолкает и, уже засыпая, произносит:

— Настоящая Ингеборг...

«На-сто-я-ща-я-ин-ге-борг»,— утверждают колеса. А за окном летят километры, и все меньше остается их до границы.

Глава 2

НОВЫЙ СТОЛБЕЦ

Желая отделить старое от нового, начинают с новой страницы и называют это главой. Новая страница, новая глава, новый столбец — все это означает: остановись,

подумай, соберись с мыслями, оглянись и потом иди дальше. Пограничная станция Столбцы, с ее на редкость подходящим названием, преследует те же цели: оглянись, остановись, предъяви свой паспорт, дай рассмотреть свой чемодан на предмет папирос и икры и потом ступай дальше.

Столбцы — чрезвычайно чистенькая пограничная станция. Она светло выложена кафлями, словно газовая кухня новобрачных. Багажные столы сверкают, как в операционной. Собственно, это так и есть: на них потрошат чемоданы и разглядывают их внутренности. Газетные киоски благоухают свежим деревом настолько невинно, что даже старые потрепанные газеты выглядят там привлекательнее...

В Столбцах пересадка. Советский паровоз и вагоны, как усталых лошадей, отводят в конюшню, где их будут чистить и мыть с тем, чтобы через полсуток им пойти обратно в Москву. Пассажиров повезет дальше уже европейский паровоз, у которого и вид другой, и голос не тот...

В вечерний час, несмотря на плохо освещенные сады, Варшава полна огней. Дождь с европейской элегантностью ложится на гладкие асфальты Маршалковской улицы. Поезд стоит два часа. У самого вокзала проворные молодые люди предлагают пассажирам массу развлечений, как-то: показать лучшее кафе, исторические достопримечательности, дать возможность приобрести почти даром лучшее в мире непромокаемое пальто, пойти в кино и, наконец, обменять червонцы на злоты. Желających нет. Но молодые люди не унимаются. Они идут рядом. Они вырастают прямо из мостовой. Они должны заработать во что бы то ни стало. И они зарабатывают, эти молодые люди. Им платят за то, чтобы они отстали.

Два часа стоит поезд в Варшаве. За это время можно быстро пройти по улицам, заглянуть в окна магазинов, проехаться на трамвае, который отличается от московского расположением скамей, относительной пустотой и тем, что все входят и выходят с одной и той же передней площадки. Можно взглянуть на город, который почти уже Европа. Можно даже выпить кофе, знаменитое «варшавское» кофе в кафе «Негреско».

В кафе «Негреско» пирог со сливками, вязаные костюмы, стриженные головы. Оркестр играет «Мой бэби». Отныне этот вундеркинд будет преследовать меня повсюду.

И снова вокзал. Наш поезд пойдет в Берлин, оттуда — в Париж. Много народу садится в Варшаве, много народу провожает. Но меня уже не провожает никто. Все остались в Москве... «Та-та-та, та-ра-ра», — говорят колеса. Колеса просят, они горячо убеждают не тосковать: все будет хорошо, отлично, «та-ра-ра». В вагон-ресторан приходит седой вежливый японец и тихо заказывает лакею бульон с рисом для своей спутницы, маленькой японки, которую укачало в поезде, как на море. За столиком, у окна, англичанин пьет и курит. А за другим столиком, видать, наш, московский, в пиджачке, разложил бумаги и чиркает синим карандашом. Лимон плавает в чае совсем по-московски; пепельница полна, как в Москве, и синий карандаш вносит и выносит за скобки какие-то цифры совершенно как в Москве на производственном совещании...

В Берлине — дождь. Это прекрасно организованный, в высшей степени добротный немецкий дождь. Он не усиливается и не ослабевает. Он как хороший мотор, не дает перебоев. В этот ранний час город покрыт зонтиками. Время туго натянуто, как материя на зонтике. Все организовано: Германия.

Несколько слов о немецком асфальте. Он сверхъестественно гладок: это какой-то атлас (железной выносливости и стального блеска). Когда приходится снимать его с земли, то делают это при помощи электрического молота. Ударяя по шестидесяти раз в минуту, он поднимает адский грохот, от которого сотрясаются даже облака. Молот этот долбит и долбит асфальт, как бормашина металлическую пломбу, долбит до тех пор, пока не обнажатся подземные нервы улицы.

По вечерам Берлин наводнен светом. Вывески неистовствуют. Светящиеся рекламы сотрясают воздух... Вот сейчас я ловлю себя на том, что пишу о рекламах. А ведь я собиралась этого не делать (все пишут

о рекламах.) Собиралась их не видеть. Но они сделаны именно для того, чтобы быть увиденными. А увидев их, необходимо о них написать. И вот пишу...

Светящиеся рекламы сотрясают воздух. Свет так силен, что иногда кажется звуком. Торговая Германия миллионами светящихся глоток старается обратить на себя ваше внимание. У каждой фирмы свой голос и своя интонация. Мощным ровным гудом гудит фабрика роялей. Истерически взвизгивают поддельные брильянты. Сначала появляется заглавная завитушка. Она растет, она разрастается. Потом возникает слово, потом росчерк. Все исчезает, и через секунду рождается снова. Очертанья букв настолько незабываемы, что ночью вы видите их на стене, на подушке и наконец внутри собственного глаза.

Говорят, что учитель чистописанья, написавший эти слова, разбогател на поддельных брильянтах, как на подлинных алмазных копиях.

В другом углу неба нежным жемчужным сияньем рекламируются шелковые трико. Над театром непрерывно мчится сверкающее извещение о часе открытия кассы и о ценах на билеты. Места всему этому отведено немного: тонкая полоска ночного неба, замкнутая с двух сторон крышами. Но потому, что надпись не стоит, а движется со скоростью экспресса, она успевает сказать все, что ей нужно. Торжественно, библейски пышно, как о втором пришествии мессии, световыми столбами и молниями объявляется о новом сорте кофе, чрезвычайно питательном и без кофеина. И так далее, до бесконечности. Все это наверху, а внизу — светящиеся пузыри на перекрестках улиц, регулирующие движение. Пузыри эти сравнительно недавнего происхождения. Американцы, поедая в кафе сбитые сливки, презрительно говорят о том, что «у них в Америке все это введено давным-давно». И что вообще всё — вся культура, весь свет идет из Америки. Что касается другого света, доподлинно неизвестно, но этот действительно из Америки.

Шуцман, за неимением армии, представляющий собой военную мощь Германии, стал еще величественнее, чем раньше. У его ног, на мостовой — стеклянная выпуклость. Как будто закопали в землю маяк, оставив

наружу одну голову. Стоит шупцман, и глаза маяка, красные, зеленые и желтые, сверкают у его ног. В иных местах уже не пузыри, а целая башня управляет улицей. На башне настоящие семафоры. На башне стоит человек, и все пузыри смежных улиц повторяют приказы башни. Все это — Берлин Вестен.

Глава 3

ЕЩЕ О БЕРЛИНЕ

В Берлине, кроме блистательного Вестена, есть еще Норден. Норден — это первоначальный город, из которого впоследствии произошло все остальное... Норден выкроен скупо. Каждому дому отведено как раз столько места, чтобы не задохнуться. Главная артерия Нордена — это бесконечная, в несколько километров длиной, Франкфуртераллее. Она широка: на ней даже растут деревья. Но есть в них нечто несовместимое со словом «весна». В осенний день, когда ветви служат пристанищем для дождей и туманов, в такой день, говорю я, для них есть еще кое-какое оправданье. Раз существует осень — значит, должны существовать голые сучья. Но что будет с ними весной?..

А пока — туман. Под деревьями ходит внимательный немец. В одной руке у него корзинка, в другой — заостренный металлический прут. Прутом этим он подхватывает каждую бумажку, каждый огрызок яблока, каждый трамвайный билет и бросает в корзину. После этого улица чиста, как пол военного госпиталя. Вот человек остановился и задумался: под одним деревом, у самых влажных корней, образовалась какая-то мшистая припухлость, не то грибок, не то бородавка, но, во всяком случае, нечто не предусмотренное ни временем года, ни правилами уличного движения. Человек с прутком и корзинкой стоит в глубокой задумчивости. Очевидно, он не знает, квалифицировать ли данное явление как сор и вырвать его или как насаждение и пощадить. Он кончает тем, что протыкает бородавку прутком и удаляется.

Направо и налево от Франкфуртераллее идут улицы: направо и налево, налево и направо, до бесконечности. Это — рабочий район. То, что прежде было сердцем города, превратилось в его конечности. Конечности эти холодны и влажны, как у человека с плохим кровообращением. Кровь в виде воздуха и света притекает сюда недостаточно обильно.

Небольшой магазин, тесная квартира, школа, участок, изредка больница — вот составные части Нордена. Ни клубов, ни кафе. Иногда только хилый ресторанчик.

В каждом маленьком магазине, несмотря на то что он мал, ощущается близость рождества.

В корзинках из шоколада лежат марципановые овощи: морковь, брюква, репа, картофель и кудрявенький салат. Перед этими корзинками в немом восхищении останавливаются дети, идущие из школ.

Репа и морковь... То, что они видят и едят ежедневно. Но в каком волшебном перевоплощении!.. Матери этих детей упиваются утюгами и салфетками у другого окна. Особенно пленительна кастрюля, устроенная по особому рецепту, с перегородкой. Овощи варятся в ней без воды, а это ведь самое главное. Ибо доказано, что, варя овощи в воде, вываривают из них всю их питательную сущность... В третьем окне выставлен мужской костюм с квадратными плечами и карманами. У манекена странная двусмысленная улыбка. Да и весь он двусмыслен, этот восковой молодчик с усиками и пробором. Он улыбается. Приятно? Скорее, нет. Над чем он улыбается: над товаром ли, над покупателем, или над рождеством, которого люди ждут так жадно? Вернее всего, он улыбается, потому что так устроен. Или, быть может, он издевается над обычаем делать друг другу праздничные подарки.

Добродушная фрау, забронированная корсетом, глядя на кастрюлю, вздыхает. Она соображает, что купить ее никак невозможно... из-за подарков. Подарки нужны: и тете Грете, и тете Камилле, и племяннице Маргарите, и маленькому Фрицу, сыну соседки, и Хильдегарт, и еще одной тете Элизабет, которая, хотя и почти слепа, но зато может ощупать подаренный блокнотик, и ей это будет приятно. Фрау в корсете соображает, а сама

глядит на кастрюлю. Если правда, что пища в ней питательнее, чем обычно, то это было бы очень хорошо для детей, которые выглядят неважно. Но Маргарита, но Камилла, маленький Фриц и, наконец, слепая тетька Элизабет...

А детишки в это время продолжают неотрывно смотреть на марципановые овощи. Как это сладко!.. Правда, тут же, в окне, есть еще одно елочное украшение, не менее сладкое, но немного... как бы это сказать? Одним словом,— это шоколадные розги. Пучок шоколадных розог с посеребренными концами. Очень бестактно со стороны взрослых выдумывать такие игрушки... Так несомненно думают берлинские дети. И я вполне присоединяюсь к ним.

По вечерам, когда Вестен слепнет от огней, здесь нещедро горят фонари. Все окна наглухо закрыты, и только в одном из них улыбается манекен. Среди туманной ночи в окно это приятно глядеть. Там шерстяные шарфы, одеяла, купальные коврики, верблюжьи жилеты, теплые чулки, глядя на которые можно согреться от сухого холода городской ночи. Там предметы домашнего обихода, в которых всегда есть нечто успокоительное. Стоит кровать; хорошо бы уснуть на ее пышных подушках. И бездомный городской бродяга, самое одинокое существо в мире, подмигивает знакомому манекену: «Ну, дружище, как дела?» Но «дружище» невозмутим. Ему в высокой степени на все наплевать.

А вот аптека. Если человек болен или умирает, все равно аптека закрыта. Даже если она дежурная. Но так как при ней звонок, то вы звоните. Вы очень спешите: вам необходим строфант или морфий. Так страшно болеть в этом огромном городе, где на кладбищах такие серые и тесные могилы. Вы звоните еще, еще. Дверь не открывается. В отчаянье вы собираетесь уже уходить, но внезапно зажигается фонарик над дверью. В минуту, точно рассчитанную, очевидно большим психологом, когда вы уже впали в полное отчаянье, появляется светящаяся надпись: «Не уходите. Вам сейчас откроют».

И действительно, через секунду дверь открывается, и сонный, но аккуратный аптекарь отпускает вам лекарство.

Так берлинский фонарь учит выдержке и терпению.

Глава 4

«АХ, СОНЬЯ, СОНЬЯ...»

Зимним вечером, когда морозный воздух окутывает Тверскую, когда Москва искрится рафинадным блеском и трамвайные провода сахарно сверкают, — в такой вечер Берлин сух, холоден, бесснежен. Отчетливый ветер веет над мостами; под ними лежит металлическая река. Она томится оттого, что не может замерзнуть, и никто не может помочь ей. Небо утомительно блестяще. Море автомобилей так волнуется, так бушует, что почти захлестывает «островки спасения». Берлин растет. Он растет так сильно, что трамваи и подземка не могут угнаться за его ростом. Сегодня здесь пустырь — через неделю вы видите зародыш дома. Спустя некоторое время у дома прорезываются окна и двери. Через месяц-другой выявляется физиономия постройки. У новорожденного дома глаза из ясного стекла, квадратный подбородок и грудная клетка, полная воздуха. Новые берлинские дома светлы, просты, прямоугольны. На окнах — занавески, на занавесках — банты. Сколько энергии, сколько сил уходит на поддержание этой безукоризненности. Но энергии хватает на все: на банты, на новые дома, на поднятие промышленности, на придумыванье новых нержавеющей ножей. Вы разрезаете таким ножом лимон, апельсин, лук, даже лук, и ничего. Абсолютно ничего: ни запаха, ни ржавчины. «Нож можно даже не вытирать», — благоговейно говорят немки... Между прочим, ножи эти выделяет Крупп. Не пушки, так ножи. Ночью, проездом из Берлина в Париж, вы можете видеть, как пылают горны «Старого Эссена». Все эти огни зажжены в честь ножей, из-за ножей, для ножей... Зимним вечером, когда так приятно ходить в гости или принимать гостей, в Берлине подают эти ножи к фруктам...

В широкой и плоской вазе, белой, с водяными узорами, лежат фрукты. Лежит лиловый виноград, повитый синим дымом Испании. Лежат матовые груши, томные бананы, апельсины, мандарины и наконец великолепные граненые ананасы. В эту пеструю заграничную компанию затесалось и обыкновенное немецкое яблоко. Его взяли за хороший цвет лица и веселое добродушие. Неподалеку от вазы лежат «нержавеющие ножи». Все это происходит вечером в Берлине, в ресторане, в обеденный час. На эстраде рассыпается джаз-банд... Кто спорит о том, что в холодный вечер хороши знойные ананасы и что приятно взрезать грушу «нержавеющим» лезвием.

Но если выйти из ресторана и пересечь пылающий огнями Берлин, то ананасы исчезнут. Сначала они выродятся в маленькие гниловатые бананы по двадцати пфеннигов штука. А потом и вовсе сгинут. Останется только честное немецкое яблоко, но какое худое, какое бледное, покрытое нездоровой испариной и темными ранками....

Чем дальше на север, тем меньше огня. Улицы пустеют и глохнут. Они засыпают, и даже шаги не в состоянии разбудить их. Они так наработались за день. Между прочим, на этих улицах можно еще увидеть нечто совершенно почти исчезнувшее в центре города. Это — лошадь... После неживых, никогда не скучающих и никогда не грустящих автомобилей, так приятно взглянуть в лошадиные глаза, хотя усталые и печальные. Лошадь вздыхает. Иногда она зевает долгим затрудненным зевком: ей мешает уздечка.

Груши уже не блестят, и джаз-банды не сыплют стеклянный дождь на белые скатерти ресторанных столов. Музыки все меньше и меньше. И только в одном ресторанчике поет граммофон. Он очень старается, он честно работает. Узнав, что я из Москвы, он поет мне «излюбленную русскую песню»: «Ах, Сонья, Сонья, прекрасная девушка, рожденная на берегу Волги». Граммофон так старается, что у меня не хватает духу сказать, что я никакой такой «Соньи» не знаю и что, по-моему, она никогда не рождалась на волжских берегах. Но я не говорю этого.

— Слушайте, слушайте хорошенько,— с доброй улыбкой убеждает меня какой-то человек за соседним столиком.— Вам, наверное, это приятно: на чужбине услышать родную песню. Ведь у себя в Москве вы, конечно, часто слышите ее?

— Ну, еще бы,— отвечаю я,— каждый день, утром и вечером...

В аккуратных домах Вестена убранству комнат уделяется необычайно много внимания. Диваны покорно следуют за всеми изгибами стены, шкафы вмещаются в незаполненные пространства. Каждый клочок комнаты, каждая ее неправильность, даже недостатки ее принимаются во внимание. Комнаты эти как бы созданы для того, чтобы слушать в них классическую музыку, которую так любят все немцы, принимать приятных гостей и кормить их фруктами, разрезанными «нержавеющим» Круппом.

В Нордене все гораздо проще. Посредине комнаты стоит стол; вокруг простые стулья. Чистота — единственная роскошь этого жилища. Если сюда попадет яблоко, то его режут самым обыкновенным ножом, который нужно крепко вытереть, чтобы он не заржавел...

Однажды вечером я заблудилась в этих безмолвных и невеселых улицах. Самолюбие не позволяло мне спросить дорогу, да и не у кого было. Шуцманы здесь чрезвычайно редки. Берлин был погружен в непробудный сон. Я остановилась у маленькой скромной витринки и стала рассматривать вязаные фуфайки; от этого как будто потеплело на душе. Подошел человек вразвалку. Он посмотрел на меня пристально.

— Вы что,— спросил он,— ждете кого-нибудь?

— Жду. Сейчас должны выйти пять человек. Мои друзья.

— Откуда это?

— Вот отсюда. Из этой двери... Но, между прочим, я заблудилась. Не можете ли вы указать мне дорогу?

— Ага! Заблудились! А вы иностранка, я вижу. Откуда вы?

— Из Москвы.

— Ага! Из Москвы... Послушайте, давайте я покажу вам, где остановка трамвая. Вы не огорчайтесь: это со

всяким случается — заблудиться. Идемте вот в этот переулок. А хотите, я вам спою излюбленную русскую песню. Голоса у меня нет, но мотив... Знаете это: «Ах, Сонья, Сонья!..»

— «Прекрасная девушка, рожденная на берегах Волги». Как же... любимая песня.

— Ну, вот видите. А вот и ваш трамвай. До свиданья!

Трамвай быстр. Он проворен. Он увозит через реку в другой, более веселый Берлин. Вот кафе. У самой его ограды, увитой плющом на берлинский манер, сидит совсем молодой человек. Светлые волосы как бы приподняты ветром. Он подергивает головой и шеей с неотвратимой точностью. Это — контуженный во время войны. Он смеет просить так открыто у самого входа в кафе, где «честный купец» пьет свою «кружку пива», только потому, что пострадал за отечество.

Серым берлинским утром, когда солнце не в силах еще осветить глубины квадратных дворов, к нам во двор приходит нищий-певец. Он становится у маленького деревца, которое выглядывает из своей железной ограды, как тощая шея из крахмального воротника, и поет высоким дребезжащим голосом. И равнодушные лица глядят на него из окон, а иногда даже не глядят. Двор аккуратен и уныл. Тут же моют автомобиль. Два человека в кожаных фартуках трут ему бока, подлезают под брюхо. Трудов не жалеют: это машина, которая стоит денег. Тут же играют дети: две худенькие девочки. Они ходят друг к другу в гости и ведут светские разговоры.

— Кушайте, фрау Миллер, — говорит одна. — Теперь все так подорожало. Но вы все-таки кушайте.

В эту минуту во двор въезжает молочная тележка, влекомая большой работающей собакой, честным псом.

— Какие толстые лапы, — с уважением произносит одна из «фрау». — Воображаю, сколько она съедает супа.

— Но вы забываете, что она сама зарабатывает себе на жизнь,— замечает другая.

А певец поет:

Настанет день, когда лев ляжет рядом с кроликом, когда
реки потекут лазурью,
Когда земля покроется розами. Только когда это будет?
Счастья и хлеба хватит на всех. Только когда это будет?
И я не должен буду петь по чужим дворам. Только когда это
будет?

Мне хочется взглянуть на русских в Берлине, и меня ведут не то в кружок, не то в клуб. Уже в передней змеиные сумки и крокодиловые туфли потрясают меня. О, шестипудовая роскошь котиковой дамы с резиновой гвоздикой на пышном воротнике! Нет слов, чтобы описать... «Ах, Сонья, Сонья!..»

В передней, у кассы, молодой человек в пиджаке, обрезанном выше пояса, с широкими внизу брюками (уже в Париже я узнала, что такие брюки называются «лапами слона»), с ватными плечами, в крепдешинової сорочке, говорит второму молодому человеку, тоже с ватой и тоже с «лапами слона». Он говорит:

— Я прошу и снова повторяю, в это дело не вмешиваться. Я принципиально против насилия. Я толстоцев наконец, но я могу и ударить по физиономии.

Мы проходим дальше. Налево — карточная. Сквозь дверь, на миг приоткрывшуюся, я вижу желтую лысину и красную лысину, дым папирос, зелень сукна и даже как будто различаю пиковую даму в жирной руке — трагическую даму русской эмиграции.

На эстраде — какая-то Ирина Томская, с одними золотыми бананами у пояса, танцует чарльстон... На ужин нам подают необыкновенную трехэтажную кулебяку; в каждом этаже — другая начинка. Отменно достойный джентльмен, тоже с «лапами слона», собственноручно меняет тарелки.

Мне шепчут на ухо:

— Был очень богат. Прекрасный знаток византийской живописи. А теперь...

И тут же, во время кулебяки, один из русских говорит мне:

— Здесь — прекрасная культурная жизнь. Кварти-

ра у меня замечательная. Я душевно удовлетворен.— И вдруг совсем тихо: — Как вы думаете, смог бы я вернуться в Россию?

«Ах, Сонья, Сонья!..»

Глава 5

ПОД КУПОЛОМ

Огромное здание «Фольксбюне» (Народного театра в Берлине) по форме своей напоминает улей невиданных размеров, рассчитанный на две с половиной тысячи пчел. Улей этот стоит на площади. По вечерам сумрачно-багровое небо большого города обтекает его округлости. Автобусы, трамваи и подземки выбрасывают к его ступеням людские рои. Автомобилей у входа сравнительно немного, гораздо меньше, чем у других театров. Зато сколько молодых лиц!..

Серьезные, уважающие себя люди предпочитают посмотреть ревью в «Адмиральпаласе», где конференсье вовлекает зрителя в решение необычайно сложной и совершенно новой проблемы: кого должен выбрать мужчина — жену или любовницу. Зритель, уходя из «Адмиральпаласа», удовлетворен эстетически и этически. Для эстетики были розовые ножки, а для этики — «обнаженные нервы современной души».

У кассы «Фольксбюне» — минутная задержка, быстрый, но внимательный взгляд на план. Острый палец в не особенно свежей перчатке прогуливается по рядам кресел, лож и балкона на плане. Быстрое, но глубокое раздумье, очевидно, насчет содержимого кошелька. И наконец билет куплен.

Веселые молодые пчелы разлетаются по лестницам театра и, громко гудя, заполняют бархатные соты кресел. Плотные трутни, лишённые крыльев и потому боящиеся высоты, рассаживаются в партере.

Театр внутри из гладкого красного дерева. Когда тухнут все огни, маленькие рубиновые фонари у дверей бросают блики на гнутые стены. Молодые пчелы обого пола, сидящие под самым потолком, набираются серьезности, чтобы смотреть серьезную русскую пьесу.

Потому, что пьеса идет русская, для меня тем более интересная. Называется она «Нахтазиль». Мы все ее прекрасно знаем. В Москве, в Камергерском переулке, мы видели ее не раз. Называлась она: «На дне».

Я разворачиваю афишу и не сразу понимаю, что Wasska Pepel — это Васька Пепел, Kwaschnja — это Квашня. Но страннее всего выглядит Luka, ein Pilger, иначе говоря, странник Лука.

Русские персонажи в немецкой интерпретации изменились не только орфографически. В погоне за неуловимой «славянской душой», обуреваемые жаждой выявить малопонятный для них «национальный характер», немецкие исполнители потеряли почву под ногами. Чувствуется, что Генрих Георге, талантливый и культурный актер, просто-напросто плохо верит в возможность существования такого Сатина. Объясняется это тем, что у каждого народа, вероятно, своя манера опускаться «на дно», равно как и всплывать на поверхность. В каждой стране «дно» выглядит по-иному. В Германии — это «безрадостная улица», где нужно бродить всю ночь. Во Франции — кабачок, где за пятьдесят сантимов можно положить голову на грязный мраморный столик и так спать. В России эпохи «странника Луки» — это ночлежка.

Немецкие актеры делают все от них зависящее, чтобы вчувствоваться в Горького. Но самая гамма переживаний чужда им. Когда у них «не получается», они повышают голос. Они прибегают к крику. Кроме того, есть еще бутылки. В самых сильных местах эти бутылки бросают о пол. И звон разбившегося стекла, в котором всегда есть нечто трагическое, разносится по театру.

Как ни странно, но лучше всего удается «Лука, ейн пильгер». Ведь и в Германии в свое время было немало таких «пильгеров», которые бродили из города в город по старым немецким дорогам. Их седые кудри вдохновенно сползали на воротник. И каждому, кто шел к ним со своей тоской, они отпускали полную чашу возвышающего обмана взамен горьких истин. Возможно, что не-вдалеке шумел Рейн. Пышные, еще гейневские липы, свесив голову через ограду садов, слушали ласковые слова. И звезды, мечтательные, серебряные, романти-

ческие звезды светло мигали друг другу. Они тоже были за то, что главное — это «тяга к прекрасному»...

Покуда на сцене разыгрываются все эти события, в зрительном зале, под самым потолком, молодые зрители стараются удержать внимание, тающее, как шоколадная лепешка в их кармане. Вся правая часть галерки занята девочками, а левая — мальчиками. Все это ученицы и ученики подготовительных курсов, куда поступают учащиеся народных школ, прежде чем рассыпаться по магазинам, бюро, конторам, фабрикам и заводам. Билеты на спектакль, очевидно, были присланы на курсы. И курсы уже послали сюда своих питомцев. Оттого их так много и оттого они так тщательно рассортированы: девочки — направо, мальчики — налево. Самому старшему из них не больше семнадцати лет. На девочках — пестрые платья. Посмотришь, так и замелькает в глазах синее, розовое, желтое и голубое. Мальчики в темных куртках. У большинства — белые отложные воротники и бант. Так и чувствуется, что бант этот вывязывала заботливая и нежная материнская рука. Конечно, вывязыванье сопровождалось словами: «Смотри, Фрицхен, прямо из театра — домой. Нигде не задерживайся. В театре веди себя прилично».

Мать волнуется: еще бы, театр — это ведь не каждый день... Фрицхен должен запомнить это и смотреть во все глаза. Он и смотрит. Только не на сцену, а на какую-то голубенькую кофточку.

— Шш... шш... — несется по рядам. — Ах, как интересно!

Отто, из амфитеатра, сделал бумажную стрелу и метит куда-то вниз, на нижние головы. Бац... — разбивается бутылка на сцене. Девочки и мальчики, призванные к порядку громким звуком, снова ухватывают ускользающее внимание и обращают на сцену серые и голубые глаза. Они не понимают: неужели там, на сцене, это жизнь? Почему Василиса, вместо того чтобы обваривать свою сестру кипятком, этим же кипятком с примесью щелока не вымоет замусоленные стены «Нахтазиля»? В конце концов всех этих людей можно еще исправить. Конечно, они опустились, но выдержка, экономия и организованность могут помочь делу.

Девочки и мальчики, забыв о шалостях, внимательно смотрят на сцену. Но они так молоды и им так хочется смеяться. Вот спившийся «актер», хрипло вскрикивая, мечется в своей рваной крылатке. По рядам проносится смешок: «актер» выглядит очень забавно. В самую трагическую минуту кто-то из зрителей чихает. Неудержимое ликование овладевает галеркой. Снизу доносится возмущенное шиканье. Но чем же галерка виновата, что ей так весело, что ей всего семнадцать лет. Но самое главное: люди «Нахтазиля» чужды ей.

Глава 6

ПУТЬ-ДОРОЖЕНЬКА

После сухого холода, после берлинской определенности, где зима от лета и день от ночи отделяются ровной чертой, как под сведенным балансом, после Берлина на темной зимней заре забрезжил Париж.

Ночь в поезде между Берлином и Парижем тревожна. В ней, в этой ночи, скопилось три границы: немецкая, бельгийская и французская, что отнюдь не способствует спокойному сну. Сначала немцы проверяют разрешение на выезд, потом бельгийцы — право на проезд и наконец французы — право на въезд. Всю ночь шныряют по вагонам молодые люди в фетровых шляпах и ищут. Чего?.. Снова смотрят чемоданы, снова залезают во внутренности диванов и заглядывают в багажные сетки.

Всю ночь мы не спим. Вагонное отопление, очевидно, заразившись общим беспокойством, ведет себя неровно, лихорадочно. То его бросает в жар, то в холод. В купе, как дымовые трубы, дымят сигары: им не хватает только гудков, чтобы превратиться в фабрику.

В купе — разговоры. Американец в трех шубах, с насморком, с неразменными долларами, взявший в Берлине билет почему-то только до Кельна, в то время как он едет в Париж, развлекает целый вагон-микст второго и третьего класса. На каждой станции с бедного американца берут за пройденный путь, берут за скорость, берут за медленность, берут и берут. Оказывается, что

теперь уже взять билет до Парижа нельзя, а надо платить по частям. Ровный удобный цельный путь изрезан таким образом на куски. Но так как кусков этих много, так как доллары не разменены, а страна каждый раз другая и курс каждый раз другой, то пассажиры с карандашом в руках, каждый на родном языке, переводят американские доллары на марки, на бельгийские и французские франки. Всех интересует, не обсчитывают ли американца проворные французские и бельгийские контролеры, которые тут же, в вагоне, молниеносно производят вычисления, выдают квитанции и исчезают.

В третьем классе молодая женщина с тремя детьми и шестью узлами стоит в коридоре и плачет. Она не говорит ни на одном общепонятном языке; никто ее не понимает, и она не понимает никого. Женщина показывает билет: выясняется, что она едет не туда, куда надо. Но объяснить ей ошибку невозможно. И она едет, плача, чувствуя, что что-то неладно. Чиновники теребят ее узлы и вытаскивают длинную нескладную колбасу, очевидно, домашнего приготовления. Колбаса эта кажется им подозрительной, вообще вся женщина подозрительна. Почему она говорит на странном языке? Почему она плачет? Почему у нее столько узлов и столько детей? Не притворство ли все это? И вот колбасу режут на куски: из нее сыплется изрубленное мясо и сало. Конспирации никакой: одна начинка. Женщина плачет еще горше.

Но вот перед рассветом в последний раз проходят французы смотреть паспорта. Быстрые юноши в мягких шляпах отбирают все газеты. Потом, попросив всех выйти, они заглядывают под диваны. Отопление в последний раз разгорается сухим нездоровым жаром. Американец в последний раз меняет доллары, и воцаряется спокойствие. До Парижа осталось два часа. За окном ночь все теплеет, все сыреет. Все спят.

Только американец не спит. Умученный насморком, незнанием французского языка и разменом денег, он рассказывает историю своей жизни и причину своей поездки в Европу. Вот что он говорит:

— Я родился в Ковно. Мой отец имел мануфактурный магазин и шесть человек детей. Жилось нам неважно.

Когда мне исполнилось шестнадцать лет и у меня уже выросли усы, мой папаша вспомнил, что у него в Нью-Йорке есть брат — архитектор. И вот меня собрали, и я поехал к нему. Но вы можете себе представить, что иногда бывает. Я приехал в Нью-Йорк как раз в день смерти моего дяди. Когда я подходил к дому, на лифте опускали его гроб. После похорон я решил, что мне надо поговорить со вдовой. И я пошел к ней. Но вдова сказала коротко: «Ничем помочь вам не могу. Но если вы хотите иметь что-нибудь на память о дяде, то я могу вам дать...», — тут она вынесла мне циркуль и рейсфедер. С этим я начал свою карьеру... Теперь я тоже архитектор и живу под Нью-Йорком. В этом году у родителей, в Ковно, была «золотая свадьба». И вместе с ней обыкновенная свадьба моей сестры. Тогда я решил приехать. Я сшил в Америке четыре костюма — по числу моих братьев. И я поехал в Ковно. Теперь я возвращаюсь обратно. Моя поездка продолжится два месяца и два дня. В Ковно я пробыл всего четыре дня, по числу моих братьев: остальное время я провел в пути. Но послушайте, что, между прочим, произошло. Когда я приехал в Ковно и начал раздавать костюмы, то я недосчитался одного брата. «А где же Гриша? — спросил я. — Вот я ему привез модную и практичную вещь». Вижу, старики молчат. «Где же он? — спрашиваю. — Умер?» Оказывается, ничего подобного: поехал в Москву и стал большевиком. «Ну так что ж, — говорю я, — так почему же вы плачете?» Отец ответил: «Что тебе еще надо? Он большевик. Я проклял его в синагоге. У нас нет больше сына Гриши». Я ответил: «Синагога, папаша, ваше личное дело. Меня это не касается. Но костюм ему я посылаю в Москву, потому что это модная и практичная вещь. Я прибавляю даже еще пару белья и кашне, которое посылать не собирался». Я даже думаю, что я простудился без этого кашне, получил насморк и взял билет только до Кельна, хотя нужно было до Парижа.

Американец кончил свой рассказ. За посиневшим окном мелькали уже парижские пригороды. Теплый зимний туман висел между небом и землей. В семь часов утра, еще по-ночному тихий и темный, встретил нас Париж.

Но прежде чем говорить о Париже, необходимо сказать еще об одной встрече, которая произошла той же ночью и тоже с американцем. Для этого нужно вернуться на берлинский вокзал. Вот он — берлинский вокзал, и вот рука, машущая на прощанье. Как все-таки грустно от самых ничтожных прощаний!..

Постояв в коридоре у окна и насмотревшись, как быстро исчезает Берлин, я вернулась к себе в купе. И там, на предназначенном мне месте, я обнаружила человеческую ногу гигантских размеров. Нога лежала совершенно самостоятельно, а ее обладатель спал, сидя насупротив и завернувшись в зебровидный плед.

Допустим, что я уважаю чужие ноги, но сидеть ведь нужно... Я посмотрела вокруг себя: все были невозмутимо серьезны. Никто, очевидно, не желал вмешиваться в это темное дело. Я потихоньку ковырнула ногу разок-другой; она не шевелилась. Я потянула конец шнурка, словно мышинный хвост; все было тихо. Я пала духом. «Сейчас это, быть может, трогательно,— подумала я.— Но через минуту это будет смешно, и что будет тогда?» И в отчаянии, напрягая все свои силы, я приподняла и опустила на пол чугунную конечность этого человека. Тогда он проснулся.

Он сбросил плед; под ним обнаружился рыжеватый нос и роговые очки с золотой переносицей.

— В чем дело? — сонно спросили очки на шипящем французском языке.— Почему меня беспокоят?

Я ответила:

— Ни в чем не дело. Просто это мое место, и я хочу сесть.

Так началось знакомство. Это был американец.

Заметив, что я с неодобрением смотрю на его ногу, он сказал:

— Вы что смотрите? Вам мой башмак не нравится? Напрасно. Он куплен по новейшей системе.

— А что значит «куплен по новейшей системе»? Как это понять?

— Сейчас я объясню вам. У вас, в Европе, все делается наугад. Это чрезвычайно характерно для вашей части света. Америка же любит бить наверняка. У вас в Европе купят, например, башмак, а потом выясняется,

что он не по ноге. Таким образом пропадают и время и деньги. Но не так поступает Америка.

— А как поступает Америка? — спросила я.

— У нас такие башмаки покупают при помощи рентгена. Другими словами, вы надеваете башмак, и вам его просвечивают рентгеновскими лучами, чтобы посмотреть, как внутри лежит нога. Как устроена пятка, как расположены пальцы. И если все в порядке, в удобстве и комфорте, тогда, пожалуйста, покупайте башмак. Вы, правда, платите за это недешево. Но зато за свои деньги вы имеете стопроцентную вещь. Скажите, может ли Европа придумать что-нибудь подобное?

— Не может, — согласилась я.

Видя мою покорность, американец смягчился и воодушевился.

— Америка всегда все изобретает первая, — хвастливо заявил он, — а потом уже это расходится по всему свету. Возьмите такую вещь, казалось бы, пустяк. Один из моих соотечественников изобрел особый блокнот. Каждый лист этого блокнота есть не что иное, как визитная карточка. На одной ее стороне — имя, фамилия, адрес и профессия — все как полагается. Другая же сторона покрыта клеем, как марка. Вы встречаете вашего старого друга, но вы очень спешите. Или вы встречаете делового знакомого, но вы очень спешите. Или вы встречаете девушку, которая вам очень нравится, но вы очень спешите. Что вы делаете? Вы отрываете листок блокнота; ваш друг, или знакомый, или девушка вклеивают его к себе в записную книжку. И все готово. Они навеки запомнили ваше имя и все вас касающееся. И в любую минуту смогут вас разыскать. Кажется, просто... А на этой простоте заработаны миллионы. Отсюда и силы страны, и ее богатство... Знаете вы историю с налогами?

Я ответила, что не знаю.

— Так слушайте. В этом году наше правительство просчиталось и обложило страну слишком высоким налогом. Выяснилось, что собрано столько-то миллионов долларов лишних. Тогда эту сумму разверстали по количеству плательщиков и возвратили. Видано ли это, чтобы правительство возвращало налоги?

Я дипломатично промолчала.

Так в разговорах об Америке и американцах прошла ночь. И этот американец, упоенный своим твердокаменным долларом, на пороге Франции, тревожной, нервной, с неустойчивым, надтреснутым франком, — американец этот врезался мне в память.

А пока шла ночь, пока убывала ночь и на дне ее обозначался Париж, вагон смутнел и затихал. Только тихонько плакала во сне никем не понятая женщина. Да еще какой-то русский эмигрант, безработный и бессонный, ходил по коридору и, шагая, напевал:

Ах, невесело
Путь-дороженька
Пролегает...

Глава 7

ДЕНЬ ТЕЧЕТ СВОИМ ЧЕРЕДОМ

На рассвете, когда город еще спит, мы пересекаем его из края в край: вокзал очень далек от моего будущего жилища. Зимой, в семь часов утра, в городе еще ночь. Двойной свет — слабо брезжущей зари и фонарей — сообщает всему как бы подводную прозрачность. Двойной свет... И даже такси берут по двойной таксе.

В этой сырой и сонной полумгле разворачивается Париж...

Город Кронштадт, имеющий свою собственную историю, вероятно, даже не подозревает, что в Париже существует отель его имени.

В плотных московских домах, глубоко вросших в фундамент, в домах с толстыми стенами и с печками, — в этих домах трудно себе представить, что такое маленький парижский отель, и как течет в нем жизнь, и какие живут там люди, и как распределяется день. Отель не там, на известных улицах, где автомобили гудят под окнами и осаждают дверь. Где у входа надпись «Отель» отликает золотом и обещает все восторги «новейшего комфорта». Нет, «Кронштадт» очень далек от

таких пышностей. Хорошо в нем только то, что, будучи расположен почти на окраине города, он не окончательно удавлен соседними домами. Он видит небо. Ему повезло еще в том отношении, что под окнами у него большая площадь. И хотя эта площадь не что иное, как бойни, но все же светлое солнце, когда оно есть, ласкает эту площадь так же, как самую нарядную поляну Булонского леса.

В часы, когда пригоняют скот, нельзя назвать отель «Кронштадт» веселым местом. Быки удушливо ревут. Они не желают идти навстречу смерти, они цепляются копытами за асфальт. Но асфальт гладок, и они идут, низко нагнув рога. Овцами тоже овладевает невыразимый страх. Они сбиваются в одну сплошную массу, как пыльные кучевые облака. Тогда вперед пускают барана. Он принужден идти по узкому месту, а овцы — за ним... Через некоторое время город получает свою обычную порцию бифштексов и отбивных котлет.

Но в дневные спокойные часы ничего этого нет. Хорошо прийти в «Кронштадт» в три часа дня. Внизу, у самого входа в отель, расположена мясная лавка. Оттуда выносят гирлянды нежно-розовых пороссячьих ушей. Большие упругие бычьи легкие еще полны воздуха. Их выносят попарно, и они похожи на волынку. Затем идет печень цвета вишни. И наконец выносят целую коллекцию овечьих сердец, в которых при жизни таилось столько страха. Все это нагружается на фургон и увозится в город. День течет своим чередом.

В первом этаже — «бюро» отеля. Сквозь дверь, затянутую не слишком чистым тюлем, можно видеть, как хозяин, раскрыв большую книгу, водит пальцем по строчкам. Это — действительно «книга живота и смерти» всех живущих в «Кронштадте». Там все долги...

Вы поднимаетесь по лестнице. По мере того как вы идете, жизнь этого дома предстает перед вами в поперечном разрезе. У одной двери, на полу, стоит поднос; на нем — пустой кофейник и чашка, полная пепла. Дело ясное: жилец только что встал и, обдумывая наступающий или, вернее, наступивший день, выкурил уже несметное количество трубок. Боюсь, что настроенье у него неважное. На другом этаже, за другой дверью, слышатся

звуки банджо. Там негромко играют «Маленького зуава». Дзинь-дзинь — падают и разбиваются звуки в пустоте узкого коридора. Раздается женский смех, и опять «Маленький зуав»...

На одной из ступеней сидит лакей, гарсон, в одном жилете и не спеша чистит медный прут ковра. Движенья гарсона ленивы. Увидя идущего человека, он долго смотрит ему вслед, очевидно соображая: кто бы это мог быть и к кому? Кстати, гарсоны эти ужасно скучают в таких отелях. Работы у них немного. Как легко себе представить, чистота отнимает у них не слишком много времени. День велик. Веселая южно-французская кровь жужжит в жилах этого малого, которому только девятнадцать лет, как и большинству живущих здесь. Со всеми студентами и художниками он на «ты». Он одалживает им деньги. Он делит с ними их радости и скорби. Принося утром письмо в комнату какого-нибудь блудного сына, он сочувственно становится у кровати и, помахивая пыльной тряпкой, спрашивает:

— Ну что, как дела? Что «старик»? По-прежнему упрямится? Ты напиши ему, чтобы он не ломал дурака. Жить-то ведь надо!

В другом месте гарсон мирит юную пару. И наконец, не снеся тоски, ища исхода неиспользованной энергии, он надевает на себя старую пыльную шкуру медведя, найденную где-то на чердаке, и в таком виде стучит в чью-нибудь комнату.

— Кто там? Войдите, — рассеянно отвечает хозяин.

Дверь открывается, и на пороге появляется... медведь. А день течет своим чередом.

Наверху, на пятом этаже, необычайно светло. Как уже было сказано, дом стоит на окраине, на пороге еще не вполне родившегося квартала. Направо и налево уходит Париж в капельном тумане дождя и солнца. Все невесомо, все только ядро тумана, окруженное сиянием. Начинаешь понимать импрессионистов, которые только так и воспринимали мир. Ничто не стоит на месте, ничто не имеет определенной формы. Только идея предмета, позлащенная солнцем... Несмотря на январь, окно раскрыто. Но не надо слишком доверять этой дымной нежности. Через час-другой все кончится холодным

дождем: в Париже это обычно. Если днем солнце, то сумерки пронзительны. Но пока... тишина.

Вдруг весь дом затрясся. Очевидно, к лавке, там, внизу, подъехал грузовик за свиными ушами. Человеческие голоса плывут снизу вверх. Здесь, на пятом этаже, как бы опрокинутое дно. Все плывет снизу и погребается в свете и тишине.

Не надо думать, что здесь не работают. В каждой комнате пишут, читают, рисуют, главное — рисуют. Придя из студии, где они работали над «натурой», и сняв синюю плоскую шапочку с маленьким хвостиком посередине, какой бывает иногда у арбуза или дыни, «молодые гении» работают дома. Надо «ловить солнце», которого так мало.

Но вот темнеет. Внизу зажгли огонь. Необходимо закрыть окно. Как и было предсказано, день кончился дождем и туманом. Далеко в воздухе плоскость неба пересекается фонарем, за ним три крыши вонзаются друг в друга. Теперь это уже не импрессионизм, — это кубизм.

В коридорах стало оживленнее. Гарсон в куртке, с озабоченным вечерним видом мчится вниз по лестнице. Через полчаса отель на время опустеет: все пойдут обедать, все разбредутся по маленьким ресторанам, где им подадут рагу из барана, который утром блял под окном. Пойдут обедать все, у кого есть деньги. Но найдутся и такие, из тех, у кого «старик» упрямится, найдутся и такие, которые не пойдут никуда... Почтальон приносит вечернюю почту. Хозяин, захлопнув вещь книгу, ведет серьезную беседу с водопроводчиком относительно строптивного крана во втором этаже. И только за дверью (все той же) раздаются звуки банджо: «Маленький зуав», верный друг! День прошел своим чередом.

Несколько слов о парижском тумане. В каждом городе туманы различны, различной плотности, цветов и прочности. Самые лучшие туманы вырабатывает Лондон. Лондонский туман окутывает город, как непромокаемое пальто. Сквозь него не могут пробиться ни дождь, ни ветер. Но столица Франции одевается не столь примитивно. Ее туманы, как бальное платье, спадают со строй-

ного туловища Эйфелевой башни... Как выглядит зима в Париже? Это — дымная перспектива бульваров, автомобили, влажные от собственного дыхания, и солнце без лучей.

Туман висит над городом весь день. Но настает минута, когда он рассеивается внезапно, без предупреждений. В эти минуты город, утерянный и вновь найденный, вдвое милее. Если есть свободный час, пройдемся по улицам. Мы увидим много интересного. Мы увидим на набережной Сены лотки с книгами. Тут все: и старый том доктора богословия, и история Франции, написанная малоизвестным историком, и собрание галантных стихов XVIII века, и учебник биологии, и роман Марселя Прево. Анатолий Франс, описывая «книжную набережную», с нежностью вспоминает длинноволосых любителей литературы, уткнувших нос в неразрезанные страницы, как лошадь в торбу с овсом. Долгие часы бродят они между лотков. В их глазах — хищный блеск охотника и следопыта. Охота не всегда бывает удачна. Но иногда, в поисках за редкой ускользящей дичью в шагреновом переплете, охотника осеняет удача: он находит уникальный том одного из первых изданий и трепетно прижимает к сердцу драгоценную добычу. Но если иными владеет жажда потонуть в печатных страницах, то для других не менее соблазнительно закрепить в красках и линиях очарование родного города. Здесь же, на набережных, водятся бродячие художники, изучающие Париж, как линии любимой руки.

Они знают все. Они знают все округлости, все припухлости площадей, тенистые впадины скверов и острые локти перекрестков. Сидя где-нибудь у реки, бродячий художник работает. Иногда это портрет досужего прохожего, который сейчас же и унесет его под мышкой. Покуда рисуется портрет, собирается несколько зрителей. Здесь и маклер, забывший на минуту о капризах биржи, и военный, и человек неопределенной социальной сущности, и молодой сенегалец. А художник работает...

Но иногда это не портрет для денег, а городской пейзаж для души. Опустив крылья черной пелерины, надвинув на глаза высокую шляпу, художник деликатно

водит тоненькой кисточкой. Несколько штрихов, несколько точек, и вот — течет Сена, тронутая туманом, скользит пароход «Ласточка», а на самой набережной уже не ласточка, а голубь клюет просыпанные зерна. Вдали, как неотвязное воспоминанье, встает Нотр-Дам... Наконец рисунок готов. Вы не обидите художника, если не придете в восторг. Только не говорите, что современная фотография может сделать это лучше и скорее. Тут вы заденете самое больное место. Тут он придет в ярость. Искусство гибнет, остается ремесло: так думает бродячий художник...

А это вот что такое — ремесло или искусство: матрацица, перебивающая на улице матрац и делающая его упругим и чистым, как в дни невозвратной молодости. Матрачный станок стоит тут же, на улице, которая победнее. В конце концов это гораздо дешевле — перебить матрац, чем купить новый. И, главное, матрац — это фамильная драгоценность. Он дорог как память. И вот фамильную драгоценность выносят. У нее продран бок и убийственно торчит пружина. Матрацица все поправит, и через некоторое время владельцы получат матрац назад свежим и омоложенным, хоть начинай жизнь сначала. Случается, что, покуда матрацица работает, художник, один из тех, о которых говорилось раньше, зарисовывает ее. Все это — старый Париж; он скоро исчезнет, он почти уже исчез...

Если вы вдосталь побродили по улицам и проголодались, то незачем идти непременно в ресторан. Вы можете поесть и на улице. И этот завтрак будет не так плох. Можно купить каштаны. Их пекут на улице, в высокой жаровне. Оттуда они выходят горячими и слегка обожженными. Вы берете в руки пакетик с каштанами; он горяч, как маленькая печка. Таким образом можно и насытиться и согреться. Но можно достать и нечто более существенное, например, жареный картофель, знаменитый «пом фрит». Он совершенно сух и хрустит под зубами. Посыпанный крупной солью, он чрезвычайно вкусен. Что касается сосисок, то они дымятся так пышно, что могут соблазнить самого беспощадного вегетарианца... Завтракая на улице, вы можете завести ряд интересных знакомств и даже закрепить узы нескольких

дружб. Если узнают, что вы из Москвы, то вас окружают кольцом и станут расспрашивать о московском житье-бытье. Правда ли то и правда ли это? Сведения иногда поразительны по своей неудержимой фантастике. Особенно отличаются женщины. Правда ли, что в домах нет кухонь, а взамен них питательные пункты, откуда картофельный суп растекается в трубах по городу? Правда ли, что в проруби купают маленьких детей, особенно мальчиков, чтобы «закалить их для суровой жизни»?

— Ну, вот, — возражают солидные мужчины с трубкой в зубах, — что за глупости! Где это видано, чтобы картофель... Да и дети... Нет, все это выдумки.

Но женщины томятся жаждой необычайного. Они хотят, чтобы это было правдой. Суп для всех и здоровые дети... Ведь это — счастье!

Всем хочется счастья. И как бы в подтверждение того, что оно существует, тут же, в тумане, продают цветы. Маленькие, туго свернутые зимние розы, которые никак не могут распахнуться как следует, потому что им холодно. Продают темно-красные колючие листья, красивые и недобрые. И темно-синие фиалки.

Глава 8

ЖИЗНЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ

Езды туда от центра пятьдесят минут метрополитеном: целое путешествие с пересадками, приключениями и воспоминаниями: «А помните, на такой-то станции случилось то-то». В течение этого путешествия метро несколько раз выходит на поверхность. Оно не знает середины: оно идет или под землей, или над ней. Метро летит над рекой. И тогда под ним течет вода в мельчайших язвочках осеннего дождя.

Чем ближе к цели, тем теснее. Люди текут густой волной по лестницам с тем, чтобы влиться потоком в коричневые резервуары вагона. По подземным путям, где проходит поезд, через определенные промежутки

появляется на стене надпись: «Бир». Появляется, освещенная электрическим светом, и пропадает. Несомненно, это реклама. Но это не важно. Важно то, что слово это поразительно совпадает со скрежетом поезда. «Бир. Бир. Биррр» — скрежещет поезд.

Бют Шомон — одно из сердец рабочего Парижа: потому что у него их несколько. В данное время сердце это бьется медленно: оно поражено болезнью, именуемой «безработица». Франция, которая всегда гордилась иммунитетом перед такого рода заболеваниями, все же захворала. В центре города болезнь не заметна в шуме и огнях. Там только слегка лихорадочен пульс газет, в магазинах почти не слышно иностранной речи, озабоченные лица в толпе. Но здесь... вот она, грозная лихорадка, несколько не умеряемая холодными примочками дождя! Здесь, на улицах, под нарочито-небрежным взглядом ажана (полицейского), стоящего в самом странном месте, не на перекрестке, а так, у какой-то двери какого-то ресторанчика, — под этим взглядом по одному, по двое и по трое проходят люди...

Сколько сейчас во Франции безработных? Мнения по этому поводу расходятся. Эта болезнь не всегда достаточно ясно выражена. Иногда это уменьшение заработной платы, иногда насильственное снижение рабочих часов — «неполная неделя». Иногда остановка работы «для подсчета», который вместо обычных трех дней продолжается девять... Предприниматели в таких случаях утверждают, что ничего страшного не происходит. Никакой безработицы: просто небольшие заминки, неизбежные в каждом производстве.

Ситроен!.. Кто не знает этого имени. Это тот самый Ситроен, чьи автомобили, конкурируя с фордовскими, бегают по всему свету. Ситроен необычайно широк в своих начинаниях. Увидав, что милая старая земля совсем не так велика, как он думал, что автомобильных дорог на ней обидно мало, что чрезмерное количество места уделено таким ненужным деталям, как горы и моря, увидав это, Ситроен бросился в пустыню. Он обставил все это очень научно.

Как известно, Сахара не вполне приспособлена для путешествий. В Сахаре есть львы, которым очень труд-

но внушить, что по вечерам, когда путники желают подышать наконец свежим воздухом, можно бы и не рычать. В Сахаре необычайно неприятны гиены, чей сварливый и неуживчивый характер, соединенный с несимпатичной внешностью, вошел в поговорку. Наконец в пустыне есть песок, который приемлем в спокойном состоянии и в небольших количествах, как, например, на пляже. В чрезмерном же изобилии он положительно утомляет. Но автомобильный фабрикант всем этим не смутился.

Он стал систематически атаковать пустыню. Сначала он послал туда экспедицию всевозможных ученых. Они определили особенности почвы и воздуха каждого данного участка, равно как и водные возможности. На смену ученым пошли рабочие. Начали рыть колодцы, доставая воду из фантастической глубины. Начали строить отели. После долгих трудов путь был готов. И вот к величайшему удивлению и неудовольствию верблюдов, этих патентованных кораблей пустыни, по пескам поползли Ситроеновы гусеницы, напоминающие одновременно и трактор и танк...

Наполеон, первый из французов имевший дело с пустыней, бросивший крылатое слово о «сорока веках с вершин пирамид»,— Наполеон был бы несомненно шокирован тем, что в музее, посвященном единственно ему, где собраны его знамена, мундиры, документы, брильянты и волосы, внизу у лестницы стоит автомобильный первенец папаши Ситроена, одолевший пустыню.

Он стоит там, покрытый доблестными боевыми царапинами, пылью, песком и грязью тысячеверстного пути. Родители, приведя в воскресенье своих детей поклониться памяти великого императора, почтительно останавливаются перед Ситроеновым детищем. И имя автомобильного фабриканта примешивается к шелесту победных шелков.

Использував землю для рекламы, Ситроен поднялся в облака. Его взор упал на Эйфелеву башню. Башня, хотя и выполняла обязанности радиостанции, но в смысле рекламы была еще совершенно девственна. Ситроен вошел в парижский муниципалитет с предложением уступить ему на ночные часы сооружение инженера

Эйфеля. Он обещал, что башня, украшенная пылающими буквами его имени, только выиграет. Муниципалитет призадумался.

— Это будет ночью,— сказали там,— а днем? Что будет днем, если ваши буквы обезобразят ажурное плетенье башни?

Ситроен поклялся, что его буквы никого и ничто обезобразить не могут. Власти усомнились в этом. Тогда Ситроен, не пав духом, предложил такое условие: он укрепляет буквы. Если выяснится, что днем они мешают, он обязуется снять их, уплатив Парижу такую-то сумму за беспокойство.

Но не такой человек Ситроен, чтобы зря беспокоить себя и других. В настоящее время буквы укреплены на башне. Днем, кто их там знает, видны они или нет в железных переплетах, но ночью они сверкают, и сверкают по-разному. Иногда это — монограммы, заплетенные огнями, иногда фабричная марка Ситроена: овал с двумя вписанными в него треугольниками. Иногда это — кометы с роскошными хвостами, иногда длинные сверкающие линии. А самый купол башни, тот самый, где помещается радиостанция и где недавно нашли мертвым техника (очевидно, он тронул кабель), самая верхушка эта струится золотом. Золото безостановочно льется по ней. И несомненно, золотые струи состоят из молекул золотого Ситроенова имени. По праздникам зажигается все сразу. Тогда сверкают и монограммы, и линии, и струи. Башня ослепительна, как драгоценность. И река Сена, гордясь тем, что ей доверили такое великолепие, отражает его со всей возможной точностью.

Все это рассказано для того, чтобы дать представление, каков есть Ситроен. Ясно, что он великолепен. Но, кроме всего прочего, он еще «добр». У него широкое, великодушное сердце. При наступлении безработицы он сказал:

— У меня на моих заводах нет и не будет безработных.

И действительно, когда рабочие вышли после рождественских праздников на работу, их не ждали, как это случилось в других местах, закрытые двери. Работа ждала их. Только в некоторых отделениях снизили

заработную плату. Были такие, которые согласились на это. Некоторые ушли.

Но мы остановились, если не ошибаюсь, неподалеку от рыжеусого ажана, который, в свою очередь, остановился у дверей кабачка. Можно сделать больше: можно войти внутрь. Внутри — обеденный час. Рабочие кепки бережно склоняются над бараньим рагу, про которое нельзя сказать ничего хорошего.

Но вот входит еще одна кепка, необычайно потертая, и вступает с хозяином в длинные переговоры:

— Нельзя ли пообедать в долг? Знаете ли, даже в глазах темнеет.

Но хозяин качает головой:

— К сожалению, дружище, совершенно невозможно. Дружба — дружбой, а дела — делами. Очень уж велик долг!

Кепка, покосившись на баранье рагу, медленно уходит. Не рабочий ли это великолепного Ситроена, который поклялся, что на его заводах работа не будет прекращена?

Ошибочно думать, что каждый приезжающий в Париж — прежде всего человек. Он — прежде всего «иностранец». Раньше, в дни благоденствия, иностранец был желанным гостем на берегах Сены. Его ласкали, за ним ухаживали. В магазинах платья раскрывали перед ним шелковые объятия... Чем ниже падал франк, тем выше ценили иностранцев и их валюту. Но вот франк начал подыматься, и волна восхищения перед иностранцами пошла на понижение. Тут произошло любопытное явление: иностранцы, испуганные ростом франка, стали покидать Париж. А парижане, придя в бешенство от этого бегства, возненавидели в то же время тех, кто остался.

Где сладкие слова и ласковые взгляды? Полотер, придя в дом натирать пол и услышав иностранную речь, говорит хозяйке:

— Прошу вас в моем присутствии говорить на языке, который я понимаю. На своем языке можете говорить у себя дома.

В театре, в очереди перед кассой, заметив, что какая-то женщина пытается пройти вперед, с негодованием кричат:

— Безобразия! Наверное, это иностранка! Ступайте в свою страну и делайте там, что хотите!

В автобусе юноша, усадивший свою мать, просит кондуктора посадить ее на такой-то станции, потому что она не знает Парижа и не говорит по-французски.

— А деньги у нее французские? — спрашивает кондуктор.

— Французские.

— Ну, остальное меня не касается. Она выйдет где ей угодно. А если ей это не нравится, пусть отправляется в свою страну.

Эти последние слова повторяются, как ядовитый припев: «Пусть отправляются в свою страну!»

А между тем все беды Парижа начались именно с того часа, как иностранцы «отправились в свою страну». Слишком уж привык этот город к чужим людям. Бесконечное количество предметов изготовлялось для чужих, таких щедрых кошельков. Все эти иностранцы, помешанные на французских духах и чулках, эти нескладные американки, эти немки с круглыми от восхищения глазами, неутомимые англичанки — все, кто наполнял знаменитые автокары, эти огромные автомобили общества Кука, все эти «Кукины дети», как окрестили их русские, — все они поддерживали, питали, холили французскую промышленность. Французы относились к ним, как к добродушным овцам, которые позволяли себя стричь и еще улыбались при этом.

Но вот «овцы» перестали улыбаться. «Овцы» нахмурились и, наконец, вовсе обозлились. Великий стон прошел тогда по всем ателье портных. В магазинах не стало слышно иностранной речи. Ворт распустил на месяц мастерскую. Пату прекратил платежи. Такой-то сократил число рабочих часов, такой-то — число служащих. Слово «шомаж» — безработица — зловеще зашипело всеми своими «ш» и «ж».

Покуда пустуют магазины и прекрасные крокодиловые чемоданы прозябают на полках, на улицах, возле всевозможных справочных контор, скопляются безработные. Необходима хоть какая-нибудь работа. Хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Портные, сапожники, шляпочницы, белошвейки — все эти неутомимые рабо-

чие руки, ловкие пальцы, зоркие глаза с безошибочным глазомером, весь опыт, накопленный целыми поколениями, все тонкости ремесла, превратившегося уже в искусство, — все это пропадает в ожидании работы. А тут еще дождь — не осенний, а зимний — так и сыплет бесполезные иглы на безработных портных. Можно, конечно, юркнуть в соседнее кафе и выпить горячего кофе. Но ведь кофе даром не дается. Деньги же зарабатываются трудно. Вообще все трудно на этом свете.

Однако есть места, где легкость жизни, как музыка, носится в воздухе, где очень тепло, где слишком тепло.

В зале «Ваграм» всего на два дня открылась кошачья выставка. За вход берут дорого: десять франков. Кошек нанесли со всего Парижа... Но это не те тощие, беспризорные создания, которые ночью стонут по крышам и блестят глазами в темных углах. Это — совсем не они. Здесь — красавица из Ангоры, белая, как пена, с изумрудными глазами, совершенно глухая, стоит пятнадцать тысяч франков. Над ней на шелковой ленте повешены в ряд медали и знаки отличий, полученные как ею, так и ее папой, мамой, бабушкой и прабабушкой... В другом месте персидская кошка, похожая на леопарда (весит двадцать ливров), сидя на изумительной подушке, ест бананы. Сиамские коты, остроухие, такой странной раскраски, что она кажется выдуманной досужим человеком, дремлют в клетке, увешанной фонариками. По бокам — таинственные надписи, возможно, кошачьи молитвы, а на ленточке — статуэтка маленького кошачьего бога из яшмы. В другом месте зрителей поражает египетский кот — черный, с желтыми глазами, на высоких ногах, с длинной-предлинной мордой и, что удивительнее всего, без хвоста: он таким и рождается. Пока посетители рассматривают египетского кота, тот принимает обольстительные позы. А его хозяин, мрачный немолодой француз в черных перчатках, объясняет желающим:

— Для того чтобы у кошки была хорошая гладкая шерсть, необходимо каждый день делать ей массаж.

— Вы хотите сказать: вычесывать? — переспрашивают его.

— Я хочу сказать то, что говорю, мадам: именно массаж. Вычесывать — это другое. Но ведь вы, мадам, для того чтобы иметь хороший цвет лица, делаете именно массаж, а не вычесываетесь. Кошки устроены точно так же. Чтобы хорошо выглядеть, им необходимо хорошее кровообращение. Это достигается массажем.

В другом углу три котенка, пышные и желтые, как хризантемы, поднимают к свету розовые мордочки. Возле каждого котенка цена: пятьсот франков.

Пятьсот франков. Две недели жизни.

Глава 9

«КОРОЛЕВА АНИСОВЫХ НАСТОЕК»

В Париже есть перекрестки, где сходятся несколько улиц. Они идут с разных сторон и соединяются в одной точке. В точке этой стоит обыкновенно дом, похожий на уют. На остром конце каменного утюга чаще всего помещается бистро.

Бистро — это кафе без стульев. Правда, у какой-нибудь из стен уютятся один или два жалких столика; при них — горсточка стульев. Но по большей части все это пусто. Средоточие бистро, его сердце — это цинковая стойка, доходящая человеку до груди. Этот прилавок имеет полукруглую форму, как и само бистро. Став возле него и спросив себе чашку кофе или «бок», то есть бокал пива, хорошо подпереть голову руками и подумать о жизни, которая трудна, которая течет, не останавливаясь, которая тает, как пивная пена.

Чем менее нарядна улица, чем меньше на ней кафе и баров, тем щедрее разбросаны бистро. В пять часов утра здесь уже можно получить горячий кофе и горячую булочку-подковку. Рабочие, отправляясь на работу, завтракают здесь стоя. Днем они приходят сюда обменяться мнениями, поклонами и рукопожатиями и выпить рюмочку спиртного... В каждом «квартале» есть свое излюбленное бистро, где все знают друг друга и, главное, где всех знает хозяин. О хозяине стоит поговорить откровенно.

Веселые художники, которые не утратили еще способности веселиться на костюмированных балах, любят наряжаться «хозяином бистро». Костюм этот хорош тем, что дешев и легко достижим. Кроме того, «хозяин бистро» — это тип, это «маска», нечто вроде Пульчинеллы. Он говорит по-особому, его шутки остры и солони. У него своя жизненная философия. Костюм его состоит из шерстяной фуфайки, толстых бархатных штанов и синего передника. На голове — кепи, на лице — рыжие усы, на руке — татуировка: сердце, пронзенное стрелой, подписанное именем Зизи... Очень часто Зизи уже его жена. Она сидит тут же рядом за оцинкованной стойкой и продает марки и лимоны. В свободные минуты она вяжет шарфы из шерсти, синие и коричневые.

Она вяжет и удовлетворенно оглядывается вокруг себя. Все так прекрасно и солидно устроено, у них столько клиентов. И на вывеске, на углу, фамилия ее мужа выведена четкими буквами... Но иногда это не фамилия. Это — название. Бистро может называться по-разному, например: «Свидание друзей-шоферов», или «Радость жизни», или «Моминетт». В одном далеком квартале, на самой окраине Парижа, есть бистро, которое называется «Королева анисовых настоек». «Королеву» окружают лачуги, приросшие к земле, и так называемые дома-блоки. Они строятся корпусами с таким расчетом, что к ним всегда можно пристроить еще корпус; только бы хватило земли. Обычно это фабрика или общежития для рабочих.

Возле «Королевы анисовых настоек» как раз недавно закончили постройку огромных рабочих общежитий. В этих домах поражает их в полном смысле слова «железная» непреклонность. Особенно лестницы. Обычно лестницы всегда скрыты в глубине дома; кажется необходимым предохранить их от всяких внешних причин, могущих принести им вред. Здесь они совершенно обнажены. Дом разделяется как бы на две половины. А в пролете, просто в воздухе, висят обнаженные железные лестницы, идут все выше, на шестой и седьмой этажи.

Вечером громадный дом начинает смутно светиться сквозь туман. Черные переплеты лестниц, окруженные мраком, освещены слабо. Все черно. Все огромно. И в

этот час «Королева анисовых настоек», очень маленькая, очень теплая, особенно привлекает сердца. В такой час «Королева» принимает своих друзей. Хозяин, повыше подкрутив рыжие усы, направо и налево сыплет шутки и улыбки. Он видит все, он все знает, он успевает все. С мужчинами он дружески грубоват, с женщинами галантен.

— Ну что, дружище, как дела? Работаете полностью? Видел вчера вашего инженера. Он проходил тут. Прекрасно выглядит, благодарение небу. Очевидно, безработица не слишком лишает его аппетита...

— Мадам,— отвечает он женщине, справляющейся у него о качестве лимона,— этот лимон так же свеж, как вы сами. Можете мне поверить. Я никогда не обманываю женщин...

— Мадам,— говорит он другой посетительнице, которая с сомнением подает ему потертые десять франков, вернее, две половинки бумажки,— мадам, не беспокойтесь. Я склею их вечером, думая о вас...

Так сыплет он во все стороны любезными словами, покуда разговор не зайдет о семье Руан. А разговор зайдет непременно, потому что семья эта очень несчастна, а несчастья обладают свойством привлекать чужое внимание.

Руаны живут в этом квартале очень давно; они жили тут еще в то время, когда вместо трамвая ходил лошадиный омнибус. Им все время не везло. Наконец они скопили денег и открыли «эписсери», то есть гастрономический и колониальный магазин. Но тут подкатила война, и самого Руана забрали. На войне он лишился обеих рук. Тогда стала работать его жена.

Но совсем недавно она упала в собственной лавке, споткнувшись о ящик с вином. При падении она повредила себе голову. Не произошло ничего особенного. Она вполне разумна, говорит, как все, умеет даже делать сложение и вычитание двузначных чисел, но не больше. Уже при умножении с ней случаются припадки головокружения. Эти припадки вообще повторяются довольно часто и делают ее нетрудоспособной. В такие минуты она жалобно улыбается и держится за щеку, как будто у нее болят зубы.

Таким образом, из двух взрослых людей один лишен рук, другая — головы. Но жить все же надо. И вот голова и руки соединились в Дениз, двенадцатилетней дочери Руанов. Она не по летам серьезна. Она кутается в синий шерстяной шарф, подаренный ей Зизи, «королевой анисовых настоек». Она отпускает товар, получает деньги, ведет переговоры, знает, кому можно давать в долг и кому нельзя. И, странное дело, покупатели забывают, что перед ними девочка, ребенок.

— Как вы думаете, чего бы выпить, Дениз? — спрашивает у нее здоровенный токарь по металлу. — Так вчера покутил, что до сих пор голова трещит. Вы знаете Анетту?

— Которую: рыжую или в полуботинках? — спрашивает Дениз, отвешивая сахар.

— Вот именно, рыжую. Она ведь вернулась ко мне, дрянь этакая! Ну, и повеселились! А теперь голова лопается.

— Я вам советую, месье, рюмочку кирша. И Анетту держите поостороже. А то она видит, что вы без ума от нее, вот она себе и позволяет. Люди ведь, по существу, никуда не годятся.

— Здравствуйте, Дениз, — говорит соседняя консержка. — Дайте мне кофе. Вы знаете, ведь наши жильцы с первого этажа опять передрались.

— Да что вы!.. Мама, сядьте в сторонку: вы мешаете покупателям.

— Передрались как черти, говорю я вам. Она ему бросила в голову новенький сервиз, за который они еще даже не заплатили. И все потому, что он завел себе девочку на стороне.

— Как же, знаю, мадам. Она живет сейчас за углом. Форменная потаскушка! Ах, мадам, люди ведь, по существу, никуда не годятся!

И Дениз продолжает отвешивать кофе и сахар, не забывая в то же время говорить не останавливаясь. Она хорошо знает, что ничто так не способствует торговле, как общение с покупателями.

Иногда, в воскресенье под вечер, она позволяет себе роскошь заглянуть к «Королеве анисовых настоек» и выпить там чашку черного кофе... Странно видеть

эту маленькую фигурку у стойки, достигающей ей до горла.

— Как дела, Дениз? — спрашивает хозяин. — Как торговля?

— Так себе. Очень многие берут в долг и потом не платят. Я даю, потому что без кредита дела не делаются. Но вот, например, Лемерас. Я знаю, они получили от тетки из провинции немного денег. И, вместо того чтобы заплатить мне, которой они должны уже пять месяцев, они устраивают парадный обед, приглашают весь квартал, а провизию забирают в дальней лавке и платят там до копейки. — И, прислонившись виском к прилавку, Дениз добавляет, как припев: — Ах, месье, люди ведь, по существу, никуда не годятся.

Глава 10

«РЫЦАРИ ЧЕРНОЙ НИЦЕТЫ»

На суконной стене, под матовым светом застекленного потолка, была повешена картина. Она называлась «Прачки»... Прачек было трое. В прозрачную воду веселого деревенского ручья, в светлые солнечные струи опускали они синие и розовые ткани. Плечи, белые и нежные, как облака, склонялись над проточной водой. Цвет фартуков был повторен крышами далеких домов. Вся вещь была написана уверенной и смелой рукой мастера, которому везет.

«Мастер» — метр — был тут же, и его имя передавали шепотом друг другу. Сдвинув фетровую шляпу на затылок, он разглядывал полотно соперника. Задумавшись, метр уронил перчатку, толстую, замшевую, очень дорогую. И тотчас элегантная дама, краснея, как девушка, подняла и подала ее владельцу. Все смотрели сочувственно. Это была слава... Но прачки и художники могут явиться и в другом аспекте...

Сена пересекает Париж на две части. Сена, эта избалованная, столько раз воспетая река, небрежно брошена вдоль города. Она перехвачена браслетами мостов. В ней отражаются миллионы вольт. Солнце, дождь, ту-

ман, изморозь — все ей на пользу, все красит ее, потому что она сама красива. Иногда она так хороша, что жалко бросить в нее окурок. И, стоя на мосту над возлюбленной рекой, парижане удовлетворенно вздыхают... Но чем дальше от главных мостов, тем проще река. Она снимает с себя все наряды и остается в будничном, рабочем платье, измазанном сажей и нефтью. Совсем далеко от центра от нее отводят каналы, потому что вода нужна всем, между прочим прачкам.

Вот один из таких каналов, или, как их здесь называют, «бассейнов». «Бассейн» спускается уступами. Можно пройти возле самых шлюзов и взглянуть, как вода вровень с землей наполняет каменные берега. Можно пройти по самому краю, над самой водой. Мостовых нет, ядовитая глина липнет к подошвам. Внизу сыро и сумрачно. Под одним мостом устроена походная кузница, прямо на немощеной земле. В ней — ни души. Одинокое стоит наковальня, и ледяной сквозняк, черный от сажи, шевелит обрывки ремня. Немного дальше — костер. Сырые дрова изнемогают. И не видно ни того, кто зажег их, ни того, кто должен греться...

Выйдя из-под моста, мы идем по размытой земле, изъеденной дождем. Никого нет. Справа нависают корпуса кожевенного завода, пораженного безработицей. И над самой водой, воткнутый неизвестной рукой в землю, стоит старый дырявый зонтик.

У вещей есть свое лицо. Вещи бывают злы или добры. Но никогда еще мне не случалось видеть такого выражения злобной иронии, как у этого зонтика. Кто воткнул его, предварительно раскрыв и обнажив исковерканные спицы? Кому понадобилось в дождливый день так подшутить над и без того за душу хватающим пейзажем? Зонтик клонился на сторону, как мокрая подстреленная ворона. Ветер хлестал его прорехи, но все же он стоял. Он был так же далек от шелковых зонтиков Больших бульваров, как река центра от «бассейна» этой окраины.

Надо рассказать о «бассейне». Вода в нем почти непроточна. Она неподвижного зеленого цвета, на ней разводы не плывут, а стоят неподвижно. И так в продолжение многих лет. А вот и прачки.

Под деревянным навесом, в воде стоят открытые бочки. Вода окружает их до половины, но не проникает внутрь. Между собой они соединены помостом. А в бочках — прачки. Если взглянуть бегло, покажется, что они стоят на корточках. На самом деле половина их туловищ скрыта бочками. На помосте лежат груды белья. И в холодные жирные воды канала непрерывно опускаются руки.

Какое здоровье надо иметь, чтобы целый день стоять в ледяной воде, отделенной от тела только полусгнившей деревянной стенкой! Какое здоровье нужно иметь, чтобы носить белье, вымытое в этих водах!..

В первой бочке — толстая опухшая женщина, завернутая в рваную шерстяную косынку. Красные руки, налитые венозной кровью, держат валеки. Нижняя губа прикушена от усилий. Рядом с ней тоненькая, маленькая, с зеленоватым лицом. Она выкручивает бесконечную простыню. Рядом с ней, на груди мокрого белья, сидит шелудивая одноглазая кошка и смотрит на воду. Дождь идет весь день.

Были прачки. Теперь очередь художников.

Совсем в другом конце города, где нет ни реки, ни «бассейнов», есть тупик. В этом тупике — своего рода городок, где живут самые нищие, самые злосчастные из всех злосчастных, когда-либо посвящавших себя живописи и скульптуре... Трудно рассказать, из чего состоят их дома; точнее, это один большой круглый дом. У входа две каменные женщины, эпохи Виктора Гюго, охраняют каждого посетителя этого места. На доме некогда был плющ. Как же без плюща в столь романтическом убежище! Но теперь он вылез и облысел: остались серые стволы и несколько окаменевших листьев. Лестница уходит во мрак по трем направлениям. Пойдешь прямо — попадешь к живописцу, налево — к скульптору, прямо — к женщине, делающей восковые цветы. Все трое мрачны.

Но, какой ни на есть, это все же дом. Это — основная постройка городка. Его в свое время выстроил какой-то предприимчивый человек и сдал под мастерские. За плющ была соответственная надбавка. Но за круглым домом скопилось великое множество маленьких коробок из камня, картона и стекла и тоже образовали жилища.

Здесь можно встретить крышу из цинковой ванны и парадную дверь из папье-маше. Здесь обломки кирпича непостижимо держатся в воздухе, образуя арку. Окно, отделанное устричными раковинами, дает возможность видеть подоконник из папиросных коробок. На дверях — надписи, составленные со смертельным юмором: «Живописец такой-то. Живет здесь безвыходно сорок лет. Друзей принимает исключительно ночью, когда не видно дыр. Привет».

Сорок лет!..

Что потрясает в этом месте — это тишина. И всюду запах сырой замшелой земли и каменные торсы, покрытые мхом: неудавшиеся свершения великих замыслов. Один из торсов, гигантский, изогнут мучительно. Он наполовину врос в землю. На голове у него голубиный помет.

Немного в стороне, в металлических клетках, живут голуби. Они неподвижны. Почему-то их кормят рыбой. В клетках висит полубглоданный рыбий остов. За клетками — свалка. Там, среди обрезков жести и старых подрамников, чернеют смятые, скомканные полотна. Не лежат ли и они здесь сорок лет? Но их дыры видны даже ночью.

Уже уходя, мы замечаем подобие живого существа в этом царстве запустения и неудач. Это — ведро, забытое под краном. Вода течет неудержимо. Она давно перешла уже все границы и льется прямо на землю. Ее голос — единственный, который звучит в городке «неудавшихся художников». Их живет здесь несколько сот.

А вот еще одна надпись. На синей каменной двери — бурый плакат. На плакате черный грубый силуэт всадника на костистом коне. В руках сломанное копьё. Внизу подписано: «Общежитие «Рыцарей черной нищеты».

Глава 11

«НУТРО» ПАРИЖА

Как беспокоен, как глубоко беспокоен большой город! Говорю «глубоко» в самом прямом смысле этого слова, ибо глубоко под парижскими улицами протекает

своя жизнь, не менее шумная, чем на его поверхности. На улицах и под улицами шумнее всего от шести до семи часов дня. Автомобили стоят, тесно прижавшись друг к другу, и вопят неистово: «Эй вы, передние, продвигайтесь же!» Но передние не продвигаются: им, в свою очередь, мешают другие. Трамваи и автобусы переполнены. Лошади не видно ни одной.

В Париже осталось всего каких-нибудь пятьдесят фиакров. И город не разрешает никому из этих извозчиков обзаводиться новой лошастью. Конечно, запрещение это не относится к частным лицам. Частные лица могут развлекаться как им угодно. В Париже есть семьи, для которых автомобиль слишком беспокоен, слишком общедоступен, слишком демократичен. В таких семьях водятся лошади.

Изредка на какой-нибудь тихой и очень спокойной улице, где в домах всегда прищурены шторы, можно еще увидеть удобное ландо и в ландо даму, немолодую, в боа на шее, с лицом над вуалью (каких теперь не носят). На козлах кучер в пелеринке, тоже немолодой; и лошадь, тоже немолодая, двигается не быстро. Все трое неодобрительно смотрят на мир. И, вероятно, он кажется им ужасным, полным страхов, выскочек и автомобилей.

Много лет тому назад в Париже были веселые похороны. Хоронили последний лошадиный омнибус, последнюю лошадиную романтику. Хоронить старый омнибус явились молодые автобусы, пришедшие ему на смену. Это было грустно и весело... Омнибус шел впереди. Он был весь в черном. Траурные перья колыхались на лошадиной голове. На одно ее ухо был повешен маленький венок из незабудок. Сзади длинным хвостом следовали блестящие автобусы. На руле у них были банты: они начинали жить. Они проследовали за омнибусом в его последний рейс. Он остался, они вернулись. Кучеров, старинных толстых кучеров, про которых Диккенс в свое время сказал, что их «психология еще недостаточно исследована», сменили проворные шоферы. Между прочим, быть шофером в Париже дело нелегкое. Нужно сдать два экзамена: на умение управлять машиной и на знание улиц. Шоферы должны знать название и расположение

всех парижских улиц. Иногда они по три, по четыре раза держат экзамен. Впрочем, иностранцев шофер узнает моментально и, забывая все, чему его учили, везет самой дальней дорогой.

Но если на улицах Парижа так тревожно и людно, то не менее тревожно и людно под Парижем. Там есть метро. И метро — это целый мир. Почти три четверти Парижа по крайней мере три четверти часа проводит в метро... Вы сходите по лестнице вниз. Внизу особый воздух, который с непривычки угнетает. Воздух без дождя, солнца и ветра. Иногда на поверхности улицы из решетки дохнет на вас нездоровым теплом, отгоревшим дыханием. Это метро выдохнуло отработанный кислород — углекислоту.

В метро всегда тепло. Купив билет и опустившись под землю, вы можете провести там целый день, бесконечно пересаживаясь и сидя на вокзалах. Но если вы выйдете в заповедную дверцу, над которой написано: «Выход», билет теряет силу. Зимой, когда очень холодно, есть люди, которые целый день проводят в метро, спасаясь от нетопленной комнаты. Иногда это — безработный, иногда, быть может, поэт. Поэты, которые отогревают там свои пальцы настолько, что могут держать перо. Времена меняются... Раньше поэты обитали над землей, в мансардах, теперь опускаются под землю.

Вокзалы метро с их сводами, выложенными кафлями, неустанно отражают огни электрических ламп. Иногда несколько вокзалов расположены один над другим. Несколько линий метро прорезают землю, и, дожидаясь своего поезда, вы снизу и сверху, справа и слева слышите гулы и гуды. Земля сотрясается. Это где-нибудь, снизу или сверху, справа или слева, прошел поезд...

Есть места, где метро идет по трубе, положенной на дно Сены. Там, вместо кафельной облицовки, железные листы, железные скрепы, ржавые болты, сдерживающие напор реки. Вот здесь сейчас, за этой железной переборкой, стоит холодная черная вода.

Какие длинные галереи есть внизу, лестницы простые и лестницы самодвижущиеся, подъемные машины,

повороты и закоулки. Если ошибетесь направлением (что часто бывает), пойдет вас кружить по петлям подземного лабиринта.

Иногда, правда очень редко, метро выходит на поверхность земли. И тогда оно идет высоко по железным мостам, вровень с третьим этажом. Невыразимо сладостен тогда дневной свет и свежий надземный воздух. Облака более выпуклы, чем всегда. Люди, идущие по улицам, выглядят счастливыми. Но это продолжается недолго. Поезд начинает опускаться... Вот он идет вровень с рестораном на втором этаже. Вы видите салфетки на столе и графины с вином. Вот поезд идет вровень с землей. Еще минута, и он уходит под землю. Еще вы видите просвет, еще своды не сомкнулись, наверху еще кусочек неба. Но наклонная плоскость не знает остановки. Прошел миг, и снова лампы змеятся в холодных кафлях.

Но не только метро заключено в недрах Парижа. Там есть еще знаменитые сточные трубы «эгу». И есть там катакомбы — старинные, еще римские, каменоломни. Многие дома Парижа выстроены из их легкого и рассыпчатого камня.

Постепенно, — по мере того как парижские кладбища переставали вмещать своих мертвых и исчезали, теснимые живыми, — кости всех этих мертвецов свозили в отработанные переходы старинных каменоломен. Очень много костей было перенесено сюда в годы революции, когда весь город перекраивали наново... Теперь в катакомбах кости трех миллионов человек.

Раз в неделю на площади, у входа в катакомбы — толпа. Здесь пожилые английские дамы, удобно одетые, сосредоточенные. В лицах своих дочерей они повторены, как в чудесном омолаживающем зеркале. Те же черты, те же глаза. Но у одних гладкая седина и под глазами лучатся морщинки. У других — белокурая свежесть яблочного деревца, пепельное облачко волос и тень от ресниц, как от лепестка... Молодые англичаночки, и старые англичанки, и шумные американские юноши, и мы, советские люди, — мы все покупаем обструганную щепочку; на ней свечка. С этим мы спустимся вниз. Это наш светильник.

В назначенный час приходит некто с ключами и открывает дверь, ведущую вниз. И вот по одному, друг за дружкой, мы начинаем опускаться все ниже и ниже, девяносто семь ступеней, если не ошибаюсь... После ступеней — коридор. В коридоре уже нет электричества. Мы зажигаем наши свечи. Глухо звучат голоса.

На потолке, на влажном камне — густая черная полоса; она указывает путь тем, кто вздумал бы отклониться в боковые переходы. Пока есть черная полоса — путь правилен. Со стен капает вода. Иногда она даже невесело журчит. Наконец мы приходим туда, где начинаются кости.

Они сложены в величайшем порядке, сплошной стеной. Берцовые кости, круглыми концами прижатые друг к другу, напоминают вал из крупных булыжников. Стена костей превышает рост человека. Скупое освещенные пламенем свечи, теснятся ровно сложенные берцы. Здесь все сгладилось, все земные разнообразия. На сплошном фоне берцов черепа образуют кресты, узоры, круги, эллипсы, целый орнамент. Не знаю, какие мрачные художники заведовали этим устройством, но впечатление потрясающее.

Здесь есть площадки и переулки. Смутные тупики, где округло поблескивают черепа. Особо пышные ниши, где, склонив голову набок и сложив кости рук на костях колен, сидят целые скелеты. Большая круглая площадь, где посредине (из костей же) сложен не то маленький храм, не то часовня, с колоннами и куполом. Черная полоса на потолке образует в этом месте смоляной крест. И всюду кости: черепа и берцы.

Мы идем. Свечи горят. Постепенно стихают все, даже розовые английские подростки. Даже американцы, которые были вначале очень веселы и шумны, пели, свистали, перекликались, кричали: «Алло, алло!», расписывались на черепных коробках автоматическим пером, — даже и эти американцы стихают. Они вполголоса читают стихи Ламартина, выгравированные на мраморных досках. Стихи о смерти, о бренности и тленности, о зыбкости земного бытия, которое течет, как песок в песочных часах, неудержимо.

И потом опять лестница. Она вьется, ступени высоки. Сердце, наглотавшись могильного холода, дышит глубоко и жадно. Свечи мы гасим: они больше не нужны. Все выше, выше. Впереди уже брезжит свет. Он ярче, ярче. И наконец, — о радость! — воздух, живые люди, небо, солнце, солнце, солнце. Такси и трамваи.

— Едем домой, — говорит мой спутник. — «Возьмем» (так говорят русские в Париже, переводя с французского), «возьмем» метро. Спустимся вниз.

— Нет, — отвечаю я. — Хотя это и неудобно и далеко, но на этот раз «возьмем» трамвай. Снова под землю, о нет...

Луна, обособленное небесное светило, все же прикреплена к земле. В зависимости от страны она меняет свои лики. Зимней ночью в Москве — это яркий шар, плывущий в бездне морозной ночи. В Париже, над бульваром Сен-Мишель, худая острая луна борется с дождем, препирается с ветром, ныряет в туман. И все это в январе месяце.

Возле площади Сен-Мишель помещается улица Сент-Андре дез-Ар. Там есть один тупичок... Сырые камни обступили его вплотную. В тени одной из подворотен в очень удобной нише темнеют обычно целерины двух ажанов, непременно двух. Это означает, что поблизости притон. Впрочем, это название не вполне подходит для маленького погребка, так называемого «Каво Болé».

«Каво Болé» не притон, но и не вполне достойное место. Это — притончик, назовем его так. В нем — дыхание старого Парижа, которое в других местах почти уже выветрилось.

Находясь не на Монмартре, а в сердце Латинского квартала, место это сохранило нечто от старого, от довоенного Парижа, когда американские товары не смели появляться во французских витринах и полновесный золотой франк не рассыпался еще бумажной трухой. В погребке этом как будто не слышали о войне. Но это только «как будто»...

Прежде чем спуститься вниз, любопытно посмотреть, что повешено и понаписано на стенах верхней комнаты. Из вежливости назовем ее «фойе». В «фойе» на стенах картины, подлежащие продаже. Вернее говоря, они

хотели бы быть проданными. Каждым своим штрихом, каждым мазком кисти они вопиют о жажде быть купленными. Все «этюды голого тела» здесь худосочны и мало-кровны. Все «натюрморты» мечтают о хлебе, все они голодны. Картины расположены на трех стенах. На четвертой, на старом поздравном камне, карандашом, углем и ножом вытатуированы блестящие имена, гордость погребка.

Тут и Оскар Уайльд, и д'Аннунцио, и, конечно, Верлен. Есть ли в Париже кабачок без Верлена? Имен много, потому что, по слухам, погребок очень стар. На одной из его дверей даже написана какая-то фантастическая цифра. Но ей не надо верить. И все же кабачок стар. Почерки всех стран переплетают здесь свои закорючки. Тут и Джек, и Боб, и Рабинович, и какой-то Арчибальд. Мы читаем подписи, а снизу, из глубин погребка уже несутся звуки хриповатого женского голоса. Ибо там уже началась «программа».

Внизу надо сесть, что вовсе не так легко. Скамьи забиты публикой, сырые своды висят над головой. И Жак — тамошний гарсон, чей карандаш за ухом, голые до локтей руки и фартук, забрызганный красным вином, делают его похожим на мясника, — принужден взять вас под локоть и втиснуть на место.

Вы садитесь, и тотчас же с одной стороны на вас наваливается зеленая стена, а с другой — такой же зеленый художник. История его коротка. Он — голландец. Он приехал в Париж за славой, за деньгами, за легкой и удачливой жизнью. Приехав, был он краснощек, с юными зоркими глазами и проворным карандашом. А теперь Париж выпил из него все силы. Он катился все ниже, пока не докатился до этого места. Он пьет вино и нюхает кокаин. В данную минуту художник вонзает в ваш профиль свой уже дрожащий карандаш: назревает портрет. Сидите спокойно: вы не будете похожи на себя. Линии будут расплываться и гнуться. Но нечто будет в рисунке от прежнего мастерства. А самое главное, вы дадите за это удовольствие два-три франка. Художник немедленно закажет себе стаканчик белого. Он выпьет его медленно за ваше или за свое здоровье.

Портретист, и вы, и всякий другой платят за свое вино немедленно. Здесь нет этих тонкостей шикарных ресторанов, где человеку доверяют такую драгоценную вещь, как телячья отбивная, не беря денег вперед. В шикарных ресторанах платят деньги по насыщению. Но здесь не то. Здесь знают, что такое жизнь: деньги на бочку, и никаких гвоздей.

Но программа... программа... Мы забыли о ней.

В стене небольшое углубление — это эстрада. Старый ноздреватый камень раздался в стороны, чтобы дать место двум стульям и небольшому пространству величиной с табурет. На стульях — оркестр: мандолина и гитара. Мандолина черноволоса, очень нервна, у нее тик. Гитара немолода. Седоватая борода окружает грустные губы, на крутом лбу — морщины. Крупное тело грузно оседает на стуле. И мандолина и гитара — итальянские социалисты, изгнанные Муссолини за пределы отечества.

«Тяжело жить-жить-жить...» — тоненько выводит мандолина своим пичикатто. И гитара подтверждает: «Там-там-там...» А здесь? — хочется спросить ее. «И тут-тут-тут», — торопится ответить за нее мандолина. Тяжело!.. Италия осталась далеко позади.

«Если за руку ты меня берешь, у меня по телу проходит дрожь», — поет в это время на «эстраде» очередной певец. Содержание песни старо, как мир. Сначала любовь, потом ревность, потом смерть. Сначала любовь: «Если за руку ты меня берешь...» Действие разворачивается в апашском кабачке. «Они» встречаются. Они оба молоды. Вспышка молнии — любовь. Потом — ревность. «Он» убивает ее простым ножом, и кровь льется на устричные раковины. На шум являются ажаны... конечно, вдвоем. Но в апашском притоне на вид все спокойно. Танцы продолжают. «Он» держит в объятиях труп своей возлюбленной. Танцы продолжают. «Он» поет: «По всему телу проходит дрожь». Полиция, успокоенная, уходит...

Кто сказал, что война не заглядывала под эти своды, которые некогда Верлен почтил своими посещениями и своими стихами?.. Очередной номер — «гвоздь» этого места, Пьер Жигуй.

Он действительно талантлив.

— Он мог бы выступать даже в «Казино де Пари», — с гордостью говорят о нем его поклонники. — Он мог бы перепеть там Мориса Шевалье. Но он не желает щекотать нервы «паршивым иностранцам». Он лучше споет здесь для своих ребят с Монпарнаса, которые «делают искусство» и у которых нет денег для аристократического «правого берега».

И вот появляется Пьер Жигуй. Он в шерстяной фуфайке, широкоплечий, русый, на лбу клок; похож на московского комсомольца на клубном собрании. Гром аплодисментов встречает его. Даже лакей Жак, оставив обычный скепсис, бешено хлопает с двумя кружками пива в руках.

— «Моя дорогая!» «Любовь на ветке!» «Незаконнорожденный отец!» «Моя дорогая!» — кричат из разных углов.

Все это — названия наиболее популярных номеров Пьера Жигуй. Он переживает всю эту бурю и говорит:

— Я прочту монолог «Мертвый немец». — Пьер Жигуй, как настоящий кабаретный актер, умеет все: петь, танцевать, произносить монологи.

«Мертвый немец». Мертвый немец в окопах... Вот она война... Пьер Жигуй тут же, на глазах у публики, надевает картонное кепи и обматывает шею кроваво-красным платком: это он солдат и он ранен. Все делается просто, как во времена Шекспира, когда слово «лес», написанное на картоне, заменяло сложнейшие декорации и конструкции. Здесь же, кстати, каменные своды, вероятно, недалеко ушли от окопов... Итак, «Мертвый немец»...

— Кто говорит, что я трус, — начинает Пьер Жигуй низким голосом, от которого по телу проходит дрожь. — Я видел смерть. Я видел кровавую маску смерти. Но я не боюсь ничего, за исключением... крыс.

И он рассказывает, как он, раненый, лежал лицом к лицу с мертвым немцем. Один и тот же снаряд похоронил их в глубине окопа, оставив узкую щель. При свете далеких пожаров багровело лицо врага; оно начинало двигаться. Да, да, оно шевелилось. Оказывается, это

были крысы, грызущие его внутренности, его череп, его грудь.

— ...Тогда я, — непередаваемым шепотом говорит Пьер Жигуй, шепотом, от которого замирает весь кабачок (в тишине слышно, как сырость стекает где-то в углу), — тогда я вынул револьвер и выстрелил в лицо мертвеца. Если вы меня спросите, трус ли я, отвечу: нет. Я видел смерть. Я видел кровавую маску смерти. Я не боюсь ничего, за исключением... крыс.

Без двадцати два программа кончается. Ночь сыра и темна. Полицейские, опустив черные мокрые крылья пелерин, дежурят в тени подворотни. Необходимо дойти до площади Шатле, откуда в половине третьего ночи расходятся во все стороны последние ночные автобусы. Ибо такси, дорогие днем, ночью из-за удвоенной таксы становятся невозможными.

На площади Шатле из темноты к нам подходит старая женщина и берет одного из моих спутников за руку...

— «Когда за руку ты меня берешь, у меня по телу проходит дрожь», — невольно произносит тот.

— Мой дорогой месье, — говорит старая женщина, — покуда придет автобус, я успею рассказать вам одну историю.

Женщина стара. Самое страшное у нее это не лицо, гладкое, желтое, наполненное водой, не глаза без ресниц, не багровая шишка под правым глазом, не запах пота и вина, а шляпа. Шляпа этой женщины состоит из тюля, похожего на гной, и птичьего глаза: головы нет. Но стеклянный глаз смотрит неотступно. Из глубины глаза, на нитке, свисает нечто — это птичий клюв.

— Покуда придет автобус, я успею рассказать вам одну историю, — говорит женщина.

И она рассказывает.

Одна история

— Мой дорогой месье, и вы, ма петит дам, вы, конечно, думаете: «Вот старуха, которая напилась и которой не спится». Я не отрицаю, что выпила два стаканчи-

ка и еще один в долг, а может быть, их было два. Не утверждаю, потому что не помню. А не спится мне потому, что негде. Но не это побуждает меня начать рассказ. Надо же когда-нибудь с кем-нибудь поговорить... Дорогие мои месье-дам, я вижу, вы слушаете меня, вы никуда не торопитесь. Вы подарили мне свое время, драгоценное время. А я по опыту знаю, что люди могут дать все: деньги, вещь, даже еду, только не время... И вот представьте себе, я не знаю, что вам рассказать. Я собиралась поговорить с вами о жизни: не думайте, что это — вино. Я, правда, выпила три стаканчика или четыре. Точно не утверждаю, потому что не помню. Но это не вино говорит во мне... Все-таки, что же вам рассказать о себе? Я так долго ждала, чтобы кто-нибудь согласился выслушать меня... Мое детство? Вот никак не могу припомнить, что со мной было в детстве. Молодость я тоже что-то не помню. Вероятно, была какая-то молодость, да вот не могу припомнить. А вот не так давно, лет десять тому назад, я была очень счастлива: я была приходящей прислугой в одной семье и очень неплохо справлялась, уверяю вас. По воскресеньям у меня был свободный день, а в субботу я готовила им рагу из кролика или барашка. Потом я опять очутилась без места, не помню, как это случилось. А теперь я совсем без всякой квартиры. Ночи очень длинные. Меня три раза приводили в полицию: спрашивали, чем я живу. Они сказали там, в полиции, что если еще раз меня приведут, тогда... Вот не помню, что будет тогда. Все это неприятно... Вы спрашиваете, как же все-таки я провожу ночь? Здесь поблизости есть места, открытые всю ночь: кафе или ресторанчик. Там, если есть немного денег, можно просидеть почти до самого утра. Вы кладете голову на стол, можно даже спать, если нет пьяных. Бывают там шутники, которые будят. Один раз плюнули мне за воротник, другой раз бросили разваренную луковицу. Поверьте, люди не злы, но если ночь длинна и спать негде, то поневоле приходят в голову разные мысли... Вот как будто и рассказала все, что хотела. Нет, не так: я хотела рассказать много, очень много, всю жизнь. Но я вдруг увидела, что жизни никакой не было. Это очень странно, мои дорогие месье-дам, но

это так: не было жизни. Никто мной не интересовался, за исключением полиции. А теперь ваш автобус скоро придет. Не будете ли вы добры дать мне франк или два. Я выпью за ваше здоровье рюмочку. Ночь холодная, а до рассвета еще далеко. А кроме того, — тут она сделала из руки щиток и сказала моему спутнику на ухо так, чтобы я не слыхала, но я услышала, — кроме того, дорогой меесье, если вы хотите, то можете пойти со мной, вот туда под мост... недалеко. Я, конечно, не молоденькая, но я знаю штучки, которые могут развлечь вас. Нечто совершенно новое, уверяю вас, хи-хи-хи! — И, говоря это, она покачивалась на старых, опухших, подагрических ногах.

Ночной ветер вокруг нее был отравлен зловонием немощного тела. Одутловатое лайковое лицо казалось еще желтее от багровой опухоли. А птичий глаз одиноко блестел при холодной, сырой луне... Пришел автобус.

Глава 12

ОДНА ИЗ ЛИХОРАДОК

Нет ничего более занятого, чем смотреть на того, кто, в свою очередь, смотрит на что-нибудь. Тогда раскрывается все нутро, вся душа человека, если она есть. А если нет, то какие причудливые формы бездушия проходят перед глазами.

Смотреть на смотрящего удобнее всего в кино. В ряду зрелищ всего мира кино — первое. Оно понятно и доступно всем. Величайшей победой кино является та минута, когда зал разражается рукоплесканиями. Кому рукоплещет зал? Актерам, которых нет, экрану, который бесчувствен, автору, который зачастую мертв? Нет, он рукоплещет самому зрелищу.

В какой бы город я ни приехала, я обязательно иду в кино. В темноте, под жужжанье светового луча, мне становится ясно многое...

Я помню в Константинополе... нет, это было в Кадикее, под Константинополем, на берегу Мраморного моря... В путеводителе про это место сказано, что оно

очень старо, на семнадцать лет старше Византии. Когда-то там была Халкедония. А теперь — это турецкий городок. Из Константинополя переправляются туда на пароходике, который переполнен всегда так, что страшно смотреть. Летом на улицах — тишина. Часы медленно падают один за другим, как четки из сонной руки. Толстая лиловая глициния ползет по крышам и цветет и пахнет. В кофейнях — кофе густое, как сметана, блестящее, с матовой пленкой, словно восточные глаза, затуманенные страстью. Неподалеку от Кадикея есть такое: многосотлетний платан, и в нем дупло. А в дупле — ковер. Это тоже кофейня. Сядьте туда, и вам подадут чашку турецкого кофе, блестящего, с матовой тенью, сваренное в крохотной кастрюльке с предлинной ручкой.

— В этом сосуде помещается только одна чашечка, подобно тому, как в сердце правоверного — только одна мысль об аллахе, — объяснил однажды кафеджи, то есть тот, кто готовит кофе.

Однажды, в безмерно жаркий день турецкой весны, истомленные сверканьем моря, мечетями, где жили голуби, и мечетями, где голуби не жили, обессиленные гранатовыми деревьями в цвету, мы сели в это дупло, на этот ковер. И там кончился один мир, и начался другой. Тот мир, который есть покой. Там была прохлада, густая, как вода. Листья шептались над головой. Вместо потолка была ткань дерева. Вдали яростно, но уже обезвреженно сияло море. Шум города достигал сюда умирающей звуковой волной: или это звенели пчелы, или шептались листья...

Закат этого дня был тоже ярок и жарок. Мраморное море стало совсем шелковым. Оно шелестело, словно крылья голубя. Запрокинутый закат смотрел в эту голубиную глубину. Море шелковело и таяло. Оно прошло все оттенки алого, голубого и розового, пока не стало серебряным, и таким осталось на всю ночь. А ночью взошла луна. Она была молода, но уже ослепительна. Мраморное море сделалось похожим на озеро, только что рожденное и всплывшее на поверхность земли. Дельфины, вызванные из глубины лучами луны, плескались так сильно, что грозили перевернуть легкую длинную турецкую лодку, каик. Мы сидели в лодке, и нам стало

весело и жутко от этих дельфиновых игр, так же как во сне от полета.

Луна, очертив в небе положенную ей дугу, скрылась. И тогда опустился над морем мрак. Лодка поплыла неслышно, прямо по темноте. Иногда в разных точках моря вспыхивало кровавое рваное пламя; оно освещало нос лодки и человеческую руку над водой. Это ловили лангустов.

Лодка остановилась. Мрак тяжело заколебался, как бархатный занавес. Несколько каменных щербатых ступеней подымались из самой воды. Здесь же была касса. Все это вместе было входом в кино. Кино над самым Мраморным морем, в городке, который некогда был Халкедонией. Кино, чей вход охраняли старый седой турок и две магнолии... Там, в этом кино, была подлинная Турция, невзирая на то что там была и Европа. Европа рассекала световым лучом зрительный зал. Европа была в кепи и шлемах английских офицеров, которых тогда было очень много в Кадикее. Европа была в Диане Каррен, на экране изображавшей любовь. Но в запахе магнолий у входа, но во влажном дыхании моря у самого входа, но в черноте ночи у самого входа была Турция. А самая главная Турция была в ложе, особой ложе у экрана. В ложе, отделенной от зрительного зала чем-то тяжелым, чуть ли не телячьей кожей, сидели турецкие женщины. Конечно, на них были чадры. Чадры окутывали все лицо, только глаза, блестящие и матовые, как турецкое кофе, поблескивали по направлению Дианы Каррен.

Они были вполне и непроницаемо укрыты, эти турецкие женщины, и все же это были «передовые» женщины, уже вызывающие укоризненные шепоты по своему адресу. Потому что настоящая, истинная турчанка должна сидеть дома в столь поздний час или гулять в своем саду. А здесь были чужие люди. Мужчины.

Когда Диана Каррен, мотая копной золотых волос, неслась на лошади или правила автомобилем, или, притихнув, целовала возлюбленного, по зале проносились турецкие, армянские и греческие восклицания. Турок у входа (или это был грек) произносил: «Цк-цк-цк», что означало высшую похвалу. А за телячьей кожей поблескивали глаза...

В Париже можно пойти в кино куда-нибудь на Елисейские поля. Туда ходят по большей части те, которые носят дорогие меха. Там в антрактах говорят об искусстве негров или о «высшей политике». Туда принято приводить маленьких японских собак и кормить их конфетами и апельсинами. И в самую трепетную минуту, когда должна быть тишина, когда даже фортепьяно и виолончель стихают и только вздыхает скрипка, когда «она» лежит на льдине, а «он» спешит к ней по другим льдинам, в эту минуту раздаётся собачий вопль и громкий женский голос:

— Месье, куда же вы садитесь? Здесь же лежит собака. Я заплатила за два места.

И ответ:

— Мадам, тысяча извинений! Я был уверен, что это— муфта.

Такое кино ничего не стоит.

Но если пойти на Монпарнас, например. Какие слезы я там видела!..

Путь каждого хорошего кинофильма обычно таков: сначала несколько недель рекламы, кричащей о боевике. Газетные и журнальные заметки, интервью с режиссером и портреты звезды с огромными ресницами. И наконец появление фильма на Больших бульварах, в кольце огней и оправах очередей у кассы... Так проходит «первый» экран... Но за первым экраном идет второй, третий, четвертый. Затем картина исчезает и на время возвращается снова. Тогда это называется «реприз». На реприз ходят люди, чей кошелек не позволяет смотреть премьеры. Репризные кино расположены обычно у самого входа в метро. Спустившись с облаков какой-нибудь восточной феерии, надо тут же опуститься под землю.

Просматривая репризные объявления, я наткнулась на картину, совершившую блистательное турне по первейшим экранам. Это была «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина.

Было все как полагается. Небольшая окраинная площадь, красный глаз метро; на площади рюлетка, где можно выиграть папиросы, граммофон и будильник. И два кино, одно против другого. Оба в плакатах и

цветных огнях. В одном шла «Золотая лихорадка», в другом — новая картина: «Тити Первый, король сорванцов». Тут же был изображен и сам Тити, двенадцатилетний поганец со сладостно просветленным лицом. Похождениями этого Тити ежедневно услаждала публику одна из бульварных газет города Парижа. Теперь предстояло увидеть все это на экране... На афише другого кино был изображен Чарли, бедный Шарло со сползающими брюками.

На площади, неподалеку от рулетки, остановилось двое мальчиков возраста несравненного Тити. Они совещались, куда им пойти. Где лучше потратить имеющиеся у них три франка. Один стоял за Тити, другой — за Шарло.

— Ведь мы уже видели Шарло два раза, — говорил один. — А Тити мы видели только первую серию. А теперь мы увидим пожар и как он спасает дочь графа.

— А башмак? — спрашивал другой. — Ты забыл про башмак? А курица? Ты забыл про курицу?

И они пошли смотреть башмак и курицу, и я пошла вместе с ними.

Сначала показали детектив, один из тех, которые выбрасываются на рынок целыми тюками. В данном случае это было тем более неприятно, что детектив был не американский, а французский, подделанный под Америку.

Некто Джек — личность несомненно темная — связался с женщиной под названием Красная Мышь. Красной Мыши везет, и она выходит замуж за прокурора. Но вот Джек выходит из тюрьмы, куда угодил в результате темных делишек. Выходит он из тюрьмы, говорим мы, и начинает преследовать Красную Мышь, бывшую свою сообщницу. Несколько раз он мог окончательно погубить ее, но воздерживался. Наконец обстоятельства сложились так круто, что нужно или выдать, или погибнуть самому. Он выбирает последнее и умирает как джентльмен. На требование полиции открыть имя неуловимой бывшей своей сообщницы, за что ему обещано прощение, он отвечает: «Джек никогда не предает женщин». И умирает.

Публика, охваченная уже «Золотой лихорадкой», слабо воспринимала эту картину. Наиболее экспансивные пытались даже протестовать. Наконец все пришло к концу. В зале зашевелились. Начался антракт. Разнесли по рядам апельсины и эскимо, шоколадное мороженое, завернутое в серебряную бумагу и насаженное на палочку. На экране появилась надпись, сначала не вполне отчетливая. Но когда в зале потемнело, слова «Золотая лихорадка» выступили вполне ясно. Раздались аплодисменты. «О-о», — сказали мальчики, посмотрели друг на друга и замерли...

Дело происходит на Аляске, куда со всех концов света устремились люди в погоне за золотом. Они бредут по необозримым снегам, они падают от истощенья и холода, и никто из идущих не останавливается: каждому грозит одинаково страшная участь, и нельзя тратить на жалость ни одной крупицы драгоценных сил. Со всеми прочими идет и жалкий, смешной, в болтающихся брюках и с тросточкой Чарли, бедный Шарло. Его предусмотрительность и забота о будущем выразилась единственно в том, что за спиной у него висит на резинке соломенная шляпа... Страшно смотреть на Чарли, когда он, поправляя котелок и играя тросточкой, танцующей походкой идет по краю пропасти. Вокруг него тысячи опасностей: он их не замечает. Из-за скалы выходит бурый медведь и идет по пятам Чарли, обнюхивая его брюки; Чарли даже не подозревает об этом... Разражается страшная снежная буря. Чарли холодно, он замерзает, он голоден, он одинок. Наконец он поселяется в хижине с одним здоровенным и высоченным дядей. Обоих их мучает голод. Особенно тяжело приходится толстому великану. Его начинают одолевать галлюцинации. Вместо своего товарища по несчастью, вместо Чарли он видит огромную курицу, которая хлопает крыльями и вращает головой. «О-о, курица!» — пронесся вздох по залу. Мальчики рядом со мной взглянули друг на друга и снова замерли.

Озверев от голода, товарищ Чарли хватается за ружье, чтобы подстрелить соблазнительную птицу. Но тут наважденье проходит: вместо курицы — Чарли, в ужасе бегущий от наведенного на него ружья. Толстый

человек добродушно смеется: ведь вот какая глупость может иногда померещиться! Человеческое существо принять за курицу!.. Но через минуту огромное бородатое лицо, обернутое мехом, снова темнеет: «Смотри-ка, смотри!» Опять большая, в рост человеческий, курица хлопает крыльями, как бы приглашая сварить из нее суп.

Голод достигает ужасающих размеров, и Чарли решает пожертвовать одним из своих башмаков. Он варит его в кастрюле медленно, любовно придерживая ложкой на поверхности кипящей воды и пробуя вилкой: сварился ли. Наконец башмак сварился. Чарли подает его на большой тарелке. С необыкновенной грацией, как метрдотель в лучшем ресторане, он отделяет верхнюю часть подошвы. Верхняя часть, хорошо разваренная, легко снимается. Остается подошва с деревянными гвоздями, торчащими кверху, словно рыбы кости. Чарли предлагает подошву своему другу. Но тот, ни слова не говоря, пользуясь правом сильного, забирает себе верхнюю, более питательную часть. «О-о, башмак!» — шепотом восклицают мальчики рядом со мной и погружаются в молчанье.

Чарли ест подошву. Он отрезает кусок, кладет в рот: совсем не так плохо, право слово! Он, оттопырив мизинец, обсасывает гвоздики, как маленькие косточки. Затем, нагнувшись на вилку шнурок и закинув голову, он съедает шнурок, словно макарону...

Проходит некоторое время, и снова хочется есть. Чарли самоотверженно предлагает второй башмак. В этот миг, к счастью, в хижину заглядывает бурый медведь (не тот ли самый, который когда-то собирался подкусить самим Чарли?). Покуда рослый человек кидается на зверя с ружьем, Чарли уже поспешно накрывает на стол...

Чарли влюблен. Он влюбился в красивую и молодую Джорджию, царицу ночного бара, где золотоискатели, не снимая сапог и шуб, танцуют до зари... Обстоятельства складываются так, что Джорджия и две ее подруги приходят в хижину Чарли и обещают встретиться с ним Новый год. Наступает знаменательный вечер. Чарли накрывает на стол. Перед каждым прибором кладется небольшой подарок. Но лучший подарок достается

Джорджии — духи. Хозяин зажигает две свечи. Все готово. Часы показывают начало девятого, гости же обещали прийти ровно в восемь.

В ожидании любимой Чарли садится один за накрытый стол и засыпает. И во сне происходит все, что должно было быть наяву. Во сне приходят желанные гости. Они в восторге от подарков, они улыбаются, они смеются. Вечер удался на славу. Чарли — само гостеприимство; роль хозяина удается ему как нельзя лучше. Он неистощим на выдумки. Особенным успехом пользуется один номер его программы. Он надевает на вилки два хлеба: образуются как бы маленькие ноги. И эти ножки танцуют необычайно изящно, необычайно легко. Они танцуют нечто вроде менуэта с реверансами. Джорджия в восторге. В награду за удачную выдумку она целует веселого хозяина. И тогда тот просыпается... Джорджия далеко, и свечи на праздничном столе обгорели больше чем наполовину. Новый год наступил, принеся с собой новую печаль.

Все кончается хорошо в этой картине, как вообще всегда в европейском кино. Чарли Чаплин и его друг становятся несметно богаты. В роскошных шубах и цилиндрах, окруженные подбострастными людьми, вступают они на пароход, который должен отвезти их на родину. Но нищета забывается не скоро. Чарли, идя по ослепительной палубе, отраженной блеском его цилиндра, окруженный репортерами, внезапно замечает на полу окурки сигары. Невозможно, чтобы пропала такая драгоценная вещь. И он наклоняется, чтобы поднять ее. Но друг толкает его в бок и с негодованием предлагает ему портсигар, полный сигар.

А Джорджия? Она тут же. Очутившись в бедности, возвращаясь домой со скромным узелком, в третьем классе на этом же пароходе, она снова встречает Чарли. И теперь уже не отвергает его...

Выйдя из кино, оба мальчика, мои соседи, идут по площади. Проходя мимо второго кино, мимо Тити, «короля сорванцов», мальчики отворачиваются от него с отращением.

Что, Тити, проиграл игру?

«Золотую лихорадку» я смотрела в кино на Монпарнасе, где живут главным образом художники, скульпторы, поэты, музыканты. Здесь люди днем работают и тогда не замечают обстановки, вечером сидят в кафе, а ночью спят, следовательно, опять не замечают обстановки. Исходя из этих соображений, отели снабжены здесь минимальным количеством удобств.

На Монпарнасе, как и везде в Париже, очень много ресторанов и кафе, и люди там пестры в своей текучести... На Монпарнасе — «Жокей», маленький бар, где танцуют и который открыт только ночью.

«Жокей» — комната такая маленькая, что в одиннадцать часов вечера (а открывается «Жокей» в десять) там уже все полно, и посетители, стоя в дверях, смотрят на танцующих. Оркестр здесь замечательный. Три человека с острова Явы и один англичанин. Три человека с острова Явы играют: два на гитаре, один на банджо. Их волосы гладкие, с синим отливом, расчесаны на пробор. А пианист — светлый англо-саксонский мальчик. Он одет ковбоем, с пестрым платком на шее и в мокасинах. Глаза у него злые. И если яванец водит своим смычком так, как будто чистит банан или гладит спящую женщину, то пианист ударяет пианино, как непокорную лошадь.

Прилавком с напитками управляет японец, а метрдотель — негр. Его черная голова мелькает в толпе, а рука с розовой ладонью указывает свободные места. Лакеи разносят гренадин и оранжад прямо по головам танцующих. Очень замечательное место — «Жокей».

Что касается «Ротонды», то хотя ее слава миновала, но она живет за счет прошлого. Слишком много людей письменно и устно воспевали ее. Но «Ротонда» уже не та, что была. Не та, не та!

— Разве это бывшая «Ротонда», наша старая «Ротонда», — говорит знакомый художник. — Теперь, например, если в «Ротонде» кто-нибудь наскандалит, его оттуда выводят. Вы-во-дят, моя милая! Значит, это конец. А раньше...

Но и сейчас там занятно посидеть часок-другой. Там свои нравы, неповторимые нигде в другом месте. Навер-

ху с десяти часов вечера танцуют. Там протанцевали паркет до того, что он трясется. Внизу в это время сыплется штукатурка. В таких случаях рекомендуется закрывать свою чашку салфеткой или бумагой, потому что это «как раз под тем местом, которое трясется».

Однажды широкая струя воды потекла откуда-то со стороны кухни. Две американки подобрали под себя ноги в бальных туфлях. Их спутник громко спросил лакея:

— Скажите, гарсон, что это течет? Не из уборной ли?

Гарсон нагнулся к полу, принялся и ответил:

— Не беспокойтесь, месье, это чистая вода.

Американки успокоились. Их кавалер заказал себе новое питье. Вода текла весь вечер.

В осенний вечер, когда Париж пахнет прелым листом и недавним дождем, — в такой вечер хорошо посидеть на террасе «Ротонды». Богема, настоящая богема вымирает! Но там вы увидите еще такие лица, такие шляпы и такие жилеты, какие видел в свое время Мюрже.

Там вы увидите индийских поэтов, бразильских художников и негритянских скульпторов, единственных, которые в Париже не собирают негритянской скульптуры. Там пройдут многие знакомые лица, среди них сутулый Эренбург с трубкой, без шляпы. Пройдет мулатка Айша, необычайной красоты, золотисто-смуглая.

Листья падают. Люди проходят.

Глава 13

ПАРИЖ ЛЕТОМ

Все большие города теряют летом свой истинный облик. Они наполовину пустеют, становятся ленивее и проще, и только по вечерам, при вечернем освещении, в огнях, как бы обретают на время обычную звонкость и стремительность. В жаркие дни в Париже в Булонском лесу можно увидеть старушку, которая привела

туда на веревочке курицу, чтобы дать ей возможность подышать свежим воздухом. А этот последний продукт чрезвычайно редок в Париже летом. Все, кто мог, уехали искать его у моря или в горах. Те же, которые не могли, живут под Парижем в маленьких деревянных домиках и разводят огороды. Огороды при этих домах величиною с поднос. И капусту, например, там не сажают: она, матушка, любит широко пожить и, живя широко, угнетает салат, редиску и лук.

Но есть такие люди — и их очень много, — которым даже такой дом с огородом недоступен... Если пройтись в сумерки по какой-нибудь из улиц подалее от центра, похуже, победнее, то можно увидеть, как тяжело томятся иные без свежего воздуха. Особенно плохо в домах, мимо которых почти вплотную проходит поезд. Он сотрясает утварь и обдает сажей каждую складку. Он присутствует при каждом ужине и обеде, как незваный гость...

Комната мала и уныла. Оба окна жадно раскрыты в погоне за каплей воздуха. С потолка свешивается голая лампочка. За столом сидит отец, вернувшийся с завода, бледный, с сединой в усах и впалыми висками. Мать, задыхаясь, несет суп. Приходит дочь из какого-нибудь универсального магазина, где она служит приказчицей в обувном отделении. Она устало откидывает по-мальчишески остриженную голову на спинку стула. От утомленья ей не хочется есть.

— Как, — говорит ей мать, — как, Жанетта, ты не ешь? А у нас сегодня мясной суп и отварная говядина с корнишонами. Ты же любишь это. Кроме того, тебе надо поправиться: ты так кашляешь.

— Я слишком устала, — отвечает Жанетта. — И потом эти горячие потные ноги, на которые я должна целый день натягивать туфли. Теперь мне кажется, что все пахнет ножным потом. Удивляюсь, зачем людям столько обуви! — И, говоря это, она вытягивает ногу в старенькой домашней туфле.

Но понемногу она отходит. Корнишоны так вкусно пахнут. К тому же завтра воскресенье. Отец тоже доволен газетой. Он вычитал, что там, на родине, в южной провинции, будет прекрасный урожай винограда. И хотя

у него самого нет ни единой лозы, но приятно знать, что родная земля так хорошо ведет себя... Атмосфера проясняется. Лампочка в шестнадцать свечей начинает гореть ярче, чем ей это положено. Откуда-то с далеких речных берегов доносится слабое дуновение ветра. И люди вздыхают, подняв головы. И вот уже отец готов отпустить какую-нибудь добрую шутку, уже готов раздаться смех, как вдруг, сотрясая стены, грохоча железом и дыша горячим паром, проносится поезд, отравив слабое и нежное дуновение, пахнущее травами. И отец забывает то, что хотел сказать. И Жанетта, отодвигая тарелку, говорит со слезами в голосе:

— Мясо твердое, а корнишоны горькие, — и кашляет.

Тем более сладостными кажутся прохлада предместий, чистый воздух, тишина. Все это наступает как-то сразу, в десяти минутах езды от Парижа по электрической дороге. В Медоне, например. Там еще более очаровательной кажется свежесть старого парка при обсерватории. Обсерватория эта перестроена из замка. Здание хранит еще следы былой величавости, которая так под стать звездам. Там есть широкая аллея из платанов. По ней проводят девочек-сирот в коричневых платьях и шляпах. За ними идет монахиня в белом чепце и недобрыми глазами глядит на своих ближних.

Странно думать, что так близко от Парижа может существовать такая провинция, как Медон. Десятки таких Медонов окружают Париж, и можно только удивляться, как нечувствительны они к близости и влиянию столицы.

Медон не предместье. Медон — самостоятельный город. У него свои достопримечательности, свои особенности. Самое замечательное в нем то, что он — родина Рабле, что в нем жил Эмиль Золя. Особенность его та, что в нем не вывозят мусора с дальних улиц, а бросают его под окна соседей.

Медон тих. В девять часов вечера медонские дома уже крепко спят, укрывшись своими фруктовыми садами. Изредка слышно, как падает спелая груша. Горит фонарь, освещая листья каштана, как бы вырезанные из мрака. И бронзовый Рабле, через головы домов, перепо-

варивается с бронзовым Жансеном, построившим в старом замке обсерваторию.

— Ну что, дружище, как дела? — спрашивает Рабле медленным бронзовым голосом.

— Ничего, старина, наблюдаю звезды. А ты?

— Ничего, дружище, наблюдаю людей.

И снова тишина.

Но если стать на какой-нибудь из гористых улиц или еще лучше у самой ограды высоко лежащего парка, то у ног своих можно увидеть весь Париж. Он тонет в огнях и тумане. Эйфелева башня пронзает небо. Там, в Париже, начало вечера. А здесь уже ночь.

Рано утром к нам доносится пение с соседней постройки. Это поют каменщики-итальянцы. И пение это так необходимо, стук кирпичей так убедителен, что нельзя больше лежать в постели. Мы встаем, и каждое утро у нас идут разговоры о мусоре.

— Посмотрите: этого башмака вчера тут не было.

— А вот кофейник. Удивительное дело, совсем целый! Зачем же бросать?

При ближайшем рассмотрении оказывается, что он действительно совсем целый, только дна нет.

Приходит сын молочницы. Он говорит не бонжур, а бонжюр.

— Бонжюр, мадам!

— Бонжур. Послушайте, как быть с этим мусором? Нам бросают под окна, а мы не знаем, куда свой девать.

— Я пришлю вам уборщиков, мадам.

Приходят два жгучих брюнета.

— Вы уборщики мусора?

— Да, мы.

— Почему же вы не убираете на нашей улице? Мы выносили ведро с мусором и ставили у ворот, но все оставалось.

— Видите, мы ездим только по главным улицам, Здесь мы не обязаны.

На другое утро снова приходит сын молочницы:

— Бонжюр, мадам! Были у вас уборщики?

— Бонжур. Были, но ничего не вышло. Они говорят, что на нашей улице они не обязаны.

— Тогда, давайте, я буду уносить.

Мы договорились. Но что же он делал, симпатичный «бонжур»? Он бросал наш мусор под окна наших соседей.

В предместьях Парижа встречается не только мусор под окнами. Там есть мусор иной, который тоже не вывозится годами. В предместьях Парижа есть люди, которые спрашивали меня, есть ли в Москве во всех этажах вода и, главное, ходят ли трамваи. Один молодой русский врач, у которого под Парижем ясли для грудных детей, только не бедных, а очень богатых, помявшись немного, попросил меня не трогать его питомцев.

— Почему это? — обиделась я. — Я сама мать и, не бойтесь, не возьму ребенка вниз головой.

— Нет, не то. Во-первых, у нас такое правило, чтобы посторонние люди не брали детей, а потом... ведь вы из России.

— Так что же?

— Там ведь чума.

— Где именно?

— Как «где именно»? Всюду. В Москве не переводится чума. А кстати, скажите, трамваи у вас ходят?

Мы имели с ним длинный разговор, и — во имя старой дружбы — хозяин яслей поверил мне, что чумы в Москве нет. Но трамваи остались под сомнением. Хотя он говорил, что верит мне, — я видела недоверие в его глазах.

После ужина мы вышли в сад... Был вечер, была луна. Старые каштаны цвели и пахли. От яблочного вина, которое мы выпили за столом, звенело в ушах, горели щеки. В бархатной тени каштана мой старый приятель взял меня за руку:

— Мы теперь совсем одни, не правда ли?

— Да, совсем.

— Вы не рассердитесь на меня?

— Постараюсь.

— Я прошу одного: правды. Вы никогда не лгали.

— Я и теперь не солгу.

— Скажите, ходят ли у вас трамваи?

«ОБЩЕСТВО СЛОМАННЫХ КРЫЛЬЕВ»

Вот птица: жалкое создание, отмеченное слабым «прикосновением божества». Кто осмелится сравнить ее с человеком, «царем вселенной», вокруг которого вращаются луна и звезды. Однако птица обладает величайшим даром, увы, недоступным человеку: даром полета. Необходимо проникнуть в ее тайну. Человек *должен* полететь, должен вблизи увидеть звезды и солнце, которое, по уверению древних авторов, совсем не так мало, как кажется. Трудно поверить, но в действительности оно не меньше главной городской площади, хотя другие авторитеты уверяют, что оно не больше мельничного колеса.

Наступает вечер. Солнце, «величиной с мельничное колесо», плавной линией опускается к закату.

Средневековый ученый в своей полумонашеской келье пристально глядит на скелет птицы. Как просто и, однако, как непостижимо! И перед взором ученого возникает схема будущей летательной машины. У нее перепонки из сухожилий, и хрупкость ее крыльев заставляет сдерживать дыханье. Человек полетит, как птица. Когда? Через года, через столетья — никто не знает, но это случится.

Проходят века. Первая летательная машина, построенная по типу птичьего скелета, затвердела, превратилась в металл...

В Париже, в «Гран Пале», десятая выставка авиации. Выставочное помещение так велико, что самые гигантские машины выглядят там, как мухи на столе... Хотя в самом здании тепло и воздух стоит неподвижно над медленной толпой, но кажется, что веет ветер: так много крыльев вокруг.

В самом центре машина «рено». С одной ее половины сняты все оболочки, все покровы. Она вся здесь со своим чудовищным скелетом плезиозавра XX века. Она так велика, что «фарман» обыкновенного размера прячется у нее под крылом. Став в длинную очередь и поднявшись по лестнице до уровня кабинки, можно заглянуть внутрь. Там пятнадцать пассажирских мест.

Машина рассчитана не на роскошь, а на необходимое, не на праздник, а на будни. Кресла не бархатные, а деревянные, слегка покрашенные красной краской. В помещении пилота пук веревок на полу и небольшой якорь: совсем как на судне. Сбоку краткое объяснение: «Этот якорь дает возможность удерживать самолет на воде на сравнительно большой глубине».

Вот аэроплан «катапульта». Он может подняться в воздух с любого места, с любого судна, почти с любой крыши. Ему не нужно большого пространства для разбега. Его ставят на короткие рельсы, он бежит по ним и сразу срывается почти вертикально в воздух.

Выставка огромна. Разнообразие экспонатов удивительно. Здесь и мрачные, безглазые, летающие броненосцы, у которых дула орудий глядят из-под брони. Маленькие миноносцы, узкие, стройные, скользкие, покрытые алюминиевой чешуей, поднимают острые мордочки. Аэропланы для прогулок с мягкими кушетками, с сетками для шляп и бокалом, где розовеет роза. Охотничьи самолеты, желтые с серым, широкогрудые и выносливые. Санитарные, где сразу, как в карете Скорой помощи, откидывается целая стена с аптекой. Есть тут аэропланы, специально приспособленные для метанья мин. Но мины эти несут не смерть, а жизнь. Рассчитанные на несчастные случаи с экспедициями или на голод в осажденном городе, мины эти, если снять с них металлическую крышку, обнаруживают завернутые в стружки пакеты с чаем, с кофе, хлеб и вино в небующихся фляжках. Есть тут и грузовики для перевозки тяжестей, есть и танки для борьбы с облачными рытвинами и ухабами. Все прочно, несокрушимо... В отделении физических и химических испытаний все разобрано на мельчайшие волокна. Ничто не принимается на веру. Какая-то особая предохранительная пробковая перегородка измельчена сначала на маленькие квадратики, а потом просто изрублена, как мясо для котлет: все для того, чтобы показать свою доброкачественность.

Параюты наглядно показывают, как комфортабельно и послушно они раскрываются, как покойно и легко качаться пассажиру в их креслице. Здесь же и

аэростат, этот воздушный наблюдатель. Вероятно, настанет время, когда на каждом скрещенье улиц будет подвешен человек с палочкой в руке, регулирующий уличное движение. У его рта будет особый громкоговоритель, чтобы воздушные такси и трамваи не могли отговориться шумом мотора, якобы заглушающим все звуки. Конечно, будет введена система флажков, огней, быть может, ракет. Но иногда нужно и живое слово, чтобы вразумить строптивых.

В аэростате в полном снаряжении стоит манекен. На голове у него шлем, на груди — бинокль, одет он наподобие водолаза. И знающие люди из «военного ведомства» с удовлетворением удостоверяют добротность его непромокаемой ткани и спорят о том, сколько времени «он сможет продержаться в тумане». Главным образом смотрят люди в цилиндрах и военных кеи. Воздушный флот, воздушное сообщение, воздушная охрана, — ведь все это — новый источник мощи, новая защита.

Среди всех этих машин есть одна в ореоле славы. На ней летчик взобрался на высоту, равную высоте сорока одной Эйфелевой башни, поставленной одна на другую. Здесь же все это и представлено: сорок одна башня, каждая величиной с карандаш. Они стоят друг на друге и кончаются высоко в воздухе. А у самого подножия — земля, такая, какая она видна с высоты сорок первой башни.

Все прекрасно и спокойно. Человечество привыкло к воздухоплаванию, и если бы воскрес на час средневековый ученый, он, пожалуй, подумал бы, что не стоило так безумно биться его сердцу при мысли о полете. Человек летит — и все очень просто. Горные, морские, северные и южные курорты предлагают больным свои воздушные поезда. Предложения одно соблазнительнее другого. Одна воздушная компания обещает вам даровой полет в Тунис с завтраком и обедом, если вы доставите ей пятерых желающих полететь за деньги. Люди в цилиндрах и кеи улыбаются и предлагают своим прелестным спутницам к праздникам подарок на выбор: платиновый браслет с сапфирами или полет на тропики.

Тут же, при выставке, кино. Там, на экране, плывут облака, беззвучно гудят пропеллеры. Военный министр жмет кому-то руку, какая-то посланница улыбается летчику и прикалывает к его кожаной куртке цветы. Летчик где-то на юге, истомленный зноем, сильной белой рукой берет влажный пористый кувшин, такой же смуглый, как пальцы, подающие его. На севере во время зимнего спорта вокруг самолета летают веселые снежинки. Длинные уши легавой собаки выглядывают из окна охотничьего бипланчика.

И все же...

Под сенью крыльев, на почетном месте, спору нет, но все же немного сбоку, чтобы не слишком бросалось в глаза, стоит стол, где принимаются членские взносы и где записываются в члены «Общества сломанных крыльев». Но кто эти два, сидящие у стола? Они принимают записи и разговаривают с публикой. Они скромно, но хорошо одеты в штатское. Но у одного нет ни ушей, ни носа, а у другого взамен носа одна воспаленная ноздря. Вместо ушей два отверстия. Глаза скрыты черными стеклами, вместо волос — парик, аккуратно доходящий до бровей. Вместо кожи лица — багровая чешуя. Человек этот разговаривает учтиво, но голос звучит как из-под подушки. У другого — нет шеи: странно уменьшенная голова положена на плечи. Кроме того, у него нет руки и ноги... Оба эти человека предлагают желающим записаться в члены «Общества сломанных крыльев». И желающие записываются. Но при этом они преувеличенно вежливо улыбаются, и пальцы их, вынимая из бумажника членский взнос, слегка дрожат.

Безносые и безухие люди — бывшие авиаторы. У них случились аварии: падение и при падении, конечно, пожар. Они обгорели наполовину, они живы только наполовину.

— Разве это не жестоко, — несмело говорю я девушке, продающей открытки, — разве это не ужасно — заставлять их присутствовать здесь? Неужели это делается для рекламы общества? По-моему, это жестоко.

Она смотрит пристально грустными серыми глазами.

— Нет, — отвечает она, — все-таки это правильно, что они здесь. А то ведь люди могли бы совсем забыть о том, как это опасно — летать по воздуху.

Уходя из «Гран Пале», думаешь о том, как труден путь человечества к победам. И высота «сорока одной Эйфелевой башни» становится еще более потрясающей при мысли о безглазом человеке.

Глава 15

ВОСКРЕСЕНЬЕ В ПУТИ

«Общество интеллектуальных сношений с Советской Россией», существующее в Бельгии, предварительно списавшись с нашим московским ВОКСом, то есть Все-союзным обществом культурной связи с границей, организовало в Бельгии мой доклад «О современной литературной Москве». На помощь мне киноотделом при парижском торгпредстве был дан наш советский фильм «Станционный смотритель». Шесть катушек пленки «Смотрителя», заключенные в плоские металлические коробки, были уложены в такси; туда же был уложен небольшой чемодан, где лежал тщательно подготовленный доклад; туда же села я, подавленная ответственностью перед двумя «обществами», московским и бельгийским, и все мы отправились на вокзал... Снова запели, зарокотали общительные колеса, снова они приняли участие в моих делах, в делах бельгийского общества и ВОКСа. Они были полны беспокойства за мое выступление, они определенно сомневались, они советовались друг с другом. Они волновались так же, как и я. Ибо одно дело выступать в Москве в Политехническом музее или в Доме печати, — выступать пускай даже неудачно, но все же у себя дома, на родном языке. После такого выступления в Москве, прочтя о себе плохую рецензию, можно крепко загрузить и дать себе слово в другой раз сделать все это лучше и умнее. Но в чужом городе!.. В чужой стране!..

А пока, чтобы не думать о том, что будет, я стала смотреть в окно на Бельгию.

После мягкого и невнятного парижского говора, где катятся многочисленные «р-р», твердое бельгийское произношение поражает ухо. Речь течет гораздо медленнее, слова в каждой фразе расставлены определенно и прочно. Слово «да» бельгийцы произносят «уй». Француз так никогда не скажет. От Парижа до Брюсселя поезд идет с остановками четыре часа. В течение этого времени огромная часть маленькой Бельгии проходит перед вами. Улицы, дома, фабрики, трубы, высокие пирамиды из земли и угольной пыли, опять фабрики, опять трубы непрерывно сменяют друг друга. Ни клочка свободной земли. Дерево кажется откровением. Земля стиснута, зажата, заключена в каменные скобки; из них не выйти.

Вот поезд остановился на станции, совсем маленькой. И как только прекратился рокот колес, тотчас же в тишине послышалось тяжелое дыхание ближнего завода. Какая-то труба, невысокая, с непропорционально крупной головой мерно выпускала воздух через закопченные ноздри. «Зг, зг, зг!..» — заверещала прозрачная металлическая клетка, летящая по воздуху. «Бум!..» — грохнуло что-то под навесом. Под плоской крышей из стекла и железа встало бледное зарево. И все зданье осветилось изнутри сквозь мельчайший дождь пара. Мелко и дробно застучал электрический молот... В это время наш поезд помчался дальше.

Но бывает иначе. Для того чтобы показать это, мне нужно сразу перескочить через Брюссель и очутиться на обратном пути в Париж. Тогда, на бельгийско-французской границе, благодаря «Станционному смотрителю», для которого эта станция действительно оказалась полной приключений, я впервые узнала, как тиха и неподвижна может быть жизнь. На этой станции мне пришлось провести три часа от поезда до поезда в ожидании таможенного чиновника, который должен был удостоверить, что пленка — та самая, которую я пять дней тому назад везла из Парижа. Кроме того, мне должны были вернуть пошлину, взятую условно в виде страховки. (Ввоз кинопленки из Бельгии во Францию и обратно совершается не просто.)

Мой поезд стоял четыре минуты: в такой короткий срок нечего было и думать уладить все дела «Смотрителя», и я осталась ждать. Чиновника, к тому же, тоже не было. Мне сказали:

— Сегодня воскресенье, он ушел после двенадцати. Он не думал, что понадобится. Но мы пошлем за ним в Монс. А вы подождите.

Монс — это уже другой город. И, пока посылали туда за чиновником, я бродила по перрону, сидела в пустынном буфете.

За эти три часа прошло два поезда. Один даже не остановился: пренебрежительно фыркнул и помчался дальше. Другой остановился на минуту. Из него выглянуло два-три человека; кто-то вошел, никто не вышел, поезд ушел дальше.

Когда стемнело, над запасными вагонами, стоящими на путях, вошла луна — круглая и белая, в которой было очень много фламандского, как и во всей Бельгии. Фламандское чувствуется во всем. И вот, когда на небе появилась дородная луна, похожая на женщин Рубенса, на перрон вышел начальник станции. Он подошел ко мне и спросил: как мои дела, пришел ли чиновник, вернули ли мне деньги? История с кинопленкой была здесь событием. Я ответила, что чиновник пришел, что деньги мне возвращены, что все улажено, что я жду поезда. Начальник станции сказал:

— У вас есть еще время. Пятнадцать минут. Не зайдете ли ко мне?

Я вошла к нему в его служебный кабинет. Там горел камин.

— Как тихо, — сказала я, — это, наверное, потому, что воскресенье.

— Нет, здесь всегда так.

После чего торопливо, как бы боясь, что поезд придет и он не успеет всего рассказать, начальник станции сообщил мне, что их живет здесь двадцать человек. Что они живут «коммуной», все вместе в большом доме вон там, налево. Что телеграфист родом шотландец и играет на волынке.

— А вы откуда? — наконец спросил он. — Вероятно, из Америки?

Чем ближе к Парижу, тем становилось шумнее. Купе несколько раз наполнялось и пустело. Вошли трое рабочих, очевидно прошедших воскресный день у приятелей, в «соседнем городе». Двое были бледны, кудрявы, вероятнее всего южане. Третий — настоящий фламандец, плотный. На его руках на каждом суставе была черная шишечка, уже не смываемая до самой смерти. Один из рабочих развернул газету. Это была бельгийская «Ле драпо руж» («Красное знамя»). Первым делом он стал читать отдел: «Безработица».

— Э? — спросил один.

— О ла-ла,— сказал второй.

— Уй,— ответил третий.

А теперь мне хочется вернуться несколько назад во времени и в пространстве, вернуться в Брюссель, в вечер моего приезда, когда с афиш, развешанных повсюду, на меня глядело мое собственное имя, измененное французским правописанием, и «Метр де пост», в котором я не без затруднения узнала «Станционного смотрителя». Все это было назначено на завтра, а пока меня поселили в «Фондасион университер», нечто вроде Дома ученых. Общежитие это вместе с университетом подарила Бельгии «щедрая» Америка, на деньги, не истраченные на покупку пулеметов и удушливых газов... В Доме ученых царил ослепительная чистота. Уже потом я узнала, что мое появление в этих достойных стенах вызвало не вполне дружелюбное удивление у всех остальных обитателей: каждому из них было больше шестидесяти лет, и у всех были профессорские дипломы. У меня не было ни того, ни другого...

Очень было страшно выходить на эстраду для доклада. Мне стало ясно, что я провалюсь: я вспомнила, что колеса поезда предсказывали мне это с непреложной очевидностью. Вся моя надежда была на «Смотрителя». «Ну, провалюсь я,— думалось мне,— но «Смотритель» не подведет, Москвин не выдаст». Мне хотелось просить его играть как можно лучше в этой чужой стране, так далеко от Москвы, для людей, настроенных неизвестно как по отношению к Советской

России. На Москвине и мне лежала большая ответственность. Но Москвин был на пленке: он не мог уже играть ни хуже, ни лучше. И я позавидовала ему.

Старый почтенный бельгиец, месье Оттле, инициатор «Дворца мира» (я потом скажу подробнее и о «Дворце» и об инициаторе), произнес несколько вступительных слов. Он был отменно вежлив. Он представил меня публике, сообщил, что я из Москвы, что я пишу. Все было очень хорошо, но где-то в глубине его мягкого старческого голоса сидела какая-то заноза. «Пока-то ты хороша, матушка,— слышалось мне,— а вот как ты справишься?» Публика (ее было очень много, и это обрадовало меня и испугало) дружно захлопала месье Оттле. Потом заговорила я и не узнала своего голоса. «Громче!» — крикнул кто-то сверху. «Батюшки,— успела я подумать,— вот когда я погибну!» Вдруг я забыла всю схему своего доклада, французские слова, которые мне надлежало произносить, обступили меня. И оттого, что это было страшно, я пришла в себя. Я очулась и услышала, что говорю все как надо.

В зале засмеялись как раз в том месте, где было нужно. Несколько человек («президиум») на эстраде слушало внимательно. И месье Оттле одобрительно глядел на меня из-под больших седых бровей.

Я говорила о литературной Москве наших дней, о наших группировках, о Доме Герцена и Доме печати. О наших журналах. И, когда я кончила, первый хлопок показался мне первой каплей дождя после долгой засухи... «Станционный смотритель» имел свою долю успеха. Брюссель показался знакомей и теплее. И солидный швейцар Дома ученых, отпирая мне дверь, сказал дружелюбно:

— Вообще говоря, так поздно звонить не полагается: для этого надо брать ключ. Но так как была ваша лекция, то это ничего. Я присутствовал на ней и остался очень доволен.

Как было уже сказано выше, месье Оттле основал в бывшем выставочном павильоне «Дворец мира». Идея этого дворца мне по сей день не вполне ясна. Вероятнее всего, месье Оттле предполагал собрать в этом музее все, что касается цивилизации всех на свете стран.

Так как музей беден (город отказался субсидировать его, и только после больших трудов удалось отстоять выставочный павильон для экспонатов), то в музее еще есть трогательность и юмор, не свойственные обычно такого рода учреждениям... Топить в музее нечем, пол там каменный, холод — адский. И месье Оттле, не снимая шубы, носится по ледяным пространствам, перелетая от одной страны к другой, из одного столетия в другое.

Подхваченная месье Оттле и несколькими его сотрудняками, подгоняемые все вместе стужей, мы вихрем пронеслись по векам и народам. Мы начали с устройства мироздания. Первозданный хаос был изображен на больших картонах охрой и суриком. Замелькали всевозможные «завры». Появился доисторический человек с неимоверно длинными руками. Ассирия-Вавилония, Египет и Греция были нами обследованы в несколько минут: медлить нельзя было, так как нас ждали другие века. Мгновенно долетели мы до образования России; здесь мы помедлили. Появилась Франция века энциклопедистов.

— Вы видите,— говорил месье Оттле,— моя идея грандиозна. Здесь будут все и вся. Вот Вольтер, который нам улыбается. Обратите внимание на эти таблицы. Я покажу вам наш архив. В нем двенадцать миллионов карточек; на них запечатлены события, касающиеся как отдельных личностей, так и целых народов... Вот Вольтер...

Когда-нибудь те, которые придут после меня, увидят, вероятно, детище месье Оттле созревшим, богатым и великолепным, одетым в мрамор. Тогда древняя сатурналия не будет представлена лишь маленькими, скудно раскрашенными фигурками из картона, а улыбка Вольтера будет запечатлена в бронзе, а не в простом гипсе. Те, которые придут после меня, увидят больше и лучше. Но, конечно, самого месье Оттле уже не будет в живых. И его музей, отделившись от кипучей человеческой энергии, создавшей его, обретет величественность подлинного «культурного памятника». А пока он беден и прост. И я рада, что видела его именно таким.

О ГОРОДЕ БРЮССЕЛЕ

От Брюсселя Антверпен и, следовательно, океан недалеко. Близость океана ясно чувствуется в предвечерних соленых ветрах, во влажности неба, а главное — в частых сменах погоды. В течение дня несколько раз идет дождь; он по-северному барабанит по остроконечным крышам «старого» Брюсселя. Внезапно дождь сменяется ветром, потом ветер исчезает — над городом плывет серый день, тихий и нехолодный. И вдруг, вместо всего этого, — улыбка солнца, когда улицы еще мокры, а небо голубеет. Через полчаса туман обволакивает город, скупо горят фонари, слезятся окна. Узкие улочки полны тогда средневекового томленья, готические арки висят в воздухе. Кошка, словно оборотень, перебегает дорогу.

И наконец, уже поздно вечером, ночью синий прозрачный воздух повисает над городом. Все происходит оттого, что близок океан.

В Бельгии странным образом соединились ультрасовременность с медленным — по старинному — течением времени. Эта двойственность видна во всем. Так, например, в Брюсселе вам могут показать старое фламандское кафе, существующее три столетия. Кафе это находится в маленьком узком дворике, мощенном вытертым кирпичом. Оно состоит из одной длинной комнаты. На стенах в дерево вделаны кафли, голубые и белые. В глубине — камин, над которым почерневшие часы. Здесь нет электричества, хотя новшество все же есть: горят не свечи, а керосиновые лампы. Но в каком почтенном медном окружении! Если вы спросите горячего вина, вам его подадут в тяжелой каменной кружке. В нее будет опущен странный, непонятный инструмент из олова, нечто напоминающее орудие инквизиции. Может быть, этим выдергивают ногти или вырывают глаза? Но не надо пугаться — это просто особая давилка для лимона.

В этом кафе нет музыки, нет громких разговоров. Несколько человек играют в шахматы. Густой дым от трубок туманит голубые кафли. Толстый хозяин

негромко звенит старым стеклом. И странно видеть здесь модную киноактрису, стриженную, как мальчик, в кожаных гетрах и полосатом кашне. Посидишь тут полчаса, и так и кажется, что сейчас заглянет сюда доктор Фауст со своим приятелем Мефистофелем.

Выйдя отсюда, можно повстречаться с не менее странным персонажем, например со знаменитым «Брюссельским мальчиком», которому уже четыреста лет, а может быть, и больше. Несмотря на столь почтенный возраст, он очень мал. Вечная юность смеется в каменных ямочках его пухлого тельца. Он стоит на одной очень небольшой площади, вернее говоря, перекрестке. Стоит он над раковиной, совсем голенький. На вид ему года два. Он занят тем, чем очень часто заняты дети его возраста. Тонкая струйка стекает в раковину. Раньше, когда люди были богаче и легкомысленнее, по праздникам вместо воды здесь текло вино.

Брюссельцы очень гордятся своим мальчиком, «самым старым гражданином города Брюсселя», как называют его путеводители. У этого гражданина, несмотря на то что он очень мал, есть своя большая история.

Существует несколько вариантов этой его истории. Один из них гласит, что у некоего владетельного герцога был сын, и этот сын пропал. За ним были посланы гонцы, которые наконец и обнаружили его в той самой позе и за тем самым занятием, за каким мы застаем его сейчас. В память об этом событии и был сделан каменный мальчик.

Мы не будем перечислять всех толкований баснословного происшествия. Было это или не было, все прошло и все забылось. Остался только «самый старый гражданин города Брюсселя». Но и у каменного младенца были свои переживания. Его несколько раз пытались украсть англичане и французы. И всегда ребенок возвращался домой. Гренадеры Людовика XV обидели мальчугана злой шуткой, и король, чтобы загладить неприятность, наградил его богатым костюмом и орденом. Впрочем, у него не один костюм, а несколько. И несколько орденов. В 1914 году, во время вторженья в Бельгию вражеских войск, он единственный не пал духом и продолжал «как ни в чем не бывало заниматься

своим делом». Кроме военного мундира, у него есть и студенческий. В дни студенческих праздников он предстает перед взорами брюссельцев в виде крохотного студента. Все наряды маленького мальчика хранятся в особом музее, посвященном ему... Как бы ни был серьезен человек, как бы ни был озабочен, проходя впервые мимо мальчика, он остановится и улыбнется. Теперешняя улыбка при виде фонтана, правда, очень сложна. Она состоит из неожиданности, смущенья, умиления и иронии. Очень непростая улыбка двадцатого века перед шестнадцатым...

Очаровательна в Брюсселе Ла гранд плас, Большая площадь. Несмотря на название, она вовсе не велика. Брюссельцы уверяют, и, кажется, нет оснований им не верить, что их площадь самая красивая в мире. Нигде, по крайней мере в столь чистом виде, не сохранился аромат готики, как здесь. Необычайная ратуша, так называемый Дом короля и все остальные здания со всем их каменным кружевом и темным золотом окружают пространство площади.

— Нашу площадь надо смотреть при луне,— с гордостью говорят брюссельцы.

Увы, луна здесь редкая гостья! Но иногда, когда раздвинутся тучи и синий месяц посеребрит многостолетние арки, Большая площадь поистине незабываема.

— Вы видели ратушу? — спрашивают в таких случаях брюссельцы.— А Дом короля? А где вы найдете такие пропорции? А такую перспективу? А такую луну?

И вы покорно отвечаете:

— Нигде...

Старый Брюссель, тихий «почтенный» город, город мелких буржуа, город небольших особняков, где парадные комнаты — внизу, а спальни — наверху, как в Англии.

Промышленность здесь развита слабо. Нет ни больших фабрик, ни заводов. Все это сосредоточено вокруг Льежа. Фабрика с двумястами рабочих считается здесь большим предприятием... Город, где Вандервельде насаждает трезвость запрещением продавать вино небольшими дозами. Город, где очень сильны иезуиты.

Узнав, что я из Москвы, дружелюбно настроенный «социалистический» депутат везет меня по городу в своей машине. На широкой и светлой улице он показывает мне мощное здание с квадратными окнами. Это — иезуитский колледж. Дальше мы проезжаем мимо университета, еще не вполне законченного («подарок» Америки). Гладкие корпуса больше похожи на фабрику, чем на учебное заведение. С американской точки зрения, так оно и должно быть: университет — та же фабрика. Только там вырабатываются не сапожная мазь и не анилиновая краска, а стандартизованные мозги.

Глава 17

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ

Одиннадцать километров блестящей гладкой дороги, лакированного асфальта, который отражает цвет неба. Трамвай идет мимо домов, где живут самые богатые люди Брюсселя. Светлые кафельные стены, плотное кружево на окнах говорят о каком-то другом, не-французском уюте, в котором всегда есть известный холодок. Фламандская культура чувствуется здесь в больших спокойных плоскостях, в гладком дереве, в пушистых тканях... Несмотря на богатство, дома малооригинальны. Только один из них, диковинка этого места, выделяется необычным пятном. Белый, мраморный, плоский, отороченный золотом, он окружен неправдоподобным садом, где вечнозеленые деревья подстрижены шарами, квадратами, треугольниками. Все это белое, черное и золотое, с красным пятном автомобиля у дверей, настолько плакатно, настолько нарочито, что нельзя поверить в серьезность этого жилья. Нельзя поверить, что люди здесь спят и обедают.

Постепенно и незаметно улица переходит сначала в парк, а потом в лес. Деревья большие, рослые, покрытые плюшевым мхом, холеные, как спортсмены, стоят отдельными группами.

В конце этого пути находится Тервюрн, место великодушное и пустынное, как Версаль, где даже прямо-

угольные бассейны выглядят совершенно по-версальски. В этом парке находится знаменитый, чуть ли не первый в мире, Колониальный музей. Здесь маленькая Бельгия собрала все, что относится к ее колонии Конго — колонии, которая в восемьдесят раз больше своей метрополии, в четыре раза больше всей Франции и которая занимает пятнадцатую часть всей Африки...

Не подлежит сомнению, что эксплуатация белыми людьми черных — дело очень старое. Но сначала черных людей просто эксплуатировали, не обращая на них никакого внимания. Однако мало-помалу Европа начинает интересоваться неграми как таковыми. Причем интерес этот идет главным образом по линии танца и музыки. Одно из последних европейских увлечений, джаз-банд, целиком заимствован у негров. Европа взяла у них безумный и головокружительный ритм чечеток, похожих на дробь тропических ливней по плотной ткани пальмового листа, прерываемую глухим падением кокосового ореха. Европа интересуется негритянским искусством...

В Париже каждая «уважающая себя» модная женщина обязательно должна иметь среди своих безделушек «что-нибудь негритянское». В ателье парижских художников на самом почетном месте, самом видном, самом высоком, на схематической деревянной лошади обязательно восседает коричневая острогрудая негритянская Венера в юбочке из лыка.

Среди большого количества людей, увлекающихся «искусством негров» из желания быть модными, есть несколько подлинных ценителей и знатоков. Но никому из них в самых смелых грезах не являлось то, что собрано в необозримых залах тервюрнского музея.

Сначала идет флора и фауна Конго. В стеклянных шкафах представлена вся расточительность, вся роскошь африканской природы. Одно из самых почетных мест занимает пальмовый орех... Если внимательно рассмотреть пальму, то на самом верху, под листовым веером, можно заметить огромную опухоль, слегка напоминающую невиданной величины кедровую шишку. И, подобно кедровой шишке, эта пальмовая припухлость полна орешков, сидящих густо-густо, каждый

в своем гнезде. Это и есть пальмовый орех — то, из чего делают пальмовое масло, в свою очередь являющееся основой почти всякого мыла... В Тервиурне можно проследить все этапы этого процесса. Вот орехи сидят в своих гнездах. Вот вся пальмовая шишка, разрезанная вдоль и в этом виде похожая на дикобраза. Вот грубая рыжая масса, добываемая из орехов. Большие шершавые куски наполняют банку. Вот эта масса светлеет, утончается, приобретает цвет топленых сливок. В таком виде она становится мыльной основой.

Различные сорта кофе, бобы какао, наполняющие длинные плоды, каучуковые лианы, свернутые в липкие клубки, надтреснутые, готовые раскрыться головки хлопка, невиданные цветы, листья, похожие на непромокаемый плащ, янтарь, застывший гигантской слезой на суку подводного дерева, золотой песок и слитки золота, найденные в реках Конго,— все это заставляет мечтать о какой-то обетованной земле, о каком-то рае изобилия. Кстати, для райских сокровищ необходимы ангелы-хранители. В Париже, на выставке каучука, где попутно были выставлены и драгоценные камни, я слышала разговор о том, что стеклянные витрины, где хранятся все эти богатства, наполнены удушливыми газами. Если и найдется предприимчивый человек, подобный людям, укравшим розовый брильянт из музея в Шантильи, то он будет немедленно настигнут ядом. За достоверность не ручаюсь, но — как предположение — это любопытно.

После растений и минералов идут животные, птицы и насекомые. От величины бабочек теряешь всякое представление о действительности. Перед витринами птиц можно стоять часами. Райские птицы сидят на ветках, как воробьи. Попугаи — голубые, розовые, оранжевые и коралловые — провожают посетителя стеклянными глазами. Самка гориллы укачивает детеныша тем же движением, как и женщина. У африканского слона пронзительные треугольные глазки. Крокодил, окруженный своей семьей, показывает бесчисленные кривые зубы. Носорог, весь покрытый каменно-пупыристой кожей, выставив рог, презрительно поворачивается спиной к длинной и хрупкой жирафе. И носорог

и жирафа стоят посреди зала. По стенам, за прозрачным стеклом, неподвижно бегут пантеры. Пятнистые леопарды приподымают лапу, как бы готовясь к смертельному прыжку. И кроткая полосатая зебра даже после смерти содрогается от ужаса. Все это привезено из лесов Конго.

После растений, минералов и животных идет, пожалуй, самое интересное: быт негров — все, что с отчетливостью дает нам представление о далекой, непохожей на нашу, своеобразной жизни.

В одном месте воспроизведен негритянский оркестр, прообраз джаз-банда. Играют четверо: один дует в рог, другой — в дудку из тростника, третий играет на странном инструменте, напоминающем берцовую кость, а четвертый тупыми палочками ударяет по натянутым жилам... Так и видишь тропическую ночь, черный лист пальмы, осыпанный звездами. Так и слышишь звуки этой музыки, похожей на град светляков.

Всевозможные маски — каменные, костяные и деревянные — заключены в витрины бельгийского музея. Нет ни одного человеческого переживания, которое не было бы здесь отобразено. Грозные военные и религиозные маски сняты потом всю ночь. Каменные и деревянные изображения людей и животных поражают своей первозданной свежестью: как будто человек похитил у природы все ее тайны на рассвете, когда мир еще спал.

Легко проследить по образцам негритянского искусства появление европейцев. Первым делом оно ознаменовалось гвоздями. Гвозди появляются внезапно и в большом количестве, причем использование их необычайно остроумно. У негритянских скульпторов гвозди изображают крокодиловую кожу. Набитые на деревянное изображение зверя, перепутанные веревками и волокнами, все это, сделанное криво и косо, отчетливо передает грубую шероховатость крокодильей шкуры. Из гвоздей также сделаны изгороди, когти, шипы кустарника, капканы.

После гвоздей появились зеркала. Сначала это были маленькие кусочки, осколки разбитого зеркала. Но даже им была изготована почетная участь.

В негритянской религии, путем каких-то глухих отголосков из Индии, самой важной точкой мира является пуп. От него — мудрость и спокойствие. Человек, долгое время глядящий на свой пуп, приобщается к божеству. И вот осколки зеркала достаиваются великой чести: их вставляют вместо пупа изображениям божества.

Несметно богатая, тропически роскошная, огромная страна... Страна, которая в восемьдесят раз больше Бельгии, в четыре раза больше Франции и которая занимает пятнадцатую часть Африки... Как же отразилось на ней владычество белых?

Покончив с золотом, алмазами, животными, орудиями и плодами Бельгийского Конго, необходимо бросить взгляд на многочисленные статистические таблицы, которыми так богат Колониальный музей в Тервюрене. Таблицы эти чрезвычайно любопытны. Они дают полное представление о том, как работает в колониях католическое духовенство, какую необычайно хитрую и обдуманную паутину плетут под голубым небом черные сутаны. Вот несколько цифр на 1925 год: в Конго девять викариатов и десять духовных префектур, сто восемьдесят одна станция, пятьсот пятьдесят «духовных отцов», двести пятьдесят два «брата», триста пятьдесят одна «сестра». «Нормальных школ» для подготовки учителей и местных чиновников — сорок шесть. Центральных школ, где обучение производится главным образом миссионерами, — сто девяносто две. Школ, где учителя негры, — четыреста одиннадцать. Ремесленных школ для негров — сорок одна. Госпиталей — восемьдесят два. Диспансеров — двести три и лепрозориев — три.

Как видно из этих данных, работа белых поставлена в Конго необычайно широко. Белые «отцы», «братья» и «сестры» горячо заботятся о своих черных «родственников». И все же, несмотря на все эти «заботы», население Конго быстро уменьшается. Это происходит, конечно, оттого, что белая «родня» вместе с «духовными префектурами» принесла с собой спиртные напитки, карты, скверные европейские болезни и револьвер.

Негр должен работать как буйвол. В свободные часы он пьет и играет в кости, проигрывая весь свой заработок. Он болеет и умирает от невиданных раньше болезней. Разве мудрено, что при таких обстоятельствах, несмотря на самый тщательный присмотр «викариев» и «духовных префектов», Конго отмечено такой высокой смертностью. Впрочем, к этому мне придется вернуться позже.

Осмотром Колониального музея завершается мое пребывание в Брюсселе. Я увожу оттуда множество воспоминаний. Бельгийские студенты долго машут вслед поезду своими кепи с большими козырьками...

И снова Париж.

Глава 18

«ТЕМ ЛУЧШЕ»

Не так давно в Америке разразился один из тех судебных процессов, на которые так падки бульварные газеты и журналы. Между прочим, обвиняемой инкриминировалось то обстоятельство, что ее возлюбленный, по ее наущению, ограбил банк, чтобы закупить ей тряпок.

— Как могли вы допустить, — спросил судья, — чтобы столько денег было истрачено на платье, которое целиком умещается в жилетном кармане и которое ничего не весит? (Здесь же была дана фотография этого платья и этого кармана.)

— Почему вас это удивляет, — ответила подсудимая, — платье не куль картофеля. Его покупают не на вес.

Платья действительно покупают не на вес. Современные платья почти ничего не весят. И все же они весят много. Они тяжело лежат на плечах, они тяжело гнетут, правда не тех, кто их покупает, а тех, кто их продает.

Сейчас, в связи с ростом френка, иностранцев в Париже осталось сравнительно немного. Продать что бы то ни было становится все труднее. Если до войны «честь

фирмы» не допускала возможности отпустить покупателя с пустыми руками, то сейчас в этой жажде *продать* сквозит отчаянье.

Если, выбирая платье, покупательница колеблется, то продавщица зовет «старшую», чтобы вместе с ней уладить «трудный» случай. Легкие платья навалены горами, есть из чего выбирать, но... случай трудный. Тогда «старшая», покрашенная модным теперь апельсиновым румянцем, тщательно стриженная, любезная до приторности, с бессменной улыбкой ведет себя как полководец в трудные минуты боя.

Если это не платья, а, скажем, обувь, то «старшая» вырастает до гомерических размеров. Она знает наизусть весь магазин, весь склад, содержимое каждой коробки.

— Мадмуазель Марго,— говорит она продавщице,— а вы предлагали мадам модель «Демиришелье» номер пятнадцатый? Не подходит? Тогда попробуйте «Лорд Чемберлен» с двумя перепонками. Вы говорите, узко? Тогда будьте любезны, мадмуазель Марго, из запасной серии модель «для особо чувствительной ноги» из антилопы, на невысоком «Луи-каторзе»...

И так в течение часа, не умолкая ни на минуту. Гора коробок растет, «Луи-каторзы» наваливаются на «Чемберленов». А «особо чувствительная нога» подсовывает продавщице свою длинную ступню.

Но если пожелать вернуться к платьям, то это нужно сделать иначе. Не в обычное место нужно идти, не в магазин на Больших бульварах, а на Елисейские поля, в ателье «Большого портного», в храм.

На Елисейских полях парадная дверь внизу распаивается мягко. Швейцар кланяется. Деликатно отлогая лестница, вся в серебристо-сером бархате, говорит: «Пожалуйста, мы вам очень рады. Но... будьте серьезны. Вам покажут «весеннюю коллекцию» в двести сорок платьев. Пожалуйста, будьте серьезны».

Наверху, у входа в зал — целая стая продавщиц. На них черный шелк, руки и шеи открыты. Платье очень черное, шея очень белая: они слегка похожи на пингвинов.

От черно-белой стаи отделяется одна и направляется вам навстречу. Вас не впускают в зал, если здесь же не будут соблюдены все формальности. А формальности такие: необходимо, чтобы вы назвали фамилию того или той, кто вас «ввел» сюда. Если вы этого не помните, вас не пустят: очень вежливо, но очень решительно... Еще, конечно, лучше, если вы сами — давнишняя клиентка данного ателье. Тогда идите смело.

Зал велик и тоже серебристо-сер. По стенам — мягкие стулья. На стульях — разный народ: тут и светские парижские дамы, и актрисы, худые и бледные, и толстые американские портнихи с лорнетками, одна даже с биноклем.

Ровно в пять часов, как и было назначено, начинается «дефиле манекенов». Манекены все живые и все красивые. Наблюдает за ними старенькая покрашенная ведьма на сухоньких ногах.

Из внутренней двери плывут платья. Все они имеют имена, отпечатанные в особых тетрадках. Имя и номер. Какие имена!.. Здесь и «Сандрильона», и «Лиловый коралл», и «Дэнди», и «Пикассо», и «Али-Баба», и «Парадокс», и «Тысяча и одна ночь», и «Целуй меня», и «Тем лучше»...

Все эти платья плывут и плывут мимо. У каждого «манекена» в руках номер. По номеру вы можете определить название... У всех один и тот же жест: правая рука с номером вытянута вперед, левая слегка откинута назад.

Все это длится два часа. Тишина. Изредка только американская портниха или портной подзывает к себе «манекен» и щупает материю. Разговаривать не полагается. Вопросов никаких, ответов никаких. «Манекены» (их несколько) переодеваются без конца... Перед глазами повисает туман. Платья хороши, но их слишком много.

Вот какая-то манекенша произнесла громкое слово, засмеялась. И тотчас же сухонькая покрашенная ведьма повернула к ней свою маленькую головку:

— Нельзя ли быть серьезнее, мадмуазель!

И «мадмуазель» (она без имени: только платья имеют здесь имена) прикусила губу, сделалась «серьезна»... Платья проходят. Вот и «Целуй меня», вот и «Тем лучше». «Тем лучше» очень красиво. Это — узкое черное платье с широким поясом. Им, как шарфом, туго перетянуты бедра. У «Тем лучше» красивое и сумрачное лицо. Зеленые глаза не смотрят ни на кого. «Тем лучше» кашляет. У «Тем лучше» на лбу явственно проступает пот. Я предполагаю, что у «Тем лучше» легкие не в порядке. О чем она может думать? Может быть, она думает примерно так: «Чем хуже, тем лучше»...

На обратном пути серо-серебристая лестница глядит уже недружелюбно. «Катись отсюда, вредная иностранка! Ты была недостаточно серьезна...»

Все равно. Пусть говорит, что ей угодно, лестница. Я была серьезна и видела, сколько весит платье.

Но и на Елисейские поля в серебристо-серые шелка проникла Америка — проникла не только в виде американских портных, высматривающих в бинокли тонкости французской моды. Америка изменила характер парижского платья. И портнихи Нового Света, приехав сюда, находят здесь свою же Америку, слегка только смягченную французской грацией.

Интересно проследить, какую эволюцию пережил костюм во Франции за последнее время. Раньше, в довоенное время, во Франции не существовало различных типов одежды. Всюду: на улице, на работе, в театре, дома — всюду одевались одинаково. Всюду были шелк, короткие рукава, голые шеи. Это сохранилось и теперь, но в значительно смягченном виде... Невзирая ни на какую погоду, носили шелковые туфли и шелковые чулки.

У парижских портных существует словечко «флу». Это «флу» обозначает специфические парижские вещи: платьица, у которых нет даже фасона, а только один шик. И вот на смену «флу» появилась Америка. На смену появились практичные, спокойные, удобные — одним словом, американские вещи. Появились те самые пропарафиненные подошвы с рентгеновскими лучами, с которыми я встретила по дороге из Берлина

в Париж. Появились шерстяные чулки, непромокаемые пальто. Одежда приобрела спортивный вид, столь ненавистный раньше французам. Спортивный вид, который неотделим от современной улицы. По такой одежде французы до войны узнавали англичан и американцев и издевались над ними. А теперь не только мужчины носят ее, но и женщины, парижанки.

Костюм во Франции сделался *дифференцированным*: один для улицы, другой для дома и т. д. Идея *утилитарности* постепенно внедряется в сознание. Постепенно вырабатывается *стандарт* удобного рабочего платья, состоящего из двух частей, «из двух кусков», как говорят портные: из гладкой или плиссированной короткой юбки и джемпера. Все это делается чаще всего из теплой шерстяной материи, из шерстяного трико. Все это не только красиво, но и очень удобно... Характерно, что за последнее время почти ничего нового в области моды не выдуманно. Конечно, изменились некоторые детали, пустяки. Но основная линия осталась неизменной. Эта удачно найденная прямая линия пришла во Францию из Америки. Нужно надеяться, что она не скоро изменится.

Теперьшние французские танцы, все эти фокстроты, уже выходящие из моды, эти «чарльстоны» и особенно самый последний, «блэк-боттен», — все это носит на себе несомненный отпечаток Америки. Они близки ей по своей спортивной сущности.

Если бы пожелать изобразить Францию графически, то легче всего было бы сделать это при помощи дуг. Дореволюционное, старинное придворное воспитание требовало мягкости и округленности. Реверансы были округлы, танцы (менуэт и даже вальс) были округлы. Скульптура была полна смеющихся округлостей. Периоды фраз были великолепно закруглены, как реверанс.

Теперь же на смену этим округлостям, всем этим дугам и овалам, пришел прямой угол. Место круга занимает квадрат, место дуги — угол... Если мы присмотримся к современным танцам, то легко убедимся, что они построены по принципу «прямого угла». Кавалер и дама держат руку так, что локоть образует угол.

Пара не вращается, а движется по ломаной линии. Все это уже приближение к гимнастике. Это — танцы для спортсменов, упражнение для здоровых американских мальчиков...

В производстве изменились навыки работы. Нельзя забывать, что довоенная Франция была страной главным образом земледельческой. После войны пришлось перенимать новые американские способы производства. Франция постепенно стала «механизироваться».

Убыстряется жизнь, улучшаются методы производства. Но, в то время как с машинами дело обстоит сравнительно просто, в то время как машина послушна, у нее нет нервов и колесо можно заставить вращаться с желаемой скоростью,— человеческий механизм оказывается далеко не так податлив... У машины нет никаких привычек, у нее нет темперамента, у нее нет наследственности. Нет того, что отлагается в человеке веками и что не так легко поддается изменению.

«Американизация» Франции тяжело дается живым людям. Человек должен изменить весь ритм своего существования. Ведь естественно, что если машина работает быстрее и быстрее производит, то продавец должен тоже работать быстрее, чтобы сбыть товар. И если раньше продавщица, предлагая в магазине платье, улыбалась покупательнице с определенной скоростью, тратя на улыбку примерно двадцать секунд, то сейчас она должна на такую же улыбку потратить пять секунд; в противном случае гора непроданных платьев обрушится на нее и задавит ее. Если раньше ее улыбка стоила примерно франк, то сейчас она стоит дороже, потому что время подорожало. Продавщице остается либо улыбаться хуже, либо брать за улыбку дороже. Нужно прибавить, что она делает и то и другое.

Люди, начиная работать по-новому, непомерно устают. Они еще не приноровились к новому ритму. Они еще не умеют соразмерять своих движений. Француз, работая, вносит в дело романтику. За работой он любит посмеяться и пошутить, закурить трубочку,

окликнуть женщину, погладить кошку — тысячи мелочей, которые вчера еще были необходимостью, а теперь стали роскошью... Теперь надо зорко смотреть по сторонам. А по сторонам: Америка, Англия, крепнущая Германия. Извне — твердокаменная валюта, напирющая на хрупкий франк. Это — извне. А внутри — неуверенность, шаткость, безработица — явление, неслыханное во Франции, где вопрос о «рабочих руках» был действительно «вопросом» в том смысле, что рук этих не хватало.

Глава 19

«ЗЕРО ЖЕНЕРАЛЬ»

Казалось бы, видя и чувствуя быструю смену ритмов, новый темп жизни, нужно было бы позаботиться о том, чтобы подготовить ко всему этому подрастающее поколение. Надо было начать со школ. И вот разговор с одной девочкой, правда «буржуазной», из буржуазного лица. Но ведь и ей, этой по-старинному скроенной девочке, придется приноровиться к новым условиям жизни. А пока она проходит курс наук в лицее. Лицей назван именем одного из больших старых драматургов Франции, который умел смеяться и, смеясь, бичевать. Он восставал против пороков буржуазии, этого только что народившегося «третьего сословья». А теперь «третье сословье», ставшее «первым» в стране, посылает в этот лицей своих детей. И дети изучают там... очень мало математики, очень мало физики, как можно меньше точных наук, тем более что этот лицей для девочек. Как можно больше истории литературы, конечно, французской.

— Наш лицей,— рассказывает моя знакомая девочка,— замечательно красив. Прежде всего само здание...

— Вероятно, выстроенное по самым новым образцам. Много воздуха... огромные окна, двор для спорта.

— Нет, как можно. Наоборот, наш лицей точная копия старинного греческого храма. У нас в приемной

висит рисунок этого храма: совсем наш лицей, только в развалинах. Вместо двора у нас маленький внутренний дворик, «атриум» называется, вы, может быть, слышали?

— Да, как будто слышала. Ну, и что же, хорошо в этом «атриуме»?

— Да нас туда не пускают. Зато есть ограда, через которую мы все можем видеть.

— Замечательно. Ну, а внутри здания как?

— Очень хорошо. В залах — полумрак. Так и кажется, что сейчас появится Диана, богиня охоты.

— А почему, собственно, вас так интересует богиня охоты? Разве вы у себя в лицее охотитесь?

И оказывается, что да. Воспитанницы «старинного» лицея, вооруженные, взамен лука и стрел, пером и чернилами, яростно охотятся за высшим баллом — «десяткой». Но благородная дичь чаще всего ускользает из рук, оставляя взамен себя поганую зверюшку «зеро», другими словами — обыкновенный нуль.

Но нули бывают и не обыкновенные, не частные, а общие. Бывают случаи, когда весь класс получает «зеро женераль», то есть «всеобщий нуль»... Мне захотелось узнать некоторые подробности об этой разновидности нуля. Однако девочка, заметно омрачившись от неприятных воспоминаний, давала ответы уклончивые и неохотные:

— Да, ставят. И даже часто. Но тут уж никто не виноват. Просто весь класс получает.

— Да за что же?

— За всякое. За поведение, если шалят. Или за английскую письменную работу, но тут уж никто не виноват. Просто весь класс получает.

— Как же за английскую работу? Я не понимаю.

— Как же не понять: очень просто. Например, нам задают выучить дома страницу английского. Мы выучиваем, а потом в классе пишем наизусть. Тут уж полагается только две отметки: или десять или нуль. Середины нет. Надо выучить так, чтоб без ошибки, без единой. А если хоть что-нибудь неправильное, хоть

что-нибудь не так, ну, там буквочку или даже запятую, тогда сейчас же «зеро».

— Ну, а почему «женераль»? Всем-то за что?

— А это за то, что если, например, одна половина класса напишет хорошо, а вторая плохо, то чтобы мы стыдили друг друга.

— Ну, и как, стыдите?

— Стыдим, конечно. Да ведь трудно, знаете, выучить все до запятой.

— Но ведь то, что вы делаете, это — зубрежка. Это смысла не имеет.

— Нет, не говорите. «Десять» всегда имеет смысл. Если вы много наберете десятков, то в конце недели уже получаете «почетное место» на первой скамье. А если еще неделю, то получите «почетный лист». Так даже можно до награды дойти в конце года.

— А вы, например, надеетесь?

Девочка заметно посмутнела:

— Нет, не очень-то надеюсь. Тут со мной неприятность была: я «зеро» получила.

— Какое? «Женераль»?

— Нет, особое. Только мне.

— Индивидуальное это называется. За что же это?

— За президентов,— со вздохом ответила «охотница за десятками».— Я их всех перепутала.

— А строго с президентами?

— Ужас! Боже упаси хоть одного пропустить. С Людовиками тоже трудно, но те хоть по крайней мере перенумерованы. А президенты...

Я посочувствовала ей.

Глава 20

«ЛЮДОВИКИ» И ЧЕРВИ

Количественно и качественно «людовики» надолго заволокли страну. Они оставили неизгладимый след в архитектуре и декоративном искусстве, те самые «людовики», которые, по выражению моей знакомой девочки, «перенумерованы».

Чем проще и лучше в своей простоте становятся предметы «нового» обихода, тем яростнее обставляются комнаты «людовиками» как подлинными, так и ложными... Бесчисленные фабрики заняты «людовиками» ложными. Подделывается все, вплоть до мельчайшего завитка, вплоть до червоточин, для какой цели выводят и культивируют в новом дереве особых червей.

Что касается подлинных «людовиков» с подлинными червями, то им нет цены. Любовь и уважение почти каждого француза к такой редкости настолько велики, что обладатель настоящего старого кресла или стула скорее сам сядет на пол и возьмет кресло к себе на колени, чем оскорбит его прикосновением своего тела.

Не вполне благополучно обстоит дело и с «новой» архитектурой. В одном из последних архитектурных альманахов мы находим несколько тезисов, которые кажутся неоспоримыми. Там, например, сказано следующее: «Жилище должно соответствовать человеку так же, как раковина соответствует улитке».

Это, может быть, и верно. Но в то время как улитка не меняется, человек с момента появления машины бесконечно изменился. Изменились его движения, его поступки, его мысли. Он как бы родился наново. Жилье же его осталось старым. Произошло нечто подобное тому, как если бы «улитку заставили жить в спичечной коробке», говорится дальше в этом же сборнике... Следует прибавить, что все сказанное относится не к одной только Франции. Все «раковины» всего мира не поспевают за изменениями улитки-человека. Но во Франции сегодняшнего дня это особенно ясно. Именно потому, что архитектурные возможности здесь чрезвычайно велики, мы вправе были бы ожидать во Франции особенно быстрых приспособлений человеческой «раковины». Но на деле это не так.

Из всех видов искусства архитектура, пожалуй, самое консервативное по той причине, что дом строится не на один год и не на десятилетие. Но даже и в этом свойственном ей медленном темпе европейская архи-

тектура, в частности французская, отстает от современности... Особенно ясно это становится на примере Парижа. Весь Париж выстроен по одному образцу: для домов выработана форма со строго определенным размером окон, дверей и т. д. Правда, это придает Парижу ту стройность, то единообразие, которое так выгодно отличает его от других городов. Но эта жертва частностями в пользу целого слишком дорого обходится каждой отдельной окостеневшей «раковине», каждому отдельному дому. Никаким «новым» веяниям архитектуры здесь не место.

В предместьях Парижа, например, там, где селятся либо богатые люди, либо «чудаки», можно уже видеть то, что называется «сите модерн», то есть «дом новейшей архитектуры»... В домах этих прежде всего поражает простота их очертаний, их прямоугольность. Все они — большие светлые кубы, где стекло занимает столько же, если не больше, места, чем камень. Их окна не похожи на обычные.

Оказывается, окно совсем не такая невинная вещь, как принято думать. По поводу окна разражаются громовые споры, пишутся статьи. Окно имеет свою историю. Она приходит мне на ум в данную минуту, когда слабое зимнее солнце с трудом проникает в узкое парижское окно. Окно это — мой враг. Каждый день оно крадет у меня несколько минут света и несколько кубических сантиметров воздуха. И, глядя на это худосочное окно, я злорадно пишу о том, как выглядело окно в прошлом и что будет с ним в будущем...

Первые человеческие постройки не имели окон, а только узкие щели. Да оно и понятно: в те далекие и беспокойные времена задачей человеческого жилья было защищать человека не столько от дождя, ветра и холода, сколько от опасности. Человеческое общество было еще слажено, и непрошенные гости были в те времена еще неприятнее, чем сейчас. Чем уже было окно, тем труднее сквозь него проникала опасность. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что тонкость человеческих взаимоотношений прямо пропорциональна величине окна.

Итак, по мере развития цивилизации окна становятся все больше. Человек надолго остается под кровом, прикованный к труду. В связи с этим все острее становится жажда света и воздуха... К моменту появления машины человек ушел уже от природы очень далеко. Он ушел от природы, следовательно, природа должна идти к нему. И тогда в погоне за светом и воздухом человек хватается привычное, высокое, узкое, «вертикальное» окно, хватается и кладет на обе лопатки: окно становится «горизонтальным». Новейшие дома, эти «сите модерн», состоят уже из нешироких каменных лент, обрамляющих стекольные плоскости.

Однако ни одна революция на свете не происходила без боев. Были бои и в «оконной» революции. Были там свои поражения и свои победы. Об одной из таких побед рассказывает архитектор Корбюзье. Нужно предварительно сказать, что он был одним из творцов «горизонтального» окна.

Но у «горизонтального» окна нашлись враги; среди них, тоже архитектор, Огюст Перре, который на страницах парижских газет громил Корбюзье за его новшества и отстаивал старое, доброе, привычное «вертикальное» окно.

«И вот,— пишет Корбюзье,— окончательно разругавшись с Перре по поводу окна, я отправился на выставку «декоративных искусств», устроенную в только что отстроенном павильоне. И что же я там увидел! Я увидел прежде всего закат, глядящий в широкое «горизонтальное» окно, единственное, которое мне с трудом удалось отстоять. Но самое главное, я увидел уважаемого Огюста Перре, который, в свою очередь, глядел на вышеупомянутый закат именно через это же им поруганное окно. Остается прибавить, что Перре курил при этом сигару и был, по-видимому, вполне счастлив. «Почему вы сидите именно здесь, дорогой коллега?» — спросил я его не без яда. «Так как-то... бессознательно», — ответил он, явно смутившись. Тогда я понял, что «горизонтальное» окно «бессознательно» победило. Я понял, что роль «вертикального» окна уже сыграна. Оно должно исчезнуть: вопрос только во времени».

В данную минуту, цитируя Корбюзье, я с неменьшим ядом, чем он сам, гляжу на свое худосочное парижское окно, крадущее у меня закат, и думаю: «Твоя роль уже сыграна. Ты должно исчезнуть; вопрос только во времени».

Глава 21

ДОМ И ЕГО ВНУТРЕННОСТИ

Для нашего века «прямого угла» необычайно характерно, что все новейшие постройки возведены по законам геометрии. Кроме того, архитектура не является теперь актом насилия человека над материалом, как это бывало раньше, когда дерево заставляли выглядеть мрамором, а мрамор — кружевом. Каждый данный «материал» имеет свои законы. И, обрабатывая его в соответствии с этими законами, только и можно извлечь из него максимум радости для глаз.

Нет теперь также никаких ненужностей, никаких каменных бантов и локонов, искажающих простые черты постройки. В соответствии с законами «материала» и с требованиями удобства строят теперь дома. Лестница устанавливается там, где она занимает наименьшее количество места и обслуживает наибольшее количество комнат.

Новая «прямая», удобная красота — красота, лишенная какой бы то ни было красоты, — нелегко дается глазу, воспитанному на «людовиках». Сплошь да рядом такой глаз в испуге отворачивается от «сите модерн».

И все же Франция одна из первых начала строить эти «сите». Здесь, конечно, сыграла роль если не непосредственно Америка, то, во всяком случае, «дух машины». Об этом с достаточной ясностью говорит один из создателей «новой» архитектуры.

— Дома, — утверждает он, — есть не что иное, как машины для жизни.

Но изменилась не только внешность дома, изменилось и его «нутро», его внутреннее убранство. Современные комнаты обставлены «мотивирован-

но». «Обставляйте свои комнаты предметами, назначение которых вполне *точно и оправдано*» — вот формула.

В универсальном магазине «Весна» на самом верху, там, где кончаются все соблазны белья, платьев, обуви, посуды, духов и лент, там, где кончается вся эта «бабья духота», — можно вдохнуть разреженный, чистый воздух хотя и не вполне «чистого», а прикладного искусства. На самом верху магазина — отделение мебели («простой»), ковров («в достаточной мере логичных и оправданных») и безделушек («этих отвратительных маленьких дряней, которые...» и т. д.). Все же безделушки, то есть ненужные вещи, не исчезли. Главным образом они приняли форму цветов, и цветов, надо им отдать справедливость, очаровательных...

Самые лучшие цветы — из стекла, одноцветного и прозрачного. Эти стеклянные колосья, глицинии и нарциссы сидят в прямых деревянных вазах. Цветы из зеленых и красных перьев, чудовищные орхидеи и тюльпаны, лежат в плоских прозрачных тарелках. Серебристые перламутровые лепестки на черных ветвях, как яблоня в цвету, цветы из соломы, из кожи, из лыка, шерстяные кувшинки, меховые лилии и т. д. В одном из последних номеров журнала по искусству я прочла статью об этих «никчемных, дурного вкуса украшениях, оскорбляющих *прекрасную пустоту стен*». Об этих «ужасных» перламутровых и стеклянных цветах, «грозящих наводнить наши комнаты».

Конечно, здесь допущен перегиб. Но показательно то, что в стране, придумавшей «безделушку», заговорили таким языком. Несомненно, что комнаты будущего если и будут украшены перламутровыми цветами, то в очень небольшом количестве. И что «прекрасная пустота стен» восторжествует. Будущий человек у себя в жилище пожелает простоты, простора, солнца и покоя, которые дают гладко окрашенные плоскости.

Здесь снова торжество принципа: «Красиво то, что удобно». Тоже своего рода американизм.

Зато уже не в универсальном магазине, где все новые идеи «популяризируются» для широкого потребле-

ния, а на настоящей, строгой выставке, откуда, конечно, были изгнаны не только цветы, но даже зародыши цветов,— на такой выставке меня поразило несметное количество ламп. Лампы были всякие: большие, маленькие и крошечные, висячие, стоячие, лежащие под столом, торчащие из стен, вделанные в стены, в пол и потолок, лампы, у которых нижняя часть была стеклянным шаром с водой и рыбами, лампы, лампы и лампы...

«Слишком много ламп,— подумала я.— Зачем так много ламп?» В одной только комнате я насчитала их четырнадцать. Но, подумав, я поняла. Лампа настолько «логична и мотивирована», что ее присутствие в комнате не может возбудить никаких сомнений. А это очень важно в эпоху, когда ни одна статуэтка (если она не ваза) и ни одна ваза (если она не лампа) не могут проникнуть в «точно обдуманное» жилище человека.

Повторяю, во всем этом много преувеличенного и даже смешного. Но суть правильна. Суть в том, что человеческая улитка, рожденная в «век машины», в век «мотивированных движений», должна иметь соответственную «мотивированную» раковину.

Глава 22

ЗИГЗАГ

В архитектуре и декоративном искусстве идея «утилитарности» выразилась в намеренной простоте. Что касается живописи, то там она приняла форму точности и определенности. Изображаемые предметы заняли определенное место в точно сконструированном мире. Теперь мы не видим уже ни импрессионистской нервности, ни футуристических бурь. Предметы обрели не только естественные очертания, но и естественный вес. Яблоко периода «импрессионизма», например, совершенно не имело веса. Это была идея яблока, содержание яблока, не имеющее формы. Дуньте на такой плод, и он взлетит на воздух, как мыльный пузырь.

Пришедшие на смену импрессионистам делали обратное. Их яблоко весило пуд. Оно с чугунной тяжестью вдавливало тарелку, на которой лежало.

Только теперь яблоко приобрело свой нормальный вес — тот вес, который дан ему природой.

Единственным из всех видов искусств, которое выступило против этой идеи «нужности», «разумности», «обоснованности», оказалась литература.

Литература, пройдя через «дадаизм», то есть своего рода отрицание «ума» и утверждение «зауми», — пришла к «унанимизму». Это направление утверждало «благость» всего живущего, некую идею как бы разжиженного всепроницающего божества. Все «атрибуты» этого божества: доброта, смиренность, жажда подвига, все эти старинные христианские добродетели были извлечены «унанимистами» из-под спуда, проветрены и брошены на борьбу с «цивилизацией». Ибо именно она, по мнению «унанимистов», сконцентрировала в себе все зло культуры. Благодаря такой точке зрения трижды зловерден сделался человеческий ум, создатель всевозможных «цивилизаций», и трижды благословенно человеческое сердце, источник доброты и смирения.

Не так давно у нас в Москве гостил один французский писатель, принадлежащий именно к группе «унанимистов». Его фраза: «Подлинная культура заключается в сердце человека», — делает совершенно ясной позицию «группы». Особенно ненавистна ей война как самое страшное проявление «цивилизации»... Будучи врачом, писатель-француз лучше, чем кто-либо другой, проникся ужасом перед страшным и кровавым делом войны, когда тысячами гибнут «человеческие сердца», эти подлинные очаги «культуры». В этом нельзя было не согласиться с нашим гостем. Но характерно, что эту ненависть к «цивилизации» он переносит из обстановки военной в обстановку мирную, на предметы вполне невинные. Можно привести этому хотя и пустяковое, но все же убедительное доказательство.

Писатель выступал в Москве со своей первой лекцией в театре Мейерхольда. На сцене была поставлена кафедра, а на ней — микрофон. Говоря, лектор

расхаживал по сцене. Но внезапно, взойдя на кафедру и заметя микрофон, он прервал свою речь вопросом:

— Может быть, нужно, чтобы я говорил прямо в эту штуку?

Надо сознаться, что слова эти были произнесены отнюдь не дружеским тоном. Наоборот, в голосе выступавшего можно было уловить целую гамму недоверия и нелюбви к «этой штуке». Совершенно очевидно, что он не хотел говорить ни в нее, ни с ней, ни прямо, ни косвенно. Почему же, собственно? Ответ ясен: радио — проявление все той же ненавистной «цивилизации». Все той же «цивилизации», которая на войне принимает форму снаряда с удушливыми газами, а в периоды мира преобразуется во всевозможные «технические» приспособления. Это все тот же ненавистный двойник культуры, «цивилизация».

Ужас перед современной техникой, близость к природе, отрицание всяких «полезностей» — вот основные свойства «унанимизма». Для «унанимистов» не существует классового деления современного общества, равно как и последствий, отсюда вытекающих. Они боятся современности: в лучшем случае не знают ее. Этим и объясняется враждебный выпад лектора против «этой штуки». Быть может, даже подсознательный.

Это «подсознательное» играет еще более значительную роль у тех, кто идет на смену «унанимистам», у «сюрреалистов»... «Сюрреализм» — это то, что уже почти не реально, что лежит за пределами разума... Все это очень последовательно. Сначала предпочтение, отдаваемое сердцу перед разумом («унанимизм»), потом игнорирование этого последнего («сюрреализм»).

Вот книга одного из «сюрреалистов», Макса Жакоба. Называется она «Стаканчик, где лежат игральные кости»... Маленькие рассказы Макса Жакоба действительно напоминают нечто выброшенное в беспорядке. Это — ряд мыслей со всей той непоследовательностью, какая бывает, скажем, у засыпающего человека. Это «подсознательный» строй, над которым разум не властен. Полусны и полунамеки, где-то когда-то

слышанное слово, где-то когда-то виденный образ. Все это освещено тусклым фонарем невеселой иронии. В большинстве случаев человеческие сны печальны. Нам часто случается просыпаться от собственного вскрика и очень редко — от смеха. В сумятице сна, в его дезорганизации есть скорее нечто пугающее, чем радующее. Такова и литература «сюрреалистов».

Этот уход от действительности в туманные области сна есть несомненный протест против всяческой «обоснованности». Яростный протест латинского «зигзага» по адресу американского «прямого угла».

Следовательно, даже и здесь можно проследить следы американского влияния.

Глава 23

«АМЕРИКА НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ НАУГАД»

Случилось мне однажды видеть афишу юной театральной студии с девизом: «Лучше, идя вперед, поскользнуться и храбро подняться, чем, никогда не оступаясь, стоять на месте». Другие вполне зрелые театры предпочитают как раз обратное.

— В театре должно быть «ригоλό» — забавно, — говорят французы. — Все остальное скучно.

Пожалуй, больше всего на шумела в этом сезоне пьеса английского драматурга Сеттона Вэна «В открытом море». Речь в ней идет о загробной жизни... В небольшом театре на Елисейских полях «изысканная» публика с любопытством следит за переживаниями шести пассажиров на корабле. Сначала все идет как следует. Путешествие как путешествие. Но постепенно пассажиры замечают что-то неладное. Никто из них не знает, куда, собственно, он направляется. И вот возникает догадка, что все они умерли и едут в загробную жизнь.

Для того чтобы превратить эту догадку в уверенность, созывается на корабле совещание, на котором пытаются выяснить положение дела. Мнения разде-

ляются, но большинство склонно думать, что все они — мертвецы. Тут же одна немолодая, но легкомысленная вдова облачается в траур под тем предлогом, что это «подходит к случаю». Молодой патер припоминает шансонетку, которую однажды слышал случайно, но вспомнить которую ему мешал его сан. Узнав, что он мертв, святой отец с удовольствием мурлычет зажига- тельный мотив. Сомнительной честности банкир подго- товляет свои ответы на ожидающем его Страшном суде, а тихая, кроткая старушка, бывшая при жизни курьершей, высказывает надежду на то, что «там, на земле, ее похоронили прилично», что были цветы и друзья в достаточном количестве.

Корабль приближается наконец к страшному бе- регу, где ждет их «судья». «Судья» является в виде монументальной духовной особы, умершей несколько лет тому назад, бывшего наставника молодого патера. Очевидно, на том свете старику повезло. Он важен, самодоволен, преисполнен достоинства. Он весь в бе- лом полотне, на нем пробковый шлем, и все же он об- ливается потом: климат, конечно, жаркий...

Тут же, на корабле, «судья» распределяет награды и кары. Беспутный гуляка с добрым сердцем получает чистилище с надеждой на рай. Немолодая вдова (вы- яснилось, что она чуть ли не отравила своего мужа, почтенного полковника английской пехоты) попадает прямехонько в ад. А старушка, бывшая курьерша, об- ретает рай.

Но рай и ад у каждого строго индивидуальны. Это не шаблонные райские рощи и адские котлы. Нет! Лег- комысленная вдова снова возвращается к своему мужу, от которого она совсем было избавилась. Ей вновь предстоит домашний ад: приемы, обеды, ненавистный сигарный дым, остроты мужа, его поцелуи, его собаки, его приятели — все, от чего она страдала при жизни. Старенькая курьерша поступает на «тихое место, без стирки», к одинокому молодому человеку, такому, ка- ким мог бы быть ее без вести пропавший сын. (Впо- следствии выясняется, что это он и есть.) Узнав о своем счастье, о «тихом месте, без стирки», она воскли- цает: «Такое место, ведь это рай!»

Любопытно, что все эти приговоры выносятся в строгой согласованности с церковью. Так, например, пара влюбленных, покончивших с собой, неприкаянно бродит по кораблю; она будет странствовать вечно, ибо религия учит, что самоубийцы не допускаются ни в ад, ни в рай: им суждены какие-то промежуточные сферы. Впрочем, в конце пьесы эти трогательные влюбленные оживают благодаря собаке, которая там, на земле, разбила оконное стекло и пустила свежий воздух в отравленную газом комнату.

Дожидаюсь пальто у вешалки, можно слышать разговоры о том, что все это недостаточно «риголь» и что вообще «этих вопросов лучше не касаться».

В то время как французы смотрят «В открытом море», американцы в Париже ходят главным образом на «ревю», на обозрения.

В «Казино де Пари» — обозрение. Называется оно... Впрочем, не все ли равно. Как бы оно ни называлось, там будет всегда одно и то же: полуодетые представительницы женского пола. Содержание ко всему этому прикреплено еле-еле... В «Казино де Пари» проходят перед зрителем самые фантастические вещи. Вот морское дно, где в полумгле движутся белые, розовые, черные и красные кораллы. Все они, конечно, женщины, и все почти раздеты.

Наиболее «современной» частью обозрения является та, где изображен автомобиль: сначала колеса, потом руль, потом педали, фары, клаксон, мотор, — словом, все его части. И все это — женщины, и все обнаженные. Особенно мило выглядят «колеса», до пояса голые, в алмазных трусиках, с серебряными колесами на головах. Все молодые и красивые... «Фары» тоже голые до пояса, на ногах — узкие жемчужные штаны, на голове — ослепительные лучи... Другая картина изображает берег тропической реки, где прогуливаются крокодилы и страусы. Они поют веселые куплеты. И только в конце уясняешь себе, что все это вместе взятое — реклама магазина сумок и вееров.

За тот вечер в «Казино де Пари» продефилировало

перед зрителями, по самому скромному подсчету, пятьсот женщин; сменилось несметное количество костюмов, опустилось и поднялось не меньше двадцати занавесов.

Наступил торжественный момент, «гвоздь» вечера... Со сцены было объявлено в рупор, что в публику будет брошен мяч и что тот, кто его поймает, обретает право пойти на сцену и поцеловать там по своему выбору любую из «колес» или «крокодилов».

Свет зажжен. Зажжена не только большая люстра, но и все маленькие лампочки по бокам. Мяч брошен и летит по головам присутствующих. Поймать его трудно: он слишком огромен. Рук не хватает, чтоб его удержать. Вот его почти что схватил почтенный человек в третьем ряду партера. Но в последнюю минуту мяч, мазнув его по лысине, полетел дальше... В конце концов его поочередно поймали трое: два француза и один американец. Они все согласно обещанию были приглашены на сцену, где длинным рядом выстроились дамы. Но труден выбор какой-нибудь одной из сотни красивых и соблазнительных улыбок под биноклями целого зрительного зала. Один из поймавших мяч французов несомненно охотнее всего ушел бы подальше от этого дела. Но зачем же он тогда так усердно ловил мяч? И, не глядя ни на кого, «счастливец» целует первую попавшуюся руку и быстро уходит. Второй поступает приблизительно так же. Но третий... О, «Америка ничего не делает наугад», — как сказал в поезде мой знакомый американец. И американец, не обращая ни на что и ни на кого вниманья, приступает к выбору той, которую он сейчас поцелует. Для этого он, сняв очки, вынимает из кармана запасную, очевидно более сильную, пару и при напряженном внимании всего зала тщательно протирает их. Нужно же видеть то, что выбираешь. «Америка ничего не делает наугад»... Надев очки, американец идет вдоль ряда девушек. Он не дает обольстить себя нестоящей улыбкой. Он не торопится: спешить ему некуда. Он трудился, он ловил мяч, он поймал его. И теперь в награду за все затраченные усилия он выберет себе самую красивую, самую молодую, самую привлекательную. Выбрав, он

шелковым платком смахивает избыток пудры с пригнувшейся ему ямочки на щеке и крепко, уверенным деловым поцелуем целует ее. Затем, подумав, он целует еще раз. И наконец, уверенным деловым жестом пожав руку своей «избраннице», он под туш оркестра не спеша возвращается на свое место.

Нет, Америка ничего не делает наугад!

Глава 24

СОЛНЦЕ И ПОРОХ

Если правда, что на Францию надвигается Америка, то хотелось бы знать, ощущает ли это сама Франция.

Да, Франция прекрасно видит опасность, видит и боится ее... Первый наиболее серьезный показатель — это все растущий интерес к экономике. Конечно, во Франции всегда были специалисты по этим вопросам. Но кто, кроме них, еще интересовался горной промышленностью и промышленностью текстильной, земледелием и огородничеством? Никто.

Однако за последнее время в самых различных сферах Парижа, начиная университетом и кончая всевозможными «обществами», читаются лекции и устраиваются собеседования по всем этим довольно необычным вопросам. И самые «светские» люди Парижа жадно слушают о том, сколько тонн каменного угля таят в себе недра французской земли, сколько гектаров засеивается пшеницей и сколько засажено картофелем и репой. Элегантные мужчины и модные женщины, слушая «уважаемых и компетентных» докладчиков, облегченно вздыхают и довольно переглядываются между собой.

— Да, все еще вовсе не так плохо... «Есть еще порох в пороховницах». Мы еще повоюем. У нас есть еще и уголь, и репа, и пшеница, и колонии.

Колонии!.. Я помню, что давно, в мои самые юные годы, у нас в классе, как раз наискосок от глобуса, между «единицами мер и весов» и исключениями на букву «ять», висела литография, на которой была изоб-

ражена небольшая рысь, вонзившая зубы в шею оленя. Олень, запрокинув голову, мчится по равнине, но ясно, что от рыси ему уже не уйти; так и будет она висеть, пока не высосет все жизненные соки... В Тервюрне, в Брюсселе, в Колониальном музее я снова вспомнила и оленя и рысь. Именно в виде рыси предстала передо мною маленькая хищная Бельгия, вонзившая зубы в гигантское Конго. У Бельгии — Конго, у Франции — Индо-Китай, а в Индо-Китае — каучуковое дерево.

Совсем недавно вышла в Париже книга, написанная журналистом Жоржем Лефевром, посланным «Колониальным вестником» исследовать все, что касается каучука.

Жорж Лефевр изъездил все местонахождения драгоценного дерева и написал книгу под названием «Эпопея каучука». Появление на мировой арене нового «чемпиона» среди старых испытанных бойцов, какими являются уголь, нефть, пшеница и т. д., описано с поражающей яркостью. Ничто — никакие музеи, никакие справки, никакие таблицы — не в состоянии дать такого полного представления о колониальной политике, как книга этого француза, у которого радостно бьется сердце при виде французского трехцветного флага, развевающегося в чужой стране.

Бешеная автомобильная промышленность Америки сделала из этой страны главную потребительницу каучука.

Но, по особой иронии судьбы, Америка, имеющая решительно все, лишена климата, необходимого для каучуковых плантаций. Климат же, по словам плантаторов, должен быть таков, чтобы «ноги мокли в воде, в то время как голова сгорает на солнце».

Нужно отдать справедливость неутомимому журналисту: он не испугался ни лихорадки, ни вертикальных огненных лучей солнца, ни косвенных ледяных взглядов английских плантаторов и дельцов, недовольных этой французской юркостью. Волею судеб Америка лишена возможности сама выращивать каучуковые деревья: нужный для этого климат («ноги в воде, голова на солнце») у нее есть только на Филиппинах. Поэтому Америка вынуждена покупать каучук у Англии. От-

сюда и вражда между ними: одна хочет продавать как можно дороже, другая — покупать как можно дешевле. Друг без друга они обойтись не могут. И тогда Франция вспоминает, что и у нее ведь есть страна, в достаточной мере залитая солнцем и водой: Индо-Китай.

В книге Лефевра перед нами проходят английские, голландские и французские плантаторы, каждый со своими особенностями: железная настойчивость англичан, ботаническая тщательность голландцев, которые работают не столько на плантациях, сколько в лабораториях, выращивая новый, более совершенный тип каучукового дерева. Легкомысленная талантливость французов, говорящих про себя: «Мы плантаторы, а не профессора. Наше дело сажать деревья и выкачивать из них сок. Не наше дело производить опыты».

И они сажают деревья и выкачивают сок... А в отдалении, в солнечном тумане, за всеми этими несчетными рядами деревьев с надрезом на коре, встает силуэт Америки.

Одно из моих последних парижских воспоминаний — это «каучуковая» выставка, устроенная в «Гран Пале». Посетило ее не слишком много народа: ее забивала выставка «Независимых», в этом же «Гран Пале» (только с другого входа) выставившая свои пять тысяч полотен. А жаль!.. Все, о чем писал Лефевр, было воплощено там в экспонатах. Вся область, захваченная каучуком, начиная от неуязвимой автомобильной шины, толстой, как кожа гиппопотама, и кончая тончайшей медицинской перчаткой. Была там и комната, где все — и обивка кресел, и пол, и цветы в вазе — все было из каучука.

Вся неутолимая жажда каучука, которая вынуждает собирать отбросы: старые губки, мячи, калоши, автомобильные камеры, всю каучуковую рвань, для того чтобы, пережевав все это в резиновую кашу, запихнуть в ненасытную пасть Америки, — все становилось ясным на выставке... Рост каучуковых деревьев, которые только на шестом году жизни начинают выделять сок, не поспевает за ростом фордовских заводов. Много посажено каучуковых деревьев, но, пока они растут, — «дефицит» огромен.

Однако там, в этих далеких странах, важно не только насадить каучуковые деревья, нужно еще иметь рабочие руки, чтобы добывать сок. Тут Лефевр не знает пощады. О «рабочих руках» он говорит с откровенностью и жестокостью истого колонизатора. Он полагает, что «туземное население» только для того и явилось на свет, чтобы работать на каучуковых плантациях. Всякая даже самая скромная попытка предоставить местным рабочим хотя бы тень каких бы то ни было прав встречает со стороны Лефевра сарказм и иронию.

«Трудно представить себе всю смехотворность попытки организовать некоторое подобие «туземного» комитета из четырех негров без штанов, у которых спрашивают их мнение об устройстве дороги,— говорит в одном месте Лефевр.— Это фарс, недостойный великого народа-колонизатора».

Больше всего французского журналиста волнует мысль о том, что в великом сражении за каучук Франция может остаться в стороне и будет наблюдать за битвой, как «прекрасная дама из ложи». Наблюдать, в то время как ей необходимо самой сражаться, чтобы, победив или по крайней мере отодвинув Англию, прибрать Америку к рукам. Франция должна быть каучуково самостоятельной. С этой точки зрения и трактуют французские плантаторы вопрос о «рабочих руках». О туземных рабочих говорят, как о ручных животных.

— У меня они живут на свободе: так они лучше всего забывают деревни, откуда их привозят,— говорит один.

— Нет,— возражает другой,— я за ними наблюдаю день и ночь. Они у меня живут в общежитиях и всегда на виду.

«Профиль Азии медленно перемещается»,— пишет Лефевр о Китае. Заставить профиль Азии повернуться в свою сторону, заставить эту Азию работать на себя — вот, по мнению Лефевра, задача каждого «народа-колонизатора».

В другом месте Лефевр с удивлением говорит об одном «белом», который сам работал на плантации.

Этот единственный белый среди множества черных не-сказанно поразил Лефевра. «Колонизировать — это прежде всего импонировать», — утверждает он.

И Франция, Бельгия, Голландия, Англия «импонируют», каждая по своей системе.

В погоне за каучуком Лефевр не ограничился тропиками, местом рождения чудесного дерева. Он последовал за каучуком туда, где его обрабатывают и потребляют: в Америку, на берег озера Онтарио, в город Детройт. Город, где автомобиль стоит дешевле, чем место в гараже, где *стоять* дороже, чем *двигаться*: так дорого там пространство. Описаны дороги в воскресный день, когда остановиться невозможно: иначе едущие сбоку и сзади раздавят, превратят в лепешку. И, читая это, представляешь себе каучуковую плантацию, сожженную лихорадкой, затопленную водой, наводненную солнцем, где работают десятки тысяч негров. Где тоже остановиться невозможно, потому что белые хозяева не позволяют этого. Миру нужен каучук.

«Ничего, — говорит себе, вероятно, Франция лефевров, — ничего, что вы заполнили мой Париж башмаками на каучуковых подошвах, ничего, что вы покупаете мои картины, увозите лучших киноактеров, целуете моих актрис в обзрении, прививаете французам свои привычки и вкусы. Настанет день, подрастут мои каучуковые деревья, и тогда мы посмотрим. Мы еще повоюем. Есть еще порох в пороховницах».

Но, говоря так, подозревают ли лефевры о подлинном порохе, который не может не скрываться в ее колониях. И если под ногами там вода, которая в состоянии подмочить этот порох, то над головой достаточно солнца, чтобы воспламенить его.

Глава 25

ЛЕСТНИЦА «Е»

Полицейские участки всего мира имеют в себе нечто общее, свойственное только им: щербатые камненные лестницы, унылость и холод коридоров, запах пыли

и карболки, следующий за вами, как тень. В каждой отдельной стране это варьируется в зависимости от национального характера, но сущность остается неизменной.

В Турции, в Кадикее, о котором я уже писала, участок помещался в полуразрушенной крепости, где в амбразуры вливалась синева Босфора, по стенам карабкалась глициния и в блаженном холодке двое полицейских в фесках играли в домино. И все же восточную умиротворенность этого места омрачали каменная лестница, с запахом уборной и вокзала, и длинный коридор.

В Париже префектура монументальна и внушительна; и в такой же мере монументальна лестница, которая в ней заключена, и неприятности, которые от нее исходят.

Место, где находится префектура, одно из самых старых мест Парижа. В двух шагах — собор Нотр-Дам, откуда старые, придирчивые фантастические химеры пристально разглядывают Париж. Но, конечно, им далеко до пристальности, придирчивости и фантастичности чиновников префектуры... Префектурским чиновникам, молодым и старым, нужно знать решительно все. Продлевая вам визу, они выматывают из вас душу.

Попав на огромный двор префектуры, вы теряетесь. Квадратный массив здания замыкает со всех сторон вашу тревогу и неуверенность. Вы обращаетесь за справками к ажану. Ажан, не разобрав как следует вопроса, но уловив иностранное произношение, говорит:

— Лестница «Е», комната сорок восемь.

И тогда вы, отыскав лестницу «Е», начинаете подыматься по ней.

Со всех сторон вниз и вверх бегут по ней люди, журчат всевозможные наречия. И на всех лицах тень трехсот семидесяти пяти франков, этого «налога на иностранцев», который нужно платить каждому члену семьи каждый год.

О лестница «Е», подымаясь по которой теряешь все надежды на продление визы! О вопросы анкет;

«Сколько лет вашей матери и отцу? Когда они поженились и где жили непосредственно после свадьбы? Чем занимались до и после вашего рождения? И самое главное, что *вы* делаете в Париже?»

В этом потоке вопросов вы теряетесь.

— Что я делаю в Париже?.. Я лечусь.

— Но ведь вы здесь уже два месяца. Неужели вы еще не вылечились?

— Нет еще. Я серьезно больна.

— Будьте любезны сообщить, чем именно.

— Я... это... у меня нарушено кровообращение.

— И чем же вас лечат?

— Ультрафиолетовыми лучами.

— И кто же вас лечит ультрафиолетовыми лучами?

— Врач, конечно.

— Будьте любезны, фамилию врача.

— Я не помню.

— Его адрес?

— Не помню точно. Где-то в Пасси.

— Он — француз, ваш врач?

— Нет, русский.

— Странная идея — в Париже лечиться у русского врача. Но все-таки его точный адрес?

— Я же вам сказала, что я не помню.

— Будьте любезны вспомнить к завтрашнему дню. Завтра я буду у вас дома к четырем часам.

— Зачем же вам беспокоиться: я сама к вам приду.

— Помилуйте, как можно: вы — дама. Завтра я буду у вас к четырем часам.

Благодаря долгим и сложным хлопотам нашего посольства я получила продление визы. Я даже получила «карт д'идантите», паспорт для иностранцев. Но, несмотря на это, префектура не оставляла меня своими заботами и попечениями. Морщинистый чиновник, столь галантный в обращении с дамами, неоднократно навещался ко мне на дом, справляясь прямо и косвенно о моих делах, о моей переписке и о том, налаживается ли мое кровообращение под влиянием благотворных ультрафиолетовых лучей.

Но в тот день, когда я была спокойна как никогда, и парижская весна улыбалась мне, — в этот день я получила извещение, что мое разрешение остаться во Франции «аннулировано». И что меня просят покинуть пределы этой страны. И я покинула ее.

Между прочим, в период хлопот обо мне нашего посольства на мою долю выпало удовольствие познакомиться с одним старым и рыцарски вежливым французом, дружественно настроенным по отношению к нашей стране. Он должен был помочь мне в моем деле.

Он принял меня в большом и обильном книгами кабинете, где с книжного шкафа, глядя на огонь камина, хмурился мраморный Вольтер (тот самый, который улыбался в Бельгии, в музее месье Оттле). Со второго шкафа глядел Сократ, с третьего — Эсхил.

— Мне шестьдесят семь лет, — сказал хозяин этого кабинета. — Я не уверен, что мне осталось еще много прожить. Далекие путешествия уже недоступны мне и, таким образом, вряд ли мне удастся побывать в Советской России. Но с вершин своей старой латинской культуры я с жадностью и трепетом — да, да, трепетом — слежу за тем, что происходит в вашей молодой стране. Я читаю ваши газеты — для этого я выучился русскому языку, немного правда, но все же достаточно. Я слежу за вашей литературой. Я интересуюсь вашими школами, столь не похожими на наши... У меня есть в Москве друг, молодой татарин. Он учится в высшем учебном заведении. У меня с ним оживленная переписка. Он пишет мне обо всем.

На прощанье «друг молодого татарина» крепко пожал мою руку. Вольтер смотрел на меня почти дружелюбно. Я была благодарна лестнице «Е», что она доставила мне это знакомство...

Как-то уже почти вошло в обычай, что люди, вконец измотанные префектурой, отправляются отдыхать в Нотр-Дам. Сидя там на жесткой скамье, легко переносясь на несколько веков назад. Готические арки и

цветные стекла перестают быть только любопытными памятниками искусства: они обрастают жизнью, и какой недоброй жизнью... Темное и смутное средневековье переливается под стрельчатыми сводами. Шепоты, шорохи, мановения инквизиторского пальца, процессы ведьм, «чудесные» исцеления, окропления «святой водой» — весь этот темный арсенал прошлого, он еще почти жив, он еще слишком жив.

Но при выходе из собора, на площади, прямо против каменного входа, отягченного гирляндами человеческих грехов, пыхтит и фырчит автобус, этакое мощное, вполне современное существо. Он знает свой путь. Он дойдет до конца во что бы то ни стало.

— Кондуктор, пожалуйста, билет. До конца.

почти три года

(Ленинградский дневник)



ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ЛЕНИНГРАД

22 июля 1941 года
Москва

Кресты на окнах. Боевое ночное крещение.

25 июля 1941 года

Когда-нибудь, но только будь,
Прекрасное то время...

28 июля 1941 года

Москва, которую мы знали,
Ее (спокойный) горизонт,
Москва...
Преобразилась: это фронт.

2 августа 1941 года

Астролог Гитлера...
Одну лишь он не принял во вниманье —
Пятиконечную звезду.

6 августа 1941 года

Необычная роспись Москвы. Падающая звезда, похожая на ракету. Женщина — с кастрюлей на голове вместо каски — тушит бомбы.

10 августа 1941 года

В бомбоубежище под «Националем» во время тревоги Колдуэлл с записной книжкой.

Бомба страшной силы упала у Никитских ворот на памятник Тимирязева и вбила его в землю.

В ПУТИ

22 августа 1941 года
Поезд Москва — Ленинград
Разъезд № 7

Две бомбовые воронки, слившиеся в одну громадную, разбитая цистерна, земля, бурая от нефти, сгоревший паровоз под откосом. И тут же довоенная надпись: «За курение — под суд!» Заплаканная беременная стрелочница (вот-вот родит) тоскливо держит флажок...

Мы снова стоим. Укрытые березовыми ветвями, идут навстречу товарные платформы с машинами и частями машин: это ленинградские заводы. И по степени свежести ветвей можно судить о времени, проведенном поездами в пути.

Маховики, станки, большие и малые зубчатые колеса, плоскости, треугольники. Отдельные части смазаны жиром и обернуты пергаментной бумагой. За платформами — теплушки с семьями рабочих. В одной из них — дети на нарах. Ребячьи головы, тесно прижатые одна к другой, смотрят в окно теплушки. Ни одной улыбки.

В Москве мне рассказывали, что при поспешной эвакуации одних яслей каждому ребенку написали на ручонке его имя химическим карандашом. Но по прибытии на место всех выкупали, смыв таким образом имена. Пришлось вызвать из Москвы матерей, чтобы они опознали своих детей.

А одно дитя так и осталось неопознанным.

Ох, Москва!.. Она не оставляет, следует за мной, ранит сердце. Все вспоминается мне мой полугодовой внучонок Мишенька, как его увозили в полотняном картузике, великоватом для его головенки, в распашонке и кофточке.

Внесенный в детский вагон, он лежал спокойно, разглядывая всех блестящими глазенками и ухватив рукой собственную ножку. У меня не хватило сил еще раз войти в вагон взглянуть на него. Так и увезли...

Наш поезд тронулся наконец. Товарный — тоже. Он — из Ленинграда, мы — в Ленинград. Долго провозжали друг друга глазами.

*23 августа 1941 года
Неизвестная станция*

Остановились на рассвете. И вот — стоим. Станция неизвестная, вокзал далеко. Ни самолета в воздухе, ни выстрела на земле. Уж лучше бы гремело и грохотало, все было бы легче.

Наш вагон неразговорчив, да и пустоват. В одном купе идет нескончаемый дорожный преферанс, но тихо, словно под сурдинку. Генерал-лейтенант, задумчиво насвистывая, объявляет масть. Военный инженер то и дело выстукивает трубку о край стола — тихий звук, похожий на постукивание дятла. Трубочный дымок выплывает в коридор, слонится, утончается, повисает в солнечном луче. Порой становится так тихо, что кажется — поезд идет по мху.

За все это время только в Волхове пролетели над нами два «ястребка» и прошел мимо небольшой отряд морской пехоты — сверкнули на солнце золотые якорьки... И все.

Справа и слева от рельсов — воронки, наполненные водой. Она здесь набегаёт быстро. Вдоль телеграфных столбов тоже воронки, но маленькие. Немцы бомбили экономно, по-немецки: крупные фугаски тратили только на полотно, а на линию телеграфных проводов клали бомбочки помельче.

Мертвый лес, опаленный разрывами. И в одном месте все деревья вывернуты корнями вверх. На опушке — березка. Ее кора с крапинками, скобочками, штрихами и точками напоминает стенограмму. Здесь вся история ее жизни. Теперь эта запись оборвана на полуслове: все обуглено, расщеплено, мертво...

Только что узнали название станции: Мга. Мы ведь вообще до войны этой дороги не знали, все ездили по Октябрьской. Теперь между Бологим и Тосно — уже немцы.

А здесь — какие смолистые, дремучие названия: Мга, Будогощь, Хвойная...

*24 августа 1941 года
Утро*

О, этот путь от Пестова до Мги!
Фугасные воронки...

Чем далее на север — тем все ярче
За соснами брусничная заря.
На станции какой-то древний старче
Нам указал на поле, говоря:
«А урожай-то, милые, каков —
Мы не запомним эдаких хлебов!»

Чем далее на север...

О сене... Солнечная энергия, переработанная в траву.

Зажатая меж золота заря,
Заката темно-красная нашивка.
И лес корней, как будто под землей
Находятся стада оленей.
И рельса, вставшая дугой,
И ты, красноармейская подруга,
Безропотная спутница бойца,
Гармоника (трехрядка),
Как сладко рошцешь ты.

ЛЕНИНГРАД

24 августа 1941 года
Вечер

Первое, что мы здесь увидели, еще на вокзальной площади, — это расклеенное по стенам домов и залитое утренним солнцем обращение, подписанное Ждановым, Ворошиловым и Попковым: «Товарищи ленинградцы, дорогие друзья!..»

Оно появилось 21 августа, а И. Д. уехал за мной в Москву 13-го. За эти дни положение Ленинграда резко ухудшилось. И все же мой муж правильно поступил. Он все время говорил: «Если случится война, мы должны быть вместе». И вот мы вместе.

26 августа 1941 года

Наша квартира на Песочной, на пятом этаже, — высокая, светлая, полупустая.

Только книжные полки и тарелки на стенах в изобилии. Неувядаемые елисаветинские и екатерининские розы, николаевский, синий с золотом, орнамент. Серобелый фаянс. Хрупкое хозяйство. Куда с ним сейчас?!

Окна спальни и балкон выходят на Ботанический сад. Хотя еще жарко, но какие-то деревья уже готовятся к осени: вырядились во все золотое и алое. А что еще будет в сентябре!..

С балкона хорошо видна громадная пальмовая оранжерея, вся из стекла. Зеленые газоны, аллеи... Народу в саду мало. Я еще не была там ни разу. Пойдем в воскресенье.

Дом, где мы живем, занят Фармацевтическим институтом. Рядом с нами, за стеной, общежитие студентов. Здесь же, совсем близко, перейти только речку Карповку, — Первый медицинский институт и его клиническая «база» — бывшая Петропавловская больница, а теперь больница имени Эрисмана.

Эрисман — человек большого сердца и ясного ума. Ученый-гигиенист, много сделавший для России.

Больница его имени и Первый медицинский институт — это целый городок: множество больших и мел-

ких корпусов среди прекрасных старых деревьев времен еще «архиерейской рощи». Когда-то здесь было архиерейское подворье, а еще раньше — в эпоху основания Петербурга — мыза Феофана Прокоповича. Места, богатые воспоминаниями.

До войны И. Д. заведовал в институте одной из кафедр, а теперь назначен сюда директором.

27 августа 1941 года

Ответственный секретарь здешнего Союза писателей Кетлинская обрадовалась мне и тотчас же стала звонить на радио. Я пошла туда прямо из Союза и договорилась, что буду выступать на следующий день.

Передача называлась: «Москва — Ленинграду!»

Я начала ее так:

«Товарищи! Ленинградцы! Граждане города Ленина! Выступая в эту минуту перед вами, мне хочется передать вам привет от Москвы, от моего города, который в эти грозные дни так же мужествен и тверд, как ваш Ленинград. Так же отдает себе отчет о размерах опасности, нависшей над страной. И так же полон веры, что опасность эта будет преодолена, что враг будет разбит: Москва и Ленинград, как сестра и брат, подают друг другу руки, говоря: «Победа — за нами!»

Я цитировала Герцена:

«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», — пишет Герцен. А теперь и мы думаем о том, перед сколькими поколениями наших потомков нынешние московские ночи встанут героическим эпосом, развернутся отечественной Одиссеей, русской Илиадой».

Закончила я так:

«Гитлеризм будет уничтожен, сметен с лица земли. А ты, Москва, родная, великая столица, сердце родины и колыбель героев, и ты, Ленинград, город носящий имя Ленина, краса и гордость страны, — вы будете стоять непоколебимо, как стояли в веках».

Эту мою передачу слышали и слушали многие. Оля Ч. услышала ее в магазине, в очереди, и таким образом узнала, что я в Ленинграде.

28 августа 1941 года

Сегодня И. Д. встретил знакомого врача одного военного госпиталя, который неделю назад уехал было из Ленинграда. Все это время госпиталь простоял в вагонах на путях, но уехать не смог. И вернулся обратно.

Дорога на Мгу, последняя наша дорога, перерезана немцами. Сама Мга взята на следующий день после нашего приезда.

1 сентября 1941 года

У нас по несколько тревог в день: десять, пятнадцать. Вернее — одна сплошная тревога с короткими перерывами. Но тихо, даже зениток не слышно. Все происходит где-то там, за горизонтом. Чувствуется, что «юнкерсы» ходят кругами на подступах к городу, а пробиться не могут. Но ведь может наступить такой день, когда они пробьются, как это было в Москве.

И, как назло, необычайно прекрасны тогда были московские закаты. Солнце алым шаром подтягивалось к горизонту. И по мере того как оно опускалось, подымались аэростаты, словно один и тот же механизм заведовал этими спусками и подъемами.

Однажды, помню, луна взошла громадная, во все окно, неестественно розовая, вся какая-то словно восковая. И вмятины на ней, как отпечатки пальцев, точно ее держали в горячих руках.

И когда при этой луне завывали сирены, мне показалось, что наступил конец света.

Взяла пишущую машинку и стала спускаться в убежище. Иду по лестнице, а впереди сумасшедшая старуха. У нее умер муж, а она думает, что он остался в квартире. Идет и плачет:

— Он все время был со мной и вдруг отстал. А я еще его пальто надела. Как же он теперь без пальто?

Я сошла вниз. Там какая-то чужая женщина, не из нашего дома, мечется в ужасе, ищет своего грудного ребенка, спрашивает всех — не видел ли кто? А ребенок у нее на руках, в платке.

В часы налетов я свою московскую квартиру не запирала на случай пожара от зажигалок: мой этаж был последний. Кроме того, дежурные по крыше приходили ко мне иногда пить воду.

Как-то я поднялась к себе еще до отбоя. У открытого окна стояли двое из наших жильцов, разговаривая вполголоса. Звезды, особенно блестящие, как это всегда бывает перед рассветом, словно влажные от росы, сияли над кремлевскими стенами. Вдали небо багровело от пожаров.

Я подошла, мы стояли втроем у окна, долго смотрели на это далекое пламя.

Московских женщин голоса
Ко мне неслись через леса,
Через вечерние просторы...

4 сентября 1941 года

Была в редакции военной газеты, как раз тогда, когда возвратились с передовых позиций заведующий редакцией, два наших московских писателя — Лев Славин и Михаил Светлов — и шофер.

Они входят в комнату. Все в шинелях, у каждого за поясом граната. У шофера, идущего сзади, их целых четыре. В руках у него ручной пулемет, который он ставит в угол, между диваном и шкафом, и машинистка, идущая за копиркой, с грохотом роняет его. Хорошо, что пулемет был на предохранителе!

Выложив гранаты на стол, приехавшие разворачивают карту и погружаются в нее. Все мрачны. Поездка была неудачна, наших потеснили. Немцы бомбили штаб нашей армии. Кроме того, все голодны.

Внезапно звонит телефон: сообщают, что одна наша зенитная батарея сбила пятнадцать вражеских самолетов. Неслыханная цифра!

И все, подхватив гранаты и пулемет, забыв про голод, устремляются к двери: едут на батарею.

Днем разводили мосты, чтобы мог пройти военный транспорт!

Человек в трамвае торопится, ему дорога каждая минута, а тут уже ставят рогатки. Вожатый, старик, просит:

— А ну, хорошая, молодая, пропусти нас. Мои пассажиры торопятся.

И «хорошая-молодая», отодвинув рогатки, пропускает трамвай — последний.

5 сентября 1941 года

Заметка в «Ленинградской правде» о том, как работают кооперативные артели. «Технорук одной из них, явившись в руководящую организацию, положил на стол новенький электроутюг и рядом с ним еще один предмет. «Все мы уважаем этот утюг,— сказал он.— Это наше дело. Но родина нуждается сейчас в другой продукции. Поэтому мы хотим покончить с утюгом — население как-нибудь временно обойдется без него — и заняться вот этой «штучкой». Мы все уже обсудили, взвесили, только позвольте начать». Позволили. И сейчас артель изготавливает «штучку» — крохотную детальку, без которой ружье мертво: выстрел не получается.

Старый ирландский сеттер с седыми усами, брошенный хозяевами (теперь много таких животных), влез в трамвай и проехал остановку. От отчаяния... Чтобы он не спрыгнул на ходу, его осторожно высадили на остановке. Он остался ждать... Чего? Другого трамвая? Хозяина? Смерти?

7 сентября 1941 года

Когда начинается тревога, на нашу лестничную площадку выходит дежурный студент-фармацевт и крутит местную сирену, похожую на кофейную мельницу с длинной ручкой...

Трасса окопных работ проходит вблизи Петергофа. А немцы, конечно, будут бить по фонтанам.

Видела в руках молоденького красноармейца трофейный немецкий тесак.

8 сентября 1941 года

Удивительная, редкостная осень. Дождей нет. И в сухом и тихом тепле деревья желтеют сохранно, не теряя листьев. Так и стоят — пурпурные, янтарные, лимонно-желтые.

И. Д. целый день в институте. Я одна в наших высоких, слишком светлых комнатах. Во время тревоги выхожу на балкон. И без того тихая Песочная улица становится тогда совершенно безлюдной. Только дежурные МПВО в касках стоят у подъездов, глядя в небо, да изредка пробежит ученик-ремесленник. Их общепитие на территории Ботанического сада, в одном из зданий.

Про них хорошо сказала кондукторша трамвая: — Ведут себя, как *хозяины*. На подножках висят, на площадках толкаются, но я их уже и не трогаю. Ведь скоро пойдут на фронт, окопы рыть.

На оборонных сооружениях, где работают студентки мединститута, прямо к ним на руки спустился на парашюте легко раненный наш летчик. Бой шел совсем рядом.

...Состариться, друзья, нам не удастся:
Как дивно нас опасность молодит...

9 сентября 1941 года

Семья старого большевика.

Он — следователь, жена работает, дочь медичка. Война. Отец уезжает на Карельский фронт. Мать отправляется машинисткой в штаб, дочь — в дружинницы.

Все на войне.

Вчера — первый большой налет на Ленинград.

Днем, как обычно, было несколько тревог, но мы все же решили пойти в Музкомедию на «Летучую мышь». Пошли мы, Николай Иванович Озерецкий с женой Аленой и Федя П. Для меня он все тот же Федя, невзирая на пятый десяток и звание юрисконсульта одного из наркоматов. Он не эвакуировался, остался.

Держат его здесь удобная, обжитая квартира, ковры, книги.

Николай Иванович — заместитель И. Д. по институту, психиатр, умный мужик. И говорок такой занятный.

В антракте между первым и вторым действиями началась очередная тревога. В фойе вышел администратор и тем же тоном, каким, вероятно, сообщал о замене исполнителя по болезни, внятно произнес: «Просьба к гражданам стать как можно ближе к стенам, поскольку здесь (он указал рукой на громадный пролет потолка) нет перекрытий».

Мы повиновались и стояли у стен минут сорок. Где-то вдали били зенитки. После отбоя спектакль продолжался, хотя и в убыстренном темпе: были опущены второстепенные арии и дуэты.

Когда мы вышли из театра, еще не совсем стемнело. Синий вечерний свет мешался с красноватыми отблесками. Алые блики реяли по площади, мы даже не сразу поняли, в чем дело. Вдруг видим — шофер Ковров делает нам знак, а мы машины не заказывали. Ковров говорит:

— Решил заехать за вами, лучше скорее быть дома.

И лицо у него в этом бенгальском освещении бледное, смятенное.

Когда машина обогнула площадь, внезапно нам открылись черные клубящиеся горы дыма, подсвеченные снизу пламенем. Все это громоздилось в небе, взбухало, пускало страшные завитки и отроги. Ковров повернулся и сказал глухо:

— Немец бомбы бросил и поджег продовольственные склады.

Пока мы ехали, была еще одна тревога. Дома долго стояли на балконе, всё глядели на горящие склады. В одиннадцать легли спать. Но в два часа ночи пришлось (первый раз в Ленинграде) спуститься в убежище. Слишком грозно гудели немецкие моторы прямо над нашими головами. Зенитки не умолкали. Порой раздавался гул, уже знакомый нам по Москве.

Убежище длинное, вдоль стен — скамьи. На стене, на полке, радиорупор. Рядом — аптечный шкафчик.

На скамьях сидели, дремали женщины с детьми. Разговоры вполголоса и шепотом у двери, где дежурило МПВО.

Вдруг ребенок, мальчик, идет, идет на толстеньких ножках через весь подвал между скамьями. Все молча смотрят на него. Берет табуретку, подтаскивает к стенке, где радио, взбирается на табуретку,— все это сам,— снимает с полки рупор и, прижав его к уху, слушает изо всех сил, вникает в глубину, не раздастся ли там желанное слово «Отбой».

10 сентября 1941 года

Сгоревшие Бадаевские склады — центральная кладовая Ленинграда, его «продовольственное сердце». Зловещий дым, жирный, слоистый и тяжелый,— это были горящий сахар, мука, масло...

Вот уже две ночи ночуем в институте. Позапрошлая ночь была теплая, лунная, до того яркая, что весь город, наверно, как на ладони оттуда, с немецких самолетов.

Санитаркам в белых халатах запрещено перебежать по двору. Больничные здания тоже белые, точно и они в халатах. Но их уж не укроешь накинутым на плечи темным платком. Зенитные вспышки кажутся бесцветными в этом лунном пламени. Проекторы бездействуют. «Юнкерсы» идут волнами. Пройдут, некоторое время тихо, а потом — снова.

Вчера И. Д. хотел проверить, как спускают больных в убежище. Пошла и я с ним. Только вышли из акушерской клиники — вдруг свист бомбы. Я испугалась, мы побежали, но взрыв раздался прежде, чем мы успели вскочить в двери главного здания. Я вся пригнулась, ожидая взрывной волны. Однако ее не было или пошла в другом направлении.

Потом в нашем штабе нам сказали, что одна из бомб упала возле Зоосада. И будто бы засыпало слониху. На другую ночь — опять бомбы, и снова в том же месте. Это гитлеровцы метят в химический завод, а попадают в Зоосад. Говорят, что перебиты обезьяны, а обезумевший соболь бегаёт по улицам.

А как нестерпимо воют во время налетов подопытные институтские собаки! Бедняги, они с «павловскими фистулами»: им и без того не сладко!

Десять тревог днем и бомбежка ночью.

Глагол — «морзить», сигналить, от слова «Морзе». Оказывается, дома от газов взрывной волны меняют окраску: так человек меняется в лице от потрясения.

11 сентября 1941 года

Вишневский, Тарасенков, Браун успели еще принять участие в выпуске последнего номера газеты, когда в Таллин уже входил враг.

Прорыв Балтфлота из окружения был тяжел. Немецкие пикирующие бомбардировщики неотступно следовали за нашими кораблями: тут были военные транспорты, миноносцы, катеры, пароходы... Все это день и ночь шло под бомбежкой. Спасшихся людей бомбы настигали на втором, а иногда и на третьем корабле (Браун).

Как это хорошо, что Всеволод Вишневский здесь!

12 сентября 1941 года

Квартира профессора Рама почти вся разрушена взрывной волной. Но стопки тарелок, стоявшие на буфете, аккуратненько, в полной сохранности этой же волной перенесены на дальний стул.

13 сентября 1941 года

Вчера, около десяти вечера, нас в машине затерло колонной военных грузовиков у Ботанического сада.

Луна еще не взошла. Ночь была душная, черная, облачная. Машина пришла за нами, чтобы отвезти часть наших вещей в институт: мы ведь теперь наполовину там живем.

Пока мы собирались, наступила кромешная тьма. Грузовики в величайшем беспорядке загромождали всю

улицу. Стояли вдоль, вкось, поперек, на панели, на мостовой, нос к носу... Командир колонны куда-то исчез.

Наш шофер попытался было на секунду включить фары, но тотчас же чей-то бешеный голос закричал:

— Мне не *антиресно* видеть твой свет! А ну, гази!

Шофер ответил робко:

— Мне и самому не *антиресно*, милый друг, да ведь ничего не видать.

А тут еще, как полагается, началась тревога. Застонали, завопили в этой тьме сирены. И сразу же в низких облаках зловещее гудение. А уйти некуда: сбоку и сзади напирают тяжелые грузовики, только треск идет. Наконец впереди что-то задвигалось, зафыркало, грузовики тронулись. Прошли два-три метра. «Стой!» Прямо на нас, радиатором к радиатору, тоже легковая. Опять стали пятиться, задели кого-то. Но в конце концов пошли.

Взяли влево по набережной Карповки. Шофер говорит:

— Не вижу мостика через речку. Как бы не угодить в воду!

Этого еще не доставало...

Повернули наугад и все же попали на мост (в том месте, где Карповка впадает в Невку), только перила задели. Пошли по улице Льва Толстого, снова на миг зажгли огонь. Патруль: «Пропуск ВТ». Говорим: «Есть». У машины-то он действительно есть, да у меня ночного пропуска нет, а уже больше десяти часов. А теперь с этим строго.

Поехали дальше: не можем найти своих ворот. Снова зажгли огонь. А тут милиционер:

— Еще раз зажжете — стрелять буду!

И ведь не шутит.

Ехали мы до дому около часу. Шофер был еле жив. Говорит:

— На мне вся рубаха взмокла от пота, до того тяжело было ехать.

Грозное что-то и тревожное было в этом ночном и беспорядочном скоплении машин в самом городе.

Сегодня плохая сводка: мы оставили Чернигов. Артиллерийские снаряды нет-нет и ложатся на город. Вчера ночью три попало на Верейскую, возле Обводного канала. Это хуже, чем бомбежка. Никакого предупреждения, никакой тревоги. Сразу смерть или раны.

14 сентября 1941 года

Тревога! Три тревоги! Пять тревог! Весь день воеет сирена...

Подвиг учительницы. Немцы захватили поселок. Согнали жителей в здание кино. Поставили впереди местную учительницу и приказали ей читать вслух немецкую листовку на русском языке.

Учительница бросила листовку офицеру в лицо.

Немецкий летчик, раненый, придя в сознание, спрашивает, где он. Узнав, что в Ленинграде, в госпитале под знаком Красного Креста, умоляет, чтобы его перевели в другое место.

— Но ведь это госпиталь... Красный Крест.

— Вот именно поэтому. Это особенно опасно. Наши летчики специально бомбят русские госпитали.

Раненый боец. Татарин. Пуля вошла выше соска и вышла через плечо. Входное отверстие маленькое, треугольное. Под ним держат сосуд, куда медленно стекает гной.

Потом раненого усыпляют. Он постепенно стихает. Все молчат. Раздается только тоненький монотонный звук, словно кто-то напевает сквозь зубы невнятный мотив. Оказывается, это стонет раненый.

Надрезали грудь, засунули туда руки и стали искать... Очевидно, осколки. Большой содрогался и стонал. Значит, чувствовал сквозь наркоз.

За окнами вьются мухи. Им холодно, они стремятся в дом. Во время тревоги это единственные живые существа на улице.

Среди имен, которые оставит
Потомкам страшная война,
Останется и Бондарева имя.
Его уже узнала вся страна:
«Вперед! Всегда вперед!» — его девиз.

16 сентября 1941 года

Как-то странно сделалось на душе, когда свежий женский голос сказал кратко: «До конца войны телефон выключен...» Я попыталась что-то возразить, протестовать, но сама поняла, что бесполезно. Через несколько минут телефон звякнул и умолк... до конца войны.

И квартира сразу замерла, заолодела, насторожилась. Оторвалась от всего города. И так телефоны были выключены повсюду в один и тот же час. Остались только считанные: в учреждениях (особо важных), в больницах, в госпиталях.

Друзья мои!.. Я растеряла вас.
Один ушел редактором на фронт.
Другой томится где-то в Подмосковье.
А как бы хорошо
Сейчас всем вместе...
Четвертый,
Не то чтоб друг,
Приятель, полудруг,
Он болен страхом, у него недуг.

А что, вдруг эти годы —
Морщинка на челе истории,
Она разгладится, и все исчезнет.
Она исчезнет, и тогда
От жизни не отыщешь и следа.

Друзья,
Быть может, я напишу когда-нибудь,
Как среди глыб ревущего металла
Поэзия, бедняжка, трепетала,
Теряя нервы и кровавая грудь.
Услада жизни! Радость бытия.

7 часов 20 минут вечера

Сегодня вымыла голову, может быть, в последний раз в жизни. Седая голова. Жизни прожито много. Но можно было бы жить еще. А вот удастся ли... кто знает...

17 сентября 1941 года
Днем

Натерпелась страху: подумала, что потеряла орден. Проискала его целое утро. Возвращалась на квартиру, снова взялась за маленький черный чемодан. Орден лежал в кармашке крышки чемодана.

Пришла ко мне родственница Пушкина (ее бабушка — двоюродная сестра Александра Сергеевича). Сама она вылитая Ганнибал: черные вьющиеся волосы, арапские глаза, толстоватые губы, которые при улыбке складываются совсем необычно. Какая крепкая кровь!

Вера Каэтановна без места, не приспособлена. Ее учреждение эвакуировалось, а она почему-то осталась.

Дала ей полкило чечевицы, кусок черного хлеба и пятьдесят рублей денег. Дочь ее бежала из Пушкина. Сын, больной художник, не встает с постели.

Родственница Пушкина, бегущая из Пушкина от немцев... Все это не так легко придумать даже очень опытному романисту.

Окончательно переехали в институт на так называемое «казарменное положение».

Наша комната очень мала: письменный стол у окна, две железные кровати, этажерка, кресло и два стула. Для умывания приходится вносить табурет и таз.

По стенам — портреты ученых: Клод Бернар, Биша, Пастер, Вихров, Кох и гравюра: «Английский врач Дженнер делает первую прививку оспы восьмилетнему Джемсу Фипсу с руки молочницы Сарры Нельмс».

В комнате — круглая железная печка. Ее по утрам уже протапливает Евфросинья Ивановна. За окном — могучие тополя. Мы внушили себе, что они защитят нас от осколков. Да и сама комната хорошо расположена. В глубине буквы «П», между крыльями дома.

Особенно хороша эта комната вечером, когда мрак заливают весь город и всю территорию больницы. Идешь, и даже не верится, что где-то есть свет. Мрак,

первозданный мрак стоит стеной. Ночи сейчас темные, луна ущербная. Умиравшая, она появляется только на рассвете.

Идешь по двору, потом проходишь холодный каменный вестибюль главного здания. Горит синяя лампочка, дежурная сидит над книгой. Далеко бьет артиллерия. Небо полыхает на горизонте: там идет воздушный бой. Во двор только что привезли раненых. Вчера понесли одного на носилках, по лестнице, а за носилками кровь — со ступеньки на ступеньку. Поставили на минуту носилки, подняли — осталась лужа крови. Раненый — молодой парнишка, белый как бумага — прямо с фронта. Привезли — и сразу на операционный стол. Ампутировали ногу.

После этого двора с ранеными, после холодной лестницы и темного коридора я вхожу в нашу комнату, где светло и тихо. Окно непроницаемо укрыто. На письменном столе горит маленькая электрическая лампа, которую я привезла с собой из Москвы, и этот кружок света кажется мне прибежищем, тихим раем. Моя комната представляется мне защитой, очагом, опорой.

Конечно, все это иллюзорно. Но это одна из тех иллюзий, которые помогают жить.

Вчера поздно вечером, еще во время налета, мы пришли в приемный покой, куда только что привезли пострадавших.

Молоденькая работница консервного завода ждала операции. Беременная на седьмом месяце, она сидела в металлическом кресле, в простыне. Лицо розовое от жара, удлинённые синие глаза полузакрыты, светлые, точно влажные, волосы лежат кольцами по плечам. Сборчатая больничная рубашка слегка раскрыта на груди.

Снаряд влетел к ним в цех (здание деревянное) и из двадцати человек убил восемнадцать. Осталась вот эта молоденькая и еще одна. Раненую положили на стол, она дрожала, ей дали наркоз. Осколок попал в ногу, около пятки, глубоко. На рентгене он был виден очень ясно.

Началась операция. Врезали ногу и щипчиками стали вытягивать осколок; но сначала его искали еще иглами, а найдя, вытаскивали не сразу: трудно было

ухватить. В промежутке между зенитными разрывами слышно было, как щипчики скребут по металлу.

Оперировала Оглоблина Зинаида Васильевна — одна из старейших здешних врачей.

Она и училась здесь еще в то время, когда Первый медицинский институт был Женским медицинским институтом, первым в России. Сейчас она неутомима. По неделям не уходит домой, по суткам не отходит от операционного стола.

Мы ушли до окончания операции. Но Борис Яковлевич, главный врач больницы, принес мне потом осколок, как я просила. Это маленький кусок металла, медный снаружи, стальной внутри.

Наша Петроградская сторона считается наиболее безопасной: сюда эвакуируют людей из других районов города. Привозят прямо на трамвае, с узлами, с колыбельками, ванночками, кастрюлями, цветами, книгами.

Средняя Рогатка, куда я ездила недавно на машине «Известий», почти до самого Пулкова, — теперь передовые позиции. Немцы там совсем рядом.

Сегодня летали наши бомбардировщики. Раньше их не было.

18 сентября 1941 года

Два часа тому назад артиллерийские снаряды ложились в центре города: на Марсовом поле, на углу улицы Герцена и Невского, на Конюшенной.

Вчера пошли в студенческое общежитие. Было темно. На горизонте — два зарева. Общежитие помещается в бывших Гренадерских казармах. Здесь жил когда-то Александр Блок, его отчим был военный.

Тихая набережная Невки, рядом — Гренадерский мост. Здания на противоположном берегу (особенно одно, с покатою крышей), их отражения в воде, розовые и серые, затонувшая баржа — во всем этом есть что-то голландское. А еще это напоминает мне то место в Копенгагене, где у пристани стоят старинные хлебные амбары и чистые тяжелые голуби клюют просыпавшееся зерно.

Слева от казарм, вдоль Невки — все тот же Ботанический сад.

Казармы — могучее здание с несокрушимыми стенами. Его подвалы (там в тот час был только одичавший черный кот) как бы специально приспособлены для укрытия от бомб.

Одна мысль, один вопрос: устоит ли Ленинград?

19 сентября 1941 года
Утро

Ночь была до ужаса тиха. Казалось, город не дышит, лежит во тьме и ждет. А утром началось.

Еле успела умыться между двумя тревогами.

Это первая моя тревожная ночь. Я в Москве в бомбоубежище прекрасно спала. А сегодня не могла. Тишина была полная, совершенно как в павловской «башне молчания», действительно ни звука. Казалось, город не дышит, лежит во тьме и ждет.

И. Д. встал в половине шестого. Проснулась и я (совсем не спала). Лежала и грелась. Мое стеганое одеяло — это символ мирного тепла... Вдруг сирена. Я вскочила, стала одеваться. Началась страшная пальба зениток: здание дрожит. Потом — взрывы. Оказывается, бомба попала в шестизэтажный дом недалеко от нашей Песочной, очень много жертв.

Слушали по радио очерк Эренбурга о Западном направлении. И очерк хорош, и дела там хороши. Зато здесь!..

Прекрасно сказано у Эренбурга: «Победа изображается с крыльями, но у нее тяжелая нога. Она передвигается по земле в грязи и крови. И добывается с трудом». Так примерно. Хватит ли сил? Ведь мне не двадцать и не тридцать лет...

У меня в мозгу как будто «минные поля», куда нельзя ступить. Жанна с Мишенькой — это «поле». Деревянный дом в Переделкине, в соснах и березах, — тоже «поле». И все же быть там сейчас я бы не хотела. Мне хотелось бы быть на фронте. Но там, где мы побеждаем.

Каждый вечер здесь, в больнице, тяжелораненые просят:

— Спустите нас в убежище.

Они волнуются больше, чем те, кто никогда не был в бою.

На дворе все та же золотая осень. Старые деревья роняют желтые листья на больничные дорожки. Сегодня сюда переезжает еще один госпиталь: морской.

Здесь скопится огромное количество раненых. Как это опасно! Ведь именно такие места и бомбят немцы.

Вчера кто-то назвал нашу Петроградскую сторону «глубоким тылом». Но если это и «тыл» для артиллерии, то не для авиации: тому доказательство сегодняшнее утро...

Мужество так же заразительно, как и трусость.

20 сентября 1941 года

Вчера очень тяжелый день: много жертв и разрушений. В разных концах города гремело и рушилось.

Мы приехали на машине на Разъезжую, к Леле П., через полчаса после того, как туда упали две бомбы: одна на мостовую между домами на Большой Московской, другая во дворе. Лелин дом пострадал от обеих бомб. Рядом все было разрушено, оттуда выносили раненых и убитых.

Двор усыпан стеклом и кирпичом. В самой квартире, на полу, штукатурка, грязь, известка, как во время ремонта. И рядом с комнатой, где сидела Дина Осиповна — Лелина мать, рухнувшая печь навалом. Вся квартира ужасна.

Леля — моя землячка, одесситка. Мы друг друга знаем чуть ли не с детства. Я вспоминаю ее осенью 1913 года в Париже — веселую, юную, нарядную. Целой компанией мы отправились на какое-то гулянье. Катались на карусели под музыку. Усевшись в ряд на парапет, ели каштаны, глядя на Париж в опадающих листьях, в первых вечерних огнях.

Теперь у Лели дочь Инна — красивая суровая девушка, мечтающая стать штурманом дальнего плавания.

Когда мы приехали на Разъезжую, Леля была на службе. Дина Осиповна вышла к нам, ступая по обломкам.

Сегодня видела одного майора, прилетевшего из Москвы и сегодня же улетающего обратно. Свой рассказ он закончил словами: «Ленинград останется наш, его сдать невозможно». И объяснил почему. И хотя все это было уже известно и десятки раз переговорено и передумано, но услышать подтверждение этому от человека, побывавшего под Ельней,— как это было отраднo, жизненно необходимо, необыкновенно важно.

Вчера от зажигательных бомб горели больницы: Куйбышевская, Александровская и еще два военных госпиталя.

От военного госпиталя на Советском проспекте шел дым, как от горящей нефти.

Вчера бомбы падали в Новой Деревне на рынок. Оттуда привезли пятьдесят человек. Раненая девочка лет семи все жаловалась, что ей больно от резинового жгута, стягивавшего ногу. Ее утешили, сказав, что скоро будет легче, потом усыпили и ампутировали ногу. Она пришла в себя и сказала:

— Вот хорошо, теперь уже не больно.

Девочка не знала, что у нее нет ноги.

Мне передавали, что отряд моряков шел по набережной под гармошку. Начался налет. Бомбы стали падать совсем близко, как раз близ набережной. А моряки все шли, не убавляя шага и не переставая играть.

В редакции мне сказали, что ранен Уткин: оторвано четыре пальца правой руки. А может быть, убиг.

22 сентября 1941 года

Мы оставили Киев... После того, что писали: «Киев есть и будет советским», после того, что эта же фраза была сказана (и сколько раз!..) о Ленинграде, смутно теперь на душе у ленинградцев.

Читала раненым рассказ Козина. Завтра пойду снова. Сегодня тяжелый день. Очень трудно переварить Киев...

Вчера днем несколько тревог. Поехали в город — тревога. Заехали переждать ее к Озерецким. Они живут в бывшем дворце Кирилла Разумовского. Комнаты высоки, огромны и холодны. Все говорит об ином, XVIII веке. А над дворцом летает XX век в образе «юнкерса», нагруженного авиабомбами.

Сегодня поехали в город к Тарасенкову, в газету Балтфлота.

Только поднялись наверх — тревога. Входит краснофлотец и говорит:

— Приказано всем идти в укрытие.

Мы двинулись по коридору. В этот миг задрожал дом: бомба упала рядом, в Апраксином дворе.

В убежище, в углу, под сводами Росси, Тарасенков разостлал свою шинель. Мы сели. Он вытащил из кармана пачку писем от жены и стал мне читать. И удивительно, просто невероятно было слышать слова нежности и любви под гул и взрывы.

Между прочим, она сообщает, что Цветаева покончила с собою в Чистополе, что муж Маргариты Алигер убит, а сама она вернулась в Москву.

Поехали домой, не дождавшись конца тревоги.

Подъезжаем к институту, и еще у входа нам говорят, что в студенческое общежитие (Гренадерские казармы) упала бомба минут двадцать тому назад. Мы — туда.

Подъезжаем, смотрим с тревогой — стоит ли здание? Стоит. Даже стекла вылетели только кое-где. Бомба (небольшая, видимо килограммов пятьдесят) упала во дворе. Воронка уже была полна воды и грязи. Но даже от этой небольшой бомбы здание дало трещину. Куски штукатурки упали на студенческие кровати. Тот, кто лежал бы на кровати в эту минуту, не встал бы с нее живым.

Меня взволновало, что в эти дни в осажденном городе, под бомбами, Шостакович пишет симфонию. И главное, что «Ленинградская правда» сообщает об этом среди сводок с Южного фронта, среди эпизодов о «стервятниках» и о бутылках с горючим. Значит, искусство не умерло, оно еще живет, сияет, греет сердце. Аполлон еще не удушен Марсом.

23 сентября 1941 года

Я видела на Пушкинской шестиэтажный дом, прошитый бомбой от крыши до основания. Он так и стоит, треснувший сверху донизу. Крыша отошла сверху, как корка непропеченного хлеба.

Проходя мимо него, мы видели, как с высоты шестого этажа на косо натянутом тросе спускали вниз диван: он медленно полз вниз, повиснув над пустотой.

Немцы применяют новую тактику: бросают сперва фугасные бомбы, а когда здание разворошено и беззащитно, забрасывают его зажигалками. Так было с военным госпиталем, где погибло много раненых.

Сегодня наш главврач получил приказание: возле кровати каждого тяжелобольного должны стоять носилки. В каждой палате должны быть веревочные лестницы.

У нас очень тревожное соседство: Гренадерские казармы. Ведь только часть их отведена под студенческое общежитие, а в остальных зданиях расположена воинская часть. Туда часто (увы, не слишком, недостаточно часто!) привозят ящики снарядов. Иногда их доставляет вагон трамвая, иногда баржа по речке Карповке. На тихом бережку, неподалеку от нашей прозекторской, стоит зенитная батарея. Все это видно сверху немцам.

Насупротив, среди деревьев, укрывается аэростат со своим запасным баллоном. Это тоже опасное соседство для госпиталя. Да и самый госпиталь... Ведь фашисты бомбят их особенно старательно.

Впрочем, после того как во дворе казармы паренек, указав мне на воронку от бомбы и на место, где он стоял, сказал: «Я был там», — я поняла, что никакой защиты быть не может. Все это дело случая. Надо только опасаться стекол — это единственное, что можно сделать.

24 сентября 1941 года

И. Д. сказал, что в «Правде» есть о моем выступлении по радио. Я потом сама прочла. Это, как извещение ТАСС, было везде. И я обрадовалась и загордилась.

Сегодня утром (чудесное, все золотое) примерно в десять, в начале одиннадцатого, за несколько секунд до тревоги, на нашу территорию упала бомба, но не разорвалась. Она и сейчас лежит глубоко в почве.

Она упала возле поликлиники, рядом с чугунным фонтаном. Над ней весь день работала саперная бригада, но достать не смогла. Оставили до завтра. Бомба очень велика, — это видно по отломившемуся куску стабилизатора. Трамваи мимо нас не ходят, пешеходов не пускают. Мы оцеплены. Акушерское отделение и Первая хирургия, самые близкие к месту падения, переведены в другие помещения.

Самое странное, что я почти не ощутила удара. В первое мгновение мне показалось, что где-то далеко хлопнула тяжелая дверь. Здание вздрогнуло, но совсем не страшно. В других корпусах, говорят, сотрясение было сильное.

Леля с Диной Осиповной и Инной переехали из своей разбомбленной квартиры к нам на Песочную. Теперь буду часто бывать там.

Каждый день хожу читать раненым во Вторую хирургию. У меня там две палаты. Читаю Горького, Некрасова, Твена. Очень нравятся рассказы Марка Твена и «Кому на Руси жить хорошо».

Иногда многие тяжелораненные спят или думают о чем-то своем. Но все же им приятно, что кто-то приходит и беседует с ними.

С горечью говорят они о немецкой технике, о том, что у нас недостаточно авиации и танков. Один все повторяет жарким, трудным шепотом:

— Таночков бы нам, таночков!

Другой, командир без ноги, раненный под Кингисеппом, сказал:

— Я готов еще принять на себя раны, только бы война хорошо кончилась.

Третий, тоже раненный в ногу, с медалью «За отвагу», трогательно пришитой к ночной сорочке, говорит:

— Только бы эту саранчу отогнать! — Это он о фашистских самолетах.

Четвертый сказал о траншеях и блиндажах:

- Не дают земле покоя. И все без пользы.
И он же:
— *Безмысленная* атака.

25 сентября 1941 года

Во время тревоги раненые спокойны, но мрачнеют. Их угнетает сознание собственной беспомощности, неподвижности. Ведь большинство не в состоянии сделать ни одного шага.

На днях я сидела в палате, в центре комнаты, на табурете, и читала рассказ Горького. Вдруг завывли сирены, зенитки наполнили все небо. Грохнула бомба, зазвенели стекла.

Я сидела на табуретке без спинки, даже прислониться не к чему. Кругом окна, окна... И раненые, беспомощные люди, невольно смотрят на меня, здоровую: как я? А я собрала всю свою волю; переждав гул, читаю, слежу только за тем, чтобы голос не дрогнул.

Но, придя домой, сразу вся ослабела от пережитого страха, даже прилегла на полчаса.

Про бомбу бойцы знают, но говорят о ней вскользь. Известно ли им, что она до сих пор лежит невзорвавшаяся?

27 сентября 1941 года

Бомба все лежит. Подрывники выбиваются из сил, а она, как страшный клад, не дается в руки, уходит все дальше в землю. Что нарабotaют за день, ночью идет прахом.

Земля у нас в саду вся изрыта: «Не дают покоя земле».

28 сентября 1941 года

Сегодня состоялся общегородской митинг женщин Ленинграда. Мы с Васильевой, редактором «Смены», писали всю ночь обращение. Во время очередной ночной тревоги соседи из верхних этажей спустились в квартиру Васильевой и скорбно сидели с детьми в передней под вешалкой: в бомбоубежище почему-то не пошли.

В чужом доме налет гораздо страшнее, чем у себя дома.

29 сентября 1941 года

Бомба все лежит. Мы уже почти забыли о ней, но она еще опасна.

4 октября 1941 года

Пришлось устроить настоящую штольню, вбить в землю деревянные шпунты и тем задержать бомбу на определенной глубине.

Сегодня, наконец, нас позвали взглянуть на нее. Мы с И. Д. пошли в отгороженную часть сада, куда все это время никого не пускали.

Тяжелая фугаска лежала вся на виду: огромная, окрашенная в голубоватый цвет, с желтыми подпалинами, с заостренным рылом и тупым задом.

Взрыватель был отвинчен, и из глубины бомбы длинной лопаточкой, смоченной водой, выгребали зеленоватую глину, такую незлобивую на вид. Это был тротил — взрывчатое вещество.

Теперь бомба увезена в военный музей. Кусок стабилизатора я оставила себе на память.

5 октября 1941 года

Бомба не выходит у меня из головы. Начала писать о ней размером моего «Путевого дневника».

В пролет меж двух больничных корпусов,
В листву, в деревья золотого тона,
В осенний щебет птичьих голосов
Упала бомба весом в тонну,
Но не взорвалась. Словно был металл
Добрей того, кто смерть сюда метал...

Получила письмо из Чистополя от 18 августа. Жанна пишет о мальчике:

«Он сильно похудел, но вырос. Ест уже каши, кисель».

Какое счастье, что они там!

10 октября 1941 года

Мы оставили Орел.

По-прежнему грозно очень на Вяземском и Брянском направлениях: немцы снова наступают.

Под Москвой земля ровная: ни гор, ни долин, ни моря. Как на этой ровной земле удержать лавину вражеских танков?

Сердце холодеет при мысли, что они могут хлынуть и начнут подминать под себя московские мостовые.

14 октября 1941 года

Жестокие бои под Одессой. Я так давно оттуда! Мне казалось, что она для меня — как все другие города. Я уже почти не ощущала ее родной. А теперь чувствую, что она по-прежнему дорога и близка мне.

Написала стихотворение «Обращение к Одессе». Вероятно, завтра будут транслировать его по эфиру, чтобы и в Одессе услышали меня.

15 октября 1941 года

Я не успела выступить. В Одессе немцы.

26 октября 1941 года

Были в Филармонии. Каменский играл фортепианный концерт Чайковского. На бис — «Вальс Пратер». Но зал концертный уже не так наряден, как прежде, нетоплен. Приходится сидеть в пальто.

Очень много военных.

5 ноября 1941 года

С трудом читаю эпизоды подмосковных битв. Немцы под самой Москвой. Сегодня в «Ленинградской правде» корреспонденция «Сражение на Можайском шоссе».

Сколько раз мы проезжали по этому шоссе на машине. Теперь там немецкие танки. Немецкая пехота там.

Появилось Малоарославецкое направление. Город Н. — очевидно, Нара: туда шли дачные поезда с остановкой в Переделкине.

Не будут немцы в Москве. Не может этого быть.

Москва, она нерусской быть не может,
Как человек не может не дышать.

6 ноября 1941 года

Вчера я в первый раз в жизни поняла, что означает выражение «подкосились ноги».

Я была одна на большой гулкой лестнице, на площадке с громадным лестничным окном, когда ударила бомба совсем близко. Я различила основной громовой удар, а потом дополнительные раскаты. Колебание, бурление почвы. Земля бурлила, как вода. И наш дом зашатался.

Не помня себя я прибежала в бомбоубежище, где были уже все наши. Ноги у меня были как из ваты. Потом это прошло.

За все время войны это был самый близкий от меня удар. Во многих наших корпусах выбиты стекла. В нашем здании тоже, но не у нас в комнате. Она действительно хорошо расположена.

Бомбоубежище, где помещается КИ института и больницы, — это маленькая комната, вернее, часть большого бомбоубежища, отделенная от него перегородкой. В центре — стол, за которым читают, шьют, разглядывают на карте линии фронтов. В углу печурка. У стен два дивана. Тут же телефон, по которому И. Д. и Борис Яковлевич сносятся с отделениями.

Бомбовые разрывы доносятся сюда глухо. Если слышен только один тупой удар — значит, бомба взорвалась не сразу. Сидишь и считаешь секунды.

Моя приятельница Мариэтта, Мария Игнатьевна, во время налетов мастерит букетики из шелковых узелков. Когда ударяет бомба и мы ждем разрыва, — узелок повисает в воздухе. Взорвется бомба — работа снова идет гладко.

Мариэтта — фармаколог. Ее кафедра, на одном с нами этаже, еще хранит запах кроликов и морских свинок. Еще стоят в коридоре их клетки, но ни свинок, ни кроликов уже нет.

Снаружи, перед дверью бомбоубежища, прижавшись к стене и дрожа крупной дрожью, лежит обычно собака наших зенитчиков, овчарка Динка. Она все понимает и прибегает сюда при первых же звуках сирены.

Командный пункт зенитчиков тут же, за перегородкой. Командир батареи, связанный телефоном с наблюдательной вышкой на крыше нашего анатомического театра и со всеми другими вышками района, получает отовсюду сведения о приближении немецких самолетов и об их направлениях. От отдает распоряжения, как вести огонь. И мы разговариваем шепотом, чтобы не мешать командиру.

И все же, несмотря на ежедневную, ежечасную опасность, несмотря на то, что не знаю, увижу ли Жанну и мальчика, несмотря на болезни, я давно не ощущала такого душевного здоровья, такого желания работать. Я могу сейчас сделать многое. И я это сделаю, если только бомба не ударит чуть ближе, чем вчера.

Если останусь жива, я сделаю все, чтобы хранить драгоценную «рабочую зону», не теснить ее мелочами, вздором.

Только бы сохранить ясную голову, чтобы можно было писать до самого конца. До последнего часа. Умереть с пером в руке, внезапно, на середине строки — лучшей смерти я себе не желаю.

7 ноября 1941 года

Вчера вечером слушали речь Сталина из Москвы.

Холодную как лед комнату решили хоть немного согреть к этому часу. Но это оказалось невозможно. Мы сидели в пальто. И все же горсточка углей в печи сияла, переливалась жаром и блеском. Нельзя было оторваться от этого огня.

А ночь снаружи была беспросветная, черная, с завыванием сирен, с залпами зениток, с гудением самолетов над самой головой.

Но, дважды объявляя по радио тревогу, сейчас же снова передавали речь Сталина. Она шла поверх тревоги, поверх тьмы, поверх этой ночи.

Мы слушали ее, глядя на огонь.

10 ноября 1941 года

Вчера слушали в Филармонии Девятую симфонию Бетховена. Но, видимо, нам в концерты

больше не ходить. Это становится слишком сложно и опасно.

На обратном пути ночь была до того черна, тьма была такая, как в закрытом помещении без огня.

Фонарика у нас не было. Чудом добрались до трамвайной остановки. И там на нас чуть не наехали грузовики. Я вдруг почувствовала холодный и мокрый борт грузовика у самой щеки.

Сама Филармония все мрачней. Полярный холод. Вторично снижена хлебная норма.

11 ноября 1941 года

Друзья мои, Борис, Илья, Корнелий, где вы? Что делаете?

Я смутно помню Чистополь на Каме,
Я там была семнадцать лет назад,
О нем сказав небрежными строками,
Я улетела дальше.

Прошла любовь. Теперь взамен нее
Души неопалюющая нежность.

Мой внук. Ему уж скоро год, русский хохолок... Нет, не судьба мне, видно.

15 ноября 1941 года

Возле прозекторской упала вчера большая фугаска. Вторая упала в Ботанический сад. В оранжерее вылетели сразу все стекла, и туда хлынул холод. Пальмы погибли уже к утру.

Когда эта бомба упала, дверь в нашем укрытии так неистово затряслась, как будто ее изо всех сил дергал обезумевший от страха человек. Я кинулась открывать ее: не могла поверить, что это взрывная волна. Распахнула двери — никого. Только овчарка Динка дрожит на полу. На скамьях женщины, сидя неподвижно, прижимают к себе детей.

16 ноября 1941 года

Тревога. Много осветительных ракет. Ночью вся наша территория залита светом.

21 ноября 1941 года

Вчера, возвращаясь из города, попали в две большие тревоги. Сидели в двух бомбоубежищах и стояли в двух парадных. В промежутках делали «перебежку».

Как только чуть стихнет, мы — в путь. Начинается полыхание и полеты над самой головой — мы переживаем. Очень грозно выглядят в темноте колючие красные звезды зенитных разрывов. Их осколки опасны.

Первая тревога застала нас у здания биржи. Белесоватая лунно-снежная мгла, все призрачное, косое от снега. Ростральные колонны еле видны. Среди всего этого стон сирены. И гул бомбы где-то поблизости.

Мы спустились в подвал под биржей, под могучие старинные своды.

Под биржей с нами сидели кондукторша и жокая. И мы радовались: значит, трамвай не уйдет без нас.

Второе убежище по Большому проспекту в большом доме было совсем иного типа. Туда в полном составе спустилась очередь за соевым молоком, стоявшая у магазина этого же дома. И должно же было так случиться, что там сошлись бывшая работница и бывший кондитер конфетной фабрики еще дореволюционного времени.

Начались воспоминания. Бывший шеф рассказал о «шоколадном евангелии», которое фабрика сделала для парижской выставки и за которое фабрикант получил 25 000 рублей премии, а рабочим уделил гроши. Но самое интересное было то, что (по словам шефа) парижская комиссия признала «евангелие» изготовленным на чистом сливочном масле, а оно, «между прочим, было на маргарине».

Вот уж поистине «сладкие» воспоминания. Все убежище слушало как зачарованное, мало обращая внимания на грозные звуки извне.

По площади Льва Толстого мы уже не шли, а бежали под сплошным заградительным огнем. И вдруг возле булочной на углу, на льду тротуара — дрожащая мольба:

— Голубчики, родные, помогите!

Старуха. Упала во тьме. В небе над ней ревут самолеты, бушует огонь, а на земле — ни души, только мы. Подняли ее и устремились было дальше. А она:

— Родные, бесценные! Я карточки свои хлебные потеряла. Как же я без них? Дорогие, помогите! — И шарит в темноте свои иждивенческие стограммовые карточки.

На меня от страха и утомления нашло полное отупение. Говорю:

— Ищите сами. Мы не можем.

И. Д. ничего не сказал, выпустил мою руку, нагнулся, поискал, нашел старухины карточки. Потом мы ее вывели на Петропавловскую улицу. И побежали дальше.

25 ноября 1941 года

Вчера, во время двойного обстрела, с воздуха и земли, Борис Яковлевич, главврач больницы, защитил диссертацию в бомбоубежище.

Диссертант в своем неизменном ватнике явился прямо из котельной, где вот уже который день, совместно с истопником, пытается наладить работу прачечной, поврежденной снарядом.

В бомбоубежище электричество не горело. Ученый совет заседал при керосиновой лампе.

За обедом выпили разведенного спирта в честь нового кандидата медицинских наук.

Старушка молится о прорыве блокады: «Господи, пробей путь нашим воинам!»

Рассказ о том, как у возчика бомбой убило лошадь. Он стоит над ней и плачет.

Три мальчика стояли у ворот.

Один сказал: «Мой папа в окруженье.

Но мама говорит, что он пройдет,

Что он уже находится в сраженье».

Второй сказал: «Мой старший брат — герой.

Он получил уже Звезду...»

28 ноября 1941 года

Переселение ленинградцев по воздуху продолжается.

Из наших писателей улетели многие. Из институтских — профессора З. и К. Тут все не просто: и страх перед будущим, и любовь к городу (как его оставить в такую минуту!), и сознание: раз тебя вывозят — значит, ты нужен стране. И как же не улететь, если предлагают?

Будущее Ленинграда тревожит. Сгоревшие Бадаевские склады — не шутка. Жирный и тяжелый дым — это углеводы и жиры, необходимые для жизни. Белков, то есть мяса, мы тоже почти не видим. Недавно профессор З. сказал мне:

— Моя дочь провела вчера весь день на чердаке, разыскивала кота.

Я готова была умилиться такой любви к кошкам, но З. добавил:

— Мы их едим.

В другой раз тот же З., страстный охотник, сказал:

— Моя жизнь кончится, когда я убью своего последнего тетерева. И мне кажется, что я его убил.

В ноябре уже были два снижения хлебной нормы — две неуклонные ступени вниз.

30 ноября 1941 года

Пятая симфония Бетховена в Филармонии отменена из-за сильного артобстрела.

1 декабря 1941 года

Сегодня на Вульфовой улице видела труп на сапожках, без гроба, спеленатый белыми пеленами: явственно выделяются колени. Грудь туго обвита. Библиейский, египетский способ.

Видны очертания человека, но кто именно — мужчина, женщина — уже не различишь. Это уже «тело», принадлежащее земле.

6 декабря 1941 года

Жанна пишет:

«Такой хорошенький стал мальчик, просто прелесть.

Как только переедем и немного придем в себя, постараюсь снять его и прислать тебе фото».

7 декабря 1941 года

Пятая симфония Бетховена и увертюра Чайковского «1812 год».

Филармония все мрачней. Адский холод. Люстры горят в четверть силы. Оркестранты — кто в ватниках, кто в полушубках. Скрипачам нужны легкие, свободные руки,— поэтому тут ватники. Виолончели и тем более контрабасы могут быть в полушубках: у них движения рук направлены книзу. Барабану теплее всех: он согревает себя ударами. Первая скрипка была густо небрита: наверное, не на чем было согреть воду или света не было.

Вчера по радио важное сообщение: Англия объявила войну Венгрии, Румынии и Финляндии.

8 декабря 1941 года

Япония напала на Америку без объявления войны.

9 декабря 1941 года

Мы дышим. Мы немного глубже дышим. Нами взят Тихвин. Может быть, отсюда начнется спасение Ленинграда.

13 декабря 1941 года

Под Москвой хорошо. Москва отбила от себя врага, но в Ленинграде все еще грозно.

Сегодня снаряды ложились по Кировскому.

Обстрел настиг нас при приближении к дому. Снаряд разорвался у нашей проходной будки, у ворот, как раз в ту минуту, когда мы, подъехав к главному подъезду, выходили из машины.

Вся улица заволочлась пороховым, кислым каким-то дымом. У нас повреждена водопроводная магистраль и главный ввод в канализацию. Теперь мы без воды.

У проходной — большая обледенелая воронка. Мостовая покрыта льдом, ледяные языки тянутся далеко.

14 декабря 1941 года

Успех под Волховом.

21 декабря 1941 года

Вчера решили навестить Евгению Осиповну Р. — жива ли, жив ли муж? Это мои большие друзья.

Она заведует кафедрой педагогики в Герценовском институте. Теперь работает в тамошнем госпитале сестрой. Работает тяжело. А сама желтая, глаза погасли, седина волос сливается с мехом старенькой шапочки.

Трамваи теперь ходят неточно, с перебоями. Многие линии повреждены. Но мы решили хоть часть пути проехать. По Большому дошли до Введенской и сели на трамвай номер двенадцать. Хоть это был и не наш номер, но он мог перебросить нас через мост, а ведь это главное.

Едва мы тронулись, начался обстрел. Снаряды падали справа и слева. Наш двенадцатый номер шел по гремящей улице, словно по дну ущелья. В трамвае никто не говорил ни слова.

Мы втягивались в самую зону огня. Жутче всего было то, что навстречу нам по тротуару бегом бежали люди именно оттуда, куда мы приближались с каждой минутой. Внезапно вожатая сказала:

— Дальше не еду. Боюсь.

— Не останавливайтесь! — закричали ей. — Езжайте вперед. И мы проскочим.

Та было послушалась; одну остановку мы промчались вихрем. Но на второй (это было как раз у Ситного рынка) снаряд упал так близко, что вожатая бросила управление. Вагон стал.

Уж не помню, как мы выскочили из него, перебежали улицу и влетели в булочную на углу. И в то мгновение, когда мы переступали порог, снаряд попал в наш трамвай.

Мы просидели в убежище булочной, вероятно, с час, я не помню. Как это часто бывает со мной в минуты опасности или после нее, мне страшно хотелось спать.

Укрытие было сырое, сверху капала вода. Люди все время перемещались, ища местечка посуше. Плакал ребенок. Меня тяжело клонило ко сну: год жизни отдала бы за подушку.

Когда все стихло, мы вышли. Наш трамвай стоял страшный, разбитый. Какой-то человек, махнув в его сторону рукой, сказал:

— Там полно трупов.

Значит, были убиты все, кто не вышел.

Вернувшись домой, узнали, что обстрел был прицельный по Ситному рынку, в гущу рыночной толпы. День был воскресный. К нам в больницу привезли 72 раненых.

22 декабря 1941 года

К сегодняшнему утру из вчерашних раненых умерло десять.

25 декабря 1941 года

Сегодня утром, когда Евфросинья Ивановна внесла дрова, я по ее лицу сразу поняла, что случилось нечто необычайное. Она рассказала мне, что, пойдя еще затемно, на «ранней зорьке», в булочную, встретила на площади Льва Толстого неизвестного человека, который шел, плакал, смеялся, хватался за голову.

— Постоит-постоит и дальше бредет, сам не в себе. Я подумала: либо выпивши (и где только раздобыл?), либо повредился в уме.

И только придя в булочную, Евфросинья Ивановна поняла, в чем дело: прибавили хлеба. И этот человек один из первых узнал о прибавке. Радио не работает из-за отсутствия тока, газета появляется на стенах домов только на второй, а то и на третий день. Поэтому о прибавке хлеба люди узнавали прямо у прилавка. Так

было с неизвестным человеком. Так было и с Евфросиньей Ивановной.

Все сияют. Отовсюду доносится одно только слово:
— Прибавили!

Рабочие получают теперь 250—300 граммов. Служащие — 250. Мы с И. Д. будем иметь на двоих 600 граммов в день.

26 декабря 1941 года

Страшно, выйдя утром из наших задних ворот, очутиться у стены прозекторской, на берегу Карповки. Это мертвецкая под открытым небом.

Ежедневно туда привозят на салазках восемь—десять трупов. Там они и лежат на снегу. Гробов становится все меньше: не из чего их делать.

Мертвецы — в простынях, скатертях, лоскутных или байковых одеялах, иногда в портьерах. Однажды я видела небольшой, видимо очень легкий, трупик ребенка в оберточной бумаге, перевязанный бечевкой.

Все это зловеще пестреет на снегу. Порой из-под него торчит рука или нога. В этих цветных тряпках таится еще какое-то подобие жизни, но в них — и неподвижность смерти. Все это напоминает одновременно и побоище и ночлежку.

Сама прозекторская полна. Не хватает грузовиков для кладбищ — не столько даже грузовиков, сколько бензина. И главное — так мало сил у живых, чтобы хоронить мертвых...

Возник вопрос о том, чтобы не регистрировать в загсе каждого умершего отдельно, как раньше. И вообще — упростить формальности. Представитель загса будет находиться тут же, в прозекторской, чтобы вести хотя бы просто количественный учет. Ведь много трупов безыменных.

30 декабря 1941 года

Недавно в одном месте меняли 27 порошков аскорбиновой кислоты (витамин «Це») на живую собаку для еды. Мариэтта сказала рассудительно:

— Что ж, если собака крупная — это выгодно.

1 января 1942 года

Мое пренебрежение к дневникам — преступно. Как бы удачны ни были мои стихи, необходимо каждый, именно каждый, день записывать то, что я вижу и, главное, слышу. Стыдно, что у меня не хватает мужества видеть все то, о чем слышу.

Новый год встречали вчера дважды. Первый раз — в пять часов вечера, в Союзе писателей, где был сначала «Устный альманах», а потом ужин за счет талонов, вырезанных из наших продовольственных карточек.

Мы пошли в Союз по ледяным пустынным улицам, мимо трамвайного парка, откуда не выходит ни один трамвай, мимо хлебозавода, который дает нам так мало хлеба, мимо пробитого осколками и засугробленного автобуса. По набережной, где стоят два недостроенных корабля, трагических, безмолвных. Перед ними ледяная громада города и за ними покрытая льдом Нева.

В Союзе писателей «Устный альманах» происходил в красной гостиной. В камине горели полешки, на столе — свеча, было очень холодно.

Дошла до меня очередь. Я села поближе к свече и стала по рукописи читать первую главу поэмы (название у меня точно еще не решено). Я читала ее на людях впервые. В том месте, где я проклиная гитлеровскую Германию, у меня перехватило дыхание. Трижды я останавливалась и начинала снова.

После «ужина» пошли домой, снова тем же путем. Было почти совсем темно.

Вечером И. Д. отправился в булочную. Тревога застигла его на обратном пути. Бомбы падали снова возле площади. И. Д. укрылся с хлебом в чужой подворотне. А я дома очень боялась за него.

К двенадцати часам сошли вниз, в кабинет главврача, с последней нашей бутылкой прокисшего рислинга. Разлили по бокалам и выпили молча. Хотели было еще посидеть, но позвонили по внутреннему телефону. Дежурный врач приемного покоя сообщал, что у него сорок покойников лежат в коридорах и в ванной. Не знает, что дальше делать. Главврач ушел туда. Мы поднялись к себе и легли.

2 января 1942 года

Умирают в больнице, главным образом в приемном покое. На кладбищах вырыты длинные траншеи, куда складывают покойников. Отдельные могилы кладбищенские сторожа роют только за хлеб.

Гробов на улицах все больше. Их везут на салазках. Если гроб пуст, он легко раскатывается из стороны в сторону: его заносит. Однажды один такой задел меня по ногам. Гроб с покойником везут обычно две женщины. Веревки глубоко врезаются им в плечи, но не потому, что покойник тяжел, а потому, что женщины слабы.

Недавно видела труп без гроба, у которого на груди под свивальными пеленами были подложены стружки, видимо для благообразия. Во всем этом чувствовала опытная, не дилетантская рука. Страшнее всего была именно эта техническая оснащенность. Очень может быть, что за все это пришлось расплатиться хлебом.

В другой раз две пары салазок сцепились полозьями. На одних к крышке гроба были аккуратно привязаны лопата и лом. На других — лежали дрова. Это встретились Смерть и Жизнь.

Часто на салазках везут и живых. У Аничкова моста (откуда, спасая от снарядов и бомб, давно уже вывезли бронзовых коней Клодта) две женщины с трудом влекли салазки, на которых сидела третья с мертвым ребенком в одеяльце.

Видела я также, как истощенная женщина, молодая, с напряжением управлялась с салазками, на которых лежал большой платяной шкаф стиля «модерн» из комиссионного магазина: для гроба.

В одно из воскресений мы шли от наших ворот к площади Льва Толстого. И на этом небольшом пространстве встретили восемь больших и малых гробов и несколько трупов в одеялах. И тут же две женщины вели третью к нам в больницу рожать. Она шла, выпятив живот, желтая, с цинготными кровавыми мешками под глазами, худая, как скелет, еле передвигая ноги.

В другой раз две женщины, по виду учительницы, библиотечарши или что-нибудь в этом роде, везли на салазках пожилого человека в пальто, в меховой шапке и в очках. Он неудобно лежал на боку на коротких салазках, опираясь на локоть. Ноги волочились по земле. На каждой выбоине человек стонал:

— Осторожнее! Осторожнее же!

А те две были в поту, несмотря на сорокаградусный мороз.

Две женщины (снова женщины) ведут под руки дистрофика (мы только здесь узнали это слово). Он переставляет ноги в валенках, как протезы. Глаза устремлены вперед, точно у одержимого. Кожа лица туго натянута. Губы полуоткрыты, и видны зубы, ставшие как бы длиннее от голода. Нос заострился, точно истаял, весь в язвочках, кончик несколько загнут набок. Теперь я знаю, что значит «обглодан голодом».

Лица на улицах или неестественно обтянуты и глянцевиты (отеки), или зеленоваты и бугристы. Под кожей ни капли жира. И мороз гложет эти сухие остовы. (Я пишу и слышу, как у моих ног, в корзине для бумаги, куда мы раньше сбрасывали хлебные крошки, роется обезумевшая от голода мышь,— мы зовем ее «княжна Мышкина». Она даже не в силах радоваться тому, что съедены все кошки...)

Не могу выносить на улицах резкой струи соснового экстракта. Это значит — или провезли на грузовике трупы, залитые этой жидкостью, или прошел пустой грузовик (чаще всего газогенератор), недавно перевозивший трупы. Так и стоит в морозном воздухе этот убийственный запах.

Вечер

Заведующая кафедрой иностранных языков в институте И. совершенно одна на свете.

У нашей И. единственное близкое существо — собака, эрдельтерьер, по имени Карма. Я всегда их видела вместе: они не расставались.

Во время одного из налетов бомба попала в квартиру И. на улице Маяковского. Все лицо И. было засы-

пано осколками. Карма где-то пряталась несколько часов, потом явилась.

До 1 декабря всем служебным собакам выдавали паек. После 1-го паек прекратился, и начали есть самих собак.

Не так давно в ледяном коридоре, внизу, я встретила И. с Кармой. И. говорит мне: «Вот. Иду на кафедру токсикологии, где собаку усыпят. Я буду при этом, дам ей вкусно поесть в последний раз, у меня еще есть для нее сырны корки. А что будет с ней потом, я не хочу знать, хотя знаю наверное: ее съедят. Ее давно уже ждут сотрудники». И она ушла с собакой на кафедру токсикологии.

Сегодня снова видела И. на лестнице, без собаки. Она мне рассказала, что укол Карме был сделан неудачно. Ослабевший токсиколог не мог попасть сразу в сердце. И собака кричала перед смертью, как человек.

Сегодня же утром, когда мы шли завтракать вниз в нашу обледенелую столовую, навстречу нам несли человека. Это был знакомый Бориса Яковлевича, — чуть ли не врач сам. Он пришел просить, чтобы его голодающую жену положили в больницу. И, прося за нее, потерял сознание от голода. Его-то и пронесли мимо нас в приемный покой.

А вчера вечером в углу за дверью, под шкафчиком с ключами, на стуле, где сидит дежурная, мы увидели незнакомого человека. Он сидел, свесив голову, опустив безжизненные руки. Все мышцы ослабели. Одна калоша валялась вблизи стула.

Б. Я. тронул его за висок, там, где бьется жилка, и сказал: «Слабые признаки жизни еще есть». После многочисленных звонков пришли изнемогающие санитары и унесли человека в приемный покой. Жив ли, никто не знает.

Это был рабочий ближней фабрики. Ему был дан бюллетень, он шел в больницу. Вошел в главное здание через парадную дверь, которая теперь так слабо охраняется, добрался до этого стула и стал тихо умирать, как умирают сейчас тысячи дистрофиков. Погрузился в ледяную бездну.

3 января 1942 года
Вечер

Человек, виденный нами вчера в коридоре на носилках, не врач, а физик. Он умер в приемном покое через полчаса. Человек, сидевший в углу под ключами, тоже умер.

Под Москвой наши дела на фронте превосходны. Но Ленинград живет последними остатками сил. Это предельное напряжение сил чувствуется во всем: трамваев нет, истощенные люди делают в день по много километров, иногда больше десяти. Они тратят на это последние калории.

В очень многих районах (в нашем тоже) совсем нет радио: экономят энергию. Вода только в нижних этажах, а то и вовсе нет. Что это будет весной, когда стает снег?

Сегодня в город должны были привезти цистерны с бензином, но не привезли. Не было угля для паровоза. Говорят (и это правда), что повсюду — в Тихвине, в Волхове, в Мурманске, особенно в Мурманске, — стоят эшелоны с продуктами. Ящики стоят там с надписью: «Только для Ленинграда!» Об этом говорят с восторгом, с жадностью, с нежностью. Иные не говорят, — у них нет сил.

Передают, что там есть все, вплоть до бананов. О бананах я впервые услышала в нашей столовой, где стены стали совершенно мохнатыми от инея и где температура много ниже нуля. Бананы?!

Милиционеров приносят в приемный покой прямо с поста. Они умирают, не успев даже согреться. Однажды связистка-студентка подняла на улице милиционера, упавшего от голода. Кроме того, у него были украдены хлебные карточки. Эта девочка, волоча милиционера на себе, втащила его в булочную и купила ему хлеба по завтрашнему талону своей карточки. А сама она как завтра?

Светомаскировка стала небрежной. То ли потому, что давно не было налетов, то ли сил нет. Шторы опущены кое-как. Да и то сказать — ведь почти нигде нет электричества. Мороз покрывает окна ледяными щи-

тами. Да луна, иступленно-зеленая, свирепая, своим светом затмевает наши земные коптилки.

Радость была в тот день, когда прибавили по 75 граммов хлеба, но это было давно. Теперь об этом забыли. Тот человек, который на улице плакал и смеялся от счастья, идя навстречу нашей Евфросинье Ивановне, вероятно, давно уже умер. Сама Евфросинья едва жива. Муж у нее умирает. Он бывший повар. В полузабытьи его преследуют виденья некогда изготовленных им блюд: пом-суфле, беф-строганов, соусы. Их аромат, вид, шипенье масла на сковородке. Он говорит об этом вслух, терзая себя и окружающих. Евфросинья плачет, говорит:

— Замучил.

Что будет, если в самом скором времени не подвезут продовольствия? А зима еще долгая. Страшная.

Наши теперешние ночи неопишимо тихи. Ни гудка, ни шума трамваев, ни лая собак, ни мяуканья кошек. Нет радио. В темных ледяных квартирах город засыпает. Многие навеки.

Очень давно не имела писем от наших из Чистополя. Да и как пробьются сюда эти письма?

4 января 1942 года

Вчера ночью вспыхнул пожар в студенческом общежитии: злополучное место, куда уж дважды попали бомбы.

Сначала предполагали, что пожар возник от неправильно поставленной времянки. Но потом выяснилось, что от спички, брошенной в угол, в кучу мусора. Нечаянно или умышленно... кто знает? Может быть, и второе, так как в суматохе пожара начали пропадать вещи.

Один из пожарных работал особенно хорошо, в дыму, без маски: не было кислорода. Решили премировать его. А он, узнав, что гасил здание, имеющее отношение к медицине, сказал:

— Не надо мне другой премии, как только хотя бы сто граммов рыбьего жира для моей жены.

И он получил этот драгоценный жир, лучший из витаминов.

Наша мышь («княжна Мышкина») затихла, видимо навсегда. Жаль. Хотя какое-то движение было, шевелился этот комочек жизни. Теперь и его нет.

Мне кажется, что, если в течение десяти дней не будет прорвана блокада, город не выдержит. Ленинград получил от войны все сполна. Надо, чтобы и немцы на Ленинградском фронте получили той же мерой.

СССР называют спасителем человечества: это так и есть. Англия встречает нашу профсоюзную делегацию с триумфом. Литвинов в Америке — первый человек. Идэн смотрит на разоренный немцами и отбитый нами Клин.

Я горда тем, что у меня «советская паспортина». Теперь она оливковая, скромная. Но все равно она излучает сияние.

Если бы кто-нибудь знал, *как* страдает Ленинград.

А зима еще долгая. Морозы лютые. Сегодня теплее, но зато сильно метет. За городом, наверное, пурга. И нельзя слушать без волнения, как этот голодный, темный, замерзающий город радуется морозам, от которых гибнут гитлеровцы на нашем фронте.

— Так им и надо! — повторяют люди посиневшими губами, стоя в подворотне во время обстрелов.

Блокаду Ленинграда обычно именуют «огненным кольцом». Нет, скорее это кольцо ледяное.

Начала вторую главу поэмы. Попытаюсь описать в ней одну ленинградскую ночь.

Что такое жизнь? Это витамины и калории. Здесь это ощущаешь с неумолимой ясностью. Но есть мужество, которое нарушает все каноны жизни и смерти. Можно смело сказать, что Ленинград питается преимущественно ненавистью к врагу. И этим живет.

5 января 1942 года

Артобстрел нашего района и даже нашей территории. Снаряды рвались так близко, что было предложено всем нам выйти из фасадных комнат главного здания.

На днях мне снился сон, будто я и еще люди, невидимые в темноте, стоим в подворотне, пережидая обстрел. Пронесаются полые светящиеся шары. «Остерегай-

тесь брызг. Это ипритные волчки!» — кричит кто-то. Я проснулась со стеснением в сердце.

Говорят, будто мы взяли Мгу. Но кто это слышал? Ведь радио почти ни у кого не работает.

6 января 1942 года

Сегодня впервые была в приемном покое.

Я прошла две ваннные комнаты, где стоят ванны с чистой водой. Но там никто не купался.

В первой комнате, на полу, на больничных носилках, лежал совершенно обнаженный мужской труп. Скелет и тот полнее. Здесь лежало нечто такое, что как бы никогда и не было телом с кровью и мышцами. В глубокой сухой впадине под ложечкой, как в чашке, лежала записка: имя и фамилия умершего. Я не прочла ее.

Глаза покойника были открыты, лицо покрыто той особой «трупной» бородкой, которую не берет никакая бритва. Жутко торчал нос.

В следующей комнате стояло в ряд несколько носилок: это были трупы, мужские и женские. Совершенно одинаковая человеческая худоба лишила их возраста и даже пола.

Меня поразило, что у первого трупа на ноге, ниже колена, была кровь, немного крови. Упал, очевидно. Или его ушибли. Я подумала:

«Как? Значит, в этом теле все же была кровь? Была жизнь?»

Во всех остальных комнатах и коридорах, на скамьях, носилках, а то и просто на полу сидят и лежат, по существу, такие же трупы, только они одеты. На лицах живут только глаза. И так сидят они по многу часов. Среди них ходят две женщины-врача, сами похожие на мертвецов.

Здесь никого не лечат, только кормят. Болезнь у всех одна — голод. На одной из скамеек лежит рабочий. Живой. Он еле шевелит языком и повторяет одну фразу:

— Семнадцать лет... семнадцать лет на производстве...

На другой скамье — старуха. А может быть, и не старуха — полутруп. Живы одни глаза. Губы лиловые. Лежит на боку. Рядом не то костыль, не то палка. И пустая кошелка: вероятно, прямо из очереди.

И среди этого ужаса попадаются и притворщики, симулянты, тоже голодающие, но не смертельно. Эти из-за тарелки супа приходят сюда через весь город. И оспаривают кусок или глоток пищи у тех... в ванной комнате.

Хватит ли сил дожидаться снятия блокады? И сколько останется в живых, чтобы радоваться тому, что они живы?

7 января 1942 года

Ни радио, ни газет, а вчера перестали работать городские телефоны во всем нашем корпусе, — не знаю, как в других зданиях. Очевидно, всюду. Город умирает, как человек, у которого один за другим перестают работать все органы... Сначала были квартиры, а теперь очередь дошла до учреждений. Но город держится: надо держаться.

Слушала лекцию профессора Тушинского о «голодной болезни» — таково ее действительное название.

Тело состоит из жира и мышц. Жир, жировая подкладка — это наша шуба. Мышцы — фабрика тепла. Когда исчезла «шуба» и не работает «фабрика», наступает смерть. Тогда мы съедаем собственные мышцы, наш «аварийный запас». Падение веса идет толчками. Температура равномерно понижена в течение целого дня.

Печень — это продуктовый склад. Нормальная печень весит тысячу пятьсот граммов. У голодающего — семьсот.

Внешне голодная болезнь выражается то отеками, то высыханием. У отечных происходит разжижение крови. Отекает сама кровь.

Кожа сухая, лишенная пота и сальной смазки. Апатия. Специфическое выражение лица.

Чудодейственно восстанавливает силы глюкоза, введенная в вену или просто проглоченная. Недаром актеры балета после большого сольного номера съедают пятьдесят граммов глюкозы.

У голодающих наблюдается острая потребность в углеводах, то есть в хлебе. Ведь сказал же академик Павлов: «Наш организм очень умен. Он хочет то, что ему полезно».

Среди прочих интересующих меня вещей узнала и о том, почему у нас нет эпидемии сыпняка. Оказывается... из-за блокады. К нам не попадает новый вирус, а у нас он уже «дохлый», ослабевший. Таким образом, та же блокада, которая убивает город, спасает его от инфекции.

И все же говорят, что части генерала Мерецкова 10 января будут в Ленинграде. Ну, пусть не 10-го, а 15-го, 20-го, в конце января, но только пусть будут. Ничего более потрясающего, чем эта встреча города и армии, вероятно, не было и не будет в истории.

Никто ничего не знает. И от наших ни звука, ни слова. Очевидно, опять разбомбили телеграфную проводку. Живы ли? Здоровы ли? Получили ли от меня деньги?

27 января Мишеньке год. Пусть к этому дню (а может, раньше?!) будет снята блокада.

*Вечер
Без четверти семь*

Обстрел. Сначала мне показалось, что это дрова падают. И часто-часто, полено за поленом. А потом я подумала: «Откуда же столько дров?» И сразу стало ясно — обстрел.

*8 января 1942 года
Около 11 часов утра*

Вчера трудный день. В первой половине дня погас свет. Тока не было до сегодняшнего утра. Поели только утром (суррогат кофе и суррогат молока, но как вкусно!). Каши съела немного пшенной, зато... (Снаряд где-то близко.) И... иду вниз. Обстрел сильный.

Половина двенадцатого. Вернулась. Обстрел кончился. Он был недолгий, но шквальный, как тогда, в трамвае, у Ситного рынка.

Мой очерк ушел в Куйбышев, в Совинформбюро, оттуда в Америку. Сегодня истекал последний срок

аванса, который прислал мне Афиногенов. Теперь, если получу подтверждение, что очерк дошел и подходит, буду писать регулярно три раза в месяц.

К отправке очерка начала готовиться за несколько дней. Прежде всего переписала его так, как это нужно для телеграфа: «Посылаю первый очерк под названием кавычки так мы живем кавычки точка абзац существуют два ленинградских фронта двоеточие боевой и бытовой точка первый тире на подступах к городу запятая где сражается наша Красная Армия точка второй тире сам город точка». И так далее.

Вчера снова заштопала И. Д. шерстяные носки и рукавицы. Выстирала кашне, чтобы оно, распушившись, стало теплее: морозы лютые. Оставила вчера хлеб И. Д. на дорогу: ведь ему предстояло идти пешком через весь город на главный почтамт, где только и берут телеграфные корреспонденции — и то когда горит электричество. На всякий случай дала свечу для телеграфистки.

И. Д. встал с рассветом и пошел, и вот только сейчас вернулся. Самое горькое то, что нет тока и по вечерам нельзя работать. А вечер сейчас — это начало пятого, да и днем темновато, хотя дни, как правило, морозные и ясные. Вот и сейчас тоже.

Вчера вечером, в предвидении сегодняшнего «телеграфного похода», при свете «летучей мыши» (последний керосин) мы, по моей инициативе, устроили роскошный ужин: половина маленькой сырой луковицы (вторая половина будет съедена сегодня), мелко нарезанная, густо посоленная и политая подсолнечным маслом. Все это с хлебом: каждый получил по три тартинки. Крошки мы высыпали в тарелку. Они пропитались остатками масла, и мы поделили их поровну. Кроме того, мы выпили остатки вина: портвейн «Арагат», высший сорт. После этого мы легли спать необыкновенно счастливые. В темноте тотчас же явилась наша «княжна Мышкина» (оказывается, она еще жива), сновала по столу, клевала крошки, как птица. Потом с писком провалилась в пустой (конечно, пустой) молочник. Мы зажгли спичку. И «княжна», сделав последнее усилие, выкарабкалась из молочника (чего ей это стоило!) и скрылась.

Света у нас не будет. Будут давать ток на три-четыре часа в сутки, но в самое неопределенное время: быть может, ночью.

*9 января 1942 года
Около 2 часов дня*

Сильный артобстрел. И. Д. рядом, за стеной, принимает зачеты у студентов, и я спокойна...

Жанна, девочка моя. Стараюсь не думать о ней, но не могу. Ее письма для меня страшнее самого страшного обстрела. Как она мечется, бедная! Отдала ребенка в ясли, думала, будет лучше. Теперь хочет взять его оттуда, так как он схватил там ветрянку. Правда, легкую, по ее словам. Но много ли такому крошке нужно?

Жанна пишет: «У него личико очень хорошенькое: видно, что он уже большой, что ему скоро год, а тельце худенькое и ротик беззубый — просто сердце разрывается. Ему годятся все его новорожденные кофточки и распашонки. Они стали только очень короткие, а в ширину как раз...»

А я читаю и думаю: «Как он лежал в картузике... Зачем я позволила увести его? Но что я могла сделать?»

И. Д. утешает меня. И мне самой кажется, что вот только пройдет зима, а там легче будет.

Все замечают, что И. Д. очень похудел. Я стараюсь отдавать ему свою долю, — мне ведь меньше нужно. Но, конечно, этого ему недостаточно.

Появилась нота Народного комиссариата иностранных дел нашим союзникам о фашистских зверствах в оккупированных районах. Я не читала еще, радио тоже молчит. Сейчас оно издало какой-то звук. Оказалось — это проба местного радиоузла.

Обстрел прекратился.

13 января 1942 года

Темнеет. У меня нет света. Но я должна немедленно записать то, что слышала собственными ушами: паровозный гудок. Слабый, но ясный и отчетливый. Первый гудок за все время блокады.

Мы все выбежали во двор проверить, правда ли? Тишина. Мороз. Снег лежит. Мы стоим и слушаем. Рядом со мной доктор Пежарская. Она мне напоминает мою покойную мать — и даже не чертами лица, а всем обликом. Мы слушали сней, потом взглянули друг на друга. Да, дорожные гудки.

Значит, правда, что начала работать ледовая дорога через Ладогу, о которой нам говорили. А потом поезда повезут продукты от Ладоги до города. Это жизнь наша. Это наше спасение, может быть.

*14 января 1942 года
4 часа дня*

Лютый мороз. Сижу в пальто, в перчатках. Читаю Тимирязева. Я знала его по имени, уважала, чтילה: мировой ученый, блестящий популяризатор. Но по существу я ничего не знала о нем. Если говорить правду, он был для меня только малоудачным, на мой взгляд, памятником у Никитских ворот: узкая темная фигура, стесанная с боков, в длинной мантии. Руки благонравно сложены, точно у школьника на экзамене.

Этот памятник был сшиблен во время одной из первых московских бомбежек, еще при мне. Но через несколько дней Тимирязев снова как ни в чем не бывало стоял на прежнем месте, сложив руки. Его восстановили очень быстро.

Теперь я прочла книгу Тимирязева о хлорофилле, зеленом веществе растений.

«Жизнь растения, — пишет Тимирязев, — постоянное превращение энергии солнечного луча в химическое напряжение; жизнь животного — превращение химического напряжения в теплоту и движение». Дальше он говорит, что на солнце как бы «заводится пружина», которая спускается на земле. И эта развернутая пружина и есть жизнь.

«Зерно хлорофилла является звеном, соединяющим величественный взрыв энергии в нашем центральном светиле со всеми многообразными проявлениями жизни на обитаемой нами планете».

Тимирязев цитирует Больцмана и Ньютона. Ньютон писал: «Природа, по-видимому, любит превращенья». И дальше: «В ряду таких разнообразных и странных превращений почему бы природе не превращать тела в свет и свет в тела». Ньютон только догадывался о том, что знал Тимирязев.

Больцман писал: «Растения развертывают неизмеримую поверхность своих листьев и вынуждают солнечную энергию, прежде чем она упадет до уровня температуры земли, вызывать (не вполне еще исследованные) химические синтезы, еще неведомые нашим лабораториям».

«Неизмеримая поверхность листьев...» При этих словах мне представляется колышущийся океан зеленой листвы и частицы света, летящие к нам сквозь ледяные пространства вселенной.

*15 января 1942 года
9 часов 15 минут вечера*

Вчера ночью горела прозекторская. Туда привезли полуобгоревшие трупы с завода, где был пожар (пожары теперь подлинное бедствие). Трупы были в ватниках, которые еще тлели, но этого никто не заметил.

Огонь, таившийся между слоями ваты, постепенно выходил наружу. Пламя вырвалось из ватников и охватило старые сухие ящики, привезенные для гробов. Все наполнилось дымом.

Прибежал наш начальник пожарной охраны и стал руками растаскивать трупы.

Воды не было. Пришлось засыпать огонь снегом. Но прозекторскую отстояли.

Как только кончился пожар, начался другой, на противоположном берегу Карповки, вдоль ограды Ботанического сада, где стояли военные грузовики.

От неосторожно разведенного костра загорелся грузовик-цистерна с бензином. Один, за ним другой. На третьем загорелся мотор. Его с опасностью для жизни отцепили от цистерны. Со вторым не могли справиться и столкнули его в Карповку, куда он упал, пробив лед. Столб огня при этом взметнулся выше трубы нашей котельной. А в ней сорок метров.

Сила огня — потрясающая. У нас в комнате можно было читать.

Была очень занята все это время, день так короток, света нет. Хозяйства хоть и никакого, но все равно ежедневно надо что-нибудь шить либо штопать. Моя мания порядка обходится мне дорого. С другой стороны, именно сейчас надо особенно следить за чистотой.

Но все же многое успела: вчера написала 7 строф. $7 \times 6 = 42$. Для меня это много. Поэтому я не сразу написала об А.

А. — наш москвич. В настоящее время пишет (насколько я поняла) «философский трактат» «Дух войны». В связи с этим решил, что ему надо взглянуть на Ленинград. Кроме того, у него тут родные жены, которые, ясное дело, голодают.

Не знаю, что из этих двух причин было важнее, но, как бы то ни было, А. добился почти невозможного: прилетел сюда на военном самолете, который вез ордена и дензнаки.

Узнав от Кетлинской мой адрес, А. явился вечером ко мне. Позвонили по внутреннему телефону из кабинета Бориса Яковлевича, что меня хочет видеть «писатель из Москвы».

Писатель из Москвы? Боже мой! Закутавшись в платок, я сбежала вниз, в этот ледяной мрак.

При свете коптилки я увидела А. Лицо его мне было знакомо. Но, как это часто бывает со мной, я не знала, кто это. И все же, почти незнакомый, как он был мне дорог! Это был человек *оттуда*. Я обняла его. Я себя не помнила от радости. Усадила его на диван.

— Говорите, рассказывайте, — повторяла я.

Он смотрел на меня с нежностью и жалостью. Изменилась я, наверно.

В разговоре он, как о чем-то таком, что мне уже известно, сказал о гибели Афиногенова в Москве.

— Не может быть! — закричала я, вспомнив афиногеновские глаза, веселую плутовскую ямку на щеке, его легкую поступь по жизни: ему все удавалось. — Погиб!.. Неправда! Не может быть! — Но тут же поникла головой. — Нет, правда. Наверное, так и есть.

А. пришел на другой день. Мы прошлись с ним по больничному двору. Он смотрел на наши здания, на оледенелые деревья. На лица людей. Он не мог говорить. Он был ошеломлен.

Теперь он уже улетел в Москву.

Признаки голода: то худеют, то отекают. Стареют от раза до раза, словно их тронула рука гримера. И гример этот — Голод.

Человек с крестом, идущий пешком через весь город. Подлинная Голгофа.

Гроб, на котором стоит кошелка с продуктами. Может быть, это плата за рытье могилы.

17 января 1942 года

Полчаса тому назад был короткий, но довольно сильный обстрел. Когда он кончился, И. Д. ушел на главный почтамт отправить деньги своим и Жанне. Районные почтовые отделения не работают: нет света, о тепле уже не приходится говорить. А в одном, где, по слухам, была свеча, все до одного не вышли на работу: больны или умерли. Из-за отсутствия света не работает и банк. В частности, я по этой причине не могу получить деньги на радио. Говорят, что будут платить в третьей декаде января.

Хорошие вести с фронта. На радио сказали мне, что Федюнинский начал генеральное наступление. И что в районе озера Ильмень идут бои, о которых немцы пишут, что по масштабам они превосходят московские. Но эти, быть может последние, испытания Ленинграда — самые тяжкие.

А тут еще морозы.

Леся П., которую мы устроили сестрой-хозяйкой в военный госпиталь, захворала воспалением легких и лежит у нас. Я навещаю ее.

20 января 1942 года
Утро

Так занята своей поэмой и хозяйством, что просто не хватает времени ежедневно писать дневник, как этого хотелось бы.

За эти дни я исправила и перемонтировала первую главу. Теперь те места, которые мне казались сильными, пришлось переставить, так как новые строфы их забивают. Переписала наново место о гуманизме. Никогда еще не работала с такой страстью. Даже ночью я пишу лежа и не могу остановиться. Умираю от усталости, а все продолжаю думать, и все важно. Что ни вижу — всему находится место, как в приготовленном гнезде. Это первый признак, что сознание целиком отдано работе и все усваивает. В воскресенье (опять под обстрелом) пошли на Песочную. Квартира наша ужасна. Ледяной хаос. Температура минус пять.

Марфуша — Лелина работница (иждивенческая карточка) — умерла 13-го числа.

В столовой — грязные кровати, сор, пустые бутылки из-под постного масла, коптилка, топор, щепка. На всем слой жирной сажи. На стенах, покрытых копотью, по-прежнему висят тарелки: фарфор и фаянс.

В третьей комнате, где от давнишней бомбежки выбито стекло, ледяные грязные простыни. Напущенная в ванну вода замерзла. Студенческое общежитие перевели в нижние этажи. Там теплее.

Ночью Дина Осиповна и Инна выходят на лестницу и сидят, прижавшись к теплым радиаторам (лестница еще отапливается). Здесь, по их словам, они приходят в «радостное настроение» и мечтают о будущем.

От Жанны по-прежнему ничего. Последнее ее письмо, посланное еще в ноябре, было тревожно. Мальчик был смертельно болен. Жанна писала:

«Мы с Юрой не раздевались вовсе и по очереди давали Мише кислород. Он, как птенчик, открывал свой ротик, когда ему подносили трубку. Вообще же он все время держался молодцом (если так можно сказать про десятимесячного крошку), переносил самые суровые банки и горчичники, принимал лекарства».

Единственное мое утешение в том, что после этого письма было другое, где сказано, что Мишеньке легче.

Сегодня 28 градусов мороза.

«Меридиан» движается отлично. Даже по ночам не дает спать: требует, чтобы я его писала.

Только бы хватило здоровья и сил!..

21 января 1942 года

Важные новости: прибавили хлеба. Рабочим по пятьдесят граммов, служащим — сто.

Большие успехи на Калининском фронте: мы взяли Холм.

У нас жестокий мороз: чуть ли не 35 градусов.

22 января 1942 года

(Семь месяцев войны.) Вчера получила телеграмму из ВОКСа, что моя статья «Как мы живем» уже пошла в Америку. Гонорар переведен Жанне. Просят писать.

Я буду им писать три-четыре раза в месяц по пять-сот слов. Я теперь очень понимаю, что им нужно.

25 января 1942 года

Вчера, оказывается, было 40 градусов, да и сегодня как будто не меньше. Послезавтра Мишеньке год. Его первая погремушка (целлулоидный барабанчик с горошиной внутри) висит на ленточке у моего изголовья.

Читала больным в нашей глазной клинике.

7 часов вечера

Положение катастрофическое. Сейчас люди напали на деревянный забор больницы и растащили его на дрова.

Воды нет. И если завтра остановится хлебозавод хотя бы на один день — что будет? У нас сегодня нет супа, одна каша. Утром был кофе, но больше ничего жидкого не будет.

Из воды у нас: половина чайника (мы храним его в горячем песке), половина кастрюльки для умывания и четверть графина на завтра. Все.

Сегодня утром громадная очередь за водой стояла у воронки, там, где снаряд пробил водопровод. Вода грязная, но ее пропускают через тряпку. Теперь не знаю, есть ли даже она. Ведь во всем районе (и даже, думаю, в городе) водопровод не работает. А что же у нас на фронте? Что?

Эта Карповка — поистине река смерти. Нечто вроде Леты. Нет, неправильно. Та успокаивала, а эта полна ужаса.

Люди падают на улице, идя через весь город за обедом (если он есть), и уже не встают. Если их и приводят домой — все равно смерть почти неизбежна.

Сегодня Евфросинья Ивановна рассказала о семье больничного монтера, где пять покойников.

Мать скрыла смерть грудного ребенка. Получает для него молоко (сгущенное или соевое) в консультации. Продает по 100 р. за литр, на эти деньги покупает хлеб и кормит мужа. Что это — преступление?

26 января 1942 года

Впервые заплакала от горя и злости: нечаянно вывернула в печку кастрюльку с кашей. И. Д. все же проглотил несколько ложек, смешанных с золой.

Хлеба до сих пор нет. Но зато я написала три очень хороших строфы: концовку главы «Свет и тепло».

Пишется мне как никогда. Но плохо сплю по ночам: все немеют пальцы рук. Сначала мелкие иглы, потом крупнее, крупнее, реже, реже. И наконец полное омертвление. Руки отмирают.

27 января 1942 года

Хлебозавод все же не прекратил работу, как мы этого боялись. Когда водопровод перестал работать, восемь тысяч комсомольцев — так же, как и все, ослабевшие от голода, озябшие — стали конвейером от Невы

до пекарских столов завода и подавали туда воду ведрами, из рук в руки.

Вчера у булочных очереди были громадные, хлеб привезли только к вечеру. Но все же он был.

Сегодня (и даже как раз в этот час, в полночь) Мишеньке исполнился год.

28 января 1942 года

На заводе «Электросила» нет света. Люстры горели на аккумуляторе. Но ведь надо их заряжать. А чем?

На столе у директора стоит восьмидюймовый немецкий снаряд, перелетевший через завод. И тут же новая модель снаряда (наша), похожего на железнодорожный жезл.

Восьмидюймовый стакан, надорванный разрывом, но все же целый. И голодный директор завода мечтает: «Вот бы такой стакан да чаю. Да к этому чаю — хлеб».

29 января 1942 года

«Хозяйство» отнимает все больше времени. Печка, чайник, мытье посуды, разогревание супа или каши, штопка и мелкая стирка берут половину дня.

Сегодня произвела кардинальную уборку, о которой мечтала уже давно. Бóльшую часть носильных вещей аккуратно сложила в большой дорожный мешок. До лучших дней. До воды, до света, возможно — до снятия блокады. Вторую часть, самое необходимое, умолила Евфросинью Ивановну постирать знаменитой водой из речки Карповки, которая одна только и моет и поит нас. Пропускаем ее через восемь слоев марли, но и после этого вода ужасна.

Платья нарядные спрятала на самое дно чемодана. Резиновые ботинки, смятые и с признаками трещин, расправила, набила бумагой, завернула в тряпки — как на зимовке.

Пишущую машинку спрятала: лента очень сохнет от холода. Лампу электрическую убрала со стола за полной ненадобностью.

Теперь все в полном порядке. Но я два дня не работала.

С хлебом трудно. Его привозят небольшими партиями, прямо с хлебозавода, мокрым и смятым. Очереди большие.

30 января 1942 года

За эти несколько дней изменились не только лица, — изменился и лик самого города. Исчезли заборы, в том числе и наш. Но прекрасные столетние березы и липы не тронуты.

Образовалась какая-то новая топография: переходы, переулки, сокращения, проходные дворы.

Сегодня состоялась панихида по профессору А. А. Лихачеву. Труп без гроба (привезли потом) лежал в конференц-зале, на овальном столе, на куске фанеры.

Умерший был в простыне. Вокруг стола в ледяной комнате стояли профессора и ассистенты. И. Д. произнес речь. Я смотрела на него. Он снял меховую шапку, но черной шелковой шапочки не снял — слишком холодно было. А сам такой худой, желтый.

Его речь была в хорошем традиционном стиле, с латинским «Sursum corda!» («Воспрянем духом!») в конце.

31 января 1942 года

Трубы, проложенные в земле, лопаются оттого, что вода в них неподвижна. Моторы не гонят ее. Когда вода в движении, она как бы спасается бегством от мороза. Теперь же он настигает ее, неподвижную. И она разрывает трубы, замерзая.

2 февраля 1942 года

Писать хочется, как иногда — есть. По существу, работаю ночью, вместо того чтобы спать. Как только ложусь, мозг как бы говорит: «Вот теперь настал мой час. Начнем!» И мы начинаем.

Я сплю так неглубоко, так поверхностно, что стоит мне только наполовину проснуться, как я уже нахожу в своем сознании строку или даже строфу. Они как бы стоят ночью у двери и ждут, чтобы их впустили. И как только намечается малейшая щелочка — они уже тут.

Наташа видела у входа в какую-то из клиник два обнявшихся трупа.

Уже достоверно известно, что Лапин и Хацревин погибли в Киеве.

*3 февраля 1942 года
Вечером*

Ни разу мне не было так тяжело, как сейчас. Две коптилки выматывают душу. Хочется света, как хлеба, как иногда воздуха. А тут еще я снова опрокинула — на этот раз суп, вынимая его из печки. Пришлось возиться со скользким холодным полом (хорошо, что он каменный). Так смутно на душе, что даже почти не могу писать. Хотя сегодня кое-что все же сделала.

Леля очень хорошо сказала, что, если бы она потрогала собаку или кошку, живое, теплое существо («зверя», как она сказала), ей было бы легче. Или хотя бы услышала лай или мяуканье. Порой тишина сводит меня с ума. Сейчас хотя бы: ни звука, ни шороха.

За стеной, в шубе, немьятая и не раздевающаяся уже, наверное, месяца три, спит Софья Васильевна, лаборантка И. Д. Она на грани безумия от страха потерять продовольственные карточки. И она действительно теряет их вот уже третий месяц подряд. Я даже не знаю, чем она живет. Ведь это голодная смерть.

Пишу, пишу... Хотя бы наши вернулись скорее из райкома!.. Ледяные черные коридоры. Я все вспоминаю мать и дочь, точно сошедших со страниц Достоевского. Мать — пенсионерка, при ней дочь Люля, шестнадцати лет: дитя в капоре и с муфточкой. Расширенные, удивленные глаза. Какая-то аферистка выследила их в хлебной очереди, подошла, познакомилась, втерлась в доверие, стала ходить на дом и наконец обещала устроить Люлю судомойкой в военный госпиталь № 21. Принесла бумажку с резолюцией начальника о зачислении на должность (все фальшивое). И госпиталь такой, неизвестно, есть ли. В начале месяца (как раз тогда, когда выдают продовольственные карточки) «благодетельница» явилась за матерью и дочкой. В восемь часов вечера, в полной темноте, повела их в наше главное здание (очевидно, сама она работает именно здесь: санитаркой

или еще кем-нибудь). Взяла у девочки обе карточки, ее и матери, за весь месяц и сорок пять рублей денег, взятые матерью у кого-то взаймы. Все это якобы для выкупа продуктов. И тут же в темноте исчезла.

Девочка слышала ее голос: «Я здесь. Здесь. Идите за мной». Совсем как в «Крысолове» Грина. И все было кончено.

Нельзя забыть эту мать и дочь. Мать раздирающим душу голосом все повторяла:

— Люля, Люля, что ты со мной сделала! Ты меня живую в гроб уложила!

А Люля, судорожно прижимая муфточку к груди, глядя в одну точку, шептала:

— Какая ночь предстоит! Какая ночь!

Очевидно, боялась, что мать затерзает ее слезами.

Мы стали тут же писать заявление в милицию. Но что значит сейчас такое заявление? И что может сделать милиция?

Так мы и не знаем, что с ними обоими случилось.

5 февраля 1942 года

Все наши уехали в Смольный. Опять началось какое-то движение в смысле эвакуации. Чего доброго, тронемся и мы. Куда? Кажется, в Иркутск.

9 февраля 1942 года

Сколько всяких дел, а, как назло, нестерпимо хочется писать. Была на совещании писателей-балтийцев.

Я получила туда приглашение через Вишневого. Совещание должно было продолжаться два дня и происходить на Васильевском острове, далеко от нас. Это была целая экспедиция с ночевкой.

Снова началось великое штопание шерстяных чулок и варежек и накапливание продуктов. На главной кухне мне взамен двух обедов и завтраков дали два яйца, почти хороших, и брусочек плавленого сыра. И. Д., со своей стороны, выдал мне четверть плитки шоколада из аварийного запаса, так что я была снаряжена богато.

Начало было назначено на десять часов утра, точно, без опоздания, как на корабле.

В этот день мы встали в шесть утра: один только путь должен был отнять не меньше двух часов. Да и ходим мы теперь медленно.

Утро было необычайно прекрасное. Чем лютей мороз, тем нежнее его краски,— это уже проверено.

Мы вышли из дому, когда солнце подымалось.

На Большом проспекте, где глубоко под снегом были погребены трамвайные пути, догорал дом. Его, видимо, гасили всю ночь. Удивительнее всего то, что была вода. Она еще текла из пожарного крана и запрудила всю улицу. Это было большое озеро, розовое от утренней зари. Белый пар реял над ним.

В черных окнах сгоревшего дома, пересеченное балками, стояло громадное алое солнце в разных фазах: то полумесяцем, то серпом, то огненным полнолунием.

Заглядевшись на солнце, я провалилась по колено в густую кашу из воды, снега и льда. Я очутилась как бы в ледяном сапоге, стиснувшем мне ногу. Так и шла всю дорогу. И только на самом совещании пластинки льда стали отваливаться от войлока. В конце первого дня, после доклада и выступления, меня попросили почитать. Я прочла «Свет и тепло», вторую главу, еще не совсем законченную.

Мы с Кетлинской, как женщины и гости, ночевали комфортабельно: за занавесками, на койках, в той же комнате, где заседали. Она была сизая от папиросного и трубочного дыма, но зато в ней было тепло от человеческого дыхания и от маленькой, но очень ревностной печурки.

Под утро, проснувшись от резкого похолодания, я поняла, что печка погасла. Но тут же услышала сочный треск, как будто взрезали арбуз. Оказывается, Зонин разрубил топором стул, на котором заседал днем. И вижу — бросает его в печку. Горемычные ленинградские стулья! Снова стало тепло, и я заснула.

Отдельные выступления писателей-балтийцев были интересны. Иные фразы особенно хороши по точности. Кое-что записала:

«Выходы», «вылеты» и «выползы» на передовые позиции. Последнее о пластунах».

«Поэзия точного выполнения воинского устава».

«Скоротечная обстановка».

«Корабли прошли главным образом на политико-моральном состоянии людей, так как котлы уже не работали».

«Мирная блиндажная обстановка».

«Вывел людей без потерь, за исключением самого себя».

«Подводная лодка любит глубину. У берега она не может».

«Тральщики — пахари моря».

«Подводная лодка не любит белых ночей».

Наши листовки пускались через линию фронта луком. Двое натягивали тетиву, третий пускал стрелу, начиненную листовками...

К концу второго дня отвезли меня домой на машине.

12 февраля 1942 года

Боюсь за И. Д. Очень плохо выглядит. Похудел очень и все зябнет. Ходит медленно, опираясь на палку. Хуже всего дело обстоит с руками. Суставы покраснели и вздулись. Кожа натянулась, как лайка, и блестит.

Вторая глава идет медленно, но по-прежнему хорошо. От Жанны — ничего. Я утешаю себя тем, что письмо, возможно, и есть, но оно лежит в неразобранной глыбе писем в нашем почтовом отделении. Оно есть, но к нему не добраться. Однако другие все же получают.

Вид города ужасен.

Встретила шесть или семь мертвецов на салазках. (В «Слове о полку Игореве» есть «смертные сани». А у нас салазки.) Два или три были в гробах. Два трупа (один мужской, другой женский) лежат на улице. Мы шли обратно, они продолжали лежать.

Город без птиц, хотя сегодня на Неве какие-то три птицы, не то вороны, не то галки, прыгали по льду, пили воду. Раннее, раннее предчувствие весны.

14 февраля 1942 года

Сейчас окончательно подчистила вторую главу («Свет и тепло»), разбив ее все же на две подглавки. То, что я написала, будет самым тяжелым во всей книге...

16 февраля 1942 года

Вчера пошла на эсминец выступать. До эсминца два часа ходу, это другой конец города. Я пошла потихоньку, сберегая силы. Но на середине Кировского моста, там, где подъем, я вдруг почувствовала, что вот-вот упаду. Ноги стали мягкие, не держат меня. Поняла, что мне не дойти. Еле добралась до Кетлинской. Предупредила ее, что не пойду. Она пошла без меня. А я побрела передохнуть к Озерцким.

Поела, отдохнула. Потом усадили меня в кресло у печки, сами сели вокруг: Николай Иванович, Алена и Ковров — шофер. Под звуки сильного обстрела (накануне снаряд попал в соседнее окно, чуть не убил Алену) я стала читать обе главы своей поэмы. Все были взволнованы...

И вот меня интересует вопрос: на всех ли это будет так действовать? Или только на ленинградцев, переживших блокаду?

17 февраля 1942 года

Снова (и на этот раз серьезно) разговоры об эвакуации института. Даже намечен срок — 15 марта. И город — Архангельск. А Ленинград... как расстаться с ним? Тут ведь прошло шесть лет, если считать месяц за год, как во время обороны Севастополя. Нет, тут надо считать больше.

Если поедем, возьмем с собой Лелю и Инну. Дина Осиповна умирает.

Все-таки начала писать «Тепло и свет» — продолжение «Свет и тепло». Глава у меня уже вся в голове.

18 февраля 1942 года

Вчера выступала в госпитале, где лежит Тарасенков. Ему хуже. Завтра выступаю в госпитале при институте имени Герцена. Послезавтра — на партактиве. 21-го еду с делегацией от нашего Петроградского района на фронт. Еду-таки!.. Боюсь только одного: замерзнуть.

19 февраля 1942 года

Только что получила письмо от наших, еще декабрьское. Наш Мишенька умер, не дожив до года.

20 февраля 1942 года

Только недавно вернулась из Дома партактива, где я выступала.

Интересны слова Вишневого о геройстве как о проявлении интеллекта. Героический поступок — это чисто интеллектуальный акт (так ли это?). Подумать об этом. Сравнить со словами профессора Фромгольда: «Глушцы болеют долго». Другими словами: и выздоровление — это волевой интеллектуальный процесс.

Вчерашнее письмо от наших я начала читать с жадностью. И вдруг прочла (налетела с размаху на эти строчки):

«Мы никак не можем примириться с нашим огромным горем — смертью Мишеньки. Наша жизнь в Чистополе кажется теперь совсем пустой и бессмысленной. Ведь исчезло то, что привело нас сюда. Сразу стало очень тихо в нашей крохотной комнате и кругом... Может быть, с первой навигацией поедем уже в Москву».

Я прочла это письмо до конца. Отложила. Потом внезапно вдруг быстро взяла его и снова прочла в какой-то смутной надежде: а вдруг мне все это померещилось? Нет, все правда.

21 февраля 1942 года

Завтра еду на фронт с делегацией от нашего района. Хорошо, что еду. Это поможет мне перенести боль, с которой трудно сердцу сладить.

*23 февраля. День Красной Армии
Гороховец*

Снега, снега!.. Пишу в Гороховце, в политотделе армии генерала Федюнинского. Это бревенчатый, зажиточный в прошлом домик: фотографии на стенах, душистые склянки на комодке. Но в тамбуре — седла, брезентовые мешки, винтовки, валенки, лыжи, бутылки с горючим.

Над домиком в бездонном морозном небе — слабый гул мотора и блестящая точка самолета. Мне объяснили, что это «Адольф» летает». Звук зениток здесь иной, чем у нас в Ленинграде, среди высоких домов.

Вчера (неужели только вчера?) отвел меня И. Д. на ранней утренней зорьке в наш Петроградский райком, на улице Скороходова, где был назначен сбор делегатов. Мы шли туда пустынными проходными дворами. Звезды сияли по-ночному. Особняк райкома был гулок и пуст. Горело электричество (только в райкомах оно еще сохранилось), кипел чайник.

Скоро мы, делегаты, были все в сборе. Усадили нас в грузовичок, укрытый со всех сторон фанерой. В четвертую сторону, сзади, было как бы вдвинуто звездное небо. Звезды постепенно гасли в пути, только сияющая Венера долго сопровождала нас, пока лучезарный рассвет не погасил и ее.

Уже отъезжая, мы узнали толком, куда именно мы едем. Оказалось — через Ладогу, за блокадное кольцо, за двести километров от Ленинграда. И. Д. затуманился, но бодро махнул мне рукой на прощанье.

Скамьи в грузовике были узкие, неудобные, прислониться не к чему. Удушающе пахло скверным бензином. Как раз рядом со мной помещалась громадная бутылка, с меня ростом. Там все плескалось и бучевало. И все же горючего нам не хватило.

В районе Смольного мы довольно долго стояли, поджидая делегации от других районов. Наконец все собрались.

Мы везли на фронт подарки: пять автоматов, изготовленных вручную (тока нет), с надписью на ложе:

«Лучшему истребителю немецких оккупантов», маскировочные халаты, бритвенные приборы, табак, кожаные и меховые перчатки, сумки для командного состава носовые платки, гитары и мандолины. Я думала, что эти живыми не доедут. Они были упакованы плохо, на ухабах валялись набок и плакали и стонали, как живые. Мы поддерживали их руками и спинами.

Лично Федюнинскому везли кожаную шкатулку для табака. От разных районов города подарки были разные. Но наказ был от всех один — прорвать кольцо блокады.

Поездка длилась тринадцать часов. Было очень утомительно и холодно, но не непереносимо.

Ладожское озеро пересекли за полтора часа. Лед еще крепок, но шофер сказал, что в разгаре дня, когда сильно светит солнце, пятитонки уже не пускают. Ведь, помимо солнца, лед весь дырявый от бомб. Но мы проехали спокойно. После бугристой, избитой снежной дороги гладкий озерный лед показался мне настоящим блаженством. Не трясло, не качало.

После озера, в том месте, где мы долго вертелись, вымаливая бензин, впервые увидели козу, собаку и живых кур. Из всех наших грузовиков высунулись люди, разглядывая это чудо. Хозяйка, узнав, что ленинградцы любят ее курами, побежала прятать их. Видимо, боялась, что мы их съедим глазами. Там же, за озером, впервые услышали песню. Я взглянула на своих спутников: все были потрясены.

Вообще поражает разница между нами и здешними людьми. Здешние румяны от мороза, ходят быстро, дышат глубоко, густое облако пара вырывается у них изо рта. Мы бледны, дышим слабо (еле видное облачко), ходим медленно, говорим негромко.

В Жихареве увидели грозный пожар. На путях горели подожженные гитлеровцами цистерна с тавотом, цистерна с керосином и вагоны с торфом на узкоколейке. Все — только что привезенное. Немцы летали утром, все высмотрели и на закате ударили бомбами с таким расчетом, чтобы не дать возможности подойти паровозу и оттащить состав.

Пламя — я такого никогда не видала. Багровое,

толстое, как перина, перевитое черным дымом, оно тяжело переваливалось в воздухе.

Не успели мы опомниться, как началась бомбежка. Бомбы падали совсем близко. Но страшнее бомб были пулеметы, которыми немцы прошивали каждую отдельную машину. Наших зениток было явно недостаточно.

Все полегли в снег, не исключая военных. Из нашей машины кто вышел, а кто остался: Сычев с завода, я и еще двое мужчин. Мы сидели внутри машины, под фанерой (величайшая глупость), и только вздрагивали и пригибали головы, когда воздух и осколки свистели над нами.

С какой страстной нежностью я вспомнила в эту минуту наше бомбоубежище на улице Льва Толстого! Стены, своды, милосердный камень, принимающий на себя удары. А здесь — небо и воздух. Пулеметные очереди.

Но наша глупость обернулась в каком-то смысле стратегической хитростью. Нам объяснили: наш грузовик, возможно, немцы не тронули только потому, что не могло им прийти в голову, что там люди. Думали — брошенная машина.

Самолетов было пятнадцать — двадцать. Они ходили кругами над злополучной станцией. После минутной передышки снова раздался крик:

— Начинается второй заход. Ложитесь!

Тут уж и я полезла из машины и только собралась лечь в канавку, как оттуда поднялся военный. Я поняла, что все миновало.

Из всех наших больше других постыдно испугалась самая бойкая на вид бабенка... (Сильный зенитный огонь. Очевидно, «Адольф» летает совсем близко.)

Сейчас едем в Н-скую дивизию к артиллеристам. Увозим с собой только что вышедший номер дивизионной газеты «В решающий бой».

Я довольна, что я здесь: не так ноет сердце. Жаль только, что не удалось повидать генерала Федюнинского. Вчера поздно вечером он пришел в один из домиков своего штаба, не в тот, где мы ночевали, а в другой. Повезло тем, кого там устроили на ночлег. Они все поднялись, и Федюнинский долго беседовал с ними.

Сам он пришел веселый, из бани. Сказал, что по-

мылся отлично, но что банька была холодновата. Генерал любит тепло. Как я его понимаю! (Заговорила наша артиллерия. Дом содрогается.)

Машины поданы. Мы едем.

24 февраля 1942 года
Н-ская дивизия
Утро

Ночью проснулась: где я? Потом вспомнила — в землянке. Дневальный подбрасывает в печку дровишки, — смолистый дымок щиплет глаза. Вдруг грохнуло орудие, не знаю чье. Но здесь, на переднем крае, все это кажется менее страшным, чем у нас, в Ленинграде.

Рано утром наш дневальный принес нам кашу в котелках, хлеб и по большому куску масла. Чудесная вещь! В следующий раз обязательно возьму с собой ложку.

26 февраля 1942 года
Ленинград

Лежу у себя дома в постели и все никак не могу насытиться теплом. На мне стеганое одеяло, шерстяное одеяло, плед и пальто в ногах. Я в теплом халате. В комнате 14 градусов. Чуть ли не каждый час мне дают попить горячего, а я все не согреваюсь.

Во время поездки на фронт ничего по-настоящему теплого на мне не было.

Правда, достали мне ватные штаны и куртку под пальто. Но все это уже старое, побывавшее в дезинфекциях. Вата маломощная, хилая. На голове был неизменный вязаный капор. В руках муфта, плед и белый вязаный платок, взятый у Клавдии Ивановны с клятвой беречь, как хлебную карточку.

Во всем этом я больше всего напоминала себе гоголевскую Коробочку.

Но все это еще куда ни шло. А вот то, что И. Д., опытный вояка, участник двух войн, врач, заботливый муж, не дал мне с собой ничего спиртного — это тройная ошибка. Поглядел бы он на меня, как я на обратном пути, проехав озеро, пила с шоферами спирт,

заедая его салом с сахаром. Мне кажется, что только благодаря этому я выжила.

Была одна такая минута, когда шофер (меня посадили к нему в кабину, сжалившись надо мной) посмотрел на меня внимательно и сказал:

— Ну, теперь надо вам только бога молить, чтобы у меня никакой поломки не было. Как только заглушу мотор, так вам каюк.

И правда — только радиатор и грел меня.

Ладожское озеро — громадная ледяная равнина. Снегу — как на полюсе. Все из снега: ограды, сплошные или из снежных кирпичей, полукруглые юрты для зенитчиков, фундаменты для зениток. Все это девственно чистое, белое до голубизны, бережно прикрытое синим небесным сводом. Каждый предмет иного, не белого, цвета воспринимается глазом как событие. Маковалый флажок в руке регулировщика виден за километр. Недаром здесь говорят:

— Для бойца снег — это главное. Он в него зарывается, пьет его, моется им.

Моя дальноркость, мешающая мне за письменным столом, над рукописью или над книгой, здесь очень пригодилась. Я видела все чуть ли не до самого горизонта. Вот движутся по ледовой озерной дороге цветные точки: это грузовики. Если розовые — значит, везут бараньи туши. Черные — уголь. Желтые — берестяные короба, не знаю с чем. Гладко-белые, почти не отличимые от снега, — мешки с мукой. Это хлеб наш насущный, это наша жизнь, посылаемая Ленинграду с Большой земли.

Труд ладожских шоферов — святой труд.

Достаточно взглянуть на дорогу. На эту избитую, истерзанную, ни днем ни ночью не ведающую покоя дорогу. Ее снег превращен в песок. Всюду — в ухабах, выбоинах, колеях, ямах, канавах, колдобинах, воронках — лежат мертвые машины и части машин.

А ведь эту дорогу под снарядами и бомбами ладожские шоферы каждодневно пересекают четыре раза. Ведь это для них повсюду алые надписи на щитах: «Водитель, сделал ли ты сегодня два рейса?» И водитель делает эти два рейса.

В Гороховец, в штаб армии, мы добрались поздно вечером, при яркой луне, стоящей в центре морозного мглистого круга. Судя по всему, на Луне мороз был еще свирепее, чем у нас на Земле.

Как только машины наши подъехали к штабу, их тотчас же торопливо отвели в ельник и укрыли там. Нам сказали, что мы, все время демаскированные луной, ехали по очень опасной зоне. Но было тихо, гораздо тише, чем на Невском.

Обратно мы уезжали из Гороховца в Ленинград на исходе ночи, еще при звездах. Постепенно вражеские ракеты становились все бледнее, над лесом вставал рассвет. Бледно-зеленое небо, как яблоко, зарумянилось с одного бока. И тут-то шофер и сказал мне, чтобы я молилась за мотор, не то замерзну. Главная беда была еще в том, что я потеряла теплый платок, данный мне Клавдией Ивановной.

Я потеряла его, возвращаясь на машине из штаба дивизии в штаб армии. Мы долго ехали снежными лесными дорогами. Потом надо было вылезть и ползком перебраться через снежную поляну, особо пристрелянную противником.

Высланный нам навстречу боец, бегущий рядом со мной, жарко дыша, горя нетерпением, спросил меня шепотом:

— Вы, значит, артистка из бригады? Выступать у нас, значит, будете?

И так мне в ту минуту жалко было, что я не артистка, так трудно было бежать по снегу, пригнувшись, так я была взволнована всем окружающим, что обронила платок в снег, не заметив его, белого на белом.

В самый Ленинград мы въехали со стороны Ржевки. От горячей, огненной жизни фронта мы вернулись к бездымной тишине осажденного города.

27 февраля 1942 года

Всего мы пробыли «за кольцом» три дня.

Разбившись на группы, наши делегаты посетили все роды оружия. Нашу группу направили в артилле-

рийский дивизион, в шестистах метрах от противника. Это еще не самый передний край.

На каждой из этих укрытых в лесу батарей у нас происходили краткие, очень краткие митинги. Все стояли. Выступал один из нас, затем отвечал кто-либо из артиллеристов. Снежные сосны, ели и орудия без чехлов в полной боевой готовности окружали нас. Тема выступления была одна: прорыв блокады. Освобождение Ленинграда от врага.

Один из артиллеристов сказал:

— Передайте Ленинграду привет от первого орудия. Передайте: мы делаем все, чтобы город Ленина отдохнул от своей усталости.

Другой сказал:

— Отодвинуть врага можно, но не в этом задача. Надо его уничтожить...

Ему же принадлежат выражения:

«Боец, пропитанный ненавистью» и «такая в нем выработалась месть»...

На одной из батарей в честь каждого из нас было сделано по выстрелу. Пушечный гром оглушил нас. Снег, сотрясенный с деревьев, осыпал наши плечи и головы. Через несколько минут немцы ответили, но их снаряды легли куда-то в сторону.

За эти три дня, проведенные в армии, мы узнали, что «немец флангов не переносит и окружения, даже самого маленького». И что «с резервами у него туго».

Слышали рассказ о человеке, «удравшем» на передовую. Сам он по профессии парикмахер. Ввиду его «высокой полезности» было решено держать его при штабе. Но за ним недоглядели. И теперь он «бреет фрицев из пулемета». Как парикмахер он потерян.

Рассказ о том, как одна теща, крепко недолюбливавшая зятя, говорит ему (он приехал на побывку в Ленинград): «Все я по радио слышу: фёдюнинцы, фёдюнинцы. Хоть бы одного посмотреть». А зять ей: «Смотрите на меня, мамаша,— и все». И тогда теща впервые называет его: «Сынок».

Разъяснили нам, что «переведите командира на мягкую постель и в теплую комнату — он тотчас же

схватит грипп. Командиру мороз нужен, землянка, суровость».

Рассказ о том, как бойца убило за раздачей хлеба. Снарядом разметало раздатчика на мелкие клочья, даже похоронить было нечего. Но уцелел ломоть буханки, пропитанный кровью. И тогда бойцы подобрали тот кусок и похоронили, как человека.

Рассказ о шинелях и валенках вблизи костров. Усталые бойцы, как только дорвутся до костра, тотчас же норовят сунуть в него ногу. Дежурным по костру назначают комсомольца. Сам до смерти сонный, он будит спящих, чтобы не совались в огонь. А в случае если не добудится, оттаскивает от огня чужие ноги. «А спящая нога, да если она еще десятки километров в день исходила, — представляете себе, сколько она весит!»

Наблюдение майора: «Немецкие лыжники, как правило, ходят не на лыжах. Боятся русского снега, что ли?»

Рабочий из Приморья, бывший артиллерист: «Как рванул дзот. Такое получил удовольствие!»

Шла речь о правильном, то есть о том, кто направляет ствол орудия, быстро передвигая его хвостовую часть по указанию наводчика. Командир сказал: «На войне не только сила, на войне расчет нужен. Иной здоровый парень легко подымет полпушки. А важно не просто поднять, важно не перебросить лишнего».

Начальник клуба, с которым мы шли на КП, одобрил мой невысокий рост, дающий мне возможность ходить не сгибаясь. Немецкие пули рассчитаны здесь на среднего человека. Это видно по их следам на деревьях.

Сопровождающий нас автоматчик сокрушенно заметил:

— После войны беда будет лесорубам.

— А что?

— Люди пойдут в лес пилить. А в деревьях, под пилами, осколки. Пилы поломаются.

Возвращаясь с батареи, мы увидели группу бойцов. Стоя двойным кольцом, они окружали одного, в центре, с бумагой в руке. Алые закатные лучи освещали сосредоточенные лица.

Мы спросили, что происходит.

Нам объяснили, что это военный ревтрибунал.

— За что же судят?

Нам ответили кратко и сурово:

— За трусость.

В штабе дивизии, перед входом в одну из землянок, нас предупредили:

— Идите спокойно, тут нет ступенек. Отлогий скат.

Мы вошли. В темноте, над полом, кротко засветились красновато-зеленые огоньки. Два, еще два, и в глубине снова два. Это были глаза лошадей. Одна из них заволновалась. Конюх-красноармеец огладил ее, пояснив:

— Молодая еще.

Я вспомнила бронзовых ленинградских коней, убранных с Аничкова моста подальше от снарядов и бомб. Верно, и они, стоя где-нибудь в подземном закуте, тихонько бьют копытом. И бронзовые юноши, держащие коней под уздцы, успокаивают их.

В землянке командира дивизии, где мы обедали, было так тепло, что в двух-трех местах, поближе к печке, сквозь толщу земляных стен проросли березовые ростки: стебелек и листочки. Слабенькие, бледные, но живые.

Начиная обед, прежде всех тостов мы провозгласили тост за освобождение Ленинграда. Комиссар сказал:

— Жить или не жить — так не стоит вопрос. Наша жизнь принадлежит Ленинграду.

10 марта 1942 года

Служебные дела И. Д. по-прежнему волнуют меня. Чем это только все кончится? Но самое плачевное (и тяжелое) — это письма Жанны. Я теперь получаю их часто, и они просто терзают меня.

Самые страшные — это те, которые написаны еще при жизни ребенка. Почта теперь работает неправильно: то, что послано раньше, приходит позже. При чем письма о самой смерти мальчика я до сих пор не получила. Мишеньки нет, а у меня даже карточки его не осталось. Только розовая погремушка. Но теперь я сняла ее и спрятала в ящик стола.

Звонок из Москвы. Предложение страниц «Правды» в мое распоряжение... Самое же главное — это телеграмма Поспелова о высылке ему моей поэмы. Чего только не наговорил там, по-видимому, Михайловский.

*12 марта 1942 года
Вечером*

Дни уходят неудержимо, непоправимо. Надо писать, писать и писать, не отвлекаясь ни горькими письмами Жанны, ни новым ухудшением питания (теперь очень трудно становится переносить это), ни наоборот — звонками из «Правды», надеждами на впечатление от моих глав там, в Москве. Ничто, ничто не должно мешать. Словом, как было уже однажды сказано некоей Верой Инбер: «Невесело тебе, а ты пиши... Ты счастлив от души — а ты пиши».

Письмо от Жанны, адресованное И. Д.:

«К концу дня он начал косить глазками и запрокидывать головку. Это был менингит, и первая поставила диагноз — я. Мне уже пришлось один раз в жизни сталкиваться с этой болезнью, и я тотчас узнала ее.

В эту минуту я поняла, что все кончено, и только желала одного, чтобы ребенок не слишком долго мучился.

Не буду вам описывать его последние часы — просто не могу этого сделать.

Он выдышал за несколько часов три подушки кислорода. Так и умер, вдыхая кислород, вероятно, уже без сознания.

Хоронили мы его по-крестьянски: привязали гробик к салазкам и повезли на кладбище. Вот мы и породнились с этим городом, который нас приютил».

Трудно, почти невозможно читать мне все это. Теперь нужно особенно много работать, чтобы как-то справиться с собой.

13 марта 1942 года

Вчера в Смольном окончательно решилось, что мы никуда не едем. Не знаю, радоваться ли мне или печалиться. Не судьба ли это моя снова печется обо мне?

(Это я пишу шепотом. Такие вещи нельзя вслух.) Вероятно, мне всего нужнее сидеть в Ленинграде. Писать эти ближайшие главы поэмы и собирать материал для дальнейших. Правда, осложняется вопрос с Жанной. Но все равно до навигации по Каме (а это будет не раньше мая) — ничего нельзя решить. Итак — надо думать о лете, о ленинградском лете. Сегодня Н. И. поднял вопрос о некоем маленьком домике, на пустыре, здесь же на территории больницы. Там можно было бы развести огород, важнейшая вещь этого лета.

В этом домике жили бы мы с И. Д., Николай Иванович с Аленой и, может быть, наш прелестный «сверчок на печи», она же эльф домашнего очага — Мария Игнатьевна.

Если бы все это так наладилось, да к этому прибавить хоть небольшую уверенность, что нас не убьет бомба или снаряд, да знать, что Жанна не нуждается и не очень тоскует... господи, как бы я работала тогда...

Во всяком случае, хорошо уже то, что исчезла неопределенность. Думаю, что теперь немного придет в себя и И. Д., от которого, по выражению Н. И., «остался один нос». От меня все же осталось больше. Вчера Мария Игнатьевна взвешивала меня грубо ориентировочно, очень грубо: в бурках, в шубе, во всех одежках и т. д. Я потеряла примерно шесть килограммов.

Сегодня снова мороз в 23°. Завтра окончательно сдаю книгу стихов (она теперь будет называться «Душа Ленинграда»). Завтра же заключу договор и, вероятно, скоро получу деньги. И то добре.

19 марта 1942 года

О партизанах написать.

О награждении наших летчиков британскими орденами (раньше было наоборот). Красноармейский оркестр исполняет британский гимн и «Интернационал». О том, как встречаются на одной груди советский и британский ордена.

Надпись на снегу, на берегу Карповки: «Холодно».

Песня:

Хороши уральские пельмени,
Омские оладьи хороши!
Мы везем их с воодушевлением —
Кушай их, товарищ, от души.

Много нас, и молодых и старых,
В них вложило жару-огонька,
Тут не столь уж дорог сам подарок,
Сколь забота, милый, дорога.

(Для главы: Весна-комсомолка.)

22 марта 1942 года

Вчера в три часа (ровно минута в минуту) начался артиллерийский обстрел нашей территории. Мы уже не слышали свиста, а сразу удар. К нам упало шесть шестидюймовых снарядов. Два из них повредили одноэтажное здание кухни: влетели через крышу и прошли до подвала, где был наповал убит парнишка-водопроводчик. Другому мальчику, сыну санитара, оторвало ноги.

Снаряд проломил здание анатомического театра, пробил аудиторию (какое счастье, что там никого не было!), разметал библиотечные шкафы и взметнул на воздух те самые препараты в спирту, которые я как-то ходила смотреть с И. Д., но так и не досмотрела.

Помню, я спокойно разглядывала банки с надписями: «Печень», «Почки», «Сердце». Но перед сосудом, на котором было написано: «Нос» и где в прозрачной жидкости неподвижно плавала половина юношеской головы с безупречными чертами лица, мне вдруг сделалось так не по себе и я с такой быстротой кинулась прочь по лестнице, что И. Д. еле нагнал меня внизу.

Теперь этот мертвый юноша умер вторично.

Два снаряда упало перед нашими окнами. У нас в комнате увеличилось трещины у печки. Все зашаталось. Мы с Мариэттой стояли одетые, в шубах, не зная, что лучше: выйти нам или остаться?

В результате этого обстрела (или независимо от него) на главной кухне опять поврежден водопровод. И. Д. в отчаянии.

Вообще даже его несокрушимый оптимизм дал трещину, как наша стенка.

24 марта 1942 года

Кажется мне, что я сплю и вот-вот проснусь. Был вчера звонок из «Правды»: телефонограмма от Ильичева и Пospelова. Мои главы были прочитаны на собрании правдивостов и произвели сильное впечатление. Что не все подходит для опубликования в «Правде» (я думаю!), но первую главу Пospelов хочет печатать со сноской, что автор продолжает работать над вещью. Пospelов спрашивает: согласна ли я? Согласна ли я?! Нет, положительно я сплю. Не поверю во все это, пока не увижу напечатанным.

А пока надо писать статью для ТАСС, а в 4 часа ехать в Дом Красной Армии на просмотр их программы.

27 марта 1942 года

Я волнуюсь и сомневаюсь... неужели и сейчас эта обетованная земля — «Правда» — скроется от меня. И главное, после того, как она уже (казалось) была запахнута передо мной!.. Все может быть. И даже так: именно это и может быть. Ну что же! Снова и снова я сяду за работу, не ожидая того меда успеха, который усладил бы мне сердце. Буду довольствоваться крупинками сладости. И все же — писать, писать, писать, не отвлекаясь ничем («Невесело тебе, а ты пиши»). Не буду делать ничего, кроме поэмы. Правда, сейчас, сию минуту должна сесть за статью. Вчера окончила очерк для ТАСС. Вот это как раз надо было сделать. А все остальное от лукавого. И песенка для женского ансамбля Дома Красной Армии. Для чего мне все это? А тут еще и так день заполнен (в полном смысле слова) крошечной комнаткой, где мы и спим, и едим, и готовим в печке, и принимаем многочисленных посетителей. И где урывками я работаю.

Помни, помни о волшебной «зеленой калитке». Чтобы не заполнять ее мелкими дрызгами, пустыми разговорами.

Ох, трудно все-таки!

Через несколько деньков перейдем в большую трехоконную комнату, окнами на восток. Я жду не дождусь этого. Там можно будет ходить, не натываясь на мебель и не дыша друг на друга.

За последнее время наша крошечная комната, такая славная зимой, стала мне ненавистна. (Кажется, зенитки. И гул самолетов. Очевидно, разведчик летает. Неужели опять могут начаться налеты?)

Сегодня воскресенье по очистке улиц. И. Д. тоже там. Я попеременно то глажу, то пишу. Мариэтта колдует у печки: готовит праздничный обед. Мы чудесно разбогатели — получили посылки от Союза писателей из Москвы. Увидав все, что нам прислали, я растерялась. Схватила в обе руки по банке сгущенного молока, держу их, не выпускаю.

28 марта 1942 года

Обстрел улицы Рентгена, совсем близко от нас. Там, перед зданием Рентгеновского института, стоит памятник: бронзовая голова Рентгена на высокой стопке гранитных книг, смещенных таким образом, словно нетерпеливая рука только что искала среди них нужный том.

И. Д. рассказал мне, что сорок семь лет тому назад (тоже в марте) в книжном магазине, на главной улице города Вюрцбурга, была выставлена фотография: кисть руки, где отчетливо были видны кости пальцев и на одном из них — кольцо. А мышцы, нервы, сосуды и кожа исчезли, как будто их никогда не было. Это был один из первых «рентгеновских» снимков.

В тот вечер все студенческие корпорации города, с факелами и знаменами, прошли мимо двухэтажного здания Физического института, где читал лекции профессор Рентген. И не только студенты: чиновники, военные, купцы — весь Вюрцбург чувствовал своего великого соотечественника.

А в марте 1942 года немецкий снаряд разорвался на улице Рентгена и повредил памятник. Мы с Мариэттой ходили смотреть: взрывной волной выбита часть гранитных книг. Сама голова осталась на месте, только легла набок. Так она и лежит теперь набок, скорбно припав щекой к граниту.

Падая и тая, мартовский снежок покрывает высокий лоб холодным потом. По щеке катятся слезы и прячутся в густой бороде.

Написала для заграницы очерк: «Улица Рентгена».

29 марта 1942 года
Воскресенье

В шесть часов утра мы были разбужены громадной силы взрывами: их с большими промежутками было четыре. Задрожали земля и воздух. Неужели снаряды такой мощи?

Вечер

Сейчас мы узнали, что этим утром на железнодорожных путях у Ржевки рвались составы со снарядами, подожженные немецкими бомбами.

Я работаю сейчас мало, и это мучает меня. Поэма задвинута куда-то в угол. Я все рассыпала, растеряла. Многое утеряно безвозвратно.

А тут еще печка мучает. Холодно и дымно, а найдем ли мы печника и трубочиста — неизвестно. Был как будто один старый печник, но и тот на днях умер.

Сейчас, в эти дни, решается весенняя участь города: быть эпидемии или не быть? Вспыхнет какая-нибудь инфекция или нет? Дух замирает при мысли, что на Ленинград могут обрушиться тифы, дизентерии. У кого хватит сил перенести все это? И кто будет ухаживать за больными?

Весь город, все, кто только в силах держать лопату или лом, чистят улицы. А это все равно, что привести в порядок загрязненный Северный полюс: глыбы льда, торосы мусора, сталактиты нечистот. Есть

много добровольцев. В «Ленинградской правде» помещена короткая беседа с одиннадцатилетним Фимой Озеркиным с Лиговской улицы. Фима сообщил:

«Двор убирать нас никто не звал. Мы сами взялись, по своей воле. Вы заметили, что у нас во дворе большой снежной кучи нет? Это мы с Толей убрали. Завтра мы опять чистить будем».

Волнует, когда на набережной или на мосту вдруг видишь кусок уже чистого тротуара. Он кажется прекрасным, как поляна, покрытая цветами.

И желтая отечная женщина в закопченной шубе (видно, всю зиму не снимала), опершись на лом, глядит на очищенный ею клочок асфальта. А потом — снова за работу.

В городе новая деталь: все несут еловые и пихтовые ветви. Это витамины. Мы пьем настой из хвойных игл.

На всех дубах, особенно молодых дубках, кора срезана на высоте человеческого роста. Кору кипятят и пьют от желудочных расстройств: в дубовой коре много танина. Это вяжущее средство. Но ободранные деревья похожи на человека без кожи из анатомического атласа.

Недавно видела на улице невообразимо худую лошадь. Но раз она пережила эту зиму — возможно, что выживет.

Я очень сильно устаю. Я чего боюсь? Не бомбежек, не снарядов, не голода, а душевного изнеможенья, предельной усталости, когда начинаешь ненавидеть вещи, звуки, предметы. Недаром говорят, что побеждает тот, у кого крепче нервы. Я боюсь именно этого — ослабевших нервов, деградации, ущерба. Главное — я не могу писать.

Иду спать. А там — будь что будет!

30 марта 1942 года

Ночь прошла спокойно. Я спала как убитая, только сны мучили. Среди них — ребенок с одним огромным синим глазом во весь лоб. А мать говорит: «Да, вот видите, у него два глаза слились в один».

Так претворился в моем сне образ синеглазой девочки Кирочки. Я о ней много слышала вчера, видела ее прелестную мраморную головку, оторванную от торса взрывной волной. То же самое было бы с живой Кирочкой, останься она в Ленинграде, в своей детской.

В комнате у нас очень холодно. Печник посулил прийти и не пришел. Но, несмотря на все это, мне сегодня легче. Может быть потому, что за окном кончилась на время раздражающая прелесть весны. Метет.

Встала рано и рано кончила возню с едой. Наверно, раннее вставанье и есть то первичное усилие, о котором я уже писала и которым нужно начать день.

Уместно задуматься о природе «геройства», о двух «разновидностях его». (Из моей статьи для ТАСС.) Надо не забывать особенно о втором его виде: капиллярные геройства — сумма мельчайших отнюдь не героичных дел. Нужно помнить об этом, и тогда будет легче.

Вообще, я давно заметила, что если правильно и точно определить и сформулировать источник душевного страдания или недомогания, становится сразу легче.

Тогда сознание воспринимает мучение не как непонятную минутность, а как длительную реальность, с которой надо как-то сжиться. Сознание как бы говорит этому мучению: «Ну, давай жить вместе. Не будем друг другу мешать». А само потихоньку начинает его обрабатывать, нейтрализовать, растворять его ядовитые кристаллики. Так оно и идет.

31 марта 1942 года

День — нельзя хуже. Один из самых мучительных моих ленинградских дней. Вчера перебрались в новую комнату. Она встретила меня ужасно: бессонницей. Да какой!..

Чувство неуверенности и тревоги — места себе не нахожу. Что будет с нами? Что с Жанной — не знаю. Что будет с книжкой моей после сегодняшнего телефон-

ного разговора — не знаю. Что с «Правдой» — не знаю. И наконец самое главное — что с поэмой — не знаю. Мне кажется, что она — сокровище в лесу, как в легенде, куда каждый день все гуще зарастают дороги и тропы. Только я срублю кустарник или расчищу дорожку — на другой день все еще гуще, еще диче.

Я очень устала, перетаскивая вещи. Кровати перенести не успели, я легла на диван. И мысль о том, что на этом диване спала несчастная, ныне покойная Софья Васильевна, — эта мысль не давала мне спать. В час ночи начался обстрел (далекий) прапнелью. Мне же показалось, что это бомбы и что за отсутствием радио мы не слышали тревоги.

И в этой чужой комнате, под эти далекие разрывы напал на меня страх, какого я в своей жизни еще не испытывала. Ни в Жихареве, ни на Ситном, нигде я не знала ничего похожего.

Меня стала бить дрожь, я замерзала. А И. Д., как назло, разоспался. Я его бужу, а он:

— Пустяки, пустяки, дорогая...

Я махнула на него рукой и пошла вниз, в штаб. Но там почему-то было наглухо заперто. Ночь была бела, как день, от луны и снега. Я вернулась. Пушистый, весенний снег. Деревья стояли как в яблоневом цветенье.

В сотый раз села читать французский роман. И так странно, как сон во сне, было это чтение: эта жизнь, эти любви где-то на Ривьере, в Ницце.

Приходил Николай Иванович и сообщил: первые два курса института эвакуируются из Ленинграда. Срок — до 10 апреля, пока стоит Ладога. III и IV курсы остаются, а с ними — И. Д. А с ним — я.

Девять часов вечера

В комнате наметился порядок и даже относительный уют. Но у меня такое чувство неуверенности и тревоги, что я места себе не нахожу. Что будет с нами, что будет со мной — не знаю.

Я ничего не знаю. Мне тягостно и очень страшно. Пишу об этом без ложного стыда: мне страшно. Ма-

риэтта рассказывала, что сегодня немцы были очень близко к городу. Очевидно, я это чувствовала, хотя и не знала. Они подвезли железнодорожную мощную батарею и били по городу.

1 апреля 1942 года

Сажусь писать для «Ленинградской правды» стихи о партизанском колхозном обозе, пробившемся к нам сквозь все патрульные отряды и заставы гитлеровцев. Прибыло более двухсот подвод с продовольствием. Все это потаенно шло сквозь линию фронта. Мне вчера позвонили в полночь из редакции. Но увидеть делегацию так и не удалось: все из-за машины, конечно. Нет бензина.

2 апреля 1942 года

Мне бесконечно приятно, что у меня здесь свой письменный стол, именно письменный, а не туалетный, обеденный и хозяйственный, как было там.

Комната понемногу обживаетея. Вчера я провела в ней хороший рабочий день. И, видимо, «рабочее тепло» прогрело эти стены.

За окном — наивный, мартовский, нет, уже апрельский снежок. Отличный денек для работы. Сирены молчат.

Уверяют, что через два-три дня в нашем здании будет свет от «движка». Даже не веришь такому счастью!..

4 апреля 1942 года

Ожесточенный налет. Первый в этом году. Снова, как полгода назад, дрожали здания: грохот и гул.

Профессора П., который нес мне в подарок обещанный маленький глобус, чуть не убило.

Мы стояли в первом этаже, в коридоре: там все же безопаснее.

Шестого апреля половина института уезжает в Пятигорск. Сначала был план поехать мне с ними до Москвы, устроить дела (их там накопилось достаточно) и вернуться самолетом. Но выяснилось, что институтский эшелон идет вовсе не через Москву.

Теперь намечается для меня возможность полететь туда с Груздевым.

Вчера выступала во втором полку связи. И хотя слушали меня «повзводно», но хорошо.

Выступление очень утомило меня: лоб сделался влажный, стали неметь руки. Все труднее становится мне читать. Кроме того, зал на редкость неудобный: длинный, узкий, как пожарный рукав. Приходилось сильно напрягать голос, чтобы слышали задние ряды. Но тишина была полная.

После выступления нас повели в полковую столовую. Обрадовалась я очень.

Нам подали глубокие, полные до краев дымящиеся тарелки щей, где было мясо. Но едва мы погрузили в них ложки, прибежали сказать, что уходит легковая машина на нашу Петроградскую сторону и что если сейчас не поедем, то придется потом идти пешком.

Что тут было делать? Давно я не видела таких щей и в таком количестве, но идти пешком... Надо было ехать. На обратном пути на темном перекрестке чуть не налетел на нас грузовик... На наших затемненных улицах это бывает довольно часто.

Вчера же встреча в Союзе с приехавшим из Москвы Глебовым. Выступления Зонина, Тарасенкова, Мирошниченко, где упоминалось мое имя с архилестными эпитетами. Все это сладко и горько волнует меня. Горьки, ох, как горьки сомнения, что не напишу, не одолею, сорвусь со скандалом (а теперь сорваться нельзя). Чересчур много векселей я выдала, слишком многие мне поверили. И главное — я сама.

Вчера в «Ленправде» целиком помещена моя аннотация, данная ТАСС. Интересно, как будет с московскими газетами. Это не то, что «Путевой дневник», который я писала в глубокой тени, в забвении.

Помню январский вечер, когда я начала писать его, больная... Сейчас не то.

Но... в данную минуту надо это все выбросить из головы и засесть за статью для «Агитации и пропаганды».

5 апреля 1942 года

Настроение у меня хорошее. Как-то так вышло, что я перед сном дописала одну строфу «Пулковского меридиана». Теперь рассказ разведчика у меня в голове. Но, к сожалению, там же, в голове, и статья. Надо ее кончить за сегодняшний день обязательно. Это мне окончательная наука: ничего, ничего, кроме «П. м.», не писать. Разве только иногда стихи для «Ленправды». Но только не статьи.

7 апреля 1942 года

Очень тяжелый день.

Началось с утра. Пришел Николай Иванович и сообщил, что в студенческом общежитии — случай сыпного тифа. И. Д., несчастный, так и сел. Он все время боялся чего-нибудь в этом роде.

Но до этого пришла Евфросинья Ивановна и сказала, что у нее умер муж. Дала ей немного хлеба (задаток для гроба), и она ушла, не затопив печки. Мне помог это сделать институтский обойщик. Он работал у нас весь день: вешал портьеру, перегораживающую комнату.

Кормила обойщика.

Девушка Вера, которая носила нам судки из кухни, эвакуируется завтра с институтом. Вместо нее пришла другая девушка, Нюра, такая голодная, что сразу дала ей каши.

Пришла Юлия Марковна со сломанной рукой. Пошла ее чаем.

Юлия Марковна, профессор, биохимик, упала недавно, поскользнувшись на улице. Руку она, правда, сломала, но после этого сразу даже как-то повеселела: ей не хотелось уезжать с институтом. А теперь у нее все основания не ехать. Пришел голодный И. Д. — кормила обедом. Пришла (на прощанье) девушка Вера, тоже голодная. Дала ей каши. В перспективе беденькая, усталая и голодная Мариэтта. И снова голодный И. Д.

Но все же я успела поработать. Наша теперешняя комната — бывшее учебное помещение, где висят еще

диаграммы И. Д.: работа сельского врача, детская смертность в первые месяцы жизни и т. д. Комната велика. Мы занимаем только ту часть ее, где печка. Во второй половине скопище классных досок, письменных столов, чернильниц, указок. Но есть в нашем коридоре и ныне действующие учебные помещения. Сейчас там уже потеплело, но занятия происходили в них и зимой, когда и профессора и студенты (все в шубах) жались к печке.

Однажды, в январские сумерки, проходя по коридору, я увидела, как девочка-студентка, оставшись одна, всем своим существом припала к еле теплой круглой печке. Охватила ее двумя руками, прижалась к ней лбом. Посидела так с закрытыми глазами и снова пересела вплотную к студенческому окну, куда проникал закатный свет. И снова за книгу. В том же январе, только не в сумерки, а поздно вечером, мне срочно понадобилось в Большой советской энциклопедии слово «Ленинград». Я спустилась вниз, в кабинет, где в шкафу был заперт словарь.

Вхожу, а в кабинете — дежурные по зданию: студент и студентка. Он примостился на стульях у печки. Она (я даже не сразу поняла, что это девушка), опухшая, в мужской шубе, в шапке, близорукая, в выпуклых очках, при свете коптилки готовится к зачету по гистологии.

Маризтта мне потом сказала, что эта студентка в тот день похоронила одновременно отца и мать. Отец умер несколькими днями раньше, но мать сказала: «Погоди хоронить, похоронишь нас вместе».

С больными трудно. Необходима вода, а ее до сих пор нет. Сколько времени бьются и не могут найти повреждения. То ли замерзло где-то (хотя все тает), то ли перебито снарядам.

8 апреля 1942 года

Сумбурный, полный волнения день. Всю ночь институт готовится к эвакуации. Мы собирались ехать на вокзал, но в последнюю минуту все сорвалось из-за машины. Мы не простились ни с Николаем Ивановичем,

ни с Аленой, ни с кем. Письма мои так и остались не-отправленными.

И. Д. страшен. Еле ходит, хромает. Но самое страшное — лицо. Я просто не запомню таких красок на человеческом лице: оно у него пепельно-желтое, с ярко-красными скулами.

Мне его жалко до слез.

9 апреля 1942 года

Тихая ночь, и тихое (во всех отношениях) начало дня.

Институт похож на улей, из которого вылетела половина пчел. В учебных комнатах нашей кафедры никого. Евфросинья хоронит мужа. И. Д., опираясь на палку и с трудом переступая больной ногой, ушел вниз. Тишина.

За окном простенький, сероватый денек. Все залито водой, все тает. И даже какая-то пичуга прыгает на ветке и вертит забубенной головешкой. Чирикает даже: это слышно в тишине, сквозь стекло. Снег лежит при последнем издыхании.

И. Д. хорошо сказал, что этой весной из живых Ленинграда одни только растения будут сыты по горло: столько воды.

Вчера, в сумерки, пошли с И. Д. в студенческое общежитие, где был сыпняк. И. Д. меня туда не пустил, пошел один. А я прогуливалась, поджидая его.

Я перешла Гренадерский мост и вернулась обратно. Вид города душераздирающ. Пустота улиц, развалины, зияющие дворы, полуразрушенные стены, повисшие в пустоте, пустыри, залитые водой. Одинокие фигуры. Неприбранная, текучая весна.

Вчера последним перед вскрытием Ладоги эшелом уехали Леля с Инной. Дина Осиповна умерла.

На вокзале, говорит Мариэтта, было такое ощущение, будто весь город спасается бегством перед вскрытием Ладоги.

Как отвлеченно звучали слова «ладожский лед», когда в прошлом году, в начале мая, мы выходили из светлого, теплого, полного музыки театра, где реяла Уланова-Джульетта и ликовала Балабина в «Дон-Кихоте»!

Выходя из театра, хмельные от музыки, согретые теплой прелестью движений, мы зябко поджидали трамвай, кутались, становились спиной к ветру. Вокруг все повторяли: «Ладожский лед идет. Оттого и холодно». И в воображении вставал какой-то нарядный, балетный лед, весь в серебре и блестках. Он плыл, качаясь, уносясь в синие волны. А теперь...

Днем

Я, кажется, послезавтра утром лечу в Москву. Дел, дел!

Ведь теперь я — ленинградский писатель. И так хочется писать поэму.

10 апреля 1942 года

Проснулась ночью от такой тревоги и тоски, что чуть не остановилось сердце.

И. Д. еле ходит, выглядит страшно, просто на глазах меняется. И быстро. Дела в больнице все хуже. Теперь этот случай сыпняка. Счастье еще, что он единичный. Может быть, этим все и кончится.

Но есть и хорошие известия: наши отлично погрузились на ладожские грузовики. Теперь они уже давно на том берегу. И можно быть уверенным, что им не придется вернуться назад, как они этого боялись...

(Слышу, что у меня как будто разгорается печка. Евфросинья Ивановна все еще хоронит мужа.)

В больнице по-прежнему нет воды. Не имея плана водопроводной сети (его не могут найти даже в Горводе), наши хозяйственники тычутся во все точки и краны, отогревая их последними драгоценными каплями солярового масла. А потом выясняется, что это все не то, что воды нет, что отогрели никчемную точку. Да и как может быть иначе? Это все равно что колоть куда попало человеческое тело, надеясь попасть в нужную вену.

А на столе моем, желанный и недоступный, стоит подаренный мне небольшой школьный глобус, густо покрытый плесенью в районе Антарктики (он простоял всю зиму в нетопленной разбомбленной квартире).

Я навела «свой» меридиан малиновым карандашиком. Но когда попаду на него снова, увы, не знаю. Вчера написала только две строфы.

Мысль, что я завтра смогу очутиться в Москве, кажется мне самой фантастической из фантастик. Но вернее всего, что это будет еще не завтра.

13 апреля 1942 года

В центре внимания сейчас «движок». Если бы он начал работать, то была бы разморожена прачечная и начал бы функционировать рентгеновский кабинет, без которого больница — не больница. Если бы он начал работать... Но он не работает.

В пуске «движка» принимает участие не только вся наша техническая часть, но и секретарь райкома Жигальский, инженер-электрик по образованию.

Он бывает здесь ежедневно. Ежедневно я вижу из окна, как группа людей озабоченно направляется по двору туда, где между котельной и туберкулезным отделением, в сарае, помещается несговорчивое динамо.

Идущие жестикулируют: я различаю мелкие, сверлящие движения пальцев, нажимы на рычаги, черчение в воздухе. Кто-то сокрушенно разводит руками: ясно, что не хватает какой-то детали. Идет обсуждение питания «движка», его теплового режима и т. д. Жигальский раздобывает нужные части. Он привлек к этому районные заводы. Сам следит за исполнением, бьется над «движком».

15 апреля 1942 года

Я еще здесь. Из-за начавшейся распутицы — «летная дорожка» — самолеты не летают. Тихо в городе. И на фронтах тихо.

Эвакуация у нас закончилась. По Ладоге ездить уже опасно. Теперь мы по-настоящему отрезаны от Большой земли: лед уже не держит, воды еще нет.

Я сплю плохо: тишина убивает меня. Даже обстрелы почти прекратились, по крайней мере нашего района. Даже наши самолеты не летают: очевидно, тоже из-за «дорожки».

На закате гуляли с Мариэттой по Гренадерскому мосту, мимо злополучного общежития (бывшая казарма), где когда-то жил Блок. Что бы он написал, увидев эту призрачную пустоту неба, закат над еще голым Ботаническим садом, где лужи розовые и голубые от неба и облаков. Потусторонние лица на улицах... Вот когда начнутся белые ночи, будет настоящий Апокалипсис. Мост уже чист. Груды мусора, сброшенные вниз, лежат на льду Невки. Как только она вскрыется, вода унесет мусор в море.

Вчера впервые читала мистерии Байрона в переводе Бунина. И хотя формально все это, вероятно, совсем не то, а по существу, я уверена, очень точно. И это грандиозно.

18 апреля 1942 года

Уф! Кончила рассказ разведчика. Теперь надо дальше к истребителям и артиллеристам. И все — разных национальностей. Русский сокол уже есть. Теперь будет белорус, украинец, армянин и еврей. Хочу, чтоб это был мой земляк — одессит. Но как он будет себя чувствовать в этой сугубо «русской» главе — это вопрос. Очень хочется писать дальше. Но надо начать (и кончить) статью о Тихонове.

Кончился срок, назначенный для проверки случая сыпного тифа. Он не повторился. Заболевшая (студентка) выздоровела. И. Д. предполагает (он уже и раньше так думал), что это был не сыпняк.

Сегодня мы с Мариэттой пошли в общежитие проверить, как там обстоит дело с чистотой.

В коридорах, где некогда лежали дорожки и стояла плетеная мебель, теперь пусто и смертельно холодно. В одном месте, как бы издеваясь над людьми, еще висит термометр.

Мы заглянули наугад в одну из комнат, где как раз в эту минуту приступили к рубке круглого стола красного дерева. Его ножка уже пылала в печурке. Один из студентов был занят топкой. Второй, сидя перед огнем на круглой доске стола, положенной на пол, читал вслух. Студенты готовились к выпускным экзаменам. Они были в шубах и шапках. Холодное, но уже

яркое солнце освещало их бледные, худые, давно не мытые лица. А экзамены сдают все же прекрасно. Вот что удивительно.

Мы стали разыскивать коменданта общежития, тоже студента-выпускника, и нашли его в сравнительно теплой, густо заставленной комнатенке. Сидя у печки, уже не в шубе, а в одном ватнике, комендант, медленно двигая отмороженными пальцами, чинил часы. На столе были разложены колесики, стрелки, крошечные отвертки.

У коменданта была цинга. Он, видимо, совсем изнемог от коридоров, от рубки мебели, с которой не в силах был бороться. И вот он всем своим существом ушел в эту тихую возню с колесиками у печки, под весенним солнышком.

Все же мы добились от него ответов на все вопросы. Он даже сообщил нам, что студенты задумали наладить стирку белья.

Возвращаясь домой, мы спустились на лед нашей Карповки и пошли между ее берегов, где лежат горы снега и мусора. Хорошо, что мы такие легкие. Под нами, под льдом, уже ощущалась живая вода.

Все блестело, сияло. Ногам сквозь подошвы было холодно от льда, а глазам жарко от света. Мы были словно погружены в глубокую ванну из льда и солнца.

19 апреля 1942 года

Были в Ботаническом саду.

Тихомиров и Курнаков провели меня по всему саду и показали мертвые пальмы. Мне было невыразимо горько, что я не видела их при жизни. А ведь собиралась каждое воскресенье!..

В одном из зданий Ботанического института на каменной стене — черная черта: уровень воды в страшный день наводнения в 1824 году (год «Медного всадника»). «Уровень беды» 1941 года много-много выше. Он проходит над нашими головами, на уровне погибших пальмовых крон.

Тихомиров рассказал нам также о редкой коллекции тюльпанных луковиц, выкопанных голодными людьми для супа. Одного такого человека поймали на месте

преступления: он уносил эти луковицы в сумке противогаса. Но было ли это «преступлением» в такую зиму, как эта наша зима?

Хорош рассказ Тихомирова о «танковой атаке», отбитой в сентябре 1941 года, может быть в тот самый день, когда нас затерло беспорядочной колонной грузовиков на углу Песочной улицы и Аптекарского проспекта.

Это был один из дней штурма Ленинграда, мы только теперь узнали об этом. Одной нашей танковой группе, преследуемой с воздуха, нужно было укрытие.

Танки были уже у ворот Ботанического сада. Теснясь, они входили в него. Еще немного — и началась бы гибель драгоценных деревьев, таких, например, как знаменитый черный осокорь, посаженный еще Петром.

Навстречу опасности кинулся Тихомиров. Начальник колонны не желал ничего слушать: танки шли вперед. Тихомиров крикнул:

— Двести лет растили этот сад, а вы погубите его в несколько минут!

Эта фраза отрезвила командира. Видимо, представив себе эти двести долгих лет, он задержался на мгновение. А задержаться во время наступления — значит отступить.

Обернувшись к своим танкистам, командир командовал:

— Давайте назад. Позиция не подходит.

И танки отошли: стали вдоль Невки, под свисающими поверх ограды ветвями деревьев.

Мы осмотрели главное здание, отведенное под гербарий, один из самых больших в мире: в нем около пяти миллионов растений. По стенам висят «розы ветров», изотермы и изобары — туманные вихри, несущиеся вокруг земного шара.

Я подошла к одному из шкафов, наугад взяла первую попавшуюся папку, и (поразительное дело!) там оказалось растение моей юности — полынь черноморского побережья, именно этот вид полыни. А их много, несколько десятков. Редкая удача — среди пяти миллионов существ сразу натолкнуться на друга детства.

Моя полынь носила звучное латинское название «*artemisia inodorata*» — «непахнущая». Это неверно: она пахнет, но не так сильно, как другие виды полыни. Я долго стояла над ней. Вернулась домой усталая, но очень довольная, с первым томом истории Ботанического института.

Кончила свою часть статьи о Тихонове, окончательно отделала последнюю строфу о разведчике и написала песню шоферов для конца третьей главы. А еще нет трех часов дня.

Если бы работать так каждый день. Что бы это было! Какие вещи я бы написала. И сколько! Но это нельзя, не дозволено. «Зеленая дверь» открывается не так щедро.

22 апреля 1942 года
Москва

Я — в Москве. Прилетела вчера.

23 апреля 1942 года

Во Франции полностью уничтожен неукрепленный город Руан с его шедеврами средневековой архитектуры, сожжена Турская библиотека с двумя с половиной миллионами редчайших изданий. Вторично разрушен Реймский собор, только что заново отстроенный французами. Для фашистов, видимо, музеи и библиотеки не менее опасны, чем пушки и танки.

В Париже вышел «Список запрещенных книг». Он может служить кратким курсом современной литературы: в него занесены произведения крупнейших писателей Германии и Франции...

Телеграмма от И. Д.: «Пущены в ход прачечная и рентген». Наконец-то!

25 апреля 1942 года

Устала бесконечно. С нежностью вспоминаю свое глубокое кожаное кресло у окна больничного сада в Ленинграде. Очень беспокоюсь за И. Д.

Получила телеграмму от Жанны, в которой она, бедное дитя, мечтает о моем приезде в Чистополь или о своем ко мне.

Мои литературные дела хороши. Но 24-го в Ленинграде был большой налет, и это мучает меня.

Вчера была у Эренбургов. Припомнился мне далекий-далекий молодой Париж. Номер гостиницы, машинка, уют «неоседлости». Легко и очень трудомно.

Эренбург работает как никто. Пишет по три статьи в день, а вечером выпивает рюмку вина из красивого графина, выкуривает сигару с длинным голубым пеплом. Затем уезжает в «Красную звезду», пишет там и слушает по радио, как его ругает Геббельс за иудейское происхождение.

Возвращается в два часа ночи. А утром все начинается сначала.

Я тоже живу теперь в гостинице: моя квартира не пригодна для жизни. Воды нет, холодно, крыша то протекает, то промерзает. А главное — нет лифта. И вот я живу в гостинице, как чужестранка.

Эренбург подарил мне значок «Свободной Франции» в виде марки: на голубом поле черная латинская буква «V» («Виктуар» — победа) и на правом острие этой буквы — алый гребешок галльского петуха.

Москва встретила меня действительно с распростертыми объятиями...

То, что говорили мне Пospelов и Ильичев о поэме (даже вторая глава не испугала их), то, как Ярославский обнял меня за плечи, как они кормили меня чудесным ужином (а я, как на грех, была сыта. Теперь бы мне этот ужин!) — все это даже не снилось мне. Они ждут моего первомайского стихотворения, они говорят о поэме (но ведь нужно кончить ее! А как далеко еще до конца!). П. уговаривает меня остаться на месяц-полтора. Но Москва тяготит меня. Она не фронт и не тыл. Ленинград влечет меня неотразимо. («Есть упоение в бою!» — так, что ли?)

27 апреля 1942 года

Сегодня читаю в Союзе... От всего этого я совершенно перестала спать по ночам. А тут еще, как назло, я забыла взять снотворное. И самое главное — не взяла машинку. А ведь как явственно внутренний голос твер-

дил мне: «Бери, бери, бери!» Это и понятно: писатель не может разлучаться с машинкой ни при каких обстоятельствах.

2 мая 1942 года

Выступление в Доме литераторов прошло триумфально (жаль только, что поэтов было мало).

Вторая глава и здесь действует безотказно. И даже сейчас, после нескольких дней, все ко мне подходят и благодарят за нее. Выступление по радио (20 минут) прошло прекрасно. И было оно на весь Союз.

3 мая 1942 года

Стихотворение в «Правде» напечатано. Как важна эта, взятая долголетним терпением, высота.

7 мая 1942 года

Один из них рассказывал: «В лесу
И сам иной раз станешь, как ледяшка.
Сидишь — не дышишь. Как-то я лису
И ту перехитрил. Она, бедняжка
(Молоденькая, видно), роя снег,
На лыжу напоролась. Ну, и смех».

[Самолет, охраняющий операцию — хирургическую — в медсанбате.]

8 мая 1942 года

Сидишь — не дышишь. Как-то я лису
И ту едва не свел с ума, бедняжку.
Сидишь, а в голове горит одно:
Задание, которое дано.

15 мая 1942 года

Мне трудно писать о Москве, так она отлична от Ленинграда. Да и какой другой город похож сейчас на него? Только здесь я почувствовала, как он мне дорог, близок. Хочу жить в нем, делить с ним его судьбу, отдать ему все силы.

22 мая 1942 года
Ленинград

На обратном пути, возвращаясь из Москвы, мы приземлились в Хвойной. К нам тотчас же подошла машина с бензином, и наш «дуглас» долго тянул его брезентовым хоботом.

Брусничный закат разливался над соснами. И так крепко и сухо пахло весенним лесом, что нельзя было вдоволь насладиться этим хрустальным питьем.

Ладожское озеро мы пересекли за семь минут. Оно уже очистилось от льда, и только линии пены сохранили еще кое-где очертания льдин.

Покружив над Смольным аэродромом, мы сели. И тишина, особая, непередаваемая тишина осажденного города сразу перенесла нас из атмосферы московской в ленинградскую.

Легковой машины ни одной не оказалось. Нас прихватил с собой грузовик, увозивший в город почту, доставленную нашим самолетом.

При выезде на шоссе нас тщательно проверил патруль. Мы миновали разрушенную взрывом Ржевку. Вереница улиц прошла перед нами. Было очень свежо, порой моросил дождь, стояла белая ночь. Женщина-шофер просила хотя бы кусочек сахара для ребенка. Но у нас под рукой, к сожалению, был только табак. И немного хлеба.

И. Д. отдыхал, когда я постучалась в коридорную дверь. Он тотчас же с торжеством разложил сохраненные для меня в неприкосновенности подарки, присланные Ново-Зеландским Красным Крестом.

Центральное место занимала большая жестяная банка с желтыми, пурпурными, лиловыми, гладкими и полосатыми леденцами, такими яркими и чистыми на вид, что жалко было их есть. Но в них не оказалось ничего, кроме сахара и химии. Зато прекрасен был мед.

Теперь нужно много работать, чтобы наверстать время, упущенное в Москве. Там было много встреч, впечатлений. День проходил — я не успевала опом-

ниться. Трудно было привыкнуть к тому, что можно, не боясь, ходить по улицам. О Ленинграде слушали с жадностью, не уставали расспрашивать о нем.

23 мая 1942 года

Молодая работница пишет своей подруге на фронт о весенней уборке Ленинграда: «И к 1 мая засверкал наш город, словно драгоценный камень». И дальше: «Я собрала девушек и говорю: «Ну, девушки, работать нам по норме в таких условиях нельзя. Надо работать сверх нормы».

Наши больничные владения тоже очищены, приведены в порядок. Они стали неузнаваемы. Говорят, даже лучше, чем до войны. Застарелые свалки на пустырях уступили место огородным грядкам.

В одноэтажном здании студенческой столовой теперь открыта «столовая усиленного питания». В каждом районе их несколько.

Бледные, истощенные, слабые люди (дистрофия II степени) медленно бредут сюда, щурясь от весеннего света, как бы сами дивясь тому, что остались жить. Порой они садятся отдохнуть, подставив под солнечные лучи обнаженную до колена ногу или засучив по локоть рукав: солнце лечит цинготные язвочки.

Но среди ленинградцев есть и такие, которые уже не ходят, не в состоянии двигаться (дистрофия III степени). Они неподвижно лежат в своих промерзших за зиму квартирах, куда не в силах пробиться весна.

В такие квартиры идут молодые врачи, студенты медвузов, медсестры. Тяжелоистощенных вывозят в больницы: теперь у нас для них около двух тысяч коек в различных корпусах, между прочим и в бывшем акушерском отделении: детей рождается так мало, их почти вовсе нет.

24 мая 1942 года

Снова была в гостях у сестер Менделевых в Педиатрическом институте, на Выборгской стороне. Много-страдальная сторона!..

И правда, институт стоит в очень опасном месте: слева завод, где делают мины, справа казармы. А совсем рядом — виадук Финляндской железной дороги. Все это прицельные объекты.

Педиатрический институт — это целый городок, вроде нашего Первого медицинского института. Здесь выращивают здоровых и лечат больных детей. Снабжают их ягодными соками из собственного образцового подсобного хозяйства. Дают консультации матерям, готовят детских врачей (педиатров).

Здесь имеется клиника для туберкулезных, где за короткий срок малыши так здороваются, что матери их не узнают и чуть ли не жалуется, что им подменили ребенка. Так было до войны. Но клиника работает и сейчас, хотя молочные «лимиты» крайне ограничены: на все отделения полагается в сутки двести граммов сливок. Их распределяют буквально по каплям.

Но к этому добавляется соевое молоко и молочный порошок, разведенный в воде. Как бы там ни было, но многие дети выглядят хорошо, а иные — даже прекрасно.

Аркаша Федотов зимой был так слаб и тих, что для него был готов уже «смертный листок». Казалось невозможным, чтобы ребенок выжил. Теперь это розовый, толстый мальчишка, самый громогласный из всех.

Очень хорош также и Юра Золотой (это его фамилия). Мать умерла во время родов. Отец — на фронте. Пишет благодарственные письма.

В светлых детских комнатах стулья и столы трех размеров (для трех возрастов): крошечные, маленькие и небольшие. Как в сказке.

Мы пришли утром. А ночью был сильнейший обстрел институтской территории. Верхушки тополей срезаны, как ножом. Сорванное кровельное железо кусками повисло на ветвях. Вылетело три тысячи квадратных метров оконных стекол, недавно только вставленных после предыдущего обстрела.

В длинном зале в два света вдоль стен висят портреты: Кювье, Вольтера, Бонапарта, Ньютона, Руссо,

Дарвина и еще кого-то. Оказалось, что это все недоноски. Их выращивали — кого в пивной кружке, наполненной овечьей шерстью, кого в ватном рукаве.

В институте существует единственное в своем роде отделение для недоносков. Заморыш, весивший при рождении шестьсот пятьдесят граммов и сфотографированный рядом с обыкновенной молочной бутылочкой, которая больше его, в годовалом возрасте получил первую премию на конкурсе здоровых детей.

Таких недоносков кормят при помощи специального маленького зонда со стеклянной воронкой. На зонде ниточкой отмечено, до каких пор его можно опускать в желудок. Расстояние крошечное, но глубже нельзя: тотчас же начинается желтуха.

Институтскую лабораторию (снаряд ударил здесь совсем рядом) при нас приводили в порядок: выносили разбитые приборы, выметали осколки, смахивали густую пыль. А ведь только накануне все это было наново установлено после тяжелой зимы.

Зимой в лаборатории было минус десять градусов: работа была невозможна. Лаборатория была перенесена в соседнюю маленькую комнатку с печкой, где согревались наиболее зябкие реактивы.

Зимой лаборатория занималась, между прочим, и тем, что из запасов институтской олифы — она была изготовлена на чистом льняном масле — снова химическим путем было извлечено это масло (180 кг.) и роздано для еды сотрудникам.

В настоящее время здесь идет уже подготовка к новому ремонту. И я подумала, не перегонят ли изобретательные лаборанты остатки льняного масла обратно в олифу.

Во время обстрела никто из детей не пострадал: все были спущены в бомбоубежище со своими матрасиками. Внезапно погас свет, и пока его не наладили, дети, лежа в темноте, все время повторяли:

— Мы здесь. Не наступите на нас.

В эту ночь, тоже в бомбоубежище, родилось трое детей: две девочки и мальчик Виктор весом в две тысячи пятьсот граммов.

Марсово поле, где бойцы мечут учебные гранаты из дерева, а потом берутся за лопаты — копают землю для огородов.

26 мая 1942 года

«Баллада о среднем англичанине». Для «П. м.», переключка с «Томми Аткинс» Киплинга. Слова Чемберлена о среднем англичанине, который якобы не знает, где расположена Чехословакия. Теперь и средний и крупный англичанин знают это. Урок географии, а попутно и истории.

2 июня 1942 года

Академик Крачковский, востоковед, не уехал из Ленинграда, не желая оставить арабские рукописи. Он сказал: «Они погибнут без меня». И ему не пришло в голову, что он сам может погибнуть, оставшись с ними.

3 июня 1942 года

И о работе своей я думаю с тревогой. Получилось так, будто я разрешила себе какой-то душевный отпуск. А этого нельзя ни на один день, ни на один час. Нельзя давать ослабеть хоть в какой-то мере душевному напряжению. Это трудно всегда быть натянутой, но это нужно. Это необходимо. От этого зависит все. И работа, и успех, и оправдание жизни в Ленинграде. А мне нужно это оправдание. Я ведь заплатила за Ленинград жизнью Жанниного ребенка. Это я твердо знаю.

7 июня 1942 года

Сегодня были с В. Гаршиным у Ильина, старого картографа. Он же нумизмат, заведующий в Эрмитаже отделом нумизматики.

Войдя в его маленькую комнату в нижнем этаже Эрмитажа с окнами на Зимнюю канавку, я ощутила странную робость. Мне почудилось, что я снова школьница, что меня сейчас вызовут к немой карте и предложат перечислить притоки Волги. К счастью, этого

не случилось. Впрочем, специальность Ильина не реки, а горы. Оказывается, горы на карте — наиболее ответственное и трудное.

Старику восемьдесят шесть лет, он наполовину парализован, поддерживает голову рукой. Но левый, непарализованный, профиль до сих пор прекрасен. Видимо, это был человек редкой красоты.

Профессор Ильин рассказал нам, что его перевели в эту комнату в самом начале блокады, что ему ежедневно доставляли вязанку дров из самых сокровенных запасов Эрмитажа. Что же касается света, то на его письменном столе всегда горело электричество. Ток давал один из военных кораблей, пришвартованный на зиму здесь же, на набережной, у самого Эрмитажа.

Я спросила, где сейчас тот отдел, которым заведовал профессор. Он ответил, что отдел был эвакуирован, как только городу стала угрожать опасность от бомб.

— Почему же вы сами остались? — спросила я.

— Куда же я поеду? Мне восемьдесят шесть лет, я стар. А мои коллекции вечно молоды. В первую очередь надо было думать о них.

Потом он прибавил, что ему много раз предлагали уехать. Приходили. Настаивали. Но он отказался, так как у него тут есть его личная, небольшая, но очень ценная коллекция старинных русских монет, уже завещанная Эрмитажу. Ее нужно еще привести в окончательный порядок, чем он сейчас и занят.

Старик с трудом встал с дивана карельской березы и трясущейся рукой отпер ящик письменного стола, где, переложенные газетами, лежали рядом монеты и медали. Между прочим, там были крошечные серебряные монетки величиной с рыбку чешуйку — одни из первых русских рублей.

Я обратила внимание на один, гораздо более поздний, полтинник желтоватого цвета.

Ильин объяснил мне, что этот полтинник лежал рядом с медью. Что серебро очень восприимчиво, как вообще все металлы. И что только одно чистое золото не подвержено никаким влияниям и всегда остается самим собой.

На прощанье Ильин еще раз похвалил свою комнату, в которой он умышленно отказался от радио, чтобы не слышать сигналов воздушной тревоги и не волноваться раньше времени.

Выйдя из Эрмитажа, мы тихо пошли по набережной, залитой солнцем. Мне бросилось в глаза, что на ближайшем военном корабле (не тот ли это, который питал профессорскую комнату током?) у зениток стояли моряки в касках. Вдали, на мосту, неподвижно застыл трамвай. Набережная была пуста. Тогда мы вдруг сообразили, что идет воздушная тревога, не услышанная нами у Ильина за отсутствием там радио.

Написала для заграницы очерк об Ильине. Назвала «Чистое золото».

12 июня 1942 года

Вчера, поздним вечером, мы гуляли с И. Д. Серебряные азростаты легко уходили в бледно-розовое тающее небо и как бы растворялись в нем. Вдоль Ботанического сада, у Невки, уже зацветают липы. И их запах заглушает запах тлена от отбросов, до конца еще не убранных.

В деревянном домике, рядом с отделением милиции, на той стороне Карповки, появился патефон с трофейными пластинками. И юные милиционерки, высушившись в окно, слушают музыку.

Возвращаясь домой, во дворе, подле студенческой столовой, мы услышали громкоговоритель, передающий последние известия: о подписании нами дружественного договора на двадцать лет с Великобританией, о решении открыть второй фронт.

Окончание последних известий мы дослушали в штабе нашего МПВО, где в углу, как ягдташи, висят противогазы, на стене — плакаты с типами бомб, на столе, взамен подставки для ручек и карандашей, небольшая, причудливо надорванная зажигательная бомба, опущенная в красную пожарную гайку. В углу на столике — восьмидюймовый невзорвавшийся снаряд, упавший на нашу территорию. Рядом с ним кусок другого, более позднего снаряда, более новой конструк-

ции, из шести секций. По этому снаряду можно судить, как работает мысль над способами убийства.

Неужели наступит такое счастье: человечество проснется однажды утром, а Гитлера уже нет!

13 июня 1942 года

Начало песни: «У снохи коровушка была...»

14 июня 1942 года

Аэростаты похожи на гигантские личинки.

В оркестре Филармонии вторые скрипки получили вторую категорию карточек и потому не выжили... Они теперь все новые.

16 июня 1942 года

Вода из крана, «смутившаяся» от бомбы.

21 июня 1942 года

Из-за колонн Казанского собора
Аэростат выводят, как слона.
Большая серебристая спина...

22 июня 1942 года

Год войны. Радио сегодня тревожно. Пал Тобрук. Немцы вклинились в Севастопольскую оборону. На Харьковском направлении форсировали Северный Донец, но были отброшены.

12 часов 45 минут

Сильный обстрел. И совсем рядом — Гренадерские казармы. Я сидела внизу у И. Д. Сейчас затишье. Летают наши самолеты.

24 июня 1942 года

Наконец, наконец кончила третью главу «Пулковского». А начала я ее 14 марта.

29 июня 1942 года

Радио тревожно: появилось Курское направление. Немцы на сто километров приблизились к Москве.

30 июня 1942 года

Тяжелое радио... Севастополь держится, но, видно, трудно ему. Сегодня внезапно выяснилось, что мы отошли у Волхова. И. Д. говорит, что мы опять стоим, как, примерно, осенью. Если немцы возьмут, допустим, Тихвин, то у нас здесь начнется второе кольцо блокады.

5 июля 1942 года

Мы оставили Севастополь. У нас говорят, что немцы подтянули танки к Тихвину. Очевидно, снова думают наступать на Ленинград.

Возвращаясь из Севастополя в Москву, погиб Евгений Петров.

6 июля 1942 года

Год назад, примерно в этот же час, провожала Жанну в Чистополь. В последний раз в жизни видела Мишеньку.

8 июля 1942 года

Грозное радио. Плохо в Ливии у англичан. У нас идут бои уже за Воронеж. Москва снова под ударом. В Ленинграде тоже тревожно в связи с широкой обязательной эвакуацией. Есть постановление Военного Совета — вывезти отсюда всех лишних людей и объявить Ленинград военным городом «со всеми вытекающими последствиями». Вчера узнала, что все окна наших первых этажей будут превращены в бойницы. И, странное дело, это необыкновенно успокоило меня. Крепость так крепость.

Все больше начинаю ценить моего И. Д. Когда все ликуют очертя голову, он говорит: «Еще рано». Когда кто-либо впадает в панику, он говорит: «Нет для этого оснований». Он верит в победу всем своим суще-

ством, но не только потому, что ему хочется верить. Он *знает*, что победа будет.

Он учит меня быть трезвой и храброй. Конечно, мне все еще страшно, когда прямо над нами бьют зенитки и, главное, когда свистят снаряды, хотя именно этот свист и доказывает, что смерть пронеслась мимо. И. Д. гораздо храбрее меня. Но на вид я почти всегда спокойна. А ведь это уже начало настоящей храбрости.

9 июля 1942 года

Вчера утром мы поехали в легковой машине на Карельский перешеек, в сторону Ладожского озера, в Воло-Ярви, на оборонные работы, к нашим студенткам. Дачи, бревенчатые терраски, усадьбы, колодцы — все это пусто. Довоенная жизнь давно ушла отсюда. На одном почтовом ящике задумчиво сидела пара скворцов. Мне показалось, что они, обманутые пустотой ящика, приняли его за скворешню и собирались обосноваться в нем.

Июльский день ликовал за городом. Обилие полевых цветов поражало. За этот год мы как-то забыли о них. Но резкий запах бензина долго преследовал нас, точнее — предшествовал нам, заглушая ароматы лесов и лугов. Перед нами быстро неслась военная цистерна с бензином, в ней забыли заткнуть втулку. Драгоценная жидкость лилась на шоссе, а оно было так пустынно, что некому было крикнуть лихому водителю, чтобы он остановился.

Мы довольно долго плутали, пока наконец не выехали прямо к баракам и палаткам, где жили студентки. Самые места оборонных работ были еще дальше. Мы отправились туда пешком.

Вдали, в темной лесной зелени, сияло Ладожское озеро. Вот уже куда вынесена теперь новая линия наших оборонных сооружений. Она отдалялась от города, по мере того как он отжимал от себя немцев. Но, вообще говоря, здесь и раньше блокадное кольцо имело самую большую свою протяженность. Ведь Ленинград не в центре кольца. В районе Кировского завода оно подходит к нам вплотную. Здесь оно на расстоянии

шестидесяти километров. Это наибольшее наше расстояние от противника.

Будущие блиндажи и траншеи, над которыми работают студентки, в точности следуют за извилинами маленькой речушки, заросшей кувшинками и унизанной стрекозами: ей и во сне не снилось, что она когда-нибудь станет «водным рубежом»!

Еще издали я увидела на травянистых берегах нечто вроде необыкновенно больших цветов — мальв, лилий, подсолнечников и маков; это сохли блузки, юбки и сорочки. Девушки стирают их утром в реке, чтобы надеть после работы все чистое.

Работа трудная. Почва глинистая, вязкая. Жгучая мошкара висит в воздухе. Все покусаны, обожжены солнцем до волдырей. Очень плохо с обувью. Нет хорошей воды для питья. Но главные претензии — почему так долго не шлют им на смену их однокурсников? И потом еще:

— Почему другие медвузы не работают? Только мы?

Особенно рьяно все эти вопросы задавала одна студентка, почти девочка (первый курс), черноглазая, босая, ноги в глине, нос защищен от загара зеленым листком. Но она же первая крикнула:

— Ну, довольно разговаривать! — и прыгнула в углубление, которое готовили для пулеметного гнезда.

Эти девушки сменили просторные, чистые аудитории на глинистые бугры и канавы, где «зачеты» принимают у них командующие армиями, — переэкзаменовок не полагается.

После обеда на лугу, между бараками, на закате состоялся митинг. Все сидели прямо на траве. К задним рядам подходили все новые группы, пришедшие с более далеких участков работы. Явилась в организованном порядке воинская часть и расположилась тут же. Горели костры, спасая нас от комаров.

Мы сидели на бугорке на большом пне. И. Д. сделал доклад. Когда он сказал, что мы оставили Севастополь, тень прошла по лицам, — здесь этого еще не знали. Во имя родины, во имя мести за Севастополь, лежащий от нас на другом конце страны, И. Д. при-

звал ленинградских девушек делать все для того, чтобы победили их отцы и братья. Потом я читала стихи.

На обратном пути с нами произошла тягостная история: мы заблудились. При свете негаснущей зари, в стоячих сумерках, мы долго ехали вдоль какого-то бесконечного полигона. Затем пошли поля, опутанные колючей проволокой. Нарисованные на щитках черепа и берцовые кости предупреждали, что здесь заминировано. Кусты стояли как неживые. Воздух не шевелился. Все было такое древнее, сумрачное, недвижимое, точно оставшееся от каких-то других войн. Лесная дорога, пропустив нашу машину, смыкалась вслед за ней. Мы ехали полчаса, час.

Вдруг Сергей Павлович говорит:

— А что, если мы этак заедем к немцам?

Тут не то что я (обо мне говорить нечего), но даже И. Д., вижу, испугался. У шофера руки задрожали. Как раз в эту минуту мы увидели далеко впереди деревянную сторожевую вышку, тоже пустую. Мы решились, что если до нее никого не встретим, повернем обратно и будем выбираться из этих недобрых мест.

Но у подножия вышки встретили патруль. Никогда еще мы не видели более привлекательных человеческих лиц.

Выяснилось, что мы едем правильно. Когда наши бумаги были тщательно проверены, мы угостили патрульных папиросами. Они закурили с наслаждением. Три живых папиросных дымка повисли в неподвижном воздухе. Мы долго оборачивались на них, смеясь над недавними страхами. А самих все еще пробирала дрожь.

10 июля 1942 года

День моего рождения!.. Единственное мое личное горе за этот год — смерть Мишеньки. Если бы не это, я была бы совершенно счастлива самым высоким счастьем — своей работой, которая оказалась нужной во время войны. Я могла бы сказать про себя словами одного партизана: «Живем хорошо. Эту оценку я дал в связи с тем, что жизнь хороша тогда, когда ее будни наполнены боевыми делами».

Но для меня писательские дела — это и есть мои боевые дела.

Ночью вылетаю в Москву, а оттуда в Чистополь, к Жанне.

*13 июля 1942 года
Москва*

Город Москва и гостиница «Москва» — Москва в квадрате.

Радио грозное. Сегодня я его еще не слыхала, но вчера бои шли на подступах к Воронежу. И. Д. озабочен, хотя по-прежнему верит во все самое лучшее. Верю и я. Но какова будет наша страна (и вообще все страны) после этой чудовищной войны?

Здесь впервые, по рассказам побывавших в Чистополе, ощутила его атмосферу. Не хочется мне туда на житье. Я все больше убеждаюсь, что единственное место, где мне надо сейчас быть, — это Ленинград. Там и жить легче. И, не сомневаюсь, умереть будет легче, если придется. Погибнуть в огне, во время штурма или под бомбами во время налета, но горячей, боевой смертью.

Ленинград сейчас — это действительно крепость, где мы — гарнизон. А в крепости все приспособлено для войны. И там легче, чем, например, в Саратове. (Слушаю радио: тяжелое. Мы «отошли на новые рубежи». Бои все еще «на подступах к Воронежу».)

14 июля 1942 года

Успехи, успехи!.. Вчера читала все три главы на летучке в «Правде». Их летучка — это внушительное заседание за просторным, как стадион, конференц-столом меж колонн. Меня ввели в залу и усадили прямо между Пospelовым и Ильичевым. Ярославский встал и поздоровался со мной. Я сидела, повторяя про себя строфы, чтобы не сбиться. Вдруг Ярославский обратился ко мне: «Не правда ли, товарищ Инбер?» Я пролепетала что-то невпопад. Оказалось, что речь шла о недостаточном участии писателей в газете. Потом я читала. Это был большой успех. Мне аплодировали. Третья глава

будет напечатана, наверное, а может быть первая и третья. А может быть, все три. Неужели все-таки это сбудется? Все, что мне сулит мой военный муж первого ранга? Так называет себя теперь Стрешин.

Вечер

Была на завтраке, устроенном Совинформбюро в «Национале». Были Лозовский, Щербаков и все корреспонденты иностранных газет. Любопытны и знаменательны выступления. Основная тема — второй фронт. Примечательно выступление американского корреспондента, который сообщил, что он только что отлучался на полчаса, чтобы выступить по радио для Америки, где он цитировал слова Ленина: «Сегодня еще рано, а завтра уже будет поздно» (сегодня или вчера?). Вот уж подлинно.

16 июля 1942 года

Радио ужасное. Мы оставили Богучар и Миллерово.

У Антокольского погиб на фронте восемнадцатилетний сын. Почти наверное погиб Алтаузен.

Сельвинский, с палкой, хромой, одна нога в сапоге, другая в ночной туфле, сумрачен. Очевидно, под Керчью было ужасно. Он тоже едет к своим в Чистополь, но до Казани поездом. А когда я еду и каким способом, все еще не ясно. Думаю о самолете. А дни уходят, уходят...

Москва тревожна. Говорят, что немцы летели на Москву, но их отбили у Подольска. Хорошо бы быть уже снова в Ленинграде.

Вчера выступала по радио... В Информбюро мне сказали, что один мой старый очерк «Женщины Ленинграда» прошел в Америке на двухстах двенадцати радиостанциях с большим успехом. Со всех сторон я слышу одни только лестные, восхищенные или нежные слова. Как бы я была счастлива в другое время!.. А теперь все эти литературные удачи кажутся мне недозволенными, греховными, неестественными. И хотя я убеждаю себя, что ведь этого я заслужила работой, тем самым, что сейчас требуется от каждого из нас, а что-то внутри меня сопротивляется. Тяжело!

Сейчас едем в милицию хлопотать о пропуске. Погода на редкость нелетная. Дождь. А ранним утром гроза.

*19 июля 1942 года
Казань. Аэропорт*

Сижу в гостинице при аэропорте. Точнее — это нечто вроде общежития, где в каждой комнате по несколько кроватей.

Погода — не приведи бог! Беспросветный дождь, холодный, порывистый ветер. Не нужно быть синоптиком, чтобы понять смысл всего этого: лететь нельзя. А вчера сюда долетели прекрасно, но поздно. На западе все небо было огненно-красным, и я подумала, что это к непогоде. Так оно и вышло.

Кроме скверной погоды, тут на аэродроме еще горе. Вчера утром разбился «У-2» и два летчика на нем.

Сегодня погибших хоронили. Отсюда увезли на кладбище лопасти винта, увитые кумачом и цветами.

Ночью проснулась от сильнейшей грозы. Удары грома сотрясали здание. Эвакуированная девочка, спавшая с матерью на одной из кроватей, плача, спрашивала:

— Мамочка, это они стреляют или это мы стреляем?

— Спи, это гром. Никто не стреляет,— отвечает мать. Девочка помолчит с минуту, а потом снова:

— Мамочка, это мы или они?

Нет, не скоро забудет войну этот ребенок.

Итак, я в трех шагах от Жанны, но самолета нет, а на пароход я не отваживаюсь: слишком долго и сложно. Авось распогодится.

Казань сейчас — это не только столица Татарии. Это частица Москвы, это воспоминание о Ленинграде, память о Киеве. Московские, ленинградские, киевские люди переполняют казанские улицы, живут здесь и работают. Происходят неожиданные встречи. Казань, как и все остальные города нашего Союза, находится в центре событий. Она связана с фронтом одной волей, одним дыханием.

В сборнике татарских поэтов, переведенном на русский язык и вышедшем недавно в Казани, в стихотворении Ахмета Ерикеева, мы находим обращенные к Москве пламенные строки:

Покуда кровь живая не остыла,
Покуда дышим, веря и любя,
Родимая! Ты слышишь клятву тыла:
— Мы нашей грудью защитим тебя!

Москва — это олицетворение родины. Это к ней, к родной стране, обращены слова татарского поэта. Все языки и наречия нашего многонационального государства выражают сейчас одно и то же: единство фронта и тыла, единую волю к победе...

В одной из величайших книг мировой литературы, в «Войне и мире» Толстого, есть сцена — в захваченной французами Москве, сидя ночью у костра, под звездами, взятый в плен Пьер Безухов начинает вдруг громко смеяться, повторяя: «Взяли в плен... Кого? Меня. Мою бессмертную душу».

Есть нечто общее между осажденным Ленинградом и толстовским героем времен первой Отечественной войны. Правда, Ленинград не смеется: он серьезен. И он не пассивен, как Пьер. Он обороняется, он сам наносит удары. Но чувство морального превосходства над противником, ощущение духовной неуязвимости роднят великий русский город с русским человеком Пьером Безуховым. Это ощущение своей правоты и моральной силы пронизывает всю нашу страну от суши до неба. От озер и рек — до морей и пустынь.

Передвигаясь сейчас по Советскому Союзу, испытываешь своеобразное чувство: меняется климат, пейзаж, обстановка. Но люди... люди все те же. Люди не меняются. Ни на минуту не оставляет советского человека мысль о грозной туче, нависшей над родной землей. И так повсюду — куда бы вы ни приехали.

Сумерки

Бурный оранжевый горизонт под синими, быстро несущимися тучами. Небо как бы находится в состоянии бегства: все тучи убегают в одну сторону. Дождя

уже нет, но что будет завтра? Только что снова ходила к начальнику аэропорта и получила ответ:

— Завтра отправим непременно.

Радио не слыхала, но мне сказали, что мы оставили Ворошиловград. Я заметила, что плохие известия в Ленинграде легче переносимы, чем здесь.

20 июля 1942 года
Утро

Обидно: ведь лёту всего сорок минут. Уж лучше бы поехала пароходом.

Но утро сейчас чудесное. В небе ни одного облачка — все разогнал ветер. Сейчас снова пойду к начальнику.

Днем

Я все еще здесь. Самолета нет, погода портится с каждой минутой. Обещают на половину пятого, но я уже плохо верю.

Повезет меня «У-2». Ведь пассажирского сообщения тут нет: только оказия — почтовая или санитарная.

22 июля 1942 года
Чистополь

Я прилетела сюда под вечер, когда меня уже не ждали. Шла с аэродрома тихими захолустными улицами, овеванными луговым ветром. Когда-то я была в Чистополе — во время агитоблета в 1924 году. Думала ли я, что побываю здесь снова? И что в здешней земле будет похоронен ребенок моего ребенка.

На всем пути от Невы до Камы, на всех его этапах, будь то большой город или маленькая станция, в самых различных областях я встречала одно и то же: деятельную, волевою, энергичную советскую женщину. Вообще Казань и прикамские города навсегда связаны теперь для меня с прекрасными женскими образами: сильными, трогательными и поэтическими.

Дождалась наконец я своего «У-2». Подошла к нему в сопровождении высокой девушки в комбинезоне, ме-

ханика. Девушка-механик привязала меня ремнями к сиденью и потом дернула поясок, проверяя, крепко ли я сижу. Пилот, тоже женщина, светловолосая и белозубая, как потом выяснилась, — тезка моя, тоже Вера, надела шлем на голову и заняла свое место.

— Внимание, — сказала Вера.

— Есть внимание, — ответила девушка-механик.

— Контакт.

— Есть контакт.

Маленький «У-2», пробежав довольно долго по земле, поднялся в воздух. И я, привыкшая к многоместным, устойчивым, закрытым самолетам, увидела себя в маленькой, верткой, легкой, как спичечный коробок, машинке. Увидела себя наедине с воздухом, с ветром, с закатом, с необъятными прикамскими просторами...

Мы летим. И то, что этот самолет ведет женщина, делает меня счастливой. Я вспоминаю возгласы: «Внимание!» — «Есть внимание!»

«Есть, есть внимание», — повторяю я про себя. Есть умение, страстное желание, всепоглощающее стремление отдать всю себя на служение родине. Есть умелая, «заботливая женская рука», о которой я писала как-то в своих стихах.

Самолетик шел по земле так долго, что я начала опасаться: не дойдем ли мы таким манером до самого Чистополя? Но вспомнила, что по дороге Кама.

На «У-2» чувствуешь себя, как на этажерке. Кругом воздух, ветер, пустота. Никакой устойчивости. Воздушная дорога была вся в ямах и рытвинах. Громадное солнце шло к закату. Мы летели над Камой, аромат лугов подымался даже сюда, в высоту.

Начальник Чистопольского аэродрома, тоже женщина, стоя по пояс в траве, взяла наш «У-2» за крыло, как журавля, и остановила его.

На прощанье я попыталась угостить своего пилота папиросами. Оказалось, она не курит. Я предложила полбутылки хорошего красного вина. Нет, она и не пьет. Тогда я, после минутного колебания, вытащила из кармана пальто непечатую губную помаду. И мой пилот не устоял: смущенно улыбаясь, взял.

23 июля 1942 года

Мне тяжело здесь. Жалко Жанну, а взять ее в Ленинград не могу решиться. Сама я с трудом привыкаю к мирной жизни. Вчера, увидав из окна, что какая-то женщина с ребенком бежит по улице, я подумала: «Как же это я не услышала тревоги?» Оказалось — строптивая лошадь сорвалась с привязи и напугала прохожих.

Удивительно мне, что по вечерам нет затемнения. По привычке все сажусь подальше от стекол.

Потрясающий своей неустроенностью быт. Какое счастье, что Жанна это легко переносит... Воображаю, что было здесь зимой!

Я еле жива от невообразимой грязи, полного отсутствия воды, детского крика и такой посуды, что из нее не только страшно есть, а прикоснуться к ней страшно. О Ленинграде и своей комнате, о чистоте я мечтаю, как о рае.

Сегодня вечером мое большое выступление. Буду читать «Пулковский».

24 июля 1942 года

На моем вечере народу было множество: пришли все наши чистопольцы. Точнее, москвичи, собранные здесь войной. В президиуме: Исаковский, Пастернак, Сельвинский, Асеев. Необычно все это было.

Я очень волновалась, но не так, как всегда, а иным, более глубоким, более... как бы это сказать... ответственным волнением... В каком-то смысле я выступала здесь от имени Ленинграда. Все ждали от меня именно этого.

Проходы между стульями, подоконники — все было полно. Двери были раскрыты настежь: там тоже стояли.

Осыпанная звездами, сухая, жаркая (не такая, как в Ленинграде) ночь глядела в незатемненные окна.

Я говорила и читала хорошо, хотя читать мне было трудно, особенно третью главу поэмы, где говорится о смерти ребенка.

Я установилась, помолчала минуту. И в жаркой тишине услышала взволнованное, неровное дыхание десятков людей.

Я старалась: мне хотелось через все это пространство, через пол-России, протянуть сюда, придвинуть вплотную к этому тихому прикамскому городку гранитную громаду Ленинграда, смутно освещенную сейчас уже догорающими белыми ночами.

Я рассказывала о ленинградских людях, о женщинах, о фронтовиках, о детях... о мальчишке, который, плача, гасил песком зажигательную бомбу. Он боялся, ему было только девять лет. Но, плача, он все же гасил ее.

Когда я скончила, все бросились ко мне, обступили меня, пожимали руки. Все это было мне за Ленинград.

26 июля 1942 года
Пристань Устье-Камское

Вот и кончился Чистополь. Вчера провели на аэродроме целый день, но ничем не могли там воспользоваться, за исключением дивного воздуха, пропитанного полынью, и холодного молока из погреба. Ни один самолет не взял нас, да их и было очень мало. Я добилась по телефону лошади, и мы с Виктором Типотом поехали через весь город на пристань. Прождав там с часу дня до часу ночи в маленькой чистенькой комнатке речного вокзала (это помещенье напомило мне квартиру Пеготти в «Давиде Копперфильде»), мы сели на парход. Будем в Казани сегодня днем.

28 июля 1942 года
Москва

Снова в Москве. Очень тяжело на фронте. Мы оставили Ростов и Новочеркасск. И еще что-то грозное происходит.

Дорога была трудная. Не могу забыть инвалидов. В Ленинграде их нет. Там есть раненые, которые могут еще выздороветь.

В Казани на вокзале один, совсем молодой, с напряжением взбирался на костылях в вагон. Проводник-женщина жалостливо повторяла:

— Тихе, тихе. Осторожнее ногу.

А эта нога была — новенький, еще не надеванный

протез в башмаке, висящий за спиной. Второй протез, запасный, но уже без башмака, инвалид нес в руках.

Дорога была тяжела. Единственная радость: уже недалеко от Москвы, на станции Куровской, кажется, что-то толкнуло меня подойти к щиту с номером «Правды». И там я увидела напечатанной третью главу моего «Пулковского». Она помещена подвалом, почетно, прекрасно. Так, как я мечтала. Так, как я никогда не мечтала. Я счастлива была один час. Я счастлива и теперь. Но разве так была бы я счастлива раньше! Все, все приходит немного поздно.

*3 августа 1942 года
Ленинград*

На митинге в Америке с требованием второго фронта выступил Чарли Чаплин.

Вчера мы летели сюда из Москвы целой эскадрильей: пять «дугласов» и семь истребителей.

Грузные тела «дугласов» казались неподвижно висящими на равных расстояниях друг от друга — только пропеллеры вились, как дымки. Истребители шли над нами. Все время где-то сбоку происходили воздушные бои, но над Ладогой было тихо.

Сейчас двенадцатый час ночи. Тишина. Изредка стреляют. Смутно на душе, а надо непременно сесть с завтрашнего дня за четвертую главу.

Смутно и грозно. Вчера шли большие воздушные бои над городом, удачные для нас. Вообще здесь оживление. Будто мы отбили часть Лигова и могли сделать больше, но не закрепили и не развили успех. Весь день сегодня слышна тяжелая артиллерия, видимо, наша. Все настроено.

4 августа 1942 года

Ревнивые и требовательные божки Чистота и Порядок набросились на меня по приезде и яростно потребовали жертв.

Я принесла им эти жертвы с бесчисленными коленопреклонениями, с возлиянием чистой водой, с помахиванием пыльной тряпкой. Домашние тираны успокоились (на время, на время!).

Ночь была полна артиллерийского гула. Особенно сильно было все это на рассвете. Теперь — тишина.

Судя по всему, между прочим и по радиоречи Тихонова, мы наступаем. Видимо, решено отодвинуть немцев от города, тем более что они заняты на юге.

А на юге грозно. В Америке митинги об ускорении открытия второго фронта. Мир так напряжен, что иногда у меня, ничтожного атома этого мира, физически ноют кости, словно на мне часть невыносимого груза.

Какое счастье (пулемет очень близко, даже удивительно), что я не взяла Жанну в эту пальбу. И ведь неизвестно, что впереди. Ясно одно: оцепенению нашего фронта наступил конец. Этот вулкан уже дымит и светит. А впереди еще извержение.

5 августа 1942 года

Тихая ночь, ни одного выстрела. Мы заняли несколько укрепленных пунктов. Теперь снова затишье. Надолго ли? На юге все так же тяжело.

Я все еще не вошла в работу. Вчерашняя поездка в горд утомительна и бесцельна. Единственная радость та, что Лесючевский вынул из своей полевой сумки сигнальный экземпляр моей «Души Ленинграда». Беденькая книжечка, на плохой бумаге. И все же она мне дорога.

Ужасно чувствую себя физически. Когда я не работаю, я как бы остаюсь лицом к лицу со своими хворостями. И все они набрасываются на меня. Вообще у меня такое ощущение, что, только пока я работаю, со мной не может случиться ничего дурного.

Пока я работаю — пуля меня не возьмет.

Пока я работаю — сердце мое не замрет.

7 августа 1942 года

12 часов ночи

Тишина и пустынность города потрясают. Никогда еще, кажется мне, не был он так душераздирающ, как сейчас. Он пуст. В нем меньше миллиона, может быть, восемьсот тысяч.

Огороды — и те мучительны. Не всюду уродились

овощи, не везде была проверена рассада капусты. И выросли громадные нелепые листья, без кочна, горькие. Даже наша больничная лошадь не ест их. А люди несут и везут в трамваях эти трагические листья, эту рухнувшую надежду.

Тишина. Даже обстрелы прекратились. Как писать в таком городе! При бомбежках — и то было легче. А что будет зимой!

9-го в Филармонии Седьмая симфония Шостаковича. Быть может, она разгонит эту тишину.

На юге по-прежнему.

8 августа 1942 года

Холодный, серый, безрадостный день. Ничего не хочется делать. Ездили в город по поводу билетов на завтрашний концерт Шостаковича. Холодно!

А на юге огненно. Немцы подходят уже к Армавиру. И. Д. сказал:

— Их еще можно остановить.

И это «еще» леденит сердце.

9 августа 1942 года

Снова переполненный зал Филармонии, как это было до войны и в самом начале войны.

Оркестранты взволнованны. Дирижер, видимо, тоже.

Я слушала Седьмую симфонию, и мне казалось, что это все о Ленинграде. Лязгающее приближение вражеских танков — это было здесь. Но светлое завершение еще впереди.

Все то, о чем сказано у Тихонова:

Чтоб жизнь, как мастера уменье,
Входила в шелесты листья,
Как атлантическое пенье
В напевы Темзы и Невы.

14 августа 1942 года

Ночью

И. Д. около 12 часов ночи вызвали в райком. Сейчас снова звонили оттуда, чтобы шел скорее. Тревожно это... Сегодня после большого перерыва артобстрел. Пять снарядов упали в районе Литейного.

15 августа 1942 года

Вчерашний ночной вызов в райком был проверкой готовности на случай вражеского десапта. Неужели мы увидим наши бойницы в действии?

16 августа 1942 года

Орудийные выстрелы довольно близко. По радио передают английскую народную песню. Может быть, не наш район?

17 августа 1942 года

Мы оставили Майкоп.

20 августа 1942 года

Мы оставили Краснодар. Но зато бомбили Данциг, Кенигсберг и Тильзит.

Вчера я возвращалась домой одна во время обстрела. Снаряды (новые, очень дальнобойные) свистели так резко, что я могла бы точно указать кусок неба, где они пролетали: словно чиркали гвоздем по стеклу.

Какая-то женщина на улице при первом выстреле сказала:

— Ну, опять запсиховал!

Это она о Гитлере.

С большим удовлетворением я увидела, что совершенно перестала бояться.

Вхожу в комнату, а там под грохот снарядов И. Д., стоя на стуле, вешает на стену тарелку — нашу, советскую, ломоносовского завода. На тарелке надпись по краю: «Ум не терпит неволи». Символично!

23 августа 1942 года

По улицам развешано «Окно ТАСС» с моим стихотворением «Бей врага!».

24 августа 1942 года

Год, как я здесь. Самый наполненный и для меня важный год моей жизни. Послезавтра еду на несколько дней в Кронштадт.

26 августа 1942 года

Под Сталинградом «создалась сложная обстановка». Едем в Кронштадт: Кетлинская, Берггольц, Макогоненко и я. Будем там выступать.

27 августа 1942 года

Наши войска на Западном и Калининском фронтах прорвали вражескую оборону и отбросили немцев на сорок пять километров. У них убито сорок пять тысяч, наши трофеи огромны. На юге тоже как будто лучше, во всяком случае не хуже. А ведь мы вчера боялись за Сталинград.

Это сообщение передавали по радио. Когда диктор произнес: «В последний час!» — я сразу по голосу поняла, что будет нечто необычное.

Удивительно, как меняются лица в зависимости от сводки. Сегодня все как будто sprыснуты живой водой. Евфросинья Ивановна вошла сияющая:

— Немца потеснили!

В Кронштадт едем сегодня. Катером, прямо от Тучкова моста.

А вчера надо было поездом до Лисьего носа, а там три километра пешком до катера.

29 августа 1942 года
Кронштадт. Дом флота

У Тучкова моста мы долго ждали, пока окончательно стемнеет: катеры ходят только ночью. Но эта лунная ночь была так ярка, что вряд ли могла служить защитой. Впрочем, все было спокойно. Изредка только взлетали ракеты.

Между нами и берегом шли сопровождающие нас «дымзавесчики». При луне явственно чернели их настоженные пушечки.

Мы сидели на палубе, пока не озябли, потом вошли в маленькую каюту, где было запрещено курить, так как она была обращена к вражескому берегу.

В Кронштадте (мы прибыли туда поздно ночью) нас встретили и повели в Дом флота. Залитый луной город был совершенно тих. На площади патруль проверил наши пропуска при свете потайного фонаря, держа его у самой земли. Но желтый огонек фонаря был заглушен луной.

Здесь война еще ощутимее, чем у нас в Ленинграде. Еще пустынее улицы, еще виднее разрушения. Столетние каштаны искалечены бомбами. Встретили на улице женщину, несущую ребенка на перевязку. Голова и глаза обмотаны марлей, он свесился через материнское плечо, ручка болтается в воздухе. Мальчика ранило третьего дня во время обстрела. Неправильно, что здесь еще остались дети. Я бы их всех до единого вывезла отсюда.

Все стоит у меня перед глазами образ корабля, где мы выступали. По существу это уже не корабль, а крепость, вросшая в воду. В прошлом году вражеские пикирующие бомбардировщики нанесли ему глубокие раны: башни потеряли связь между собой и, разобщенные, сражались как отдельные крепости.

Когда командир центральной башни послал вестового с приказом в носовую, тот донес ему, что таковой уже не существует, а вместо нее вдали виден собор — такое там открылось зияющее пространство.

Целая гора ржавого, чудовищно покореженного железа, лежащая на камнях мола вблизи корабля, — это то, что было извлечено из него после боев. Но и неподвижный, он еще грозен для врага.

Когда его сохранившиеся башни открывают огонь, мы в Ленинграде слышим это. И Евфросинья Ивановна говорит:

— Ну, дай-то бог!

Наше литературное выступление происходило в кают-компани, где было тепло, даже жарко от близости машинного отделения и от количества народа, пришедшего послушать нас.

Город в целом — настоящее морское гнездо. На улицах очень мало женщин. Со двора Дома флота в одном из окон видна рыба, распяленная лучинами: белокурая актриса фронтовой бригады вялит на солнышке сига, полученного от благодарных слушателей.

А слушатели здесь действительно благодарные.

2 сентября 1942 года

Если Кронштадт — ключ к Ленинграду, то Кроншлот — ключик к Кронштадту. Этот островок, искусственно возведенный еще Петром, расположен у самого входа в Кронштадт. Он запирает его. Миновать его при входе невозможно.

Кроншлот так мал, что, думается мне, он «пробрызгивается» морем насквозь. За двадцать минут его можно обойти весь. Мы не видели здесь ни одной женщины. Здешние моряки в шутку называют Кроншлот «Островом погибших женихов».

Добрались мы сюда на моторном ботике. Выступали в помещении с такими толстыми стенами, что им никакой снаряд не опасен. После выступления нас повели на гранитный парапет. Стоя там, мы долго глядели на ту сторону залива. Там явственно выступал в осеннем прозрачном воздухе полуразрушенный Петергоф. Мы видели контуры дворца, купол собора, купы деревьев. Там — враг.

Один из командиров сказал:

— Ничего, придет время...

Вернулась домой вечером, при сильном ветре. Завтра едем к морским летчикам на другой конец полуострова.

4 сентября 1942 года

Написала для заграницы очерк о летчиках. Называется «Ас». Вот он:

АС

Читальня летчиков помещалась в бревенчатом домике в лесу. Журналы на столе пахли хвоей. По стенам висели плакаты. На одном из них был изображен знаменитый ас, гвардии старший лейтенант Петров.

Кожанный шлем обрамлял мужественное и суровое лицо. На вид Петрову было лет тридцать. Под портретом значился послужной список летчика: 500 боевых вылетов, 50 воздушных боев. Сбил самостоятельно 5 фашистских машин. Штурмовок — 30. Разведок — 40. Отражений — 36.

— Мне хотелось бы побеседовать с Петровым, если он свободен, — сказала я сопровождавшему меня полковнику.

— Вам повезло, — ответил тот. — Петров сегодня свободен. Сейчас я пришлю его к вам.

Оставшись одна, я, стоя на пороге домика, оглядывала аэродром, со всех сторон окруженный лесом. Звено дежурных истребителей казалось группой стрекоз на громадном лугу. Было совершенно тихо, только из глубины синего осеннего неба доносилось стрекотанье.

Время шло. Петров не показывался. Два молодых летчика прошли мимо, оживленно беседуя. Прошел механик в комбинезоне. Прошел какой-то совсем юный голубоглазый мальчик с ямкой на подбородке. Рыжий пес, сопровождавший его, подбежал ко мне.

— Геббельс, назад! — крикнул юный летчик.

— Почему «Геббельс»? — спросила я.

— Вот и я спрашиваю — почему? — подхватил летчик. — Черт знает что такое. Испоганили суку. А она уже привыкла к этому имени.

Летчик остановился близ меня. Мы помолчали.

— Не знаю, как быть, — сказала я. — Жду одного человека, а у меня времени уже мало.

— Вот и я, — вздохнул летчик, — и у меня тоже времени немного. Полковник сказал, чтобы я шел в читальню. А для чего — не сказал.

— Позвольте, так это вы и есть Петров? — воскликнула я.

— Точно.

— Ас?

— Так меня называют.

Я невольно оглянулась на плакат, сравнивая портрет с оригиналом. Сходство между ними было, но такое, какое бывает между двоюродными братьями, различными по возрасту.

— Это я,— сказал Петров.— Только я там немного старше.

— Да, немного,— согласилась я, скрывая улыбку.— А сколько вам, простите, лет?

— Двадцать один.— Он сделал небольшую паузу и закончил: — Скоро будет.

И тогда я поняла, что фотограф, смущенный необыкновенной молодостью аса, умышленно состарил его.

— Товарищ Петров, расскажите мне, как вы воюете. От природы ли вы так геройски смелы или вытренировали себя?

Петров присел на пенек. Сука Геббельс раболепно растянулась у его ног.

— Мне трудно ответить на ваш вопрос. Смелость... героизм, об этом я совсем не думаю. Я вылетаю, чтобы бить врагов. Вот о чем я думаю. И я их бью. Для этого я на все готов. И не только я. Зимой мы обычно летаем в масках и очках. Это предохраняет от холода, но уменьшает видимость. Прошлой зимой мы летали без масок и без очков.

— А кто это придумал так летать?

— Один из нас.

— Быть может, вы сами?

— Это не важно. Важно только, что таким образом мы повысили свою боеспособность. Зимой вообще приходилось туго. Бывало так, что мы сутками не отходили ни на шаг от машины. Даже спали на плоскости крыла. Неприятельские самолеты были сильнее нас в воздухе. Куда бы они ни летали, они считали своим долгом пройти над нами и сбросить сюда бомбы.

— А теперь?

— А теперь они делают большой крюк, только бы миновать нас.

— Расскажите о каком-нибудь из ваших вылетов.

— Недавно я дрался с двумя «мессершмиттами-109». Одного я сразу срубил. Второго я все водил от облачка к облачку. Вынырну — скроюсь. Вынырну — скроюсь. Довел его до такого состояния, что он потерял терпение и допустил грубую ошибку: подставил мне слишком большую площадь для удара. Я срубил и его и стал

уходить. Но вдруг смотрю — ах ты, боже мой! — наш парашютист в воздухе висит. А летчик из третьего «мессершмитта» стреляет по парашюту из автомата. Тогда я повернул обратно и заставил фрица пуститься наутек. Срубить его я не мог. Я сам уже был подбит, да и горючего было совсем мало.

— А как вы думаете, фриц тоже спас бы таким образом своего товарища?

— Из показаний пленных летчиков мы знаем, что за каждый сбитый наш самолет они получают деньги. Понимаете? Деньги. Фашисту бы только сбить нашу машину и побежать к казначею. А за парашютиста своего он ничего не получает. Вот как они воюют. Гадины. Звери продажные.

Петров встал. Голубые глаза юноши потемнели. Глубокие складки появились в углах рта. Жилы на шее напряглись.

Ас Петров стоял передо мной таким, каким он был на портрете.

5 сентября 1942 года

Вчера на рассвете вернулись из Кронштадта, где мы пробыли неделю. Выступали там одиннадцать раз, не считая выступлений по радио.

Последний вечер был в Доме флота. Присутствовало человек восемьсот: все было сине от матросских фланелевок и отблескивало золотом якорьков. Слушали нас прекрасно.

Уходили мы из Кронштадта поздно ночью, с приключениями. Сначала мы долго ждали «дымзавесчиков», без которых нас не хотели пускать. В конце концов мы все же ушли без них.

Но главная трудность была в барже, которую наш катер должен был взять на буксир и не мог. Ветер был слишком силен, почти шторм.

Все выглядело зловеще: поздняя луна на ущербе, ключья туч, свист ветра, все растущий плеск моря. Громкая баржа, призрачно освещенная рваным лунным светом, не только не давала взять себя на буксир, но сама еще напирала на нас то кормой, то бортами и

грозила расплющить наш катерок о причал. В пути мы, что называется, хлебнули с ней горя. Она у нас сорвалась, и мы ловили ее среди моря. И так нам стало неуютно от вражеских ракет на том берегу, что мы пожалели об отсутствии «дымзавесчиков». Но в конце концов все сошло благополучно, хотя нас страшно качало и бросало во все стороны, просто с ног сбивало. Была такая минута, когда на меня в каюте со всех сторон полетела какая-то тяжелая утварь.

К Тучкову мосту подошли на рассвете, — все было розовое. Трамваев еще не было. Мы с Кетлинской отправились пешком по Большому проспекту к нам домой. Поели, напились кофе и легли спать. Земля много лучше, чем море.

6 сентября 1942 года

На юге бои неслыханной силы. Сталинград, видимо, будет держаться. И устоит.

Я пишу песню «Энская высотка». Очень мне хочется написать три песни и послать их Шостаковичу.

7 сентября 1942 года

Полночи не спала из-за «Высотки», но вышло — настоящая военная лирика: чуть *щемлящая* и все же героическая. Сюда бы еще такую же музыку. И получится русское «Типерери»... Сейчас буду писать «Перекурку», затем «Пластинку» — маленький цикл.

Сегодня тихий, пахнущий листвою, краткий осенний дождик. Робкая осень стоит у порога. Это потом она превратится в такую колдунью, в опытную ведьму. Пока она лишь начинающая малоискусная волшебница. Впрочем, я люблю ее во всех видах. Писать в такой день, как сегодня, наслаждение.

Вчера была в Ботаническом саду. Лето прощалось с ним невыразимо прекрасно. Над маленьким прудом летали стрекозы. Ни ветерка. Аллеи начали желтеть. Рябина отражается в воде. Иногда мне кажется, что Ленинград сейчас — один из самых тихих городов мира.

9 сентября 1942 года

Взяла первый урок английского. Буду заниматься два раза в неделю. Авось пригодится!.. А в общем, устала. Работаю мало, все времени не хватает.

Вчера исполнился год со дня первой бомбежки Ленинграда (горели знаменитые Бадаевские склады). Мы были в театре на «Летучей мыши».

Федю П. с того вечера больше не видела, он погиб от голода. Сначала у него еще хватало сил выступать по госпиталям в качестве чтеца, где его кормили за это. Но потом ослабел, ему все труднее было двигаться.

Сегодня — мучительная ночь. Все меня грызло и глодало сознание, что я не умею как следует организовать свое время. Что мелкие ничтожные заботы и делишки (в том числе и литературные) выются надо мной, как слепни над усталой лошадью в жаркий день. И где-то рядом есть блаженная беспыльная поляна, живая зелень («зеленая дверь»). Но лошади не властны бросить кладь посреди дороги и погрузить воспаленные ноги в траву. А я могу и не делаю.

Всю ночь меня мучили отдельные разрозненные строчки стихов, которые скорей всего никогда не будут написаны. Это было похоже на какие-то неудавшиеся завязи плодовых деревьев. Вот-вот завяжется будущее яблоко. И снова — все прахом. Бесконечно хочется писать главу. Уйти в сокровенное и самое нужное, подалее от песен, мелких стихов и очерков для Совинформбюро. Планов на будущее. Должно быть только настоящее: вот эта страница, вот эта строфа.

Я мечтаю о темных осенних вечерах и дождях, о темных днях. И главное — об отдельной комнате. Сейчас, кажется, пойду ее посмотреть... Ох, как я устала от того, что так редко бываю одна. Этой ночью я только почувствовала, как я устала. Почти всегда кто-нибудь со мной в комнате. Нельзя, нельзя так.

Такие ночи, как сегодня, мучительны, но все же полезны. Если уметь к ним прислушаться.

7 часов вечера

Совсем одна. И. Д. вернется только в 11 часов вечера. Как давно я не была одна. Как мне это необходимо!

Сегодня видела наши новые комнаты. Может быть, там очень хорошо, только бы не было холодно. Свою комнату я сделаю чудесной. Жаль только, что топка из коридора.

Завтра Жанне исполняется 30 лет.

10 сентября 1942 года

Опять по-новому начала четвертую главу.

На юге — у Сталинграда — хорошо. В Новороссийске бои уже на улице.

Прохладный осенний денек. А какая жара была в этот день тридцать лет тому назад в Одессе. В день рождения Жанны. Сегодня выстояла два с половиной часа в очереди и достала для Жанны галоши.

12 сентября 1942 года
Вечер

Мы оставили Новороссийск.

Страшный ветер. Есть опасность наводнения. Даже наша Карповка угрожающе поднялась.

Четвертая глава как будто пошла по-настоящему.

13 сентября 1942 года

Ветер стих, вода спала. На фронте «существенных изменений не произошло».

На моем Пулковском «фронте» понемногу продвигаюсь вперед. Наконец-то мне начинает становиться тепло в этой главе, как в обжитой горнице. Я уже почти согрела ее своим дыханием, но все же боязно, как сказано у Пастернака: «И так на волоске висит поэма».

Читаю Пастернака и французский роман. Тут очень важно не менять книг, а как бы застыть на одной

или двух. Чтобы не потревожить уже установившегося течения мыслей и чувств. А то прочтешь что-нибудь иное, все придет в беспорядок. И станет трудно писать.

Сегодня ночью снилось все такое давно забытое, что трудно даже понять, каким образом оно извлекалось из этой дали: снился Д. И.; по теплоте этого сна я поняла, какой это был жар тогда. Силой воспоминаний можно с точностью измерить силу пережитого.

15 сентября 1942 года

Возвращаясь из города, пропустили на Введенской два трамвая, слушая Тихонова по радио.

Это было обращение к Кавказу, к которому сейчас рвутся фашисты. Разговор с кавказскими народами: «Грузины, осетины, дети Дагестана...» — Тихонов напомнил им слова старой песни: «Это будет такой жаркий день, что мы сможем рассчитывать только на тень от наших шашек».

На темной ленинградской площади, осенним вечером, под далекий орудийный гул, много народу стояло и слушало это выступление.

16 сентября 1942 года

Переехали в новые комнаты. На этот раз их две. Очевидно, если судьбе будет угодно, мы останемся здесь до конца войны.

Вчера выступала на заводе имени Макса Гельца. Там работают мальчишки-ремесленники. Они сидели тихо, слушали хорошо.

Когда я окончила, ко мне на эстраду поднялся из первого ряда парнишка в шапке-ушанке.

— Лучший стахановец цеха,— шепнул мне секретарь парторганизации.

От имени всего цеха мальчик поблагодарил меня. Я спросила: любит ли он стихи? Он помолчал, потом ответил:

— Так ведь это же не стихи. Это правда...

Высшая похвала.

Домой, через Карповку, меня провожали, с фонариками, два заводских инженера. Они все время неотлучно при заводе. Семьи эвакуированы.

На днях один из них пошел все же проведать, что с квартирой. Живет он в Новой Деревне, в деревянном домике.

Приходит, а домика нет. Мебель вся в кусках. Среди обломков подобрал две-три уцелевшие фотографии жены и ребенка. Инженер сказал:

— Весь мой дом умещается теперь в кармане, и я ношу его с собой.

18 сентября 1942 года

Бьют в два молотка: приколачивают портьеру и ставят маленькую печку. Готовимся к зиме. Вторая зима в Ленинграде.

Вчера выступала с Тихоновым и Прокофьевым в милиции. Вторая глава действует безотказно.

20 сентября 1942 года

На рассвете страшная тоска, как бывало когда-то. Все из-за четвертой главы. Пишу второй очерк для Швеции. И. Д. пойдет отправлять оба сразу. После них возьмусь за главу.

21 сентября 1942 года

Под Сталинградом страшные бои. Но он держится. Под Моздоком убит генерал фон Клейст. Англичане бомбили Мюнхен.

Когда сводка улучшается, это видно по лицам. Сразу видно: в трамвае и на улицах.

24 сентября 1942 года

На фронте — по-прежнему. Бьются на улицах Сталинграда. Где-то бухает тяжелая артиллерия. Неужели наша?

Вчера вечером был Тихонов: читал часа два или даже больше. Он умный, блестящий...

Четвертая глава движется помаленьку.

*26 сентября 1942 года
7 часов вечера*

После пятимесячного перерыва воздушная тревога, которая длится уже около получаса. Хорошо, что я успела прийти: у меня ни пропуска ВТ, ни противогаза.

28 сентября 1942 года

Сегодня ночью чуть не сошла с ума от бессонницы и от четвертой главы. И от мысли о Жанне. Давно уже не было у меня такой лютой ночи.

29 сентября 1942 года

Сводка нехороша на всех трех фронтах. У нас в Синявине немцы вклинились в нашу оборону. Дневная сводка несколько лучше вечерней.

30 сентября 1942 года

Пришла пешком из Союза писателей. Опять золотая осень, как в прошлом году. Опять И. Д., как прошлой зимой, умучен делами и трудностями.

Наша артиллерия не умолкает. Сплошной далекий гул. В Сталинграде это показалось бы райской тишиной.

Со Сталинградом тяжело. О Синявине ни слова. Сводка молчит: только слышен голос нашей артиллерии.

Все мне кажется, что скоро с Ленинградом будет нечто страшное. Все окончится хорошо, но будет страшно.

Наши две комнаты на кафедре «микробиологии», устроенные так уютно... как бы все это не разлетелось на микрочасти.

Сегодня к нам в больницу привезли новых раненых. Откуда — неизвестно.

3 октября 1942 года

Четвертая подвигается хорошо.

6 октября 1942 года

Иногда мне кажется, что я — мать невиданно огромного семейства. Мои дети — это строфы четвертой главы. Я неустанно, днем и ночью, думаю о них. Я все снова и снова возвращаюсь то к одному, то к другому дитяти. Одного одену получше, другому приглажу вихор, третьему утру нос, четвертого и вовсе выведу вон. Все украшаю их, чищу, глажу и мою. И они, мои бесценные детки, становятся, на мой взгляд, все лучше. Число их увеличивается с каждым днем. Растет, растет моя четвертая главushка. С такой одержимостью я даже вторую не писала.

У нас испортилось радио, не знаю, что происходит на фронтах. Достоверно знаю только одно, что второго фронта нет.

Серая и сырая осень: прекрасно для работы. Я залезаю в свой уголок за шкафом, зажигаю свет (пока он еще есть). Я засыпаю с вечера мгновенно, а утром просыпаюсь с полуготовой строфой: как будто положила накануне комочек теста в волшебную печьку — и за ночь испекся колобок.

7 октября 1942 года

Четвертая глава (в ней уже 22 строфы) идет так хорошо, и писать ее такое наслаждение (теперь, когда мучения позади), что становится даже страшновато. Как будто заглянула в запретные области, где человеку быть не надлежит. Высоко... высоко, кажется — вот сорвешься. А дальше все придумано чудесно.

Если все и дальше так пойдет, то это будет глава достойная 25-летия революции.

Вчера в «Ленинградской правде» напечатана моя «Высотка». Так приятно было увидеть эту милую для меня вещь, похоронившую от крупного шрифта на выигрышном месте.

8 октября 1942 года

Все хорошо. План четвертой и пятая (эпилог). Одно плохо: честолюбие стало одолевать так, что сил нет. Иногда прохлынет такой волной, что уащается

дыхание и рука дрожит. Тут, сбившись с дыхания, сбившись в шаге, утрачиваешь ритм. И среди моря работы внезапно налетаешь на остров затишья. Это как раз было со мной вчера. Буду надеяться, что это был совсем маленький островок. И что сегодня я снимусь с якоря.

Все думаю о книжке Армстронга о падении Франции и представляю себе будущую свою — о Ленинграде, которая должна быть переведена на все языки. Вот опять, опять оно — честолюбие.

А ну-ка, за работу над главой!..

9 октября 1942 года

Сегодня ночью — лютая бессонница (худший вид, когда, проснувшись среди ночи, уже не засыпаешь до утра). Все мучил «нервный узел» четвертой главы. Сегодня как будто чуть сдвинулось.

На фронтах все те же невиданные еще бои. Сталинград держится. Кажется, напишу отличную главу... если только не рехнусь из-за нее.

Прочла «Нервную систему», «Мозг», отрывки из «Физиологии человека», и все это для восемнадцатой строфы. Но о нервной системе надо писать отдельную поэму. Это нечто непостижимое по уму и дальновидности. Сейчас пойду, сделаю большую прогулку, чтобы утрясти в мозгу то, что я прочла о мозге.

Чудесный, тихий, янтарный день. Стреляют, но где-то далеко.

10 октября 1942 года

Кажется, начинаю выкарабкиваться из четвертой. Бесконечно только жаль, что вся вторая половина дня для меня потеряна: обед у Кетлинской, выступление в лектории, паек и Золотухин. А как раз сегодня можно бы много сделать.

11 октября 1942 года

Опять тяжелая бессонная ночь. Сильная артстрельба всю первую половину. Мне показалось, что это зенитки. Я встала и включила радио на тот случай, если

тревога. Оно заговорило в шесть утра. И. Д. потянулся выключить его и спросонок разбил абажур лампы.

Сводка неопределенная и непонятная: бои северо-западнее Сталинграда. А сам Сталинград что же?.. И какое-то «закрепление на новых рубежах». И. Д. расшифровывает это как временную передышку для нас, как некоторое утихание боев за город. А я не уверена.

Северо-западнее Сталинграда отбито пять контратак. Пленный летчик сообщил, что туда стянуты крупные силы. Видимо, собираются драться отчаянно.

Синявино несколько оттянуло немцев от Ленинграда, хотя наша операция там и не удалась. Штурм Ленинграда, если таковой вообще предполагается, таким образом отсрочен.

Моя четвертая глава двигается. Но кто будет читать все это? Нужны ли стихи сейчас, в эти грозные дни?

14 октября 1942 года

Третий день на фронтах «изменений нет». Неужели, неужели немцы остановлены? Сердце замирает. Боишься верить. Не смеешь надеяться. А так хочется!.. Не хватает слов, чтобы выразить, как хочется.

А пока что приближаются разведчики. Надо кончать главу (вчера снова, в который раз, переписала первую строфу и заменила одну важную «студенческую» строфу новой, очень удачной). Но ведь надо еще писать «Обращение» по поручению горкома.

Сегодня телеграмма Фадеева: просит материалы для октябрьского номера «Литературы и искусства». И все хочется успеть.

15 октября 1942 года
Вечер

Большой для меня день: подвал Тихонова обо мне в «Правде»: о «Душе Ленинграда». Это превзошло все мои ожидания...

Не было бы никого счастливее меня сегодня, если бы не тревога о Жанне и неприятности И. Д. по институту. Но самое главное счастье: немцы все-таки остановлены под Сталинградом. Об этом с полной очевид-

ностью говорят и речь Рузвельта по радио — в день 450-летия со дня открытия Америки, речь, полная уверенности в победе, и не менее важная речь Черчилля в Эдинбурге.

Господи, господа, хоть бы!

16 октября 1942 года

Немцы, перегруппировав, видимо, силы, снова бросились на Сталинград и Моздок. Главное — на Сталинград. У них там большие силы брошены на один только рабочий поселок. Им удалось несколько потеснить нас.

Все теперь решается там, под Сталинградом. Вся судьба войны. Сегодня в двенадцать часов должны быть важные утренние сообщения.

Днем

Утренние сообщения нехороши. Немцы заняли несколько улиц в рабочем поселке.

17 октября 1942 года

Сводка очень плоха: мы оставили рабочий поселок. Опять навалилась на сердце такая тяжесть, что трудно дышать.

Хорошо хотя бы то, что мы кончили «Обращение». Сегодня отвезу его.

От Жанны по-прежнему ни слова. Сдам сегодня «Обращение» (только бы не заставили переделывать). И снова за главу.

Я только тогда и спокойна, когда уйду с головой в работу. Даже сводки еле доносятся сквозь эту толщу.

Но вдруг — толчок в сердце, — и тебя стремительно выносит наверх, навстречу всем трудностям.

У И. Д. тоже все трудно и плохо. Как на фронте.

18 октября 1942 года

Сводка несколько тверже: отбиваем атаки.

19 октября 1942 года

Все хуже чувствую себя по утрам, все труднее мне вставать. А между тем нельзя сейчас хворать.

Утренняя сводка средняя: в Сталинграде мы отдали квартал. Тревожно, тревожно на душе.

20 октября 1942 года

Дойдя за вчерашний день до полного изнеможения от юбилейного стихотворения, я внезапно решила: отсекала две первые строфы (они-то меня и путали, а я прикипела к ним и не могла отстать). Сегодня я кончила это стихотворение.

Оно было мне наукой — не упорствовать. А то бывает: идешь по ложному пути. И уже видишь, что не туда, и все же идешь и идешь. И все глубже входишь в ошибку, как в лес. А надо сразу бросать все и идти в другом направлении.

Теперь можно и за главу. На радостях, что все как-то распуталось, занялась немного хозяйством.

27 октября 1942 года

Наконец-то! Я себе не верю, и, однако, все сделано: четвертая глава кончена, вернее — почти вся переписана заново, дополнена, сокращена и сдана только что для октябрьского номера «Правды».

Мне самой трудно сейчас о ней судить. Она мне далась вот уж подлинно с невероятным напряжением сил. Но все же, думается, хороша. И главное — свежа, а это становится все труднее: писать свежо о Ленинграде. Обязательно нужен боковой ход. И он у меня найден. Муза вышла очаровательной. Это, пожалуй, самая поэтичная из глав.

Но это была геройская работа. Днем и ночью. Даже во сне я переделывала строфы. Был у меня момент отчаяния, когда я увидела, что не получается. А времени было уже мало. И хотелось обязательно к празднику. Я даже не помню, когда это было? Дней пять тому назад, что ли? Я было совсем приняла уже неправильное решение: отложить главу и написать сти-

хотворение. Я даже уже начала его. И потом вдруг решила: сожгла все свои кораблики. Бросила стихи и кинулась на главу. Но как!.. Я в жизни так не работала. Я дошла до какого-то странного факирского состояния. Мне казалось — захоти, и я начну светиться, как мой «светлячок». Захоти я немного приподняться над полом и в таком виде вытирать пыль в комнате — и я это смогла бы сделать. Усилия воли надо было добавить совсем уже немного.

События проплывали мимо, почти не задевая меня. Как во сне я принимала ответственных московских гостей, посетивших институт, поила их кофе и вообще исполняла все, что требовалось от меня как от хозяйки. Я и зубы лечила. Только английским не занималась: берегла голову.

Наиболее реальным было мое беспокойство за Жанну. Мне почему-то так ясно представилось, что она больна или еще более ужасное. Но судьба сжалась надо мной и доставила мне запоздалое, правда, но чудесное письмо от Жанны... И наконец вчера я получила телеграмму от нее.

И мне сейчас необыкновенно хорошо! Все сразу хочется делать: и отдыхать, и разбирать белье, и читать Тынянова, и начать думать о пятой главе. Или подбирать уже кое-что для книги прозы...

Я забыла написать главное: ведь я выбросила из главы сначала девять строф, а сегодня еще две — итого одиннадцать, то есть больше трети, весь «второй план», который определенно не вышел, хотя очень нравился мне сначала. Да и раньше я выбросила строфы две или три. Ведь надо было как-то решиться на это! Зарезать строфу — это все равно, что зарезать голубя.

Обязательно хочу кончить «Меридиан» в этом году. Чтобы эта поэма была детищем 1942 года.

На фронтах — по-прежнему. Но сегодня появилось уже Туапсе. А второго фронта нет как нет.

30 октября 1942 года

Четвертая глава имеет успех. Читала ее (опять же) на собрании балтийских писателей.

Я счастлива. Мне самой страшно нравятся все эти превращения музыки. Там есть нечто колдовское, очаровательное.

Вишневский поцеловал меня.

Обрадовала меня также строка обо мне в «Партийной жизни» в «Правде». О том, как в подводной лодке читают «Пулковский меридиан».

*31 октября 1942 года
10 часов 30 минут утра*

Снова, как и вчера в это же время, воздушная тревога. Но вчера я была уже в Пубалте. Вчера тревога длилась до четырех. Неужели и сегодня?

2 ноября 1942 года

Вчера в большом зале нашего райкома был выпускной институтский вечер... Он сошел отлично, а как И. Д. волновался из-за него!.. Я тоже выступала.

Вечер

Рассматривали маленькую детскую панорамку-стереоскоп «Пулковская обсерватория», как вдруг грохнуло. Думали, что это снаряд. Оказалась бомба, сброшенная еще до тревоги.

11 часов 45 минут. Отбой. Но раздеться и лечь бо-язно. Надо обождать немного.

3 ноября 1942 года

Мы оставили Нальчик.

Сталинградская битва продолжается. Вся мировая печать полна ею. Арабский писатель пишет: «Война на улицах Сталинграда обеспечивает мир на улицах Каира, Александрии, Бейрута, Дамаска и Багдада».

Вчера три тревоги за день: с 9 часов 10 минут до 11 часов.

В 11 часов 10 минут снова тревога.

11 часов 45 минут — отбой.

Сегодня без четверти семь — снова тревога минут на сорок: сразу две бомбы на улице Чайковского. Разрушен один дом и во многих выскочили стекла.

Вот и «подготовка» к зиме.

4 ноября 1942 года

Пятая глава растет и тянет меня в разные стороны: материала там на целую поэму.

8 ноября 1942 года

Важная новость: американцы оккупировали Алжир. Видимо, Роммелю приходит конец (Наконец!)... В Нальчике наша конница сильно потрепала немцев. В Сталинграде имеются только «небольшие группы» немцев. Но главное — это, конечно, Ливия. Если бы еще как следует воспользовалась Франция!.. Алжир — это по существу уже второй фронт. Правда, не такой, который немедленно оттянул бы от нас гитлеровские дивизии. Но в конечном итоге это все же сильный удар для немцев и катастрофа для Италии. Дополнительно они еще получили сильную бомбежку Генуи.

Но за все это косвенно расплачивается Ленинград. Надо же Гитлеру что-то сообщить своей Германии. Вот он и сообщает, по-видимому, что бомбит Ленинград. И хотя бомбит он его не сильно — не сравнить с прошлым годом, но все же вчера сброшено девять бомб. Сейчас снова тревога. Сегодня это уже третья, если не ошибаюсь. Не вылезает из тревог!.. Ночь была очень шумная. Зенитки грохотали. И я боялась, главным образом, наших осколков. Плохо то, что наш этаж, во-первых, верхний, во-вторых — надстройка. Все на живую нитку. Вот в прошлом нашем здании было в этом смысле куда спокойней. Из-за всего этого я стала плохо спать. Хочется спать смертельно, а уснуть не могу. Частые, быстро возникающие сердцебиения. И, главное, это теперь будет так каждую

ночь. Совсем измучаешься. Но можно перенести все это, только бы их били в Ливии до конца.

Уже совсем зима. Только снега нет. За пятую главу все никак еще не возьмусь...

9 ноября 1942 года

Только что закончила традиционную послепраздничную уборку. Все убрала, вытерла всюду пыль, разобрала бумаги, попила чайку. И снова начались будни. Милые будни, так назвала бы я их.

Это действительно любопытно: почему мне «не удаются» праздники? То ли я не успеваю вовремя настроиться душевно на «праздничную» волну. То ли я жду от праздников слишком много лично для себя, и это редко сбывается. Или то, что в праздничные дни отбиваешься от работы.

В последнее время много думаю о пьесе. Если писать пьесу о Ленинграде, то хорошо бы взять какой-то совсем небольшой промежуток времени, например, время налета. От тревоги до отбоя. И что произошло за этот период. Это хорошо тем, что здесь даны уже границы «от» и «до». Они уже даны, их не надо выдумывать. И потом, меня всегда привлекает старинное единство времени в сочетании с разнообразием места, чисто современным.

Или такая фабула: в дом попала бомба замедленного действия (как это было в кино «Арс»). Или полагают, что она замедленного действия. Как ведут себя люди. Бомба взрывается или не взрывается — это как мне, автору, нужно будет.

В Сталинграде бои в районе заводов.

Есть ли в мире город, душевно более близкий Сталинграду, чем Ленинград? Они перекликаются друг с другом через головы лесов и холмов, поверх лугов и полей. Они все время чувствуют друг друга. Судьба одного отдается в сердце другого жарким эхом.

Когда я сегодня сказала Евфросинье Ивановне, что немцы остановлены под Сталинградом, она ответила:

— Ой, Вера Михайловна, ажно кожа шевелится, когда я слышу такое.

Я ее очень хорошо понимаю. Когда я читаю, что фашистов бьют, у меня тоже мурашки счастья бегут по коже. Иногда думаешь: только бы не умереть от радости в день, когда гитлеровская Германия будет разгромлена, разбита.

Все эти дни — тревоги частые и сильные.

Вчера были на премьере «Раскинулось море широко», написанной коллективно Вишневым, Кроном и Азаровым.

Это мелодрама с музыкой. И хотя порой три авторские индивидуальности расслаиваются тут же, на глазах у публики, но в целом весело и патетично. Янет просто превосходен. Это, действительно, найденный тип.

Вишневецкий получил Красную Звезду. Поздравляли его.

В антракте слышала разговор двух девушек, из двух разных учреждений, о том, где им лучше встретить Новый год. Одна говорит:

— У нас оркестр хороший.

Другая возражает:

— А у нас бомбоубежище лучше.

Когда вернулись домой и, попивая чай, слушали про разгром Роммеля, началась тревога, очень сильная. Самолеты немецкие были где-то очень близко. Наши зенитки гремели так, что заглушали голоса. Много осколков попадало на нашу территорию: они барабанили по крыше, мы слышали это.

Вскоре после первого начался второй заход. По звукам слышно было, как неприятельские самолеты начинают новый круг, проходят над самой головой. Все это длилось до половины второго ночи. Бомб было сброшено много.

И все же совсем не бояться я не могу. Три дня назад, когда я шла на Песочную, днем, началась тревога. Немцы летали низко, наши зенитки били сильно, а спрятаться было просто негде: забор и ни одной двери. Я побежала было. Стало жарко, сердце забилося отчаянно. Я поняла, что так можно умереть от паралича сердца без всякой бомбы. Пошла медленнее и дошла

благополучно. Но с того дня что-то сделалось с сердцем... Вот и наживу себе новую болезнь в добавление к старым.

В прошлом году налеты продолжались до декабря. Возможно, что и сейчас так будет. А ведь сегодня только 9 ноября, — еще долго ждать.

11 часов 40 минут вечера

Тревога, и сразу же неподалеку — бомбы. Наша зенитная батарея бьет очень сильно. А весь вечер был тихий, очень домашний: переставляли мебель. Приходится переходить на зиму в мою маленькую комнату: в большой очень холодно... (Сейчас стихло. До второго налета.)

Второй час ночи

Второй налет действительно был. И тоже сильный. Промежуток между первым и вторым минут двадцать — двадцать пять. Наши зенитки просто из себя выходили. Теперь полная тишина, но отбоя еще нет. Очевидно, программа немецкая сейчас такова: минимум два налета, дневной и ночной. Дневной примерно в полдень, ночной — в полночь. Ну, и измучают же они нас теперь.

10 ноября 1942 года

Боюсь, что бессонные ночи так меня измучают, что совсем не смогу писать. Все мечтаю с головой уйти в пятую главу, оставив себе только щелочку для воздуха.

Четвертая глава не попала ни 6-го, ни 7-го в «Правду». И главное — я могла ведь дать ее хотя бы в «Литературу и искусство». Но, как ни горько все это, надо браться то ли за главу, то ли за статью.

Полдень с минутами

Только успела прослушать начало известий по радио, как началась тревога.

Но все же я успела услышать, что в Сталинграде

мы громим «мелкие группы противника»... Отбиваем их небольшие атаки.

В Северной Африке разгром немцев, точнее — итальянцев, продолжается и расширяется.

11 ноября 1942 года

Начальник институтского штаба ПВО передавал вчера со слов своего друга, крупного военного, что активность гитлеровцев на нашем фронте объясняется сменой здесь их командования.

Взбешенный провалом ладожского десанта и синявинской операции, Гитлер назначил сюда нового генерала (фамилии не знаю). И эта «новая метла» старается.

12 ноября 1942 года

Окончательно устроились на зимовку в моей маленькой комнате. Перенесли сюда диван, обеденный стол, этажерку с посудой. У печки здесь сохранилась даже муха. Когда тепло — она оживлена и подвижна. Стоит Евфросинье Ивановне хуже истопить печку — муха вяло сидит на стене: она мне заменяет градусник.

Ночь была тихая. Сейчас тоже тихо. Что в Северной Африке — неизвестно, так как немцы специально не дают слушать радио: как только доходит до иностранных известий — тревога. Но все равно — в Ливии немцев бьют, это доподлинно известно.

Вечер

Громадные новости! Петен и Вейган бежали из Виши. Дарлан сдался союзникам. Немцы высадились в Тунисе. Кроме того, они заняли Виши, Марсель, Лион.

Теперь вся Франция в их руках. Это в наказание за то, что она допустила высадку союзников в Алжире и Марокко. И за нежелание французских рабочих и инженеров ехать в Германию. В Париже и других городах Франции большие антигерманские демонстрации молодежи. Черчилль сказал по радио, что для

гитлеровской Германии это начало конца. Боже! Теперь «ажно кожа шевелится»!..

Во всяком случае, для нас это передышка. Несчастный Сталинград перестанет (уже перестал) истекать кровью, хотя бои там идут за улицу, за дом, за лестничную площадку.

Воображаю, что делается сейчас в эфире. Какая там давка радиоволн, речей, сообщений, сводок, телеграмм и т. д.!

Что касается меня, то я должна неотрывно писать главу, иначе потом не угонишься за событиями.

14 ноября 1942 года

Тревога вчера вечером была не слишком длительная, но довольно бурная. Стреляли близкие зенитки. Ночью сквозь сон я слышала гул, но думала, что обстрел. Говорят, была тревога. И вот сейчас опять. И все же она теперь короче и тише... Отбой.

В чем опасность стихописания: обрадовавшись, что перо послушно тебе, — не написать лишнего. Предметы то не даются в руки, то, наоборот, манят внезапными озарениями. Показывают себя с самой выгодной стороны. Стоят, как просители, у входа в поэму или роман: только приоткрой им дверь — они хлынут. Но этого нельзя допускать.

19 ноября 1942 года

У И. Д. опять столько трудностей с «подготовкой к зиме», что у него (неслыханная вещь) тоже начались бессонницы. Вчера он даже просил у меня на ночь валерьян с ландышем. Я напоила его и сама выпила. Тяжелые мысли просто одолевают. Как-то пройдет эта зима!..

Ох, я так устала от всего этого... Но пятая все-таки понемножку движется. Есть уже пять строф. Мне бы только вылезти из Ботанического сада. Но я уже у порога. Это необычайная удача, что Пулковский меридиан проходит как раз через сад. Я-то ведь не знала этого. Узнала случайно от Успенского. А для меня это

страшно важно. Во-первых, сразу понятно, почему сад. А во-вторых, экономит строфы. Я пришла бы, конечно, к меридиану, но кружным путем, а тут — прямой.

20 ноября 1942 года
Час дня

По радио: крупный успех под Орджоникидзе. Одних убитых фашистов пять тысяч, раненых чуть ли не втрое больше. Очень много трофеев. У союзников тоже хорошо: подходят к Бизерте. (Только что окончился сильный обстрел. И близкий. Зато налетов уже давно нет.)

22 ноября 1942 года

По радио. «В последний час». Наши войска под Сталинградом перешли в наступление. Оно началось с двух сторон: с северо-запада и с юга. Мы продвинулись на шестьдесят — семьдесят километров. Нами взят Калач. И главное — эти слова: «Наступление продолжается...»

Может быть, это и есть перелом в войне.

4 часа ночи

Только недавно окончился сильный обстрел нашего района. Снаряды рвались совсем близко. В доме № 10 (соседний дом) убило женщину осколками, влетевшими в окно. Мы были в штабе, когда оттуда в эту квартиру посылали лекпома. Но женщина уже была мертва. В штаб мы спустились оттого, что слишком страшно стало в нашем птичнике. Он весь вздрагивал.

Ночь была неопишуемой красоты, вся розовая. Я заметила, что голубой лунный свет и белизна снега образуют розовый тон.

Выстрелов пришлось на наш район штук двенадцать — пятнадцать с разными промежутками: от пяти до двадцати минут. Била, видимо, очень тяжелая «севастопольская» пушка. Ясное дело, что это нам за Сталинград...

Зато налетов давно уже нет. Не забыть рассказа Булатова вчера вечером в МПВО — о мертвых мальчиках-ремесленниках в Белом лепном зале. Их там было человек сорок мертвых. И один живой, вернее, полуживой, который стоял и смотрел на них. (Обстрел сильный!.. Или это уже мы? Не понять.) Булатов: как он пробежал по живым людям во тьме коридоров приемного покоя. А бежал он потому, что стали падать вокруг здания зажигательные бомбы.

23 ноября 1942 года

Вчера ночью, как мы и предполагали, тотчас же после обстрела началась тревога. Зенитки я слышала сквозь сон, а потом уже ничего не слышала. Но очевидно одно: сейчас, когда немцы так злы за провал под Сталинградом, никаких снотворных принимать нельзя. Нужно быть готовым ко всему.

Решила писать пятую главу прямее и публицистичнее. В стиле первой, но глубже и шире. Меридиан тоже будет взят в другом смысле: не как линия водораздела культуры, а как символ единения народов... Меридиан — это черта, проведенная нашей страной по странице мировой истории развития человечества. Новая глава со звездой в подзаголовке. Нашей Звездой, порождением нашего неба (Пулковская обсерватория). В этой главе никакой поэтической «каллиграфии», никакого чистописания. Не перо, а плеть.

Булатов случайно поднялся на крышу своего дома и тут только обнаружил в двух соседних крышах (и чуть ли не на своей собственной) три дыры от снарядов и бомб.

Выражение: «Бомба упала. Ну, тут нас и шевельнуло».

Вчера на улице видели миловидную девушку в кожанке, с портфельчиком. Она деловито вела за собой на привязи козу. Прохожие оглядывались... На козу. Не на девушку.

24 ноября 1942 года
Утро

Блестящие успехи под Сталинградом.

Днем

Рассказ З. В. Оглоблиной. Больная в палате говорит ей: «Доктор, я жду вас, как бога». — «Или — как кило хлеба», — поправляет другая.

25 ноября 1942 года

Вчера, когда мы уже уснули, — стук в двери. Явился начальник штаба ПВО и сообщил, что вода в Карповке поднялась угрожающе и залила пространство перед Ботаническим садом. Если подымется ветер — не избежать наводнения. Но сегодня ветра нет. Выпал небольшой снег. Как ведет себя Карповка сегодня — не знаю.

Немцы не дают слушать радио: с ума можно сойти от них.

26 ноября 1942 года
Утро

Слушала радио. Наше наступление под Сталинградом продолжается. Прибавилось еще пятнадцать тысяч пленных и шесть тысяч убитых: это только за 25-е число.

У союзников — средне. Интересно «беспокойство в Италии» (как не быть беспокойству!). Запросы в Англии, в палате общин, о Дарлане.

Ночь у нас была очень тихая. Не получают у Гитлера налеты на Ленинград. Это ему не прошлый год!..

3 часа 30 минут

Сейчас, слышу, в коридоре Сергей Павлович, секретарь нашей парторганизации, спрашивает кого-то:

— Шрапнелью, что ли?

А тот отвечает:

— Черт их знает! — и дальше говорит о делах.

Я это хорошо понимаю. Когда человек очень занят и знает, что эта работа нужна, необходима, он меньше боится. Просто он не думает об опасности.

27 ноября 1942 года
Утро

Радио онемело окончательно. Но Евфросинья Ивановна опять сказала, что «наши бьют». А вдруг это и есть перелом в войне. И если дорогие союзники не прошляпят в Африке, то действительно начал разматываться этот страшный клубок.

Сегодня похолодало. Дома нежно-розовые от солнца. А над ними поздний, утренний, холодный на вид месяц. Он похож на ночного сторожа, который зяб всю ночь, даже весь съежился от стужи. И сейчас завалится спать в какое-нибудь рваное, но теплое облако.

Днем

Настроение отличное.

У нас под Сталинградом еще двенадцать тысяч пленных: итого шестьдесят одна тысяча. Гонят немцев на Дон. Неужели будет нам эта радость: дожить до окончания войны!

28 ноября 1942 года

Вчера «В последний час» не было, но мы продвигаемся вперед. В Сталинграде выжимаем неприятеля квартал за кварталом.

Немцы вошли в Тулон, но французский флот весь взорвался: линкоры, легкие и тяжелые крейсера, эсминцы, двадцать пять подлодок. По сообщению: «Утром порт представлял из себя потрясающее зрелище: все корабли лежали на боку». Можно себе представить! Но хорошо, что все это не досталось Гитлеру. В Африке, видимо, приближается решающая битва за Бизерту. Хорошо бы встретить Новый год если не с победой, то хотя бы с уверенностью в близкой победе!..

Передовая «Правды» от 25 ноября называется: «Ленинград, Одесса, Севастополь, Сталинград». Бу-

дут учреждены медали защитникам этих четырех городов. И даже гордость охватывает меня при мысли, что один из этих городов, Одесса,— моя родина. А что сама я — в Ленинграде.

*29 ноября 1942 года
Утро*

Так как наше радио еще не работает, то вчера, в начале второго ночи, к нам прислали дежурного по МПВО с «Последним часом». Мы прорвали оборону немцев на Центральном фронте, под Ржевом.

Эти слова, написанные на бумажке, я прочла в ледяной комнате при свете «летучей мыши» (электричества по ночам нет).

От волнения мы не спали потом всю ночь.

12 часов ночи

«В последний час». Наступление наше продолжается и на Центральном фронте и под Сталинградом, где прорвана еще одна линия вражеской обороны.

30 ноября 1942 года

В «Правде» от 26-го великолепный очерк Василия Гроссмана «Направление главного удара». О Сталинграде. Вырезала и спрятала.

12 часов ночи

«В последний час». Наше наступление продолжается. За один день на Центральном фронте у гитлеровцев семь тысячtrupов.

*7 декабря 1942 года
1 час 45 минут ночи*

Кончила, только что кончила поэму!

16 декабря 1942 года

«Пулковский» уже набран, и даже обложка готова. Завтра еду смотреть ее.

17 декабря 1942 года

Сегодня по дороге из Союза писателей спросила И. Д., как он думает, можно ли мне теперь подать заявление о приеме в партию.

Про себя я давно решила сделать это, как только окончу поэму.

И. Д. сказал, что наша институтская парторганизация относится ко мне хорошо.

19 декабря 1942 года

Идет партбюро. Я подала заявление. Сейчас меня должны вызвать: я расскажу автобиографию.

23 декабря 1942 года

Сегодня принята в кандидаты партии.

Началось наше наступление в районе среднего течения Дона.

29 декабря 1942 года

Год кончается в таком количестве дел, что совсем не остается времени для записи. Здесь и эпопея с пьесой: ее бесславный конец все же был для меня счастьем — иначе поместили бы меня в психиатрическое отделение больницы Эрисмана. Тут и беспокоящая меня пятая глава. Очевидно, я перемудрила с ней. Как сказал этот проворный К.: «Она самая умная». Упаси бог от этаких похвал. Как бы то ни было, сигнальный экземпляр поэмы уже у меня.

Изматывает меня то, что я всегда спешу. Правда, я никогда и не опаздываю. Но чего мне это стоит. Вчера в последнюю минуту диктовала стенографистке новогоднее стихотворение для «Ленинградской правды». Сегодня утром написала для радио новогоднее пожелание ленинградцам. Все это мелочи, но все отнимают время и, главное, лишают сна. Стоит мне знать, что на завтра осталось нечто недоделанное, и бессонная ночь обеспечена. А здоровье все хуже. Болят десны. Не цинга ли все-таки?

На фронтах наши дела превосходны. Южнее Сталинграда немцы отброшены на 25 километров.

В «Правде» было описание медалей защитникам четырех городов. И даны их изображения.

1 января 1943 года

Вчера поздно вечером, когда наш новогодний стол был уже почти накрыт (светлый, нарядный, с пирожками и вином), когда гости почти все уже сошлись и мы ждали только Вишневого (он выступал по радио), началось сообщение: итоги нашего шестинедельного наступления под Сталинградом. (Мы с Мариэттой так и застыли с рюмками в руках, чтобы не звякнуть.)

Немцы потеряли убитыми сто семьдесят пять тысяч. Пленными тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят человек. Нами окружено двадцать две их дивизии.

2 января 1943 года

Последний день старого года прошел не так, как я хотела. Я думала в последний день старого года сделать краткий обзор своих достижений и неудач. Перечень своих надежд. Но не успела. И сегодня не успела написать обо всем. И позавчера не успела написать о ночи непрерывных налетов. Бомба упала где-то недалеко: все содрогнулось у нас. Ничего я не успеваю.

Были мы на елке во Второй хирургии. Я вышла читать больным и вдруг почувствовала, что сама больна. Я очень устала.

Мучает меня пятая глава. Ее не понимают и не любят. Значит, я не сказала всего, что хотела. Неужели я неудачным концом испортила поэму? А конец-то венчает дело.

Мне хочется снова или писать что-нибудь большое, или отдыхать. Читать. Я так мало читаю сейчас.

Ну, ладно! Нажаловалась, наплакалась сама себе в жилет. Достаточно.

6 января 1943 года
Что-то около 9 часов вечера

Недавно вернулась из 11-го корпуса, из терапевтического отделения, где была елка для медперсонала. Там среди санитарок есть такие красавицы девушки: настоящая цветущая юность, все превозмогающая, все претерпевающая. А каковы они были прошлой зимой!

Угощение на елке было: черный кофе с дульцином (нечто вроде сахарина, но более приятное на вкус) и ломтики черного хлеба, посыпанные глюкозой. На вид она похожа на раскрошенный творог. Я бы сказала — вкусно.

7 января 1943 года

Вчера ночь была бурная: тревоги до утра. Гитлеровцы бросали зажигалки целыми связками. Недалеко от нас бросили громадную зажигалку — целый баллон, наполненный нефтью и еще разной горючей смесью.

Наши дела на фронте блестящи. Мы освободили Нальчик.

9 января 1943 года

Скорей бы начать писать как следует. Столько планов. И начатых стихов. Но главное сейчас — это книга прозы. Я подумываю о том, чтобы в «русский вариант» вставить стихи. Для «западного варианта» это не надо.

Читаю сейчас дневниковую литературу, которой меня снабдил Вишневский. Это чтение мне полезно. Только бы разделаться уже со сборником.

Отсутствие телефона просто убивает.

Забавный разговор с И. Д. Он сказал, что прямое попадание бомбы так же редко, как выигрыш в двести тысяч рублей, и что поэтому его нечего бояться. Мне показалось это убедительным. Но, обдумав все ночью, я спросила утром:

— Ну, хорошо, крупный выигрыш редок. Но мелкие «выигрыши» в виде осколков уж не так редки.

И. Д. согласился со мной.

13 января 1943 года

Вчера необыкновенно хвалебная обо мне статья в «Ленправде». Так меня еще никогда не хвалили. Но любопытно — о пятой главе ни слова.

Очень занята. Просто разрываюсь.

14 января 1943 года

Переналолненный день. Кончила стихи о Ленине, ездила в типографию имени Володарского сниматься для кинохроники, два раза попала под обстрел.

В типографии меня сняли у линотипа, где набирался мой «Пулковский». Я спросила одну работницу:

— Как у вас тут было прошлой зимой?

Она ответила:

— Было так, как вы, товарищ Инбер, описали в вашей второй главе.

На нашем фронте, у Колпина, начались события. Еще одна попытка (и на этот раз серьезная) прорвать кольцо. И немцы (которых там жмут) и налетают на вас и обстреливают одновременно.

Сейчас (11 часов 30 минут ночи) тревога, но тихая. Зенитки молчат. А снаряды падают близко, и радио объявило, что это наш район. Не знаю, ложиться ли. Очень устала, но довольна. Счастлива.

Только бы у нас на фронте удалось. Неужели все-таки блокада кончится? Даже не верится. И обидно будет, если убьют именно теперь.

16 января 1943 года

Необыкновенный день. Весь город ждет: вот-вот! Мы взяли Шлиссельбург — это точно. Но еще говорят, что оба наших фронта (Ленинградский и Волховский) соединились. Официально еще ничего не известно. Но город ждет.

Бьет где-то артиллерия, недавно только кончилась тревога: быт осажденного города продолжается. Но все ждут. Никто ни о чем не говорит, точно все боятся,

что не к месту сказанное слово домчится туда, где решается наша судьба, и что-то там изменит. Все работают. Руки движутся, губы произносят нужные слова. Но каждый точно заряжен электричеством ожидания.

Я растерянна. Не нахожу себе места. Пыталась писать, но не могу. Ходила в райком фотографироваться для кандидатского билета.

А вдруг сегодня «Последний час» будет про нас?

12 часов 30 минут ночи

«Последний час» такой, что нельзя спокойно слушать. Идет, идет освобождение!

*18 января 1943 года
Ночью*

«В последний час». Блокада прорвана. Ленинград свободен.

19 января 1943 года

Прошлой ночью, тотчас же после «Последнего часа», началась радиопередача.

Первое мое движение тоже было — на радио. Но у меня не было ночного пропуска. Потом оказалось, что в ту ночь его не спрашивали. Затем я боялась, что опоздаю: радиоцентр ведь далеко от нас. Я не знала, что передача будет до трех часов ночи.

Но, сидя дома, я записала почти всех выступавших. Рабочий сказал:

«Я знаю, что сейчас, в эту минуту, никто из вас не спит». (Он был прав. Кто мог спать в такой час?)

Ольга Берггольц:

«В январе прошлого года, хороня в мерзлой земле своих соратников, хороня их без воинских почестей, нагих, в братских могилах, вместо прощального слова мы клялись им: «Блокада будет прорвана. Мы победим».

Работница Мухина:

«Я только что с митинга в цеху, вернее — с митингов в цехах нашей фабрики. Что это было, товарищи! Не расскажешь, нету слов. Мы будем работать еще

лучше. Но уже и сейчас мы построили дзоты, за которые удостоились высшей правительственной награды.

Илья Александрович Груздев:

«Товарищи! Сограждане! Соотечественники! Тысячеклятый враг почувствовал в эти дни могучую силу Красной Армии, могучую силу русского народа. Мы поднимаем здравицу за Ленина, величайшего стратега истории».

Летчик Ерлыкин:

«Фашисты готовили своим солдатам медали «За взятие Ленинграда». Они много раз рвались на своих «юнкерах» и «мессершмиттах» к нашему городу. Но ленинградское небо было, есть и будет советским небом».

Боец Цветков:

«Разрешите доложить, как бойцы моей роты участвовали в прорыве блокады Ленинграда».

Два дня тому назад мы атаковали рабочий поселок. Наши танки шли на врага, а за ними двинулись мы, наш батальон. С возгласом: «За город Ленина!» — мы рванулись на фашистов. Мы выбивали их, проклятых гадюк, из сильно укрепленного пункта, где каждое здание было как крепость.

Во время атаки вражья пуля попала мне в голову и залила кровью лицо. Командир батальона приказал мне отправиться в медсанбат. «Товарищ командир, — сказал я, — разрешите остаться на поле боя до выполнения поставленной боевой задачи».

Утром 17 января поселок был нами взят. И тогда я направился в полевой госпиталь. В боях за город Ленина я был трижды ранен. Три раза я пролил свою кровь за то, чтобы вам стало легче. За нашу окончательную победу я готов отдать всю свою кровь, капля за каплей».

Работница энского завода Таня Серова:

«Что за ночь сегодня радостная! Как долго ждали мы ее! Дождались, наконец. Перерублена черная петля, которой враг хотел задушить наш город».

Товарищи, мы тоже участники великого наступления. Десять дней и десять ночей рабочие нашего завода без сна и отдыха монтировали для вас боевые машины. Машины эти ушли на фронт — за победой!»

Все эти выступления перемежались стихами и песнями.

Я написала для заграницы очерк «Они соединились».

Во второй его половине я писала:

«Даже в самые грозные часы ночных налетов и обстрелов на ленинградских предприятиях не прекращалась работа ночных смен, хотя в одной только типографии в одну только ночь было 47 ранений от слетевших ламп, вырванных окон и дверей и обвалившейся штукатурки.

Всю эту неделю перед прорывом блокады Ленинград жил так же, как все эти 16 месяцев. В эту ночь было два больших концерта, где исполняли Скрябина и Чайковского. В театре Дома Красной Армии шли «Русские люди» Симонова. В Театре музыкальной комедии шла пьеса «Раскинулось море широко» — из жизни балтийских моряков. В газете «Ленинградская правда» от 14 января мы читаем, что подведен итог первой половины учебного года в школах, причем 60 процентов наших школьников учились на «хорошо» и «отлично», хотя не так давно один маленький мальчик объяснил мне, что получил «неудовлетворительно» по арифметике «из-за фугасной бомбы».

В эти дни ученица 4-го класса 49-й школы сделала по радио доклад для школьников на тему «Голубь — военный фотограф». А Вова Киселев из 52-й школы рассказал о воспитании санитарной собаки.

Семнадцатого января семилетняя девочка Ляля сказала своей матери, что завтра или послезавтра блокада будет обязательно прорвана. Что об этом детскому саду сообщила та воинская часть, с которой детский сад состоит в дружеской переписке. «Они прорвут блокаду и привезут нам пряников», — сказала Ляля матери.

И когда вечером 18 января по радио раздалось: «Блокада прорвана», — Ляля выскочила из кровати в ночной рубашке. Дрожащее от холода и волнения, бледное ленинградское дитя, пережившая блокаду ленинградская девочка вскочила на стул, чтобы быть повыше, и, стоя там, громким голосом прочла стихи,

в этот день выученные ею в детском саду: «Не уйти от возмездия Гитлеру!»

Эта осыпанная снегом лунная ночь с 18 на 19 января 1943 года не изгладится из памяти тех, кто ее пережил. Одни из нас старше, другие — моложе. Всем нам в той или иной степени предстоит еще в жизни радости и горести. Нам предстоит еще счастье полнейшего разгрома гитлеровской Германии, полное освобождение нашей страны от врагов. Но этой радости, радости освобожденного Ленинграда, мы не забудем никогда.

Заводы, фабрики, штабы МПВО, частные квартиры, улицы, родильные дома и госпитали, где лежали раненные, — весь город облетела одна короткая фраза: «Они соединились!»

Это означало, что войска Ленинградского фронта, идущие со стороны Ленинграда, соединились с войсками Волховского фронта, идущими к Ленинграду. Это означало, что кольцо блокады прорвано».

*20 января 1943 года
Около 10 часов вечера*

Первая после прорыва блокады воздушная тревога.

23 января 1943 года

Мы все сильнее сжимаем кольцо окружения под Сталинградом. 8 января Рокоссовским был предъявлен ультиматум 6-й немецкой армии. Было сказано: «Суровая русская зима только начинается. Сильные морозы, холодные ветры и метели еще впереди... Ваше положение безнадежное...»

Немцы отклонили ультиматум. И 10 января началась наша генеральная атака. Она продолжается до сих пор...

Не уйти немцам из-под Сталинграда.

24 января 1943 года

У меня небольшая (надо надеяться) полоса неудач: очень плохо работаю. Ничего значительного не написала по поводу прорыва. Я давно заметила, что

торжественные даты редко мне удаются. (Выключила радио минут на десять. Только что включила, а метроном уже частит: тревога.)

Трудно здесь будет в эти дни. Немцы, как шершни, разворошенные в дупле, налетают и жалят. Вчера тревога длилась почти всю ночь. Одна бомба снова упала в Ботанический сад, в пруд. Две другие — на Пионерской и на Введенской. Теперь это будет повторяться часто. Немцы мстят нам за свои неудачи на всех фронтах, особенно на Северном Кавказе, где нами взят уже Армавир.

На дворе лютый холод, в комнате тоже не тепло. В связи с этим, как сказал один боец, «создается усиленный аппетит».

26 января 1943 года

Слушала сейчас, как по радио передавали мою «Энскую высотку». Музыка приятная.

27 января 1943 года

Вчера сбиты за городом двадцать восемь вражеских самолетов. Благодаря этому я сегодня смогу спокойно поработать. Надо засесть за текст для «Окна ТАСС».

Радио снова испорчено, и я ничего не знаю. Как сказала Евфросинья Ивановна: «Без радио живем, как в темной бутылке».

28 января 1943 года

Ликвидация 6-й немецкой армии под Сталинградом в основном закончена.

Вечер

Тихий день. Утром была небольшая тревога, но тихая. Оказывается, вчера сбито за городом двадцать пять немецких самолетов. Сегодня, видимо, зализывают раны. И благодаря этому я смогла спокойно вымыть голову. Вчера бы я не отважилась на это. Неуютно с мокрой головой, когда над ней летают «юнкерсы».

Каждый день теперь приносит мне сюрприз один лестнее другого. Сегодня вызвал меня Золотухин и предложил быть мне представителем Информбюро от Ленинграда. Это необыкновенно лестно, но не вполне ясно — то ли я должна писать сама (это одно), то ли я должна организовать целое учреждение наподобие ТАСС. И так как сам Золотухин точно не представляет себе все это, то он говорит, что я должна съездить в Москву за инструкциями. Я согласилась... А в Москве все выяснится, какая работа и какова моя роль.

Странно поворачивается моя жизнь. Она как будто хочет меня возместить за то, что я так долго была в тени, что меня хвалили сквозь зубы. Я так долго была Сандрильоной в затрапезном фартучке у пишущей машинки. Мне так хотелось «на бал». Но там блистали другие. А теперь зовут на бал меня и на какой бал!.. На мировой, в полном смысле этого слова. Выход в мировую печать — это ведь как раз то самое, о чем я мечтала. Это лотция для моей будущей книги.

Мне начинает казаться, что трудно, со скрипом, на тяжелых петлях открывается постепенно передо мною дверь в широкий мир. Пока еще это только щель, сквозь которую синее море, золотится песок, слышен далекий смутный говор. Я хочу всего этого, я хочу видеть мир. Из всех жажд моих жажда путешествий осталась почти неутоленной. Я не могу считать поездок в Европу. Я была тогда слишком молода, очерчена тесным кругом маленьких суетных желаний. Я ничего не видела. А то, что видела, не сумела, не захотела описать.

Не то теперь. Мне хочется, чтобы последние 10—15 (я не знаю сколько) лет моей жизни были самыми интересными. Я хочу видеть послевоенную Европу и Америку. Я хочу написать третью часть «Путевого дневника». Я хочу написать прозу, которая была бы переведена на все языки. Я горжусь своей страной, я хочу, чтобы и она гордилась мной.

Мои волосы цвета пепла. Это седая Сандрильона. Но она хочет на бал. И, возможно, поедет.

Размечталась, как давно уже не мечтала. Позволила себе эту роскошь.

А завтра утром надо засесть за «Окно ТАСС»...

31 января 1943 года

Рассказ о секретаре партийной организации Публичной библиотеки — Ф.

Ф. и еще один сотрудник библиотеки вошли прошлой зимой в квартиру, где, по их сведениям, должна была оставаться маленькая девочка. В квартире было мертво и холодно: страшный облик квартиры прошлого года.

Ф. и ее спутник уже собирались уходить, как вдруг им почудилась как бы тень дыхания.

— Здесь кто-то дышит,— сказала Ф. и подошла к кровати, заваленной тряпьем.— Я подержу фонарь, а ты взгляни.

— Нет, лучше я подержу, а ты взгляни,— ответил Ф. ее спутник.

Обоим было жутко.

Но Ф. решилась. Она откинула и разворошила ледяные одеяла. На кровати лежали мертвые старик и старуха: дедушка и бабушка. А между ними светились на подушке два ясных детских глаза. Это была внучка, девочка трех-четырёх лет.

Ф. привела ее к себе. Девочка была вся в пролежнях. Когда ее вымыли, она сказала:

— Дай каши.

Ее накормили. Положили в больницу, где делали все, чтобы спасти ее, но она умерла на семнадцатый день. Даже имя осталось не вполне установленным: не то Машенька, не то Ниночка. В своих дневниках Ф. так и называет ее: «Ниночка-Машенька».

1 февраля 1943 года

Вчера до часу ночи сидели у нас Фадеев и Вишневецкие... Было смешно и трогательно, как Фадеев читал вслух мою вторую главу из «Пулковского», а потом четвертую. Он восклицал с восторгом: «Орлица! Прелесть! Дай свою рученьку поцеловать». А потом уже в полном восхищении закричал: «Собака!»

Сегодня он звонил мне: утром прочел поэму «свежими» глазами. Все снова и снова, без конца повторял он: «Вера, это прекрасно! Это прекрасно». И еще: «Это на века!» (Вон куда метнул!) Во всяком случае, мне это бесконечно приятно. Скажу и я: «Это прекрасно!»

А все же хорошо было бы мне полететь с Фадеевым в Москву!..

Вышла погулять. Решила пройти своей любимой дорогой, вдоль Ботанического сада. Ладожские грузовики оттуда ушли, и проход теперь свободен.

Но не успела я дойти до главного входа в Ботанический, как начался обстрел, такой близкий и такой частый, как тогда, у Ситного рынка.

Кроме меня, на улице была только одна женщина с ребенком. Она легла на тротуар, закрыв девочку своим телом. Я побежала обратно через Карповский мостик, домой.

Я чувствовала, что бегу навстречу выстрелам, но не могла остановиться. Влетела во двор — и сразу в нашу аптеку, как самое близкое здание.

А там оказался И. Д., который пришел за кодеином. Как только я его увидела, так сразу весь страх и прошел. Вместе мы и вернулись.

Снарядов было штук десять, не больше. Видимо, подвезли орудие на буере.

2 февраля 1943 года

Два самых популярных вопроса, которые задают докладчику-международнику: «Кто убил Дарлана?» и «Когда будет второй фронт?»

У Луговского песня «Рыжая Бэс, бесстыжая Бэс». А у нас: «Восьмая ГЭС, знаменитая ГЭС». Восьмая ГЭС — поселок, где идут бои.

Рассказ Фадеева о реактивном снаряде, который бойцы прозвали «Иван Долбай», — под пару «катюше», очевидно.

4 февраля 1943 года

6-я немецкая армия под Сталинградом перестала существовать. В боевом донесении сказано, как в старинных петровских реляциях:

Взяты в плен: генерал-фельдмаршал — 1 (Паулюс).
Генерал-полковников — 2.

Остальные — генерал-лейтенанты и генерал-майоры.

Всего взято в плен 24 генерала. Общее число пленных 91 000.

Боевые действия в Сталинграде и в районе Сталинграда прекращены.

5 февраля 1943 года

Из одного письма:

«Ленинградцы прокладывали путь к защите городов, а сталинградцы закончили путь защиты городов и открыли новый путь — разгрома гитлеровской Германии.

Спасибо вам, ленинградцы, за великую услугу всему человечеству и в первую очередь — нашему советскому народу».

8 февраля 1943 года

Невралгия мучает. Я уже до болезни «сбилась с руки», как иногда «сбиваются с ноги».

Не знаю, как будет с поездкой в Москву.

9 февраля 1943 года
Ясное морозное утро

На раннем рассвете начался обстрел нашего района и длился около четырех часов. Разрывы были разные: то с воздуха — двойные, возможно реактивные, то низкие, с сотрясением почвы. Удивительно гулко рвутся снаряды ранним утром в спящем городе, точно в пустом каменном амфитеатре, где эхо тоже расположено рядами.

Евфросинья Ивановна говорит, что к нам привезли раненых «в одежде, и кровь течет». Значит, ранены на улице. Один снаряд разорвался у мечети.

Это немцы нам мстят за все. За Сталинград в первую очередь. И за вчерашние Курск и Карачев.

Вчера перед сном читала Вячеслава Иванова о Ницше и Дионисе, о мистическом парении духа. И любопытно было, как сегодня на заре все эти ницшеанские прозрения обернулись фашистскими снарядами...

Вчера был Фадеев. Много говорили.

10 февраля 1943 года

Утром

Окончательно расклеилась, «вышла из графика», утратила «ритм», что для меня является подлинной катастрофой. Рывками я ничего не могу добиться: только неторопливым, но непрерывным усилием.

Замучили невралгия и отсутствие телефона: остановились все мои дела. Поездка в Москву повисла в воздухе. Что касается книги прозы, во всяком случае надо писать иначе, чем думала раньше.

Самое тяжелое — это то, что в такие минуты начинает ослабевать воля: волевой мускул слабеет. Знаешь, что надо сделать, и нет сил. Лук не стреляет: тетива ослабла.

Что надо делать сегодня:

1. При всей слабости ни в коем случае не лежать. Сойти вниз, засесть за телефон, наладить все дела.
2. Кончить «Окно ТАСС» (его я начала уже на рассвете).
3. Поменьше жаловаться. На это уходит очень много сил.

О литературной «фиксации». Одни только чувства в стихах или прозе быстро улечиваются. Их необходимо «закрепить» конкретными деталями. Это лучшие «закрепители».

11 февраля 1943 года

Вчера целый день был у меня Тарасенков с Ладого. Наговорились досыта, а я так даже до изнеможения. Тарасенков мил, но как подумаешь, что это был мой критик, от которого зависела судьба «Путевого дневника»!.. А его стихи слабые. И мне его по-настоящему

жаль. Что с ним будет, когда он наскочет на собственного Тарасенкова!..

Болезнь моя, быть может, хороша тем, что послужит водоразделом между стихами и прозой. Все время думаю о прозаической книге. Поездка в Москву — неопределенна. (Снова тревога. Даже не знаю уже — которая по счету.)

Немцев мы бьем. Подошли уже к Харькову. О растерянности в Германии я «читаю и начитаться не могу», как сказано у Пушкина по другому, правда, поводу.

12 февраля 1943 года

Уже как будто здорова, но все чего-то еще слаба, тоскую по кофе со сгущенным молоком и сахаром. Но нет ни сахара, ни молока. Нет даже тока, чтобы сварить кофе. Вообще ничего нет. Никогда еще мы не были так бедны, как сейчас. И о пайке что-то не слыхать.

На дворе мучительная оттепель. Это не прошлогодняя зима с ее «лютой нежностью». Сейчас все тает, скользкий, грязный вечер. Невралгия так и бегает по мне, играет мною, как мыши кошкой, если бы могли.

В такую погоду хорошо с головой укрыться какой-нибудь главой. Поездка в Москву отодвигается. Аэродромы размокли, а прямого сообщения поездом еще нет. Ждем Фадеева еще раз. Словом, как ни вертись, а надо сесть за работу.

*14 февраля 1943 года
Около 7 часов вечера*

Шквальный обстрел во время обеда. Снаряды падали часто и близко. Все здание ощущало силу удара: оно ухало, как человек, которого ударяют под диафрагму. Я разрывалась между двумя жаждами: жаждой чая и желанием сойти с третьего этажа. Стоя, глотала, обжигаясь, горячий чай, никак не могла от него оторваться.

Когда мы, наконец, спустились в штаб, все уже стихло. Сейчас тоже тихо. Но что будет ночью? Ночь лунная-прелунная.

15 февраля 1943 года

Мой сон: на развороте газетного листа — новый вид ласточки с пропеллером. И тут же зона ее распространения: целый громадный материк.

Мне думается, это как-то преломился во сне вчерашний маленький мальчик, прелестный, серьезный, в длинных лыжных штанах и шапочке из кроличьего пуха. Мальчик шел со своей бабушкой и смотрел в небо: не летают ли «мессершмитты». Мать, уходя, махала ему рукой и говорила:

— Не бойся, Вовик, не бойся. Ты же с бабушкой. Вот уж действительно могучая защита!..

Мы освободили Ростов и Ворошиловград.

Вечер

Беспощадная луна. Тревоги, правда, нет, но обстрел продолжается. Бьют орудия, очень тяжелые. Света нет во всем городе. Видимо, повреждена какая-то магистраль. У нас горит «летучая мышь», чистенько заправленная. Мариэтта тут же готовится к завтрашней лекции — «Синильная кислота» и еще что-то. И. Д. тщательно вызванивает кого-то по телефону.

Какая-то усталость во всем.

Нет, не кончились еще ленинградские трудности. А этот прорыв блокады... Он ведь тоже еще не окончательный. Нет, так не может кончиться ленинградская эпопея. Все будет по-другому: страшнее и величественнее.

18 февраля 1943 года

Понемногу втягиваюсь в работу. В тысячный раз повторяю себе, что нельзя доводить себя до «выпадения из графика».

Работать, не останавливаясь: в этом все.

25 февраля 1943 года

Накануне Дня Красной Армии мы с И. Д., по просьбе зенитчиков, выступали на одной из батарей. И. Д. сделал доклад о международном положении. Я

читала. Батарея установлена у Тучкова моста на нескольких баржах, стоящих борт к борту. Нас повели туда, мимо стадиона Ленина, по длинным деревянным мосткам. Нева все еще во льду, такая холодная, что, кажется, никакая весна не сможет к ней пробиться.

На палубе, под сумрачным вечерним небом, девушки-зенитчицы у орудий.

Выступали мы внизу, в каюте, где не то что яблоку — ореху негде было упасть. Перед тем как мне читать, взял слово командир батареи. Он сказал:

— Вы, товарищ Инбер, голоса наших зениток слышите чуть ли не каждый вечер. А теперь мы послушаем ваш голос. А то все только по радио вас слышали.

5 марта 1943 года

В «Ленинградской правде» интереснейший очерк «Цех искусственного белка» — о белковых дрожжах. Завод начал работать год назад, в самые тяжелые дни блокады.

«Среди тысячи разновидностей была найдена бактерия дрожжевого грибка — крохотная химическая машина, создающая в своем теле белок из сахаристого вещества древесины...»

Завод строился прямо на фронте.

«Ночами строители, монтажники, авторы проекта и будущие эксплуатационники выезжали на передний край обороны. Там, на «ничьей земле», в истерзанном снарядами здании, стояли машины, без которых нельзя было пустить завод. Их разбирали в сотне метров от блиндажей врага, заботясь о том, чтобы не дрогнула закоченевшая рука, не раздался предательский звон металла. С рассветом люди возвращались, волоча тяжелый груз».

Дальше идет описание процесса производства.

«Взяты первые пробы. Причудливый, изменчивый мир возникает в окуляре. Стрелой проносятся смутные звездообразные тени. Это смертельные враги и конкуренты дрожжевого грибка. Они поедают предназначенную для него пищу, охотятся за ним.

Целый штат химиков помогает грибкам в их отчаянной борьбе за существование, которая разыгрывается в спокойной на вид глади бассейна. Ежесекундно проверяется температура, состав питательной среды. Все резче обозначаются овалы, напоминающие кофейные зерна, очертания дрожжевых грибков. Высокая температура, пощадив их, уничтожила их врагов.

Повышается концентрация сахара. Новые литры сусла устремляются в бассейн. «Кофейные зерна» оживают, выходят из оцепенения. Они освоились с обстановкой и с аппетитом принимаются за «еду».

Еще три часа. Бурая пена захлестывает края бассейна. Количество грибков возросло до полутонны. Урожай «сам-пять».

Проходит еще некоторое время, «вступает в действие сепарационная установка. Мощные центрифуги отделяют воду». И вот наконец «показывается светло-коричневая пластичная масса. Это белковые дрожжи, килограмм которых заменяет три килограмма мяса...»

Я, не отрываясь, прочла все это. Теперь совсем по-иному буду смотреть на дрожжевые изделия, которые мы едим так часто.

*10 марта 1943 года
Москва*

Не дождавшись самолета, поехали поездом. Ехали трудно, с «тревогами» земными и надземными.

Прямого пассажирского сообщения из Ленинграда в Москву еще нет. Только поезда с грузом идут прямо по понтонному мосту близ Шлиссельбурга, при выходе из Невы в Ладогу. Железнодорожники зовут это место «коридором смерти». Оно простреливается немцами насквозь. Все, что нам доставляют — каждый куль муки, каждая банка консервов, — проходит этим «коридором». (Я вспомнила рассказ одного моряка с Ладоги о том, как вез он на катере ценный груз в Ленинград. Это было еще до прорыва блокады. Началась бомбежка. Вся команда катера была ранена, но рулевой мог еще управлять. И довез все благополучно. Я спросила: «Что же это был за груз?» Моряк ответил: «Какао и шоколад для ленинградских детей».)

Мы с И. Д. погрузились на Финляндском вокзале в переполненный вагон. В Борисову Гриву приехали поздно вечером, в непроглядную темь. Отыскивали начальника эвакуопункта. И повлекли наши чемоданы на салазках по мокрому снегу, почти по сплошной воде, к зданию эвакуопункта, где и заночевали.

Постели пахли дезинфекцией, но были безупречно чисты. Мы растопили печку, достали еду. Фонарь нам оставили. Утром санитарный автобус, идущий на ту сторону Ладоги, прихватил нас с собой в Кобону. Лед уже весенний, талый: машина шла по лужам.

В Кобоне, когда мы садились в поезд, была воздушная тревога. Вторично она настигла нас вечером, в Волхове, где скопилось много эшелонов. Когда начались пулеметные очереди с воздуха, я спросила И. Д. — не встать ли? (Я лежала на верхней койке.) Он ответил:

— А куда ты пойдешь?

И правда, идти было некуда. Справа и слева — составы, а там разбомбленная станция, пустыри, развалины... Так и осталась лежать.

*25 марта 1943 года
Москва*

Среди всех московских дел все думаю о «весенней» главе «Пулковского». Хотелось бы дать весну в Ленинграде так, как дана во второй главе зима.

27 марта 1943 года

Книга Гроссмана «Народ бессмертен» — необычайна. Это лучшее, что написано о войне. Блестяще. Пронзает сердце. От этой книги хочется самой писать. И еще более страстно начинаешь любить свою родину. Значит, все, чего Гроссман хотел, он достиг. И может быть, и у меня под влиянием этой вещи кончится страшный душевный провал, «угольный мешок», где нет ни одной звезды.

Рассказ инженера Р. об одном оборонном заводе. Он разделился на две части. «Сын», филиал, отпочковался от «отца» и перебрался на Урал. Там он с необы-

чайной скоростью отстроил свои цехи, стал отлично работать. Отбил у «папаши» переходящее Красное знамя. И еще прислал ему утешающее письмо.

*14 апреля 1943 года
Ленинград*

Давно ни один приезд не доставлял мне такого наслаждения, как это возвращение в Ленинград.

После бесконечно трудной для меня на этот раз Москвы, после телефонных «оргий», огромного количества мелких и мельчайших дел, после этого нестерпимого ощущения — ох, не успеваю, опаздываю! — после грустных писем Жанны, после заключительной неудачи (мы опоздали на аэродром и снова вернулись в гостиницу, где я, стиснув зубы, распаковала и снова упаковала вещи), — после всего этого — чудесная, неустойчивая поездка. Плохо было только то, что я ужасно зябла в самолете. Люто холодно было. Такой сухой, ясный, холодный день ранней весны.

По дороге приземлились в Хвойной. Закат, безоблачное небо. Месяц блестящий, похожий на какую-то часть самолета: не то алюминий, не то серебро. В Хвойной освободилось одно кресло, и я в него села. Как это было приятно после жесткой скамьи. Села удобно, прислонилась спиной к матрицам «Правды», если не ошибаюсь. И спала, хоть и замерзала. Ладогу видела сквозь сон. В середине она уже свободна от льда. Все было тихо, мы шли без прикрытия.

Въехали в заколдованный город, в лунную тревогу. Светлая, беззвучная ночь. Остановившиеся трамваи, пустые улицы, залитые холодным лунным туманцем весны. Как все это не похоже на Москву!..

Теперь с аэродрома до Литейного довозит специальный автобус. Это очень удобно.

А дома... Как все сияет и пахнет чистотой! Как тиха была ночь! Немцы не тревожили нас. Озябнув в самолете, я крепко спала. И одна эта ленинградская ночь словно смыла с меня усталость долгих московских дней.

Вообще Ленинград после Москвы так спокоен, так приспособлен для работы.

Сегодня утром решила: как ни тяжело, а придется что-то делать с пятой главой. То ли переделывать ее, то ли писать новую.

Хотелось бы написать о Балтийском флоте, о трагедии военного корабля, который все не может плавать: негде ему. Он как бы пустил корни в воду. Могучий броненосец, морской орел, он завидует «мелким птахам» моря, маленьким суденышкам, торпедным катерам, морским охотникам. (Сильный артиллерийский удар. А птицы, слышу, щебечут, привыкли уже: не боятся.) Можно дать песню корабля, полную романтики, гнева, накопленной ярости: «Где моря, по которым я плавал?..»

Это будет военная весна 1943 года. Война еще идет. Финала еще нет. (Снова все тихо. Выстрелов больше не слышно.)

16 апреля 1943 года

Пошли гулять с Мариэттой и вернулись из-за сильнейшего обстрела шрапнелью. Мы было думали все же идти, но встретили Евфросинью, которая сказала: — И куда идут, и куда идут!.. Только что у кузни разорвалось. Я ползком, ползком...

А кузница как раз возле аптеки, куда мы шли. День чудесный. Весенний ветер не очень сильный. «Хорошо в такой день быть живым», — как говорил Джимми Коллинз, американский летчик, теперь уже погибший

Вчера были у меня Тихонов, Вишневецкий, Крон, Азаров, Берггольц, Макогоненко. «Докладывала» о Москве. Было приятно и весело. Разошлись во время тревоги. Ночью, говорят, был сильный обстрел. Но я даже не проснулась.

Обидно было бы умереть сейчас, когда так хочется жить! Никогда не забыть мне Ленинграда, всех его обличий. Если только останусь жить, еще много напишу о нем.

17 апреля 1943 года

Грозная ночь! Грозная лунная ночь. Тревоги начались с вечера. Зенитки били во всем городе. Все это при полной луне. Потом немного стихло, и мы уснули.

Ночью проснулись от сотрясения... не от звука. Кровать зашаталась. Помню, давно так было: во время землетрясения в Крыму. А еще гораздо раньше в Одессе, когда я была совсем девочкой. Тогда был сильный подземный толчок. Это было ночью, летом. И я в одной рубашке, босая, бежала через всю квартиру к отцу.

7 часов

Вернулась с прогулки. Сейчас же за нашими зданиями улица Льва Толстого перегорожена. Висит табличка: «Проход и проезд воспрещен. Опасно». (Там неподалеку лежит бомба. Она упала в проходной двор, которым мы обычно ходим в райком. Будут разряжать ее.)

Сегодня ночью, конечно, предстоит то же самое.

*18 апреля 1943 года
5 часов дня*

Только что вернулась из города, с олимпиады детского творчества, устроенной Дворцом пионеров совместно с Институтом усовершенствования учителей. Олимпиада длится уже несколько дней, в ней принимают участие школы всех районов из числа тех, которые не были эвакуированы.

В залах Дворца одновременно поют, танцуют, читают, участвуют в оркестре. Комнаты по мере возможности отоплены, прибраны. Устроена выставка рисунков, рукоделий, лепки.

В синем маленьком зале с куполом 341-я школа Володарского района исполнила под собственный оркестр песню «Махорочка». Часть исполнителей, для удобства публики, была помещена на стульях. Исполнители, стоящие на полу, относились к тем, которые на стульях, с явным пренебрежением.

У одного певца как раз менялись передние молочные зубы. Его временно перевели в дирижеры, что дало ему возможность стоять спиной к зрительному залу.

Смешливый Витя Иванов, баянист, то и дело прятал лицо за баян. У него на куртке нашивки ефрейтора летной части.

116-я школа Выборгского района показала кукольный театр «Умный Петрушка». Действующие лица: Петрушка, свинарка, лошадь и корова.

Более взрослые школьницы читали стихи.

В заключение смотрели русскую пляску. Год тому назад эти дети не то что плясать — ходить и то могли с трудом, так были слабы.

Из Дворца пионеров пошли в Казанский собор, на могилу Кутузова: мы давно собирались.

Апрельские облака плыли над Невским. Было свежо, ветрено.

В соборе — мраморная стужа. Косой солнечный столб как бы дымится среди колонн. Знамена склоняются над гробницей. И на доске гравированные золотом слова Суворова о Кутузове при штурме Измаила: «Он находился у меня на левом фланге, но был моей правой рукой...»

Вернулись домой. А за время нашего отсутствия к нам упало четыре снаряда.

19 апреля 1943 года

Восхитительная нелетная погода: облачно, дождливо. Если бы существовала такая погода и для артиллерии!..

23 апреля 1943 года

Сейчас важное сообщение по радио: предостережение Англией Германии в связи с намерением Гитлера начать химическую войну на русском фронте. Надо немедленно проверить противогаз: я давно собиралась это сделать.

Но страшно. Жутковато!

27 апреля 1943 года

Простудилась в Филармонии, на концерте памяти Рахманинова. Эти большие каменные здания как набесятся зимнего холода, так и держат его до новой зимы.

Было полно. Я узнавала многих, с кем встречалась здесь в те вечера, когда мы сидели в валенках и шубах. Теперь не то. Люстра тогда горела в четверть силы, а теперь хрустальные подвески пронизаны светом. У военных новые ордена, которых еще не существовало осенью 1941 года.

Только холодно очень.

Я сидела и чувствовала: захварываю. Но не было сил оторваться от Второго концерта (фортепиано с оркестром). Эта вещь действует на меня магически... я даже не подберу слов. У меня мороз бежал по коже. Он соединился с холодом здания. И эти два мороза застудили меня. Теперь вот лежу.

*29 апреля 1943 года
12 часов дня*

Вчерашний обстрел был одним из самых сильных, если не самым сильным за все время блокады. Упало двести двадцать снарядов, но не к нам, а в Куйбышевский район. Мы только издали слышали раскаты, но они были так сильны, что казалось — у нас.

Снаряд попал в главный штаб МПВО города и убил комиссара. Снаряд пробил насквозь здание Радиоцентра, разрушив помещение «Последних известий по радио». Хорошо, что всем было приказано уйти в бомбоубежище.

И снова — все более упорные разговоры о штурме. Недалеко от «Ленинградской правды», на площади, строят доты невиданной дотолы крепости.

У меня болит правое ухо. Шум и слабость. Но настроение хорошее: довольна своей статьей о детях и стихами.

*1 мая 1943 года
Около полудня*

Опять обстрел, но неизвестно — где. К счастью, радио уже работает. Оно объявляет: это наш район.

Сегодня в 9 часов утра проснулась оттого, что раскачивался дом. Он качался, как качели, прежде чем остановиться. Это Гитлер «поздравил» нас с Первым мая.

Снарядов было не много, штук восемь, выпущенных один за другим, очевидно с бронеплощадки. Второй такой «шквал» был днем, но несколько слабее.

Прелестный концерт был вчера ночью, в половине первого. Трогательно звучали гавайские гитары и старинные романсы в эфире, только недавно содрогавшемся от оружейных раскатов.

9 мая 1943 года

Наконец-то пришла в себя после двухнедельной болезни. У меня уже начиналось воспаление легких, но стали давать мне сульфидин. Он убил легочных диплококков, но попутно чуть не убил меня вместе с ними.

Теперь все прошло, но осталась невралгия головы. Вчера приступ длился шесть часов.

А какая чудесная весна началась за то время, пока я сражалась с диплококками! Даже лежа, я вижу в окне молоденькие листочки. Огородное неистовство охватило город. А я лежу. И главное — ничего не сделано за этот год.

10 мая 1943 года

Сегодня опять хуже с головой. И вся я — слабая, бледная, отравленная лекарствами, с грелкой, в шерсти. Ужасно!

В первой комнате наконец открыли окно. И такая райская весна вливается в него!..

Кое-как удалось восстановить порядок в комнате, на письменном столе и в мыслях.

Когда-нибудь у меня настанет миг непоправимого выпадения из ритма, невозстановимой его утраты. И это и будет моя смерть.

Всю эту ночь не могла уснуть от нестерпимой душевной тревоги. Все мои невыполненные планы, несвершенные замыслы, ненаписанные письма, неотправленные телеграммы, недодуманные строфы — все это вихрем несло вокруг меня каким-то ужасающим колесом, центром которого, несчастной осью была я сама. Я зажгла свет и поработала немного. Какие-то строфы будущей главы. Потом мне стало легче, и я уснула.

11 мая 1943 года
Днем

Теперь, мне кажется, намечается что-то вроде плана главы. (О, как я осторожна!..) Но как будто действительно стало прорезываться настоящее.

Но как я страшна. Как ужасно выгляжу.

Неужели и тут будет тот знаменитый «скачок» в развитии, о котором так хорошо рассказывал И. Д. Признаки старости будут сказываться постепенно. И потом в одно утро я проснусь старухой. И хотя я действительно не боюсь старости и когда-нибудь обязательно напишу книгу о «золотом закате», я не хочу больной, уродливой, желтой старости, пропахшей камфарным маслом. А, судя по моему виду, именно это мне и угрожает. Но я хочу верить, что это еще не такая старость, а просто — болезнь. Чувствую я себя еще совсем хворой.

День сегодня уже гораздо менее очаровательный, то есть попросту — скверный. Идет беспросветный дождь. И хотя в такие дни гораздо легче восстанавливается душевный порядок, но невралгия милее от этого не станет. Противное чувство хрупкости во всем теле просто угнетает...

13 мая 1943 года

Сегодня бурное пробуждение в 6¹/₂ утра: сильнейший артобстрел и довольно близко.

Тревога кончилась в 2¹/₂ часа дня. Это была одна из самых продолжительных наших тревог.

Мы с Мариэттой были во дворе как раз в ту минуту, когда «мессершмитты» пролетели над нами. Наши зенитки гремели. Все небо было в темных клубах разрывов. Как сказал один приехавший с фронта летчик: «Фрицы пытаются сделать массированный налет». Потом он прибавил, что «вообще они подтянули сюда свежие силы», но что Ленинграду «уже недолго терпеть».

Погода снова испортилась, но вечера бывают необычайные: золотисто-смугло-голубые, с маленьким, но страшно ярким месяцем и громадными, как в планетарии, звездами.

Вчера полдня упивалась словарем Даля. Читала букву «Ш». Это мне нужно для шума деревьев. Но я убеждаюсь, что Даля надо читать ежедневно и что наш поэтический словарь, за исключением одного, быть может, Пастернака, очень убог.

17 мая 1943 года

Выдержка, выдержка и выдержка! Спокойствие. (Это я о работе, а не о тревогах.) Спокойствие! Не допускать себя до сердцебиения. Ровно идти к намеченной цели. Но есть ли что-нибудь труднее на свете!

Около 12 часов ночи

Зенитки неистовствуют... Ох, страшно! Дом дрожит. Все мне кажется, что сейчас упадет бомба. Такого зенитного огня я просто не помню. Боюсь гасить свет: в темноте страшно.

На фронте у союзников дела блестящи. Северная Африка завершена. Там уже с немцами и итальянцами все кончено. Теперь в скором времени надо ожидать второго фронта. Теперь мы как две футбольные команды со счетом: Сталинград — Тунис.

22 мая 1943 года

Сейчас за мной должны приехать с Кировского завода. Давно уже они просили меня выступить у них, но я то хворала, то была занята... Слышу гудок под окном. Это за мной.

Вечер

Только что вернулась с Кировского. Народу было много, слушали отлично, хотя я и хуже стала читать после болезни: все задыхаюсь.

Заводской клуб помещается в бомбоубежище. Ведь немцы тут совсем рядом.

Нельзя спокойно смотреть на территорию завода. Это уже почти Сталинград в очерке Василия Гроссмана «Направление главного удара».

Здесь тоже: «темные громады цехов, поблескивающие влагой рельсы, уже кое-где тронутые следами оки-

си, нагромождение разбитых товарных вагонов, уголь, могучие заводские трубы, во многих местах пробитые немецкими снарядами».

Но, в отличие от Сталинграда, «главный удар» немцев по Кировскому заводу расщеплен на множество непрекращающихся ударов.

Когда мы поднялись из подвала на свежий майский воздух, нас встретили звуки вальса. Патефон стоял под открытым небом на обломке кирпича, а две пары девушек-дружинниц, в штанах и брезентовых сапогах, медленно кружились по двору на фоне сгоревшего цеха. Над ними, как бы охраняя это краткое веселье, барражировал «ястребок».

Мне припомнился завод «Севкабель» на Васильевском острове, где я была прошлым летом. Немцы бьют по «Севкабелю» с противоположной стороны залива из Лигова. Там тоже все цехи изранены и пробиты. В зияющую пробоину одного здания дерзко заглядывал со двора какой-то цветущий куст.

Это все — «сторожевые» заводы Ленинграда, как были некогда «сторожевые» монастыри.

24 мая 1943 года

Вчера поехала выступать в морскую часть, расположенную, однако, на земле, за Спасской заставой, в местечке Медвежий стан. Там протекает река Охта. Все утопает в черемухе.

Меня завалили букетами в машине до такой степени, что патрульный, проверяя мой паспорт, спросил:

— А где же эта гражданка?

Я одарила черемухой весь наш коридор.

*25 мая 1943 года
3 часа 10 минут*

Только что так треснуло в воздухе, что я чуть не свалилась с кресла. Просто неслыханный какой-то звук. Через десять минут второй такой же удар. Я думала, что бомба, но больше похоже на шрапнель.

Евфросинья Ивановна только было собралась мыть окно, а теперь сказала:

— Все настроение спортил.

И не стала мыть.

Третий удар. А радио молчит.

Позднее

Меня успокоили, что это — мы. Какая-то, говорят, новая «игрушка» поставлена, видимо, рядом с нами, и это ее пробовали.

26 мая 1943 года

Вчера убит снарядом профессор Абрамсон, очень одаренный хирург, читавший лекции и у нас в институте. На днях он был у Мариэтты (я слышала за стеной его голос) и просил разрешения показать мне стихи своей девочки. Мариэтта ответила, что сейчас я занята и что лучше это сделать через несколько дней.

В час смерти Абрамсона его ждали на заседание ученого совета в Институте переливания крови. Для того чтобы не опоздать туда, он на двадцать минут раньше окончил лекцию студентам в больнице Карла Маркса. Он был аккуратен и говорил про себя: «Я никогда не опаздываю».

27 мая 1943 года

Абрамсон был убит осколком бомбы, а не снарядом. Ему оторвало половину головы. Мариэтта видела его вчера в гробу: голова скрыта марлевой повязкой, пустила наполнена ватой.

Старики родители здесь же, в Ленинграде.

28 мая 1943 года

Была у меня Мария Николаевна Эгерштрем из Института усовершенствования учителей.

В квартире Марии Николаевны пять раз вылетали стекла от бомб. На шестой раз жить там стало невозможно, и М. Н. получила новую квартиру взамен разбитой. Но как было перевезти туда вещи, когда за перевозку одного только рояля просили девять кило хлеба?

Узнав об этом, сослуживцы Марии Николаевны устроили «субботник» по переноске вещей, который длился три дня. Все было перенесено на руках за исключением рояля. Работали одни только женщины. Среди прочих предметов была тяжелая бронзовая лампа: Прометей, вздымающий факел.

Когда все было устроено на новом месте, Мария Николаевна устроила новоселье, истратив на угощение свой паек донора.

Был чай, сэндвичи и винегрет. Гости получили подарки. У каждого на тарелке лежала «повестка» на право получения «посылки». «Посылки» были тщательно упакованы и снабжены подробным адресом. В каждой было то, что могло доставить удовольствие адресату: пушкинист получил маленький бюст Пушкина, любительница фарфора — старинную тарелочку. Те, у кого были дети, — детские книжки.

Новоселье очень удалось, несмотря на очередную бомбежку. Гости пили чай, беседовали. А над ними Прометей вздымал свой факел: в новой квартире было электричество.

Мария Николаевна пришла ко мне с просьбой участвовать в жюри детского литературного конкурса. Она принесла мне множество папок и тетрадей: стихи, поэмы, повести, дневники, научные сочинения. Тематика разнообразная.

Ученик 4-го класса 26-й школы описывает вторжение фашистов в русские города:

В города они входили,
Магазины все громили,
Пили водку, брали шпиг,
И консервы открывали,
И съедали в один миг.

Более «зрелый», Гребенников (ученик 6-го класса), представил исследование: «Книга — друг человека». Мы узнали, что «за период XVIII—XX веков человечество весьма подвинулось в своем развитии».

Есть по-настоящему ценные вещи, такие, например, как «Отечественная война в мемуарах ленинградских школьников» (6-й класс 10-й школы).

Интересен рассказ пионерки Зины Карасевой «Первая бомба»:

«Ночь. Тихо. Звезды. Луна ярко освещает улицы. Я лежу у трубы на крыше, чутко вслушиваясь в тишину, и гляжу на небо. Вот Большая Медведица. Вот Малая. К моему величайшему удивлению, около Большой Медведицы появилась новая звездочка. Вдруг гул мотора. Все слышней и слышней. Тут я догадалась, что это вражеский самолет». Далее Зина описывает гул, грохот, звон стекла. «Снизу кричат: «Зина! Зина!..» Сбегаю вниз. Родители, не ожидавшие меня увидеть живой, не верят своим глазам. Но я, ни на что не обращающая внимания, спрашиваю: «Куда попала бомба?» Мне отвечают, что в соседний дом, и я бегу туда помогать выносить и перевязывать раненых».

Ученица 9-го класса 47-й школы Инна Битюгова написала сочинение под скучноватым названием «Что мне дала работа в совхозе». Но на деле оно полно очарования и поэзии. Инна пишет, что еще до войны «мечтала сделать что-нибудь очень хорошее и полезное, чтобы я почувствовала, что живу не зря».

Летом 1942 года для ленинградских школьников «началась новая, огородная жизнь, жизнь плодотворного труда. Постепенно жизнь растений увлекла меня. Мне казалось, что я выращиваю маленьких человечков. Вот они, еле видные, слабенькие, зеленые, а вот уже окрепли их тоненькие ножки и гордо поднимаются зеленые головки. И, глядя на них, я вдруг поняла, что моя давнишняя мечта сбылась».

Я представила себе две дороги. Одна ведет на фронт, другая — в мой город. И по этим дорогам бегут один за другим зеленые овощи-человечки. Вот один из них подбегает к большому каменному дому. В квартире на кровати сидит белокурая маленькая девочка. Ее руки тонки, как палочки, глаза печальны, щечки ввалились. Это враги принесли ей голод. Но мой маленький зеленый человечек сильнее многотысячной армии врагов. Он пришел на помощь слабой девочке. Щеки ее розовеют, руки округлились, глаза снова блестят. Она поднимается, идет — и я чувствую, что в ней воплотилась моя мечта.

Другой овощ-человечек бежит по второй дороге. Кругом враги. Не пускают они человечка, бросают в него бомбы, снаряды, но он неуязвим. Вот он вбегает в землянку, где боец-разведчик склонился над картой. Трудный предстоит ему поход. Вдруг видит боец: он не одинок, о нем думают и заботятся советские дети. Съел боец овощ и почувствовал, что в жилы его влилась богатырская сила. Смело пошел он в поход, вернулся боец с победой. И скоро взвилось советское знамя над советской землей...»

Кончает Битюгова так:

«Я знаю теперь, что такое труд, чувствую ответственность за этот труд, чувствую, что я уже не школьница-ребенок, а школьница-боец. Я работала для города и фронта».

На обложке рассказа Инны Битюговой изображены в красках свекла, брюква, турнепс и мелкие редиски: все с милыми, дружелюбными лицами.

Хороши стихи Ворожейкиной.

30 мая 1943 года

Когда-нибудь в дополнение к уже написанному однажды на эту тему стихотворению я напишу монографию о бессоннице. Сегодня она опять была у меня в самом своем грозном виде: «бессонница фуриоза», или «мультифлора», или еще не знаю как.

Отчего она опять была — кто знает. Началось это с волнения по поводу передачи радио... Ночь была бесконечная, как жизнь. Снова конвейер воспоминаний, который ни замедлить, ни остановить нельзя.

Одновременно с этим я мысленно писала сразу три стихотворения, начала совсем новую главу о путешествиях. Ее-то мне и хочется сейчас писать больше всего.

Бедный И. Д. тоже сумрачен и молчалив: у него десятки трудностей с отправкой студентов на фронт, с мобилизацией студентов в армию и т. д. А надо, надо все это пережить. Нельзя сдать сейчас, когда все же уже видна победа.

Начало третьего

Воздушная тревога.

3 июня 1943 года

Жаркий день, совсем лето. Поехали с Анной Ивановной за шляпами и попали в тревогу. Трамвай наш остановился у Марсова поля, мы все вошли в подворотню. Оттуда, как из туннеля, была видна синяя арка неба, безоблачного, сияющего.

Только что по радио опять передавали о продаже «в неограниченном количестве противоопридной пасты № 5».

Вечер

Обидели, обидели... уж не скажу меня, но вообще всех писателей. Выдали в Смольном первые медали, объявили по радио.

Там были: музыкант, дирижер, актриса, художник, но ни одного писателя. Даже Вишневский, который там был, не указан как писатель. Вообще — о нем ни слова. Вот уж, что называется, отблагодарили!.. И все же надо работать, — невесело тебе — а ты пиши.

4 июня 1943 года

Сейчас по радио назвали также и Вишневского в списке награжденных вчера. Таким образом, отмечены и писатели: и на том спасибо...

Евфросинья Ивановна сообщила мне, что немцы «набросали листовок». Снова стреляют. Сейчас, сию минуту, где-то близко, не грохнуло, а как-то прошипело...

Сяду-ка я за «пушкинское» стихотворение. В 144-ю годовщину рождения Пушкина в его квартире, на Мойке, мы будем выступать по радио.

5 июня 1943 года

Ну, и денек был вчера! Интересует меня судьба двух моих «медалей» — правдинской и тассовской. Но даже если нигде ничего не получится, все равно — я успокоилась. Говорю это без рисовки. Здесь сыграла свою роль и большая цитата из моего «Бессмертия»

(«Как проникновенно сказал поэт...»). А проникновенного-то и обошли. Но как сказал Омар Хаям: «Ты обойден наградой — позабудь». Нет, не шутя, я если не забыла, то успокоилась. На меня нашло отличное веселое и злое настроение. И главное, хочу и могу работать... Главный секрет хорошего самочувствия — это, конечно, рабочее состояние: «Пока я работаю — пуля меня не возьмет». Только бы голова не болела. Только бы самой мне не сглазить, но тесто для главы у меня превосходное. Только пеки...

7 июня 1943 года

Новая пятая глава в виде «теста» вся уже готова. Надо только, чтобы оно не перекисло: еще старик Гете предостерегал на этот счет.

Вчера выступали на квартире Пушкина, где я раньше не была ни разу.

Был необычайной прелести весенний день. Небо задумчиво синело. Даже белые облачка — следы воздушных боев — не бороздили его. Мы свернули на Мойку. Она была тиха, безлюдна. По этому тротуару, вдоль этой чугунной ограды проходил Пушкин, возвращаясь к себе домой.

Тихие комнаты пушкинской квартиры встретили нас. Они скупо обставлены красным деревом. Это мебель пушкинской эпохи, но не мебель Пушкина. Та с самого начала войны увезена отсюда.

На каминах и подоконниках букеты из черемухи и сирени (сирень в этом году необычайная: тяжелые дивные кисти, хоть высекай их из мрамора). И тонкий запах чуть увядших цветов следовал за нами из комнаты в комнату. В пушкинском кабинете, у пустых книжных полок, был установлен микрофон. Дом сохранился хорошо, полы натерты, но повсюду змеятся трещины. Особенно сильно повреждена стена в бывшей спальне Пушкиных. Это результат трех бомб, упавших на Мойку в ноябре 1941 года.

В кабинете, в том углу, где на диване умер Пушкин, стоит теперь его бюст в пожелтевшем лавровом венке. В Ленинграде нет теперь свежих лавровых

листьев. Теплицы Ботанического сада давно погибли от вражеских бомб.

Невдалеке от бюста был установлен микрофон. По раз навсегда установившейся традиции, собрание, посвященное дате рождения поэта, открывалось ровно в два часа дня. Но на этот раз, в день 144-летия со дня рождения Пушкина, было допущено пятиминутное опоздание. Эти пять минут были даны на трудности осажденного города, на неповторимо грозное своеобразие его быта.

В 2 часа 05 минут собрание Института русской литературы Академии наук, Ленинградского отделения Союза советских писателей и Пушкинского общества открывает профессор Мануйлов. Все стоя слушают его. Затем к микрофону подходит Николай Тихонов.

— Мы отмечаем этот день в обстановке сражающегося Ленинграда, — говорит Тихонов, — мы не можем быть сейчас ни в Михайловском, ни в Тригорском. Эти священные для нас места сейчас у немцев. Но здесь, в Ленинграде, Пушкин — участник нашей борьбы с поработителями. В бою участвуют не только люди с оружием в руках, не только современники боев. Наши предки величием своих деяний также борются за свою родину. Всю жизнь ненавидевший тиранию и рабство, воспевавший солнце человеческого разума, Пушкин сейчас с нами.

Взволнованно говорит Всеволод Вишневский. Он вспоминает Пушкина — певца Полтавы и Петербурга. Пушкин первый поднял тему военной мощи России. Он сам сражался за нее со всеми бенкендорфами, дубельтами, геккернами, дантесами. Пушкин принял бой с ними. Он пал, защищая не только себя, свою личную русскую честь, но и честь всего русского.

Кроме стихотворения, написала «лирический» отчет о вчерашнем и дала для «Правды». Надо почаще делать такие вещи. Не надо угашать в себе журналистку. Пускай живут все трое: поэт, прозаик и газетчик. Только не надо трогать ни театра, ни кино. Туда для меня нет пути, одни неудачи.

Еще я замечаю в себе жадность стяжателя и скупца. Что бы я ни увидела и ни услышала: звук, цвет, оборот

речи, все мне хочется стащить и спрятать — авось пригодится для стихов или прозы.

День сейчас чудесный. Один из редких безоблачных дней Ленинграда. Их тридцать пять в году. Я вычитала это в БСЭ, в статье «Ленинград».

8 июня 1943 года

Сегодня я получила в Смольном медаль «За оборону Ленинграда». Нас было несколько человек: представители искусства и науки. Но никто из них ничего не сказал в ответ на вручение медали. Я так растерялась, что тоже ничего не сказала.

Этот маленький диск медали вобрал в себя все, весь Ленинград, память о нем на всю остальную жизнь.

9 июня 1943 года

Сегодня утром тишина последних дней была нарушена зенитками. Я просыпалась и засыпала три раза. Часам к десяти было несколько таких же оглушительных выстрелов, как было уже однажды. Это — мы, но что именно — неизвестно. То ли артиллерия, то ли (и это вернее) какая-то сверхмощная зенитка, стоящая где-то у Макса Гельца. Наш бедный дом содрогался с головы до ног. Тарелки И. Д. на стене жалобно звенели. Но радио в это время передавало сказки Арины Родионовны для дошкольников... Все это вместе взятое — Ленинград.

10 июня 1943 года

И. Д. не ест, не пьет. Я почти не вижу его. Трудности замучили.

По радио передавали заявление Рузвельта на пресс-конференции по поводу возможной химической войны. Неужели и это еще нам предстоит? Ужас, перед которым померкнет все бывшее на земле за все миллионы лет ее существования.

Я гляжу на зеленые деревья, будто прощаясь с ними.

Я уже вижу их превращенными в пепел и прах.

11 июня 1943 года

Перечла «Народ бессмертен» Гроссмана. Читала и плакала. И высшее, что может дать книга, холодок восторга и жар умиления, пронзали мне сердце...

Вчера награждали Тихонова орденом Отечественной войны I степени.

14 июня 1943 года

И. Д. вернулся сегодня с «торфа»: там все не ладится. Работа тяжелая, студентам трудно.

*15 июня 1943 года
Около 11 утра*

Радио пока молчит, но концерт Скрябина прекратился, а обстрел идет довольно сильный. И слышны разрывы. Значит, это не мы... Все эти дни было тихо. А теперь, видимо, немцы опять что-то подвезли или наладили поврежденное нами. Но почему радио безмолвствует?

Дела «огородные».

Юрий Владимирович Баймаков, доктор химических наук, закончивший второй том труда «Электролиз в металлургии», выставил в Доме ученых на овощной выставке брюкву весом в шесть килограммов. Он же в прошлом году на своих грядках вблизи Политехнического института вырастил картофель, но не съел, вытерпел: оставил на семена. Теперь посадил семенной картофель. Сам таскал мешки с навозом, удобрял землю суперфосфатом и хлористым кальцием. Урожай со ста метров — шестьсот килограммов овощей.

Вера Родионовна Стрешнева, заслуженная артистка республики, тридцать девять лет на сцене. Ее огород во дворе. Урожай хорош.

На Марсовом поле — сплошь профессорские грядки. Видала, как старый профессор посыпал свою капусту нафталином: спасал от жучка-вредителя.

Возникли новые трудности. Знакомый школьник с негодованием и возмущением рассказывал о грачах, прожорливых птицах, выклевывавших из земли только что посаженную капусту:

— Эти грачи идут за нами по пятам. Мы сажаем, а они выдергивают. Мы сажаем, а они выдергивают.

— А пугало если поставить? — предложила я.

Мальчик только рукой махнул:

— Какое тут пугало? Они просто смеются над ним.

— А если пугнуть их из винтовки?

— Вот-вот, и мы так думали, — воскликнул мальчик. — Достали мы винтовку, мелкокалиберную. Начали стрелять. Да разве этих грачей испугаешь из винтовки, когда они привыкли к снарядам?! Они просто смеются над винтовкой.

И действительно, приходилось им, в свою очередь, идти за грачами по пятам и снова сажать выдернутые кустики. Было замечено, что вторично грачи уже раз выклеванное не клевали.

16 июня 1943 года

Крупный град. Пропали огороды...

18 июня 1943 года

Поехала с фотографом на остров имени Кирова, ныне «Детский остров». В его семнадцати зданиях и павильонах расположен пионерский лагерь, первый за время блокады. Здесь живут девятьсот сорок два ребенка, но будут жить тысяча пятьсот.

Первый вопрос, который задают дети приехавшим из города: «Обстрела нет?» или: «Какой район обстреливают?» Один мальчик спросил:

— Какая сегодня перспектива?

Другой, четырнадцатилетний, при нас просился в город.

— У мамы двухмесячный ребенок, хочу посмотреть, как она там без меня справляется.

Детей прекрасно кормят: дают им глюкозу, молоко. В очерке для заграницы я написала:

«В лучшей части города, на «Островах», где до революции были выстроены богатые особняки, живут теперь дети, чьи отцы на фронте, а матери работают на оборону. Все лучшие помещения отданы им.

Обслуживающий персонал помещается в маленьких комнатах, где жили некогда экономки, кастелянши дворецкие.

Только в одном особняке, принадлежавшем в прошлом крупному рыборотговцу, я обратила внимание на то, что чудесная громадная комната с видом на реку Охту занята не детьми, а их молоденькой воспитательницей.

Уловив мой невысказанный вопрос, девушка вспыхнула до корней волос, до венка из ромашек, надетого на русые косы. Это был как раз час сбора детьми «лекарственных» растений, но, очевидно, при этом не была забыта и чистая эстетика.

— Да, да, вы правы, — сказала девушка. — В этой комнате могли бы помещаться по крайней мере пятнадцать детей. Но... взгляните на потолок.

Я подняла глаза к вычурному полукруглому своду: там, в лилово-зеленоватых тонах пресловутого «декаданса» была изображена полногрудая обнаженная Ева в райском саду. Змей с двусмысленным выражением лица предлагал ей яблоко.

— Как педагог я не могла разрешить детям разглядывать эту картину, — продолжала девушка с ромашками, — а они это делали. Что касается маленьких, то эти фигуры их пугали и доводили до слез. У нас пока нет мела, чтобы побелить потолок. Вот снимут блокаду, тогда... А пока здесь сплю я. Дети приходят сюда только в тех случаях, когда мне приходится делать им выговоры. Но тогда, вы понимаете, они не поднимают глаз.

В заключение воспитательница с удовольствием прибавила, что выговоры приходится делать все чаще, так как у детей уже появились силы для шалостей.

Раньше они были слишком слабы».

19 июня 1943 года

Большой налет немцев на Волхов. Повреждено железнодорожное полотно. Мы сбили 24 самолета. Сегодня все время канонада. Не есть ли это «начало»?

Душно на душе. А надо писать.

22 июня 1943 года

Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить. Наконец-то, кажется, начала главу. И теперь совсем по-иному.

Сегодня двухлетняя годовщина войны. Вспоминаю этот день в Переделкино.

7 часов вечера

Третья тревога за сегодняшний день.

23 июня 1943 года

Когда-то поэзия сливалась с наукой. Помимо эстетического наслаждения, античные поэты стремились доставить читателю какое-то количество сведений (Буколики и Георгики).

Мне думается, что этот пример древних достоин подражания.

Эмоция, не закрепленная фактом, улетучивается, как небрежно приготовленные духи. Выцветает, как фотография без фиксажа. Таким закрепителем, фиксажем в поэзии является факт.

Каждое новое большое явление предстает перед писателем сначала в общем очертанье. Особенно это характерно для поэзии с ее любовью к обобщениям.

Вспомним первые стихи о революции. Это абстрактно, общо, лишено деталей. Только наброски. Только силуэты ощущений и фактов. Все — снаружи. Проникновения вглубь почти нет.

То же повторилось и с войной. Первые стихи о войне не идут дальше общих мест: призывов и заверений. Этот период военной поэзии был закономерен, неизбежен. Только очень немногим поэтам удалось избежать этой зоны «обтекаемости» явлений. Или же миновать ее быстро, не задерживаясь. К таким поэтам, в первую очередь, надо причислить Тихонова. К сожалению, в дальнейшем Николай Семенович перестает быть поводом для разговора о стихах по той причине, что он их уже не пишет.

24 июня 1943 года
11 часов утра

Сильный обстрел, но трудно понять, где именно. Снаряды прилетают со свистом и рвутся со свистом. Очевидно, это не наш район, так как радио передает Софроницкого. (Ух, удар близкий...)

Доклад о поэзии буду делать 3 июля. (Мне кажется все же, что это и мы стреляем одновременно.)

Удручает меня И. Д.: количество трудностей все растет. Торф, подсобное хозяйство, служба МПВО. Все это помимо основной, текущей работы.

(Вот только когда радио сообщило об обстреле.)

Слова Генри Форда — «Предприятию полезно напряжение» — применимы также и к поэзии...

О чрезмерном пристрастии к ямбу, главным образом пятистопному. Этот упрек я обращаю и к самой себе. Тем самым мы приучаем читателя к одному размеру: это вредно.

Данте, прежде чем описывать мучения грешников в котлах со смолой, отправился в Венецию и смотрел там работу корабельщиков: тоже смола.

Чем объяснить отход от формальных достижений Маяковского? Да прежде всего тем, что он сам отходил от своих юношеских исканий. Здесь же о поэтике теперешнего Пастернака.

Вопрос Асеева: «Кому роднее Маяковский?» Наш ответ.

25 июня 1943 года

Немного отлегло от сердца, чуточку успокоилась за И. Д.: огородные цапки, доставленные в нужном количестве для подсобного хозяйства, и белковые дрожжи для работающих на торфе оживили его.

О *рифме*. Лефы (в частности Асеев) утверждали, что старые, десятки раз использованные рифмы («кровь — любовь») неизбежно влекут за собой и давно пройденный строй мыслей и чувств. Так ли это? А не может ли случиться наоборот? Что поэт, используя старую рифму, оправдывает ее появление новой мыслью? Даже «кровь — любовь» может зазвучать по-новому, если нова выраженная этим словом мысль.

26 июня 1943 года

«Аполлон — бог помарок».

29 июня 1943 года

Аполлон — бог помарок — в очень малой степени участвует в работе некоторых ленинградских поэтов.

Редакторское попустительство может произойти по трем причинам: из-за невнимательности, ложно понятого чувства товарищества к редактируемому и непреодолимого упорства поэта...

Вишневецкий упускает из виду, что стихи — это не выступление с трибуны. Там слушают, хлопают и забывают. А стихи остаются. Они напечатаны. Стихи — это найденная формула. Чем она безошибочнее, тем жизненнее. Я всегда думала, что поэзия своей точностью должна напоминать одновременно и аптеку и математику. Можно еще сказать и так — стихотворение должно строиться по принципу корабля: большая подводная часть (обдумывание, композиция); часть надводная — само написание.

30 июня 1943 года

Вот так пальнули! И близко! Опять обстрел начинается. Опять свист и разрыв.

...Как бы ни были возвышенны чувства, но если не найдены точные слова для их выражения, то они ничего не стоят... Надо уметь ясно выражать то, что ты хочешь.

1 июля 1943 года

Поэтическая фраза должна располагаться с величайшей естественностью, как в прозе. Так оно и есть у Пушкина, у Пастернака. У Сельвинского — не всегда. За последнее время чаще.

Проверить поэтическую фразу можно, переведя ее на прозу, «размотав» ее: из клубка вытянуть нитку, и в этом размотанном состоянии она сразу обнаружит, чем она погрешила против своей синтаксической природы; что в ней лишнее и чего недостает.

2 июля 1943 года

Описывая явление или предмет, так же трудно бывает уловить, выжать из него самое основное, сокровенное его свойство, как трудно освободить энергию, скрытую в атомном ядре. Почти физически ощущаешь этот страшный зажим самого главного. Без борьбы его добыть нельзя. Все, что лежало на поверхности, уже добыто. А теперь попробуй проберись в сердцевину.

Такие громадные, бесконечно сложные и разветвленные явления, как войны, требуют сложных и разветвленных опосредствований. А мы очень часто пишем о самом примитивном, самом лобовом, избегая забираться *в глубину*, где нас могут подстергать неудачи.

А от этого «хождения по поверхности» и происходят столкновения на одних и тех же темах. Иногда даже строки повторяются...

4 июля 1943 года

Небольшое событие: появился у нас котенок, сын кошки Машки из главной кухни. Назвали Кузей. Он худенький, плоский, похож на комарика. На ножках держится нетвердо: заносит его куда-то вбок.

Все приходят смотреть на Кузю. Определили у него сильный рахит задних лап.

Котята — это повальное увлечение: всем хочется иметь живого зверька. Кроме того, одолевают крысы. Я придумала загадку: «Две тысячи с хвостиком — что это такое?» Ответ: «Котенок». Именно столько он стоит, если купить его за деньги. А за взрослого, опытного кота предлагали в одном месте «дачку на Лисьем Носу», но в сильно простреливаемом районе. Нашли ли, не знаю.

6 июля 1943 года

На Орловском, Курском и Белгородском направлениях немцы перешли в наступление. Бои продолжаются. Нами подбито несколько сот танков (больше пятисот). И сбито свыше двухсот самолетов. Возможно, что это уже началось!

7 июля 1943 года

На Орловском направлении немцы отбиты, а на Белгородском пока нет. Там еще очень напряженно.

8 июля 1943 года

Вчера обстрел продолжался с перерывами весь день. Слышала, как И. Д. по телефону разрешал пропуск в больницу на всю ночь какой-то бедной матери к мальчику, тяжело раненному в живот.

Ночное сообщение по радио — среднее. На Белгородском туговато.

10 июля 1943 года

День моего рождения... Вчера подарила себе маленький, миленький рассказ о ребенке — «Истребители». Я хочу, чтобы он был первым в серии детских рассказов... Важно, что их можно писать. Это отдых для пера. Я устала от страшного напряжения поэмы.

12 июля 1943 года

День рождения прошел хорошо. Я (что со мной не часто бывает) была по-настоящему весела, выпив немного водки. И всем было весело.

Чудесные розы получила я от редакции «Ленинградской правды»: я таких не видала с начала войны. Они и сейчас стоят у меня на столе.

Было еще хорошо потому, что союзники сделали мне подарок: 10-го утром высадились в Сицилии. Если это и не второй фронт, то полуторный уж наверно. Посмотрим, что будет дальше.

4 часа

Страшно близко два разрыва. На всякий случай спрятала машинку.

15 июля 1943 года

Я попала в «воронку», как я это называю.

Если представить себе жизнь в виде реки (вспоминаю замечательный рассказ Куприна «Река жизни»)...

если представить себе жизнь в виде реки, по которой, хотя и не легко, но все же плывешь, то в этой реке попадаются порой бездонные воронки.

Иногда удается удержаться: скользишь по самому краю, выбиваешься из сил, но наконец... ура! — удалось. А иногда, вращаясь, опускаешься все ниже и вот уже лежишь на самом дне.

Где-то наверху блаженно протекает жизнь. Где-то там стоит твой письменный стол с начатой работой, идущей счастливо. Происходят события, плывут встречи. А здесь — мертвая точка, изнеможение. Слабость, слабость... бесконечное отвращение к какому бы то ни было действию.

И все же единственная возможность выйти из воронки — это начать действовать. Это как при замерзании: хочется спать, а надо встать. Холодно, а надо натираться снегом. Надо работать: это то, что спасает.

А так хочется лежать, ничего не делать!

Устала я, друзья мои, смертельно устала!..

17 июля 1943 года

С четырех часов утра спать уже было невозможно. Сначала зенитки, а потом сильнейший обстрел. Теперь девять часов, все постепенно стихает. Разрывы удаляются, как уходящая гроза.

Вчера была за городом, в подсобном хозяйстве Педагогического института.

С каким-то даже, я бы сказала, удивлением увидела, что жизнь природы продолжается. Создания ее по-прежнему прекрасны.

На столь высокие размышления навели меня предметы и явления, в мирное время самые обычные, но теперь просто ошеломляющие: теленок, клубника, розы.

Теленок напоминает нашего Кузю в увеличенном виде. Те же длинные ножки и неустойчивая, «боковая» походка.

Клубника, смородина, малина — все это идет на изготовление витаминов для питомцев института.

А моя бедная пятая глава напоминает мне простоквашу, которой не дают устояться. Только что она начинает створаживаться и покрываться сметанкой, как я снова взбалтываю ее. И все пропало.

18 июля 1943 года

Сегодня пятьдесят лет со дня рождения Маяковского. У меня доклад в лектории и выступление по радио. Но так бьет вражеская артиллерия чуть ли не по всем районам сразу, что не знаю, как быть. Трамвай не ходит, пути во многих местах повреждены. Телефон не работает, так что я не могу справиться в лектории, состоится ли вечер. Но И. Д. говорит, что идти надо обязательно, раз я докладчица. Он, конечно, пойдет со мной.

Возьмем на всякий случай с собой все важные бумаги. Хорошо бы взять и машинку.

Все это лучше всего носить с собой. А то придешь домой, а дома нет.

19 июля 1943 года

Вечер памяти Маяковского был на редкость хорош. Народу было немного — человек сто. Всех перевели в маленький зал. Но действительно трогательно, что в такой день люди все же пришли на литературный вечер.

После моего вступительного слова выступали Тихонов, Рывина и актеры.

Потом выступала по радио. Шли домой по тихим улицам (обстрел к этому времени прекратился совершенно).

Надвигается на меня доклад о поэзии.

20 июля 1943 года

Вчера союзники бомбили Рим... Бомбежка Рима! Этого еще не видело человечество. Теперь Италия на волоске. Занята уже треть Сицилии.

24 июля 1943 года
Вечер

Грозный день! У немцев сейчас, совершенно явственно, новая тактика: множество кратких обстрелов. Этим достигается большое количество жертв: ведь первый снаряд всегда самый смертоносный, потому что неожиданный. Кроме того, при таких обстрелах труднее засесть батареи.

Вчера к нашему травматологическому пункту (это как раз против моего окна) подъехал грузовик-газогенератор (не санитарный, а простой, полный раненых, которых он подобрал на улице. Там была женщина в военном, че... (Ох, какой удар! Пойду-ка в штаб, а то я совсем одна. И. Д. нет. Мариэтта дежурит.)

Посидела в штабе и вернулась. Теперь, вероятно, около двенадцати часов ночи. И. Д. еще не вернулся. Звонил из города, что ждет отбоя. Напрасно. Первые минуты после отбоя как раз самые опасные: немцы только и ждут, чтобы все начать снова.

Какой кровавый день! Сейчас опять грузовик, полный трупов. Из-под брезента видны обнажившиеся кости ног. В прозрачном свете белой ночи все это ясно видно.

Грузовик подъехал было к травматологическому, но вышел дежурный врач, заглянул под брезент, махнул рукой. И девушка-шофер двинулась к прозекторской. Врачебной помощи там уже никому не требовалось.

Я не дописала про вчерашний дневной грузовик. Там был мальчик лет четырнадцати — пятнадцати, вернее всего — «ремесленник», растерзанный, землистобледный. Он полулежал в крови: обе ступни ног были размозжены и висели черно-красными лохмотьями. Когда его клали на носилки, он кричал:

— Главное — обидно! Я такой молодой, а что они со мной сделали! Лучше бы убили к черту!

Поразило меня это слово «обидно». Сначала я думала, что ослышалась. Но нет. Мальчика внесли уже в здание, а оттуда все доносился вопль:

— Обидно!..

Мальчик попил из кружки, которую подала ему Евфросинья Ивановна.

Все остальные на грузовике молчали. Сняли женщин. Одна была ранена в грудь. Другая — в ноги. Колени обожжены, черны от пороха, чудовищно вздуты.

Всех вынесли, а в грузовике остались какие-то кровавые тряпки.

26 июля 1943 года

Вчера опять много раненых и убитых. Мальчик с оторванными ступнями умер.

По радио важная новость: Муссолини подал в отставку.

28 июля 1943 года

Хирург Б. рассказывал вчера о том, как во время одной из операций (вскрытие флегмоны) зимой 1942 года кровь и гной замерзли на его руках, и стянули их, как перчатки.

*29 июля 1943 года
1 час ночи*

Только что стих зенитный огонь огромной силы. Весь воздух гудел. Ярко светилось какое-то окно, очевидно, отражая свет ракеты.

Такого зенитного огня, как этой ночью, мы еще не знали. Ракеты осветили всю нашу территорию так ярко, что из штаба позвонили И. Д.: не спустить ли больных в убежище.

Небо было безоблачно и бездонно. Голубая бездна была освещена красным золотом ракеты.

В Италии распушена фашистская партия.

*3 августа 1943 года
Вечер*

Сегодня меня чуть не убило.

Без четверти восемь, на закате, я пошла на наш огород за укропом: хотела все приготовить к приходу наших. Мариэтта была на лекции. И. Д. ушел в райком, взяв с меня слово, что я не выйду на улицу, так как обстрел не прекращался с самого утра. Я обещала. Но наш огород — не улица. Это на нашем же дворе, на берегу все той же Карповки. Бывший

пустырь, еще на моей памяти заваленный ржавым хламом, остатками протезов и клочьями матрацев, — теперь весь зеленый, пышный, выпуклый, как лесной массив, увиденный с самолета.

Был час поливки. Здесь собрались санитарки, се-стра-хозяйка, обойщик (его капуста самая лучшая). Все такое мирное, летнее. Карповка — прелестная, отразившая в себе Ботанический сад.

Между гряд расхаживала так называемая «академик Фарро» (Анфиса Семеновна, жена главного бухгалтера Ивана Захаровича Крутикова). Крутиков уже немолод, работает в больнице сорок лет. У него узкое бледное лицо, беззвучный голос. Это один из самых тихих людей, когда-либо виденных мной.

Анфиса Семеновна психически больна. В прошлом — детский врач, работавшая в этой же больнице, она внезапно сошла с ума. С тех пор ее то помещают в психиатрическую больницу в периоды обострения, то выпускают по просьбе мужа. Они очень нежно, на старинный манер, привязаны друг к другу, говорят один другому «вы».

Анфиса Семеновна (в чепце под шляпой, в пенсне и с чемоданчиком в руках) энергична, многоречива, властолюбива, обо всем осведомлена и в общем безобидна. Только требует, чтобы ее называли «академик Фарро», и чрезвычайно искусно похищает ключи от дверей и шкафов, пряча их в свой чемоданчик. Добыть их у нее обратно невозможно: мы испытали это. Приходится идти на хитрость.

Когда я пришла на огород, «академик Фарро» как раз кончала нечто вроде публичной лекции о крысах, которые, подъедая тыквы, якобы разносят тиф.

Я набрала укропа. И только было нагнулась к большому, только что созревшему кабачку, как раздался громовой удар. Это упал снаряд у Второй хирургии. За ним — второй, уже на наших огородах. И третий.

Я увидела (до этого так близко виденный мной только в кино) столб огня, дыма и земли, весь — от основания до распадающейся верхушки. Горячий воздух пахнул на меня. Я присела между гряд,

стараясь спрятать голову в больших листьях... уже не помню — что и как. Потом, когда стихло, сорвала все же кабачок и на трясущихся ногах помчалась домой.

Бегу. А мне навстречу бегут от Второй хирургии, крича, что на дальней грядке, на валу, ранило Крутикова. Он шел с лейкой поливать свои огурцы. Ему оторвало кисть левой руки. Потом привезли к нам еще раненых, с улицы.

Скверно то, что фашисты, видимо, пристрелялись к нашей больнице. Последние дни они попадают все ближе, все точнее. И вот теперь бьют без промаха.

Сейчас тихая, душная, облачная тревожная ночь. Вдали все время артиллерийский гул.

Мы сначала думали идти ночевать в другое здание, потом махнули рукой.

Теперь уж все равно.

4 августа 1943 года

Вчера ночью Крутиков умер: ему не только оторвало кисть, он был ранен в живот, но это не сразу заметили. Основной удар пришелся по лейке: Иван Захарович весь был залит водой.

Когда ему перевязывали руку, он тихим своим голосом произнес, что ему больно «в животе». Раздели его, а там крошечный осколок пробил сальник. Через три часа Крутиков умер.

Самое страшное было то, как Анфиса искала мужа. Сначала она наскочила на меня и спросила, не видала ли я его? Я ответила, что нет. В штабе пытались ее уверить, что директор отправил его для проверки книг в подсобное хозяйство. Она ответила (и вполне резонно), что директора, который так поступает во время обстрела, следует снять с работы.

В конце концов она все поняла, отыскала мужа во Второй хирургии и не отходила от него. Но он уже был без сознания.

5 августа 1943 года

Важнейшее сообщение по радио: мы освободили Орел и Белгород. В честь этого в Москве — салют из

ста двадцати орудий, но мы, к сожалению, этого не слышали. Только смотрели на часы и говорили:

— Вот теперь!

6 августа 1943 года

Доклад мой сошел неплохо. Народу было много. Приехали наши фронтовики.

Я тщательно подготовилась. Перечла все написанное за время войны ленинградскими поэтами в городе и на фронте. (Сейчас вспомнила, как прошлой весной мы поехали на Карельский перешеек, в армию, устроили там «выездное заседание» и приняли в члены Союза писателей Михаила Дудина, работавшего в дивизионной газете.)

В своем докладе я говорила о том, что каждое новое общественное явление встает перед нами, писателями, сначала в общих очертаниях, без деталей, почти без рельефов. Это нечто вроде острова, видимого с корабля. Но чем ближе мы подходим к нему, тем явственнее различаем, что это целый материк, тем детальнее мы его видим. (Здесь я цитировала тех, которые, на мой взгляд, задержались на этой первоначальной, «безрельфной» фазе в изображении войны и не пошли дальше.)

Говорила я и о «недоброй инерции», которая порой развивается в нас с быстротой сорных трав и побуждает писать о том, что нами уже освоено. А наш читатель опередил нас и ждет другого.

Шла речь о чистоте языка, о композиции, о выборе темы, о редактуре, об умении переделать то, что подлежит переделке. Недаром же сказано, что «Аполлон — это бог помарок». Редко, слишком редко ощущаем мы в целом ряде вещей присутствие этого «бога». (Уже потом, после доклада, я вспомнила прекрасную индийскую поговорку по этому же поводу: «Только терпение превращает тутовый лист в шелк».)

Доклад был большой и подробный. В конце я сказала: «Мы убедились в силе наших стихов, в их действительности: это доказывают письма наших читателей. Наши книги берут с собой на фронт, носят их в полевых сумках, читают перед атакой».

Сделаем же все, чтобы поэзия дней Отечественной войны (в частности, ленинградская поэзия) была достойна той великой цели, которой она служит: уничтожению фашизма и торжеству справедливости».

Прения по докладу завтра.

На обратном пути в машине «Ленинградской правды» попали в самый центр обстрела на Литейном. Снаряды ложились справа и слева. Я снова увидела дымные столбы от основания до вершины. Но они были не черные, как у нас на огороде, а желтые и красные, в зависимости от того — из камня или кирпича был дом, куда они попадали.

Страшный грохот сотрясал улицу, все бежали пригнувшись. На трамвайной остановке многие легли на землю. (Вспомнила рассказ Наташи о том, как во время уличного обстрела какой-то военный прижал ее голову к земле и прикрыл своим портфелем.) Мы мгновение колебались: то ли выскочить и спрятаться в подворотне, то ли как можно скорее ехать вперед. Решили — второе.

В грохоте и в обломках вихрем миновали Литейный (мы, три женщины, сидели в машине, прижавшись друг к другу). Выехали на Невский, а оттуда растерявшиеся люди бегут прямо навстречу снарядам.

К довершению всего шофер чуть не угробил нас на перекрестке: показалось ему, что из боковой улицы летит на нас машина. А в действительности она, увидя нас, остановилась.

Приехали домой, а вскоре из райкома прибежал испуганный И. Д., которому сообщили, что обстреливается «Володарский квадрат», как раз тот самый, где в виде точки находилась и я.

Ну и достанется же теперь Ленинграду от немцев за Орел и Белгород!..

7 августа 1943 года

Вчера поздно вечером наше писательское совещание закончилось в громах и молниях (литературных).

Домой меня отвез на своей машине Вишневский. Я была полна мыслью о только что закончившемся совещании и не сразу заметила, что у нас во дворе

иду по сплошным осколкам, словно по стеклянным листьям.

Пригляделась внимательно и увидела, что кирпичный одноэтажный флигелек у ворот, там, где табельная, разбит основательно: два прямых попадания. Но никто не пострадал: все уже ушли.

Увидя этот флигелек, я вспомнила, что, сидя в президиуме и готовясь к заключительному слову, я, услышав далекую канонаду, еще подумала: «Какой это бедняга район страдает?»

Оказалось — наш район и даже наш двор.

8 августа 1943 года

Я одна. И. Д. и Мариэтта уехали в город за продуктами. Сегодня жаркий, совсем летний день, воскресенье.

Безумная «академик Фарро» спрятала ключи от всех несгораемых ящичков и шкафов, где хранились деньги и расчетные книги покойного Крутикова, и не отдает. Пущены в ход десятки уловок и хитростей, но пока безуспешно. И. Д. мучается.

9 августа 1943 года

Вчера был самый страшный из всех ленинградских обстрелов. Снаряды с дьявольской точностью ложились в центре города, главным образом на перекрестке Невского и Садовой, у трамвайной остановки. А там в это время кишело народом: воскресный день. Все это началось через несколько минут после того, как И. Д. и Мариэтта сели в трамвай № 3 и уехали. Первый же снаряд попал в трамвай № 12, идущий вслед за ними, — там было 28 убитых и 62 раненых.

Невыразимо горькое чувство безвозвратно ушедшего лета просто убивает меня. Никогда, никогда не вернуть мне утерянного. Теперь под этот грохот пушек (вот и теперь) нельзя допускать ошибок. Они непоправимы. Весь этот год цепь неудач. Пятая глава (начало начал). Эта ошибка завершила прошлый год. Ею я начала этот год. И тут сбылась старинная примета: плохо

начатый год таким весь и будет. Потом был сборник, доставивший мне беспокойство... А там — вереница мелких неудач. И основная катастрофа, как следствие всего, выпадение из рабочего ритма. И тщетные старания снова попасть в него.

А тут еще честолюбие, мучающее меня. Ощущение, что другим удастся, а мне — нет. Болезни, слабость... Беспокойство за Жанну. Все это вместе взятое — трудно выносимо. Я постарела и ослабела.

Что за тяжкое душевное устройство: не работать — я не могу. А всегда работать я тоже не могу.

Так проиграть лето! Ничего не увидеть. Ничего не написать. Непростительно.

10 августа 1943 года

И вот уже лето на исходе. Уже первые желтые листья лежат у нас на асфальте. Ежедневный грозный и монотонный (вот и сейчас) рев снарядов. Невольная боязнь улиц. Стремление быть поближе к парадным и подворотням, чтобы укрыться при первом же ударе. И это не только у меня... Тяжко. Трудно.

11 августа 1943 года

За окном мелкий осенний дождик. Осень. Ну и бог с ним, с этим летом! Как сказала Евфросинья Ивановна: «Мы и не видали лета красного. Только видели, как кровь течет».

Сегодня, через десять — пятнадцать минут после того, как я вернулась, начался шквальный обстрел. Всего было шесть или семь снарядов. Один разорвался на улице Льва Толстого, против Рентгеновского института, второй — за огородом, против школы. И третий — на нашей территории, почти в том же месте, где погиб Крутиков.

Говорят, что это немцы метят в завод точных приборов («Пирометр»), который опять начал работать.

Фоторепортер К. рассказал мне ужасающие подробности воскресного обстрела на углу Невского и Садовой: кровавая трамвайная остановка. На мостовой лежали куски человеческих тел, бидоны, кошелки,

лопаты, овощи. Многие ехали на загородные огороды или возвращались оттуда. К. видел оторванную руку с папиросой, которая еще дымилась. Свекла и морковь плавали в крови. Потом пожарные смывали кровь с мостовой и тротуара.

Должна честно сказать, что я этой трамвайной обстановки очень боюсь. Она была пристреляна еще тогда, когда обстрелы были редкостью.

12 августа 1943 года

Уже начинаются поиски родных и друзей, не пришедших домой или на работу.

Доктор С., сама больная, ищет дочь. Публичная библиотека ищет сотрудницу. Наташа—инженера К., товарища сына, жившего у нее. Его нет уже третий день.

Пишу и думаю: вот-вот начнется вчерашнее. Нужно ехать в город — и боюсь. Вспоминаю слова санитарки Насти: «Уж лучше бы нам всей грудью навалиться. Либо помереть всем, либо немца сдвинуть. А так — это не жизнь».

13 августа 1943 года

За окном дождик. Серые тучи. Люблю все это. Собираюсь в Москву.

Единственная возможность как-то исправить такой неудачный год — постараться сделать новую книжку. И, конечно, проще всего это сделать в прозе. Да и не могу я сейчас писать стихи. Не могу. Какая-то прослойка мне нужна сейчас. Сделаю, как я и хотела. Напишу о ленинградских детях...

Радует меня и то, что наступает столь любимая мною осень. Кончилось это тяжкое бесплодное лето. Впереди еще, быть может, янтарная осень («янтарь и цедра», — как говорит Пастернак).

18 августа 1943 года
Москва

Вот и Москва. Долетели великолепно. С удобствами и почетом. По дороге на аэродром необычен был город — пустой, залитый луной, с прожекторами, то-

нущими в лунном сиянии, с «люстрами» осветительных ракет на горизонте. Штук семь неподвижных шаров висело в небе.

В Москве холодная осень. Но люди ко мне теплы и нежны...

23 августа 1943 года

Написала для английского радио «Военный объект». Для Швеции дала «Воскресный день в Ленинграде» и «Генеральную уборку». В «Правду» отправила «Истребители» и «Генеральную уборку». Должна приготовить выступление для нашего радио (сегодня). На среду — выступление для Америки. На четверг — письмо для Америки о наших девушках.

24 августа 1943 года
Москва

Вчера в девять часов вечера в честь освобождения нами Харькова было дано двадцать залпов из двухсот двадцати четырех орудий. Все небо сверкало от сотен ракет и трассирующих разноцветных пуль. Это были точки, тире, линии и шарики. А вокруг города полыхали залпы. Мы стояли с Жанной у окна моего номера на девятом этаже. Двор под нами был светел, весь голубой, цветные блики бежали по стеклам этажей. Аплодисменты с улицы доносились к нам на девятый этаж.

1 сентября 1943 года

После первых тягостных (как это бывает часто) дней Москва начинает оборачиваться очень удачно. Оба мои детские рассказа третьего дня появились в «Правде».

2 сентября 1943 года

Сегодня у меня выступление (чуть не написала «наступление») по радио. А потом пойду к морякам рассказывать о Ленинграде.

Из массы вещей мне осталась только рецензия о стихах Эренбурга для «Интерлита». И выступление по радио для детей...

Словечко — «кризиц».

5 сентября 1943 года

Нет, все-таки отлично, что я сюда приехала. Здесь кончилось то душевное состояние, в котором я была все это последнее время: когда все в душе освещено и все неподвижно, словно при свете вражеской ракеты.

8 сентября 1943 года

Важная новость: капитулировала Италия. Официально еще не сообщали, но это точно. В Донбассе мы освободили Сталино.

Не забыть главы о луковице и весне.

9 сентября 1943 года

Сегодня в шесть часов утра сообщили по радио о капитуляции Италии.

23 сентября 1943 года

Приближается день отъезда. Я свои дела заканчиваю. Только написать ничего не написала: совсем затромошилась.

9 часов 40 минут вечера

Мы освободили Полтаву. Посмотрим сегодня салют при дожде: этого еще не было...

Салют без дождя, но под тучами. От этого он более гулок. Величественно и грозно.

Второй салют, за город Унечу, был при дожде. Алые и зеленые отблески зеркально отражались в мокром асфальте.

24 сентября 1943 года

Отличный деловой день. Все удалось, все успела. Во вторник, видимо, лечу.

Сегодня в Совинформбюро закружилась у меня голова. Показалось, что передо мной раскрыт весь

земной шар, от Швеции до Египта, и всюду меня читают.

Надо больше писать, главным образом прозу. Хочу, чтобы меня всюду читали и любили друзья моей страны.

25 сентября 1943 года

Немцы бегут шибче, чем французы в 1812 году. Сегодня нами освобождены Смоленск и Рославль. Салют был двадцатикратный из двухсот двадцати четырех орудий.

Из-за этого (частично) у меня сорвалось выступление по радио. Главное же, просто не могла сесть в трамвай и стремглав побежала пешком. Примчалась за минуту до выступления, а нужно за пятнадцать. А тут уж началось сообщение. Возвращались домой с Виноградской, смотрели салют, на этот раз двадцатикратный из двухсот двадцати орудий. И мне вспоминается та жаркая августовская ночь, когда у меня ночевала бедная докторша. Она с ужасом говорила о беженцах из Смоленска... Лежа у меня на диване, она вздрагивала от канонады. Это далекие не то зенитные, не то пулеметные залпы.

И вот теперь, через два года, Смоленск свободен!.. Значит, враг уже не в силах удержать оборону на Днестре.

А как будет с Киевом? С Ленинградом как будет — вот что самое главное. Значит, и он будет когда-нибудь свободен?

Как хочется туда! Радоваться — так уж там!

26 сентября 1943 года

Вернулась из Переделкина, где провела целый день. Душевно это было легче, чем я думала. Может быть потому, что день был дивный, осенний, золотой. Я нашла два масленка и один шампиньон.

Сторожиха сказала мне: «Не ищи, не найдешь. Войне скоро конец, вот и грибов не стало».

Действительно, странно это народное поверье. Осенью, накануне войны, грибов было неестественно

много. У себя на участке мы набирали целые корзины, не знали, что с ними делать. Сторожиха сказала: «Это к войне».

Переделкинский дом пуст. Главное, ни одной папки с бумагами, ни одной фотографии. Мои дневники, газетные вырезки, да мало ли что... ничего этого нет. Вернее всего, пошло на растопку печей. И хорошо, если бы только так. Грустно думать, что разрозненные и бесприютные мои бумаги бродят где-то по чужим рукам. Кто-то читает их холодно и недоуменно. Постояла в комнате, где жил наш Мишенька. Остались гвозди от той полочки, о которую я ушибла его головку, вынимая из кровати.

Обедали у Афиногеновых. Его отсутствие очень ощутительно и воспринимается болезненно. Так и вижу его улыбку, голубую рубашку. Слышу голос.

28 сентября 1943 года

Все готово, все уложено. Хорошо было бы завтра улететь; сегодня самолета не было. Так хочется быть уже в Ленинграде. Витебское направление — это касается уже непосредственно нашего города. Надо жить и дожить до его освобождения. До разгрома там фашистов или до бегства их оттуда.

29 сентября 1943 года

Погода обещает быть прекрасной. Только бы улететь сегодня.

Сегодня столько энергии потратила на телефонные разговоры, что ее с избытком хватило бы на небольшой двигатель.

3 октября 1943 года
Ленинград

Летели мы хорошо.

Весь день шли над осенними лесами, над нами синело холодеющее небо. В Ленинграде приземлились почти в темноте (дни уже коротки), а с аэродрома в автобусе ехали в сплошной непроницаемой тьме.

За два дня при нас — еще ни одного близкого выстрела.

Стреляют где-то далеко и редко.

Из детских разговоров 1942 года.

Мальчик спрашивает:

— Мама, а что такое ветчина?

Мать объясняет.

Мальчик:

— А ее кто-нибудь пробовал?

Девочка:

— Мама, а сколько весит великан? А какой паек он получает?

Третий ребенок читал стихи Лермонтова: «Клянусь я первым днем *варенья*» (вместо «творенья»).

Дети много думали тогда о еде... как и взрослые, впрочем.

7 октября 1943 года

Эвакуированная девочка пишет матери: «Я осваиваю винтовку и читаю «Мертвые души». Она посылает матери бабочку в письме и пишет: «Эта бабочка — степная. Такой в Ленинграде нет». И приписывает в конце письма: «Прошу военную цензуру эту бабочку не выбросить случайно и не смять».

Это все из писем дочки Марии Николаевны Ф. Сама Мария Николаевна в 41-м году заведовала кино «Арс» на площади Льва Толстого. В ноябре в дом, где помещалось кино, были сброшены три бомбы замедленного действия, правда некрупные. Бомбы пролежали около трех часов, потом взорвались, одна за другой. Дом к этому времени, по требованию МПВО, был уже пуст, в кино тоже никого не было. Оставалась только Мария Николаевна. Она объяснила мне почему: на ее ответственности был несгораемый шкаф с дневной выручкой.

Когда Мария Николаевна осталась стеречь этот шкаф, к ней вошла еще одна сотрудница и сказала:

— Я останусь с вами.

Мария Николаевна ответила:

— Нет, я не хочу. У вас двое детей и старуха мать.

Сотрудница возразила:

— И у вас девочка и муж на фронте.

И осталась. Еще немного позже к ним присоединился технорук, пожилой человек, сказавший про себя:

— Останусь-ка и я с вами. Все-таки мужчина.

Все трое они сидели, ожидая взрыва. Их потрянуло, осыпало штукатуркой, поцарапало стеклом, но все остались живы. Несгораемый шкаф, где лежали деньги, от силы взрыва скрутило спиралью, так что потом пришлось выжигать дверцу электричеством.

9 октября 1943 года

И. Д. рассказал мне, что в мое отсутствие во время особо сильных обстрелов, уходя в штаб, он уносил с собой в портфеле нашего Кузю. Теперь он уже туда не влезет: очень вырос.

Из врачебного доклада Зинаиды Васильевны:

«Ребенок, раненный осколками, лежал на подушке, вследствие чего все раны были набиты перьями.

Ранена беременная на последнем месяце женщина. Ранен также и плод».

О ребенке, который просит, чтобы ко дню рождения ему подарили «противогазик».

На пустыре против нас дети играют в войну. Один из мальчиков командует отрядом. С криком: «Все силы на Лешку!» — ребята бросаются на этого Лешку, которому я не завидую.

12 октября 1943 года

Фраза, услышанная мною случайно: «В такое время юмор надо держать на привязи».

Надо ли?

14 октября 1943 года

Третьего дня снаряд попал в одно из наших зданий, в комнату рядом с залом Ленина (он выступал там в апреле 17-го года с Апрельскими тезисами).

Обстрел начался через минуту после того, как из помещения ушли студенты. Мы пошли туда, когда еще не вполне осела кирпичная пыль, странно изменившая атмосферу комнаты: так, вероятно, бывает после извержения вулкана. В стене зияла пробоина. Единственное, что уцелело, что осталось нетронутым,— это был бюст Ленина на высокой гипсовой подставке. Он только изменил свой цвет от пыли: из белого стал сумрачно-серым. Точно изменился в лице.

Вчера во время партсобрания в том же зале Ленина снова начался обстрел. И. Д. прервал собрание, мы все разошлись.

Дела на фронте великолепны. Сегодня можно ожидать салюта или даже двух.

17 октября 1943 года

Вчера, во время сильного обстрела, я пошла в приемный покой, куда уже начинали привозить пострадавших.

Одну из первых привезли сотрудницу ГИПХа, раненную в правую руку и в правую ступню. Бледная, дрожащая нервной дрожью, она крепко прижимала к груди бежевую «модельную» туфлю с правой ноги, измазанную кровью. На лице, возле рта, прямо под кожей, виден был осколок. «Торчал»,— как сказал дежурный врач. Раненую сразу взяли на рентген.

Потом мы с Алевтиной Васильевной пошли на сторожевую вышку на крыше одного из наших зданий. Жутко было идти по косой, мокрой от дождя крыше и перелезать через какие-то натянутые провода. На осеннем горизонте — тяжелые, мрачные вспышки. Под ними — темные скопления домов. Купол Исаакия, шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости — на все это надеты теперь серые чехлы, скрывающие золотой блеск.

Начальник штаба ПВО сказал:

— Если ударит снаряд, немедленно лечь.

Но этого не понадобилось. Иначе наверняка не удержаться бы мне на покато́й и мокрой крыше.

Идя обратно, вошли в другое, более близкое слуховое окно. И так уютно показалось на чердаке!

8 ноября 1943 года

Давно не писала. А событий множество. Мы уже освободили Киев. Иногда приближение конца войны отчетливо до дрожи в сердце.

Праздники провела «бурно». Вчера была на Карельском перешейке, в гостях у командующего армией.

Он давно уже приглашал меня. Вчера прислали за нами машину. И мы помчались по Кировскому в сторону Островов, мимо Черной речки — места дуэли Пушкина. А там — Парголово, Токсово, хвойные карельские перелески и холмы. Все настороженное, беззвучное, затаенное осенней дымкой.

Армия активных действий не ведет. Она — заслон от финнов. Но то, что она не воюет (ее так и зовут «невоюющей армией»), видимо, точит сердца всех здешних армейцев, от командующего и до рядового бойца.

С первых же слов каждый начинает объяснять, почему они не воюют. Но, надо думать, настанет час — пойдут в бой и они. А пока здесь полный порядок. Пушки и гаубицы установлены с грозным щегольством. Для них устроены особые укрытия, из которых они выкатываются в течение нескольких секунд. Нам с гордостью объяснили, что здешний «производственный опыт» нашел уже себе применение в других армиях.

Отдохнув в штабе, мы поехали с командующим ближе к переднему краю: за три километра от финнов, откуда прошли еще пешком. И хотя я уверяла, что зимой 1942 года в армии Федюнинского была от немцев в четыре раза ближе, командующий не пожелал вести нас дальше, пояснив, что он отвечает за меня «перед литературой».

Позднее, за ужином, этот военный человек устыдил меня, профессионального писателя, цитируя неизвестные мне стихи поэтов пушкинской плеяды.

В одном месте командующий, указав на синеющие в предвечерней дымке лесистые холмы, сказал:

— Там противник.

Умиротворенный осенний пейзаж пронизан войной. Мшистая кочка, полуразрушенный шалаш, случайная куча хвороста на опушке — все это в любую минуту может открыть огонь. Тишина, безмолвие, совершенное безлюдие. А на проверку — всюду большие и малые доты, хитро окруженные проволокой с навешенными на ней металлическими предметами: чуть тронешь — и начинается звяканье и звон. Противотанковые рвы тянутся без конца.

Впервые я увидела дот; там все — металл, бетон, ничего деревянного. Это круглая крепость. Амбразуры во все стороны. Для пулеметчиков сделаны сиденья, вроде тех, какие бывают на сельскохозяйственных машинах.

Глубоко под землей — жилая часть, куда надо спустаться по трапу. Командиры дотов и артиллерийских батарей рапортовали командующему о готовности исполнить боевое задание, а также о том, чем заняты в данную минуту бойцы. Один командир очень хорошо доложил:

— Бойцы заняты отдыхом.

На одной из батарей дважды выстрелили в нашу честь из тяжелых гаубиц. Через несколько минут финны ответили.

На затерянном скрещении лесных дорог из не приметного шалашика вышло сторожевое охранение: два бойца. Один — белорус или украинец: немолодой, уса-тый, сосредоточенный. Второй — горбоносый, смуглый, с легкими движениями горца.

Командующий угостил обоих папиросами, и, повернувшись спиной к финской стороне, оба потаенно закурили.

Поздно вечером, при ущербной луне, мы вернулись на машине в Ленинград.

Теперь я уже почти со всех сторон представляю себе блокадное кольцо.

19 ноября 1943 года

«Ауспиции» самые что ни на есть блестящие. Но чур, чур, чур... не задыхаться, не терять ритма! Что суждено, то и будет. Глава подходит к концу. Она почти вся

целиком переработана. Работаю неистово. Даже не замечаю, как проходит день. Сегодня работала часов восемь. Кстати, люмбаго помогло: не дало мне двинуться с места.

26 ноября 1943 года

«Да здравствует советский человек», побеждающий трудности. Кончила-таки эту главу. И кончила, по существу, поэму. Это было так трудно, как еще, кажется, никогда. Впрочем, это, очевидно, только кажется. Каждый раз трудно. Но на этот раз было *очень* трудно. Ведь я, по существу, ее снова написала. И получилось хорошо. И это настоящая заключительная глава. Но у меня было такое чувство, будто черепная коробка лопается. Это было такое умственное и душевное напряжение, которое переходит в дикую физическую усталость.

Теперь все это позади. Я даже не осязаю еще окончательно своего счастья.

Сегодня передала главу Воронову для «Правды». И теперь впереди самые лестные для меня препирательства между «Правдой» и «Ленправдой» — кто раньше напечатает. Чагину рукопись тоже передала через Воронова. Завтра сдаю в Лениздат.

Завтра же иду к Остроумовой-Лебедевой условиться насчет оформления книги. А там можно и за прозу. Очень хочется.

В ней наметятся, конечно, свои трудности, но не будет того неистовства, какое есть в стихотворной работе.

Постараюсь, чтобы рабочая энергия этого года целиком, не прерываясь, перешла в 1944 год. Чтобы не было этого страшного чувства «начинанья на пустом месте».

Плавно-плавно оно и пойдет и пойдет...

12 декабря 1943 года

Наконец приехали Озерецкие из Красноярска, куда эвакуированная весной 1942 года часть института попала в конце концов из Кисловодска.

Теперь, когда основные блокадные трудности позади, И. Д. счел возможным просить освободить его

от обязанностей директора и выдвинул кандидатуру профессора Озерецкого. Это совпало с желанием самого Николая Ивановича. Таким образом, все устроилось хорошо.

Теперь И. Д. может снова вернуться к своей любимой истории медицины. Уже появились у нас в комнате библиотечные фолианты, томики и комплекты старых журналов. Уже наш кот Кузя спит на картотечных коробках.

И. Д. счастлив. Я тоже. Я перестану слышать о «фановых» трубах и водопроводных «точках». После всего этого поставлена точка.

17 декабря 1943 года

Вчера вечером пошли, как обычно, гулять. Ночь была сырая, теплая, скользкая, хотя Озерецкие и утверждали, что видели северное сияние.

На площади Льва Толстого хотели подробнее рассмотреть булочную, куда днем попал снаряд, но при свете ручного фонарика, конечно, ничего не увидели.

Только успели прийти домой — три-четыре снаряда ахнули подряд на той же площади.

Вчера днем там смертельно ранило бывшую здешнюю студентку, теперь аспирантку Оршанскую. У нее порваны кишки, она без пульса: надежды никакой.

Во время этого же обстрела убита наповал совсем юная студентка второго курса — Верочка Березовская. И. Д. видел ее за десять минут до смерти: она выходила из «анатомички», где происходили экзамены.

И. Д. спросил ее:

— Что, трясетесь?

Она ответила:

— Сегодня трясутся другие. А я буду завтра.

Через час она уже лежала в нашей прозекторской.

19 декабря 1943 года

Сегодня утром пошли к выносу тела Верочки Березовской. Было ясное, розовое, сухое утро. Подошли к прозекторской как раз в ту минуту, когда отъез-

жал грузовик с гробом какого-то моряка, также погибшего от обстрела. Взвод балтийцев следовал за грузовиком.

С трудом проникли в маленькую комнату «прощаний». Там стоял еще один гроб с женщиной под кисеей; тоже жертва обстрела. И тут же небольшой гроб Березовской. Одна только полудетская ручка, желтая, как воск, виднелась из-под искусственных лилий и роз. Прощаясь с покойницей, все целовали эту ручку.

Изголовье было оббито тюлем. Когда я хотела откинуть его, чтобы взглянуть на лицо, мне шепнули, что от головы у покойницы осталась только затылочная кость. Мать держалась стойко, но отец... вот уж подлинно убит горем.

И. Д. со студентками вынесли гроб. Грузовик пошел сначала на улицу Скороходова и остановился там перед аккуратным особнячком стоматологической клиники, которой заведует Березовский-отец и где Верочка, будучи студенткой-медичкой, работала сестрой. Из клиники взяли скамьи на грузовик, чтобы ехать на кладбище. И тут же на улице состоялся небольшой траурный митинг.

Первым говорил И. Д., потом сотрудники клиники, затем — студентка. А в это время, не переставая, громыхали орудия. И где-то по недалеким улицам звучал похоронный марш: хоронили военного. Небо было чистое, прелестное: молодая, нежная зима. Долгожданный морозец, необходимый для начала нашего наступления.

Слыша орудийный гул, Березовская-мать сказала:

— Только бы доехать до кладбища.

И было неясно — то ли она сама боится, то ли хочет спокойно похоронить дочь.

Вечер

Важное сообщение по радио: огромный прорыв вражеской обороны в районе Невеля. Теперь ясно, почему гитлеровцы так свирепствуют все эти дни.

25 декабря 1943 года

Было заседание нашего партбюро и общее собрание: меня приняли в партию. В понедельник — бюро райкома. Сегодня рано утром ходили с Мариэттой в райком по поводу наших заявлений.

Мой год кончается хорошо.

28 декабря 1943 года

Тревожный день... Только было собрались идти в райком уточнять анкету — шквальный обстрел нашего района. И. Д. ушел в город по делам до вечера, и это очень волнует меня. Мы повздорили перед уходом и не простились. А в Ленинграде нельзя расставаться, не прощаясь.

Как только обстрел стихнет, пойдем в райком.

29 декабря 1943 года

Трудная, грозная ночь. Три раза возобновлялся обстрел из тяжелых орудий. Снаряды падали очень близко, у дома Промкооперации. Наше здание колыхалось, как карточный домик, но мы никуда не сошли, даже не оделись. Только я с подушками перебралась на тахту, подальше от окна.

Вечер

Бюро райкома заседало за овальным столом, в большой прекрасной комнате: пол устлан дорожками, на столе — зеленое сукно. Мне задавали вопросы, а я, стоя, отвечала.

В о п р о с. Почему вы не вошли в партийную организацию Союза писателей?

О т в е т. Ленинградское отделение Союза писателей в настоящее время не имеет своей партийной организации. Писатели-фронтовики прикреплены к военным парторганизациям. Остальные — к заводам, где они работают.

В о п р о с. Какая общественная нагрузка была у вас за это время?

О т в е т. Я выступала на заводах, в клубах, в воинских частях, в госпиталях и школах.

В о п р о с. Как представляете вы себе свою будущую партийную работу?

О т в е т. Я, как и раньше, буду писать и выступать. Но постараюсь делать это много лучше, с точки зрения писательского мастерства. Кроме этого, буду делать все, чего потребует от меня партия.

В о п р о с. Не пугает ли вас строгая партийная дисциплина?

О т в е т. Нет, не пугает. Я организованна по природе.

По дороге из райкома домой я спрашивала себя, как же действительно прошел год моего кандидатского стажа? Какие изменения произошли со мной за этот срок?

Я выступала на фабриках, заводах, в воинских частях. Я писала. Верно. Но все это я делала и раньше. В чем же разница?

Это не так просто сформулировать, но разница есть. Раньше было так: напишу, допустим, удачную вещь — и рада. Неудача была мне горька. Но это была моя личная печаль и только моя радость.

Теперь же я думаю: а в какой мере то, что я пишу, полезно делу советской литературы, которая, в свою очередь, является только частью великого дела — процветания моей страны, первой социалистической страны в мире?

Каждое литературное произведение, логически продолженное, должно претворяться в действие. Может претвориться во всяком случае.

Я старалась мысленно проследить эту линию, угадать, что происходит за тем обрывом в конце страницы, за которым начинается жизнь.

Как действуют сейчас мои стихи? Как работало мое перо, мое оружие, в осажденном Ленинграде? Сумела ли я хоть в какой-то степени быть нужной ему? Я отвечаю за это.

Мне это поручено партией, это мое партийное дело.

30 декабря 1943 года

Тихая ночь. Только поздно вечером был слышен далекий сплошной гул: может быть, это разговаривали наши «катюши». Сообщения по радио прекрасные.

...Сегодня первая в этом году метель.

31 декабря 1943 года

Итак, год кончается. Новый, наступающий, сулит нам победу. Вчерашние сообщения блестящи. С восторгом слушали также о «весьма ожесточенном» налете на Берлин. Нет такого ада, который не следовало бы обрушить на голову Гитлера.

1 января 1944 года

Новый год встретили у Кетлинской. Очень хорошо было возвращение пешком через весь тихий, покрытый легким снегом город, с вальсами по радио. Хожение по улицам было разрешено до двух часов ночи,— к этому времени мы и вернулись.

Желаю себе здоровья! Будет здоровье, будет и книга.

2 января 1944 года

История с милиционером (из рассказов Евфросиньи Ивановны):

Какая-то женщина в очереди так грубо бранила и дергала за руку своего ребенка, что остальные возмутились и позвали милиционера.

Тот пришел, узнал в чем дело, взял ребенка за руку и повел. Мать растерялась:

— Куда это вы его ведете?

— К моей жене. Она умеет обращаться с детьми.

— Да разве это ваше дело — возиться с ребенком?

— А как же, конечно, мое. Меня государство поставило следить за порядком. Вот я и слежу.

Вчерашняя новогодняя студенческая елка происходила в зале Ленина. Зал был переполнен студентами, студентками и «подшефными» институту моряками, подтянутыми, чистенькими, явно готовыми танцевать

до первой тревоги на кораблях, сколько бы ни длилась эта мирная пауза.

На фоне плотных морских курток еще нежнее и ярче казались девичьи платья. Откуда они только взялись? Каким чудом сохранились? В каких тайниках, недоступных ни бомбам, ни снарядам, свернутые в кокон, пролежали они два с лишним года для того, чтобы в эту новогоднюю ночь выпорхнуть на свет елочных электрических гирлянд? (Настоящие свечи были строгойше запрещены пожарной охраной города.)

Вокруг елки кружилось несколько маскарадных костюмов. Одна девушка была даже с веером, хотя, видит бог, температура зала не давала для этого никаких оснований.

Мальчик Юра был в костюме Пьерро, натянутом заботливой мамой на ватник. Первую блокадную зиму Юра, весь опухший, провел, не выходя из комнаты. Вторую зиму его можно было видеть уже в нашем дворе на лыжах. И вот теперь он носился между танцующими парами как воплощенный маленький бесенок веселья и озорства.

Юра-то и сообщил нам, что, кроме радиолы («Что радиола? Подумаешь!..»), будет еще «самый настоящий, живой джаз».

И действительно, прибыли валторна, скрипка и саксофон.

Электрические плафоны в потолке были погашены, только елка сияла. А она была громадная, сами студенты привезли ее на грузовике из лесу, нарядная, со звездой под потолком, в золоте и серебре.

Грянул джаз, посыпались конфетти, закружились пары.

Обстрела не было.

4 января 1944 года

Радиолекция о гриппе была прервана сообщением об обстреле. Утром было несколько очень сильных ударов, но я слышала их смутно. Они только вплелись как-то в мой сон.

Какая усталость от всего этого! Какое предельное напряжение! Когда же конец ленинградской страде?

6 января 1944 года

Радиокомитету все еще требуются «первый и второй трубачи и флейтист-пиккололист». Об этом объявляют утром и вечером. Но их нет: вымерли во время голода.

Слова Т. Г.:

— В свой институт имени Герцена иду как по гребню окопа,— так пристреляна улица.

Профессор о студентах:

— Им дрова надо носить, а они качественным анализом занимаются.

9 января 1944 года

Вчера мы освободили Кировоград (бывший Елисаветград), тот самый, где некогда я с матерью и маленькой Жанной, по настоянию отца, спасалась от тех же немцев, от кораблей «Гебен» и «Бреслау», обстреливавших Одессу.

В Ленинграде все те же кровавые будни войны. Обстрелы, жертвы, прямые попадания в трамвай, как это было в среду с № 10, где одних убитых было семьдесят человек.

На нашем фронте все тихо. Но может начаться в любой час, хотя немцы яростно держат Полоцк и Витебск, узловые пункты ленинградской судьбы.

После бессонной ночи (просто поразительно, как это Данте не догадался устроить в своем аду и этот «круг мучений»: вечной бессонницы) встаешь вся в обломках, как после бомбежки. Нужно «воссоздавать себя наново», как сказал какой-то китайский философ, чуть ли Конфуций. Значит, и он страдал бессонницами.

Самое трудное, что в таких случаях надо лечиться тем самым, от чего страдаешь: работой...

Как определить это чувство душевной аритмии, как бывает аритмия сердца? Главное — это потеря чувства времени.

Когда-нибудь, на досуге, я займусь распутыванием, дешифровкой этого состояния.

А пока надо сесть за листовку для фронта по случаю годовщины прошлогоднего прорыва блокады.

14 января 1944 года

Ни с чем не сравнимое ощущение возвращения утраченного ритма, выкарабкивания из «душевной ямы», постепенного выздоровления. Возвращается аппетит к обыденным милым вещам: мытью, уборке и, в первую очередь, к работе. Написала очерк для «Литературы и искусства». Сейчас сажусь за стихотворение для «Правды». А там — снова за книгу.

Как ни тягостен порой Ленинград с его монотонно-огненным бытом, все же необходимо пробыть здесь до весны. За это время судьба Ленинграда должна переломиться. Настали морозы. В воздухе веет событиями. У нас появились новые раненые: важный признак.

15 января 1944 года
Полдень

С раннего утра в воздухе сплошной гул еще невиданной силы. Это бьет наша морская артиллерия. Говорят, в районе Ораниенбаума.

Гул не утихает. Мне сказали, что мы «обрабатываем его передний край».

Что-то будет? Неужели и сейчас не удастся? Но все верят, что будет хорошо. У всех совсем особые лица.

Утром, как всегда в критические минуты, явился профессор Г.— «просто так», от переполняющих его чувств...

Надо сесть писать!

Ох, бьют! Ну и бьют!.. И. Д. уже поговаривает, что мне необходимо будет побывать в Пушкине тотчас же после его освобождения. (Ох, бьют!)

19 января 1944 года

Уже официально объявлено, что «на Ленинградском фронте наши войска перешли в наступление южнее Ораниенбаума. Наступление продолжается».

То же самое и на Волховском фронте. Значит, по-настоящему «началось»!.. Но сколько раненых во всех ленинградских госпиталях! А эти громадные черные

автобусы Красного Креста, нескончаемой вереницей идущие на вокзал за ранеными. Только бы не даром пролилась эта кровь!..

20 января 1944 года

Мы освободили вчера Красное Село, Ропшу, Петергоф и Дудергоф.

Тихий городок Ропша, известный до войны своей бумажной фабрикой и рыбными садками, где разводили зеркальных карпов, был важнейшим пунктом обороны немцев. Отсюда звездой расходились их стратегические дороги. Наши части, ворвавшись в Ропшу, нашли, между прочим, в одной из комнат тарелку еще с теплыми макаронами.

Наконец-то прогремел из Москвы «ленинградский салют».

21 января 1944 года

Нами освобождены Урицк, Лигово, Стрельна и Новгород. В других местах «немецкие части окружены и уничтожаются». Теперь очередь за Пушкином. В городе тихо. И это странно. Оказывается, к чувству безопасности нельзя привыкнуть сразу. Все думаешь: «А вдруг еще где-нибудь затерялась батарейка?»

22 января 1944 года

Вчера утром, в воскресенье, позвонили мне сначала из Союза писателей, затем из политуправления Ленфронта, чтобы я была готова: через час мы едем в освобожденные места.

Они начались тотчас же за Кировским заводом. Там все изрыто войной. Всюду колючая проволока, пучки проводов, надолбы, рвы, кирпичная осыпь разрушенных домов. От бомбовых воронок расходятся по снегу длинные языки копоти, по ним можно определить силу пламени. Это наши летчики «обрабатывали его передний край».

От старинной больницы Фореля остались только стены. На фоне зимнего неба — трагическая руина «Пишмаша», фабрики пишущих машин. Немцы превратили ее в сильный форт и били оттуда по городу.

На перекрестках всюду еще таблицы с немецкими надписями, стрелами и рисунками слонов: эмблемы счастья, что ли? Мостики, даже самые незначительные, все взорваны. Обе наши машины осторожно переправляются по только что наведенным временным мостам. У каждого предмостья на деревянных настилах рядами лежат уже обезвреженные круглые мины. Другие — удлиненные, маленькие, с хвостовым оперением — навалены кучами, как дохлая рыба.

Справа и слева от дороги по снегу цепочками идут саперы, ведя на поводках собак. Про одного такого пса нам рассказали, что он за вчерашний день обнаружил сорок пять мин. Но шоссе еще не безопасно. «Пикап», идущий перед нами, наскакивает на мину, к счастью, задев ее только краем колеса. Но все же шофер слегка ранен, кровь течет у него по лицу. Он кричит нам:

— И куда вас несет? Видите, что делается.

Но нас благополучно «пронесло» дальше.

Есть вещи, которые, будучи заранее известны, поражают нас все же как нечто невиданное, чудовищное, доселе не бывшее. Такой вещью явилась для нас деревянная дощечка с немецкой надписью: «Стрельна».

На развилке русских дорог, среди снежных просторов, эта дощечка была прибита к мертвой березе, вздымавшей к небу изуродованные сучья жестом почти человеческого отчаяния. На этом же перекрестке, на щите, толстая стрела, похожая на распрямившуюся лапу свастики, указывала на Ленинград. Под ней был нарисован слон, символ удачи! Не помогли немцам под Ленинградом ни слоны, ни тигры, ни пантеры.

Снежные дороги разворачиваются перед нами, как запись всего, что здесь происходило так еще недавно. Черные радиусы копоты и сажи, бегущие из громадной воронки, комья и бугры, — это знак того, что здесь побывала наша авиация. Дальше дорога зеленеет, становится вдруг изумрудной. Это раздавленный и вмятый в землю тол. Белые груды этого взрывчатого вещества, аккуратно выделанного, похожего на туалетное мыло, в кусках, валяются вдоль дороги. Немцам

тут так намылили шею, что они не успели использовать свои запасы.

Еще дальше снег вдруг делается цвета йода. Это ржавые подтеки какой-то уж вовсе бесформенной вражеской машины. А там внезапно появляются анилиновые пятна. Очевидно, это линяют наклейки на немецких ящиках с минами. Некоторые из них стоят еще целехоньки.

Мины не только в ящиках. Они всюду. Они прячутся в снегу, сидят в развалинах, киснут в ржавых болотах и речушках. Особенно много их вблизи мостов. То и дело слышатся взрывы, и черный дым взлетает к небу: еще одна взорвалась. Солдат, расчищающий дорогу у стрельнинского дворца, показывает нам торчащий из-под снега кончик провода: здесь дальше копать нельзя. Надо ждать саперов.

А вот и сапер со своей собакой. Рыжий пес, нечто среднее между овчаркой и лайкой, по имени Валет, легкими, почти балетными движениями пробирается по снегу, тщательно обнюхивая каждый бугорок. Вчера Валет обнаружил тридцать шесть мин.

Самые разнообразные руины сопровождали нас. Трудно себе представить, что существует столько видов разрушенья. Порой нам удается распознать школу, часовню, магазин. И снова все тонет в развалинах.

В стрельнинском дворце немцы жили в подвальных этажах здания. Окна там заложены кирпичом. Перед окнами добавочные заграждения из столетних деревьев великолепного парка.

Блокировав Ленинград, окружив его, отрезав ему почти все пути, крича на весь мир всеми своими радиоглотками о победе над великим русским городом, — немцы боялись его, как смерти, как судьбы, как Страшного суда. И этот Страшный суд наступил.

Между ящиками и ведрами, сделанными из пестрых жестянок, среди мотков ярко-красного телефонного провода, плащ-палаток, штанов, подбитых эрзацватой, дырявых касок, худых резиновых сапог — книги.

Любопытно, что почитывали немецкие убийцы в свободное время. Оказывается, читали главным образом детективные и любовные романы. Вот роман под названием «Моя жизнь». С глянцевой обложки —

автор романа, некий фон Курциус, задумчиво и тревожно вглядывается в даль. У него есть для этого все основания... На титульном листе надпись аккуратным немецким почерком: «1943 год. Рождество. Россия». Это выглядит как смертный приговор.

С террасы разрушенного стрелнинского дворца мы глядим на залив, слабо серебрящийся под зимним солнцем. Небо и вода — вот и все, что здесь осталось нетронутым. Все остальное разрушено, испоганено, освернено.

Петергоф, эта «жемчужина искусства, великолепный урок истории», был особенно ненавистен гитлеровцам. Они превратили дворец в руины, ограбили и умертвили «аллею фонтанов». Только в парке сохранились еще кое-где аллеи. Очевидно, просто не успели их уничтожить.

В Петергофе мне вспомнился золотой осенний день 1942 года. Стоя на маленьком островке Кроншлота, при входе в Кронштадт, мы глядели через залив на Петергоф, бывший у немцев. Морской бинокль с безжалостной точностью приблизил к нашим глазам остов дворца. Мы смотрели на Петергоф, и сердце рвалось сюда. И вот теперь мы стоим здесь и глядим в сторону Кронштадта, так много способствовавшего своими морскими батареями освобождению Петергофа.

В Стрельне, под главной дворцовой аркой, уже дымила походная кухня, наши бойцы носили воду в трофейных ведрах, стучали топорами. Эхо было такое звонкое, точно радовалось, что оно опять повторяет мирные звуки.

Стрелнинский парк весь в ранах. Почти нет неповрежденных деревьев. Одно из них — всклокоченное, страшное, голые ветви дыбом — почти человеческим движением схватило себя сучьями за голову.

Двигаться надо с осторожностью, отдаляться от протоптанных тропинок нельзя: всюду мины.

Из Стрельны я увезла с собой большой кусок немецкой зеленой противоопридной бумаги.

Петергофский дворец разрушен так, что никакими человеческими силами уже не воскресить его. Карабкаясь по обломкам, мы вышли на то, что уцелело от

большой террасы, и долго глядели оттуда на мертвую «аллею фонтанов», уходящую к морю.

В нижней части парка, на полукруглом возвышении, у самого парапета, в зимнем воздухе отчетливо виднелась немецкая пушка, обращенная дулом к Кронштадту, по ту сторону залива. К этой пушке нельзя еще подойти: там все сплошь заминировано. Я вспомнила, как мы стояли в Кроншлоте у причала, и, глядя на далекий Петергоф, командир сказал: «Придет время...»

В Красное Село попали уже почти вечером. На окраине, там, где висит табличка с надписью «Кингисепп», при свете горящего дома мы увидели пленных немцев в маскировочных халатах, грязных, заросших. Их вели туда, куда указывала стрела и надписи: в Ленинград.

Это были первые немцы, увиденные мною за все время войны.

*24 января 1944 года
12 часов ночи*

Нами освобождены Пушкин и Павловск.

27 января 1944 года

Величайшее событие в жизни Ленинграда: полное освобождение его от блокады. И тут у меня, профессионального писателя, не хватает слов. Я просто говорю: Ленинград свободен. И в этом все.

28 января 1944 года

Вчера в восемь часов вечера, по приказу генерала Говорова, был у нас большой салют, такой, который дается только в дни самых крупных побед: двадцать четыре залпа из трехсот двадцати четырех орудий. Город Ленина салютовал войскам Ленинградского фронта. Но у нас по-иному, красивее даже, чем в Москве, пускали ракеты. Там они всех цветов сразу. А здесь было так, что взлетали то одни только зеленые, и тогда все небо озарялось фосфорическим светом, точно пролетел метеор, то это были потоки малиновых огней,

то золотые звезды струились книзу, как колосья из невидимой корзины. Все это падало и догорало на льду Невы.

По природе свсей это были боевые ракеты, мы видели их и раньше. Их предназначение было указывать начало атак, обозначать посадочные площадки самолетов, сигнализировать артиллеристам, направлять пехотинцев, предупреждать танкистов. Но тогда это были одиночные ракеты. А теперь — тысячи атак, сотни схваток, вылазок, морских сражений сразу ринулись в небо. Необыкновенны были морские прожектора (то, чего не было в Москве). Особенно один из них, направленный откуда-то снизу на шпиль Петропавловской башни, прямо на ангела, был так силен, что приобрел плотность. Он стал похож на наклонную белую башню или на цепной мост, на который, казалось, можно стать и пройти по нему до самого ангела.

Другой прожектор с невиданной театральностью освещал издали биржу, то поднося ее нам всю целиком на острие луча, то рассекая колонны или фронтоны, то убирая все это во мрак. Все небо было расчерчено прожекторами.

Пушки стояли на кораблях и вдоль набережных, справа и слева. Прежде чем раздаться залпу, вспыхивали язычки пушечного пламени: так иногда на старинных картинах изображаются адские огни.

Во время сообщения о салюте по радио я выступала в нашем райкоме на собрании интеллигенции. Кончила, когда до салюта оставалось минут десять.

Быстро оделись и вскочили в третий номер трамвая, переполненный: все спешили на Кировский мост. Подъехали туда как раз к первому залпу.

Кировский мост и Марсово поле были сплошь залиты людьми. У памятника Суворова стоял киногрузовик и шла съемка. Автомобили, велосипеды и пешеходы — все было перемешано. Среди машин кое-где медленно двигались танкетки, а иногда и танк.

Залпы были громадной силы: подлинный «гром победы». Поражало море света. Все лица были запрокинуты к небу и освещены до мельчайшей черточки.

30 января 1944 года

В нашем акушерском отделении через два дня после салюта родился у К. ребенок, мальчик. Дитя уже свободного Ленинграда.

1 февраля 1944 года

С художниками и музейными работниками ездила вчера в Дудергоф, Гатчину, Павловск и Пушкин. На обратном пути проехали мимо Пулкова.

В последний раз я видела Пулковскую обсерваторию в маленьком детском стереоскопе. Там с трогательной оптической четкостью виднелись белые здания среди зелени: главный корпус обсерватории работы Брюллова, высокая башня, где помещался главный телескоп, библиотека, где хранились биографии всех звезд.

Теперь все это сожжено, расстреляно, разбомблено, разбито. От бывшего парка сохранилось только несколько обугленных деревьев. Здания в развалинах. Весь Пулковский холм изрыт блиндажами и траншеями: это наши. Но тут же, по другую сторону холма, уже были немцы. Их блиндажи и траншеи, в полном смысле этого слова, упирались в грудь нашим частям. И все же немцы ничего не могли поделать.

Разрушенное Пулково прошло перед нами на исходе короткого зимнего дня как сумрачное видение.

Дудергоф (Воронья гора) издали по форме несколько напоминает утюг. С Дудергофа гитлеровцы корректировали свой артиллерийский огонь по городу. Можно себе представить, как трудно было брать нашим эти обледенелые склоны. Танки, думается, мало что могли здесь сделать. Очевидно, брала пехота.

В нашем автобусе были сотрудницы трех бывших музеев: Павловского, Гатчинского и Пушкинского. И надо было видеть, с какой горечью смотрели они на разрушения.

В Павловский дворец я не попала, только смотрела на него издали. Мост через реку Славянку (как вообще все мосты) взорван. Нужно было спуститься

с крутого обрыва и пройти по обледеневшим бревнам: мне это было трудно.

Но девушка из Павловского музея с такой быстрой сбежала вниз и взобралась на той стороне по ледяной круче, что мужчины едва поспевали за ней. Возвращалась она медленно и была так бледна, что это было заметно даже на морозе. Она рассказала, что от дворца сохранилась только «коробка», то есть внешний силуэт. Внутри — это руина.

В Гатчине, на высоком обелиске у входа в парк, был раньше гранитный шар. Гитлеровцы сбили его и водрузили туда громадную свастику. Но когда мы подъезжали к парку, свастика эта, издевательски засиженная воронами, была уже сшиблена нашими бойцами и лежала у подножия обелиска.

От Гатчинского дворца, по определению музейных работников, сохранился по крайней мере «архитектурный ансамбль» — общий вид здания, его замысел, пропорции его частей. Гатчину немцы сдавать не собирались. Наоборот, они даже согнали сюда людей из Петергофа и Стрельны. В последнюю минуту, когда наши войска уже входили в город, фашисты облили дворец термитной жидкостью и подожгли. Из каждого окна вырывался сноп пламени, оставляя после себя черный хвост копоти на внешних стенах. Все здание теперь словно в траурных султанах. Даже при нас отдельные балки еще дотлевали.

Внутри хаос, развалины, рухнувшие потолки. В комнате Павла — свисающий сверху камин. Над камином — античный горельеф I века до нашей эры: жертвоприношение императора Тита. В другой комнате, тоже над головой, над дверью мраморный омар. Все это надо разглядывать снизу, запрокинув голову, но осторожно, чтобы самой не провалиться куда-нибудь.

С фасада, у главного входа во дворец, — две аллегорические статуи итальянской работы: Война и Мир. Обе прекрасно сохранились в своих деревянных чехлах. Гатчинская сотрудница обрадовалась этим статуям, как живым. Сама же она прятала их в эти чехлы.

На фронто́не дворца значится: «Заложен 30 мая 1766 года. Окончен в 1781 году». Теперь можно было бы добавить: «Разрушен фашистами в январе 1944 года».

На одной из гатчинских стен — немецкая надпись химическим карандашом: «Мы здесь были...» и дальше дословно: «Когда Иван придет — тут все будет пусто». И адрес: «Рихард Вурф, Штеттин, Уландштрассе, 2. Телефон Д-28-10-43».

Где-то сейчас этот «Вурф» (что по-русски означает «бросок»)? Уж не его ли это «выбросили» в снег на дороге между Гатчиной и Павловском, босого, с наполовину размозженной головой, с комьями кровавого льда вместо глаз, мертвого, запрокинутого? Из-под снега виднелась нашивка на рукаве: «СС». Таких трупов мы видали много.

В самой Гатчине — отвратительные и страшные следы гитлеровского быта: тюрьма, дважды окруженная колючей проволокой, «офицерский клуб», вывески на двух языках, немецком и русском: «Комиссионный магазин», «Булочная». И фамилии «владельцев»: Айсен, Маслянников.

При освобождении нашими войсками Гатчины там было обнаружено около четырех тысяч человек. Вот оборванный человек, тощий, бледный с перевязанной рукой, глядит — не может наглядеться на нас, приехавших из Ленинграда.

На пустынных дорогах, у мостов, началась уже жизнь, правда, еще военная, кочевая. Горят малые костры, в котелках закипает снеговая вода. В одном месте, видимо, только что прирезали лошадь.

На другом перекрестке походная канцелярия. Прямо под открытым небом стоит письменный стол и кресло, вынесенные из бывшего немецкого блиндажа. Человек в папаше озабоченно дует на чернила в баночке, отогревая их своим дыханием.

В реке Ижоре — два небольших наших полузамерзших танка: «За Ленинград» и «Суворов». Оба подбиты, и ледяная вода неустанно обмывает их раны, окрашиваясь ржавчиной, как кровью.

При въезде в Пушкинский парк Евгения Леонидов-

на, бывший здешний экскурсовод, закричала в восторге:

— Руины целы!

И действительно, искусственные романтические руины, еще екатерининских времен, остались в полной сохранности.

В самом дворце, невзирая на предупреждения сапера с собакой, Евгения Леонидовна промчалась по всем комнатам, большим и малым залам, галереям и переходам. В помещения, куда нельзя было проникнуть, она заглядывала со двора. Мы по мере сил старались следовать за ней.

В подвал Камероновой галереи я вошла первая, размахистым, быстрым шагом, но тотчас же выскочила оттуда на цыпочках: на полу, громадные как бочки, лежали три авиабомбы, уже разряженные, чего я не знала. Всего таких бомб, каждая весом в тонну, было одиннадцать штук. Они были разложены во дворце и в парке и соединены между собой проводами. Они должны были взорваться в последнюю минуту, но сделать это немцы уже не успели.

В боковом подвальном помещении — груда рваных сапог: сапожная мастерская. Жилые помещения немецких солдат тоже были внизу. Они сволокли сюда сверху штофные диваны, атласные кресла, вазы, ковры. Все это покрыто жирным слоем грязи и копоти.

Не успели они также вывезти и драгоценный паркет из большого зала, только подняли его с пола целыми сплошными плитами и приготовили к отправке. Весь зеркальный зал разбит, полусожжен, исковеркан. Крыша пробита. Плафоны свисают вниз ключьями, и, взамен написанного масляными красками ярко-синего небосвода, в пробоину тускло глядит холодное зимнее небо. Весь пол усеян обломками зеркал и деревянной золоченой резьбой, сработанной с крепостным терпением.

Александровский дворец, хотя и совершенно пуст, все же сохранился лучше. Здесь стояла испанская часть. Это видно по Карменситам, нарисованным углем на мраморных стенах: шляпы с розами, веера и высокие гребни в прическах.

В круглом зале у испанцев была не то часовня, не то церковь. Здесь еще сохранился диковинный «алтарь», сооруженный из различной мебели, среди которой Евгения Леонидовна тотчас же распознала какую-то китайскую этажерку из комнаты бывшей императрицы Марии Федоровны.

Нам пора уже было возвращаться в Ленинград. Мы еще раз обошли снаружи дворцы, Пушкинский лицей. Отдельные аллеи парка почти не пострадали, тени деревьев голубели на снегу.

На обратном пути, уже в самом городе, видели большую партию пленных: человек триста.

2 февраля 1944 года

Неожиданность: завтра еду в Москву на наш пленум.

*5 февраля 1944 года
Москва*

Пленум начался вчера. Приехали в Москву уже без пересадок, прямо с Октябрьского вокзала. Это еще не «Стрела», но уже прямой поезд.

17 февраля 1944 года

Москва, как обычно, протекает бурно. У меня много встреч, бесед, выступлений. Будущее мое прекрасно, но настоящее омрачено болезнями. Чувствую себя физически прескверно. Для счастья нужно железное здоровье.

20 февраля 1944 года

Возник проект — поехать мне в Ленинград, дожидаться там первой «Стрелы», которая вот-вот должна пойти, вернуться с нею сюда и написать об этом в «Правду». Вероятно, так и сделаю. Оставлю за собой номер в гостинице, поеду и вернусь.

Поеду в Ленинград и вернусь... как это теперь просто! К этому трудно привыкнуть.

25 февраля 1944 года
Ленинград

Я в Ленинграде, а «Стрелы» все нет. Машинка моя в Москве: без нее я — как без рук. Сколько раз говорила себе, что нельзя мне разлучаться с ней.

26 февраля 1944 года

«Стрела» все же, видимо, пойдет 1—2 марта, и я дождусь ее.

27 февраля 1944 года

Как писатель Флобер вызывает во мне одно лишь холодное уважение. Но его письма поразительны. Они действительно зажигают во мне ответный огонь. Отдельные мысли удивительны по своему соответствию с тем, что чувствую я и вообще всякий пишущий. «У каждого своя гигиена». Флобер подразумевает гигиену души, конечно. Что касается меня, то я просто погибаю от душевного мусора, как только пренебрегаю этой гигиеной. И в другом письме, — кажется к Жорж Санд: «Я живу совершенно, как устрица: прилепился к своему роману, как к скале, и ничего не знаю». Вот это и есть настоящий образ жизни для писателя. Но как сочетать это с нашей военной действительностью. Флоберу было хорошо!..

Вчера была на юбилейном торжестве Ботанического института: ему исполнилось двести тридцать лет.

Торжество происходило на территории Ботанического сада, в бревенчатом, хорошо натопленном домике. Так отраднo было, войдя с крепкого мороза, увидеть на столе президиума ландыши и белую сирень в цвету и вдохнуть их аромат.

В зале сидели научные и технические работники института. Много детей. Особенно хорош был ребенок во втором ряду, в белом ландышеобразном капоре и зеленой шубке.

Мы услышали доклады о работе института, который до войны был связан со всеми странами мира. Тут произрастали растения с Памира, из Кашгарии,

Египта, Бразилии. Все это помимо флоры СССР, конечно. Возникший из «Аптекарского огорода» еще при Петре, ленинградский Ботанический сад по посещаемости стоял на втором месте после московского Музея революции. Гербарии самого Петра погибли в Москве во время пожара 1812 года. Но сохранились растения, собранные лейб-медиком императрицы Елизаветы. Нам были показаны плотные листы голубоватой бумаги, на которой каждая вегеталия была наклеена с величайшей тщательностью, вплоть до тончайшего завитка. Под каждой написано старинным почерком по-латыни: «Найдено вблизи Полтавы», «Найдено в Голландии, вблизи города Лейдена», «Гвинейский перец».

Мы узнали, что растения, даже мертвые, могут жить почти вечно. На лепестках васильков и маков, обнаруженных в гробницах фараонов, сохранились еще следы окраски.

У гербариев только два врага: сырость и небрежное с ними обращение.

Основная работа института за время войны — «Растительные ресурсы и помощь Красной Армии». Институтом составлены «растительные карты».

Изучены шиповники севера и витамины из хвои.

Изготавливались и изготавливаются медицинские бальзамы для госпиталей.

Выявлено содержание витаминов в ботве растений.

Найдены заменители навоза.

Разведены шампиньонные грибницы и папиросные табаки.

Проделана большая работа по внедрению в пищу «дикорастущих».

Впервые так далеко на севере, да к тому же еще в условиях блокады, выведено ценнейшее средство при сердечных заболеваниях — наперстянка (дигиталис).

Выращены для госпиталей цветы, которые в иных случаях в каком-то смысле восполняли недостаток продуктов питания. Это были своего рода витамины, но попадающие в организм через зрение и обоняние. Николай Иванович Курнаков, ученый, садовод, получил однажды благодарность за цветы от выздоравли-

вающего бойца и заверение, что теперь он «еще сильнее будет бить врага».

За время блокады Ботанический сад снабдил город двадцатью миллионами кустов рассады овощных культур. Этой работой было занято сто пятьдесят бригадиров-овощеводов.

Сотрудники института защитили девять диссертаций на звание доктора биологических наук и восемь — на звание кандидата.

С. В. Соколов закончил свой доклад словами о том, что «освобожденный от врага Ленинград должен стать еще краше, чем был до войны», что, «значит, ему нужны деревья и цветы». И что «ценные растения всего мира снова должны собраться под стеклянными кровом нашего Ботанического сада».

Потом были выступления и приветствия, в частности от «соседа и родственника» — Института вакцин и сывороток. Бактерии — тоже растения, только крошечные.

Мы ушли после раздачи почетных грамот Ленсовета, перед концертом.

Раздевалка была полна детей. Гардеробщица объявила:

— Буду пускать только того, кто при матери.

Девочка ответила с гордостью:

— Моя мама уже там и получила грамоту.

29 февраля 1944 года

«Стрелы» все нет. Говорят, что Октябрьская дорога не вполне безопасна: еще налетают на нее немцы, мин там очень много. Точно не знаю, но «Стрелы» нет.

Вечер

Решено, что я еду в Москву обыкновенным поездом.

*12 марта 1944 года
Москва*

Дела идут превосходно, но именно дела, так как работать совершенно некогда. А очень хочется сесть за дневники.

Сейчас сообщение по радио: появился первый населенный пункт Одесской области.

14 марта 1944 года

Рассказ одной девочки, которую родители тайно везли в Ленинград — официально это еще строго запрещено:

— Меня посадили в портплед. Пришел контроль, трогает портплед. А я — как подушка, вся мягкая сделалась. И молчу. Так и не нашли меня.

*20 марта 1944 года
Ленинград*

Поехала в Москву обыкновенным поездом, зато вернулась в Ленинград первой «Стрелой».

Наш международный вагон был почти сплошь заполнен писателями, журналистами и фоторепортерами от всех московских газет. Поезд был торжествен и наряжен. Машинист — Герой Социалистического Труда. Проводники и проводницы — ленинградцы, лучше всех работавшие во время блокады.

Начиная с дорожек на полу и кончая светлыми пуговицами на синих куртках проводников — все сияло чистотой и новизной. Путь длился двадцать часов.

Мы не отходили от окон, пока не стемнело. С утра снова припали к окнам.

Бологое, Любань, Тосно — все эти «радищевские места» в развалинах. По только что наведенным временным мостам поезд наш идет медленно. Всюду еще русские и немецкие надписи: «Мины», «Осторожно». Особенно страшен бывший мост на реке Тосно: взорванные фермы, скрепы, пролеты, рухнувшие с высоты в воду.

Белеют, как свечи, новые телеграфные столбы, взамен старых, сожженных или подпаленных немцами.

В иных местах наш поезд идет по коридору из вражеских блиндажей и дотов — так близко подступали они к полотну дороги. Один из дотов, уничтоженный прямым попаданием, извергнул наружу все свое

нутро: бетонные плиты, куски рифленого железа, пулемет, остатки дивана, разбитый ящик пулеметных лент. У входа мертвенно зеленеют из-под снега истлевшая немецкая шинель и скрюченные руки.

Какого героического труда стоило восстановить эту дорогу! Особенно страшно смотреть на Колпино, на пробитые, полусожженные, изувеченные цехи Ижорского завода, зловеще расписанные защитными зигзагами и пятнами.

Проехали «Фарфоровый завод» — и вот мы уже под сводами Московского вокзала в Ленинграде, и ленинградцы встречают нас. Все время пути я думала о том, как я приехала из Москвы на этот же вокзал почти три года тому назад. Целый кусок жизни, взятый в железные скобки этими двумя поездами.

24 марта 1944 года

Тишина, спокойствие, отсутствие «тревог» и обстрелов — все это странно действует на меня. Очевидно, к чувству безопасности тоже привыкаешь не сразу.

Работа идет туго в этой тишине. И только болезни мои оживленны и разнообразны. Можно подумать, что всевозможные хвори, усилившиеся во время блокады, только теперь по-настоящему накинудись на человека. Любопытно, что не только я жалуясь на это.

25 марта 1944 года

Статья в «Ленинградской правде» о картах, найденных у пленных немецких артиллеристов. Весь город был расчерчен не только на квадраты, но и на отдельные объекты, каждый под соответствующим номером. В числе «объектов», подлежащих уничтожению, — школы, музеи, больницы, Эрмитаж, Кировский театр, наш мединститут («объект № 89»).

28 марта 1944 года

Дважды была на Санитарной выставке. Работа началась еще в блокаде, при лютых обстрелах, и устроители очень боялись, что очередной снаряд разнесет на куски все их экспонаты.

На торжественном открытии мы, президиум, целой большой группой двинулись из зрительного зала к анфиладе выставочных комнат. Вход туда был прегражден традиционной атласной лентой. Ножницы были вручены начальнику ленинградского гарнизона. Он любезно передал их мне, бывшей рядом, и я перерезала эту ленту.

Особенно хороша на выставке объемная панорама ледовой ладожской трассы — «Дороги жизни», без которой Ленинград вряд ли уцелел бы.

Зажигаются крошечные сигнальные огни, и, лавируя среди бомбовых воронок, в снежном дыму, седые от мороза, движутся, величиной со спичечную коробку, грузовики с продовольствием по направлению к городу, а оттуда — с людьми, которых эвакуируют. И в самых опасных местах, в самой напряженной обстановке — всюду Красный Крест, всюду ленинградский врач, медсестра, дружинница, санитар.

Я вспомнила замечательную вещь — девиз Ван Тьюльпа, голландского врача времен Нидерландской революции; изображена наполовину сгоревшая восковая свеча в старинном подсвечнике (высокое яркое пламя) и подпись: «Служа другим — сгораю».

В длинной узкой комнате, в виде объемной панорамы, — схема эвакуации раненых из частей, стоявших на Пулковских высотах. Снова они!.. Идет бой. Раненый или сам пробирается по траншее, пригибаясь, или его несут на носилках на батальонный перевязочный пункт. Оттуда собачья упряжка увозит волокушу на полковой медпункт. И дальше, на лошади, в повозке, раненый попадает в медсанбат, устроенный еще на линии огня. И только оттуда на машинах — в Ленинград, в госпиталь.

Эту выставку собираются превратить в постоянный музей, и это очень справедливо. Здесь показано, как работали медики в дни осады. Как производились операции, когда операционный стол стоял у стены, на которой с улицы красовалась надпись: «Эта сторона наиболее опасна во время обстрела». Или в часы, когда выла сирена, гремели зенитки и слышался далекий (а иногда и близкий) грохот бомбы, как это было

осенью 1941 года на операции профессора Джанелидзе, на которой присутствовали и мы с И. Д.

В аудитории, на скамьях за оградой, сидели студенты, студентки и молодые врачи соседнего военноморского госпиталя, присутствовавшие на операции.

Принесли девушку с раздробленным бедром и дали ей наркоз. Джанелидзе взрезал мышцы и, преодолевая сопротивление расходящихся краев кости, в несколько приемов поддел под них металлический желобок, в который поврежденная кость легла неподвижно, край против края, облегчая таким образом задачу хирурга. Даже я, профан, не могла налюбоваться изяществом и силой этой работы, свободной уверенностью этих рук. Крошечные осколки кости, извлеченные вначале и небрежно, как мне казалось, брошенные в самую обыкновенную баночку (в простоте души я решила, что все это уже не нужно), снова были уложены на место.

Но в чем я хорошо знаю толк и что дошло до меня полностью — это чистота и бесшумность. Ни одного пятна на полу, ни одного окровавленного тампона. Даже крышки кипятильников, замутненные паром, тотчас же протирались до блеска. Операционная приводилась в порядок по мере того, как шла операция. Никакой нервозности. Порой только слышалось позвякивание металла о стекло или краткая фраза: указание или объяснение.

Внезапно в эту сосредоточенную тишину вторглась сирена. С грозной быстротой надвинулся зенитный гром, мешаясь с гулом моторов. Колебнулась почва. Задребезжали стекла. Сидящие на скамьях невольно повернулись по направлению к выходу.

— Операция еще не кончена, — жестко сказал Джанелидзе своим гортанным голосом.

И только когда грянуло где-то совсем рядом, операционный стол передвинули в другое, лишенное стекол помещение.

10 апреля 1944 года

Освобождение Одессы! Сегодня было два салюта: один — наземным войскам, другой — в честь черноморских кораблей.

24 апреля 1944 года

Со вчерашнего дня занималась выработкой душевных антитоксинов против больших и малых разочарований, болезней, утомления. Применяла все испытанные средства: усилие над собой, умыванье, порядок, немного юмора.

Придумала себе два ордена: «Невралгии I степени» и «Ишиаса с бантом». Шучу, шучу, развлекаюсь.

Здоровье мерзкое. Замучило меня. Приму-ка я хорошую дозу пишущей машинки: напишу для «Известий» очерк «Пришло время». За дело, за дело! Единственное, всеболеутоляющее, никогда не изменяющее средство — работа, ко мне! Главное — работать. Только тогда я счастлива. Только.

ПРИШЛО ВРЕМЯ

В одном из кварталов Кировского проспекта в начале зимы были установлены рекомендованные образцы комнатных кирпичных печей — маленьких, но теплоемких и экономных в смысле топлива.

Зимой, в снег, странно было видеть на улице все эти кирпичики, вьюшки, дверцы и трубы. Ленинградские мальчишки очень любили, сидя на корточках, заглядывать в печное устье, точно видя там огонь. Это был огонь воображения.

Теперь — весна. Оживленно щебечущие птицы садятся на печные трубы, весеннее солнце нежно греет опытно-показательный кирпич, весенние дожди омывают его. Возможно, что эти печи будут скоро убраны. Но, думается мне, в памяти многих они останутся как очаги тепла, как источники организованной, чисто ленинградской заботы города о нуждах своего населения.

Такое же символическое значение имеют и наши уличные часы.

В часы обстрелов и бомбежек одними из первых пострадали уличные часы. Одни из них целиком рухнули вниз, увлекаемые стеной. Другие, полусорванные, покачивались на своей железной основе, как флю-

гер. Третьи были полны собственных стеклянных осколков, от одного вида которых начиналась резь в глазах. Четвертые были целы на вид, но мертвы.

В разных районах города часы показывали разное время: половину третьего, без пяти двенадцать, четверть шестого. Это было время, когда их настигла взрывная волна, истощение тока, порча механизма, — это был час их гибели.

Когда-то эти уличные часы были полны жизни. Они регулировали сроки работы и отдыха, желанных встреч, занятий, праздников, рождений. По вечерам они светились издали, как спелый янтарный плод с чернеющими зернышками: это были цифры. С начала блокады все это замерло, остановилось, онемело. Жизненный сок, питавший эти часы, истек. Время ушло, исыякло.

Не забыть мне, как однажды, под вой сирены, в лютый морозный вечер, у одних уличных часов вместо циферблата я увидела черный круг ночного неба с угрожающе яркими звездами. Это было безвременье: зима 1942 года.

И вот теперь, весной 1944 года, как радостно наблюдать лестницу, приставленную к уличным часам, и человека на этой лестнице! Он заботливо, кропотливо чинит часы. И не сразу, с запинкой, как бы заново учась ходить, стрелки трогаются с места. И идут, идут, идут... Время возвращается. Оно уже вернулось.

Вслед за уличными часами, а в ряде случаев и сопровождая их, постепенно восстанавливаются и оконные стекла.

Оконное стекло — это самая уязвимая, самая хрупкая часть здания. Это его «зеница ока». Но стекла — это не только глаза здания, это еще красота города.

Мы говорим: «Солнце играет в стекле». И это так и есть. Без этой «игры» света город сразу теряет живость черт. Стекла восприимчивы и впечатлительны, они пламенеют на закате, синеют во время грозы, серебрятся от луны.

Гатчинский стекольный завод «Дружная горка», разрушенный гитлеровцами, теперь снова начинает ра-

ботать. К первому мая он даст Ленинграду первые партии оконного стекла. И мы, проходя по улицам, радуемся каждому новому стеклу как явному признаку восстановления города.

Однако глаза — это еще не весь человек. И стекла — еще не все здание. Тут, как и в человеческом организме, важен корпус. Дома, как и люди, подлежат ремонту, «косметическому» (он так и называется) и капитальному. Для всех этих ремонтов нужны строительные материалы, а главное — люди, люди.

И с той же энергией, с какой люди Ленинграда обороняли свой город, они берутся теперь за его восстановление. Это все те же «внутренние ресурсы». Их запас неистощим.

Теперь читаешь ленинградские газеты так, словно это бюллетени о состоянии здоровья раненого, быстро идущего на поправку. Каждый день все крепче его артерии, все лучшего наполнения пульс.

После длительной консервации пущен мыловаренный завод. Фабрика пианино и роялей «Красный Октябрь» выпустила в феврале и марте первые двадцать пять инструментов. Причем самое примечательное то, что первые из этих первых пианино будут отправлены в театры Новосибирска и Белоруссии. Город Ленина не только сам себя снабжает всем необходимым, но и помогает другим городам.

Архитектурный отдел Художественного училища готовит специалистов по скульптурно-лепным и живописно-плафонным работам. Здесь изучают историю стилей и архитектуры, начертательную геометрию — словом, все, что необходимо для реставрации художественно ценных зданий.

Одним из свидетелей фашистского варварства является великолепное здание сената, построенное России сто десять лет тому назад.

Бомбежка повредила крышу и внутренность здания. Но под обгорелым сводом, среди рухнувших лепных деталей, по соседству с изувеченными аллегорическими фигурами, совершенно невредимой осталась в своей нише Фемида, богиня правосудия. В самые грозные минуты непоколебимо держала она свои весы, как бы

утверждая тем самым, что суд истории над гитлеризмом еще впереди. Здание сената будет теперь восстановлено, так же как здание театра имени Кирова. Снарядами была повреждена в нем сцена.

В садах и парках Ленинграда красятся скамьи, ремонтируются решетки. Будет посажено две тысячи деревьев и двенадцать тысяч кустарников. Скоро опять солнце осветит стволы деревьев в тех местах, где чернели стволы орудий. Снова птицы начнут вить гнезда в тех местах, где были расположены пулеметные гнезда.

Кто не помнит крошечного огородика у подножия памятника Суворову, перед Кировским мостом? Капустная рассада боязливо жалась к мраморным ступеням Марса, и бог войны своим поднятым мечом охранял скромные насаждения.

Так было позапрошлым летом. Прошлым летом вокруг памятника цвели уже нехитрые ноготки. В этом году, кто знает, мы, возможно, увидим здесь розы.

Это — история военного Ленинграда, но написанная не на белых листах, а на зеленых листьях.

Самые же огороды, занимавшие два года все газоны и клумбы, теперь раскинутся еще шире, но уже в пригородах и дачных местах, где еще так недавно был враг.

Но долго еще будет лопата огородника наткаться на осколок снаряда или моток колючей проволоки. И огородник, благоговейно поникнув головой, вновь задумается о бессмертной ленинградской земле, все перенесшей и все победившей.

25 апреля 1944 года

Адовая погода, но и превосходная в то же время: дождь, ветер, клочья дыма за окном. В такую погоду и болеть не так больно, и разочаровываться не так горько, и главное — хорошо работается.

Читаю «Русскую старину» и утешаюсь тем, что Михаила Глинку болезни донимали еще больше, чем меня. Вообще «Русская старина» — для меня подлинное открытие. Главные книги на свете — это, собственно

говоря, история и мемуары. А если уже романы, то гениальные. Да и то «Война и мир», например, это — соединение истории и мемуаров. Все сводится к мемуарам в конечном итоге. Мемуары целого народа это и есть история...

Сажусь кончать очерк для «Известий».

27 апреля 1944 года

Очерк в «Известиях», видимо, понравился...

Нашла наконец выдержки из дневников Пушкина, которые мне как раз очень нужны лично.

С каждым днем все более овладеваю «дневниковым» языком и знаю — каким он должен быть. Здесь нужен язык в высшей степени «русский», неправильного синтаксиса — такой, как в жизни. Я сейчас много читаю записок из дневников в «Русской старине» и вижу, в чем их обаяние.

Ничего нельзя заглаживать, залитературивать. Ничего этого не надо. Гибкость и простота. Самая естественная интонация.

Звонили из Союза и сообщили, что сегодня прилетает Толстой...

29 апреля 1944 года

Сажусь работать. Это вернейшее, всеболеутоляющее средство, которое не изменяет. Никогда не изменит...

Погода серенькая и дождливая... к счастью.

3 мая 1944 года

Сегодня у нас, в Союзе писателей, открытие выставки, генералитет, банкет и т. д. А я снова лежу. Мой первомайский «выход в свет» обошелся мне дорого, особенно подъем на вышку крыши «анатомички», откуда мы смотрели салют и где меня обдули все невские ветры.

Неужели я так-таки и просижу весь остаток жизни? А я-то мечтала проехаться по Пулковскому меридиану не только на глобусе.

Позавчера начала и вчера кончила самое горькое из всех когда-либо мною написанных вещей. Называется «Наша биография» — моя и моего доброго конька Пегаса. Есть что-то душераздирающее в этой нашей биографии.

4 мая 1944 года

Вот уж у меня и душеприказчики литературные появляются в лице Ленинградской публичной библиотеки. По их просьбе отдала им все черновики и варианты «Пулковского». До отъезда обещала дать другие блокноты. А после смерти — дневники.

И это в сочетании с последним стихотворением как-то странно успокоило мне душу. Мне представилось, что прошло не двадцать — тридцать лет, как деликатно выразился представитель отдела рукописей, а гораздо меньше. Меня уж нет. И кто-то читает обо мне. Но этот кто-то все же я. Все сместилось и перемешалось.

6 мая 1944 года

Сегодня снова зима. Выступала в госпитале в Инженерном замке. Понемногу начинаю ходить.

9 мая 1944 года

В чем состоит так называемая жизненная мудрость? В том, чтобы покорять себе обстоятельства, когда это возможно. И умно покоряться обстоятельствам, если иначе невозможно. Поясню это примером.

Я рассчитывала, что эта весна будет у меня подвижная, радостная, торжествующая. Но вышло не так. Взамен всего этого — серьезная болезнь, которая, видимо, надолго изменит мою жизнь. Никаких поездок: вместо них — сидение дома.

Вчера поехала в город и вернулась оттуда в полном смысле еле живая.

Наконец начало, хотя и плохо, работать наше радио. И вчера же, после долгого перерыва, сообщение о наших успехах под Севастополем.

10 мая 1944 года

Мы вчера освободили Севастополь. Весь Крым очищен от немцев.

13 мая 1944 года

Вчера, когда ехала выступать на Балтийский завод, Ленинград на прощанье показывал мне себя во всем очаровании начинающихся белых ночей. А до этого — во всем блеске заката.

По мере того как мы переезжали Неву и каналы, вода меняла оттенки, становясь все прекраснее.

На Балтийском заводе, в пролете между подъемными кранами и железными балками, небо было цвета голубиных крыл.

И все же прощай, Ленинград! Это уже наши последние с тобой встречи.

14 мая 1944 года

Навела порядок, уложила на лето теплые вещи. И порядок, как всегда, успокоил меня. Но ночь была тягостна.

Как это часто бывает, сразу наступила весна. Вчера ездили в город. И он, весь теплый, распахнутый, был подернут дымкой, похожей на горячее дыхание. Уже клубилась пыль, уже первой, не до конца развернувшейся листве не хватало воздуха. Я, еле идущая, с больными ногами, была очень подавлена... Неужели я обречена на неподвижность? А как же те путешествия, которых я еще не совершила?

19 мая 1944 года

Провела в Союзе писателей беседу с «начинающими» на тему «Что такое вдохновение».

21 мая 1944 года

Выступала в Приморском райкоме очень посредственно: была утомлена. А мне на прощанье хотелось бы все делать очень хорошо.

25 мая 1944 года

Прощалась с Ботаническим садом. Мы долго были в оранжерее № 22 — «Ноевом ковчеге», как ее называют сотрудники. Здесь соседствуют растения трех смежных климатов: пальмы, папоротники, орхидеи, кактусы, рисовые колосья, бегонии. Все это совсем молодое, выращенное за время блокады. «Блокадный» банановый молодняк так высок, что его листья упираются уже в стеклянную крышу теплицы. Температура в «ковчеге» такая, как полагается: 16—18 градусов тепла. Градусник висит тут же.

В прозрачном аквариуме произрастает фантастическое растение родом с Мадагаскара — увирандра фенестралис, что означает «оконная», то есть живущая на окне.

Видимо, даже на Мадагаскаре, в этом теплом раю, увирандра считается комнатным растением, и этому легко поверить, глядя на ее листья, может быть, самые нежные из всех созданий царства флоры. Они состоят из одних только темноватых жилок, без признака обычной зеленой клетчатки. Это легчайшая растительная канва, унизанная пузырьками воздуха.

Увирандре не хватает головастиков: пущенные в аквариум, они проглатывают, снимают тонкие пузырьки воздуха, «чистят» листья, делая их совершенно атласными. Но головастики пропали еще во время финской кампании, когда были заминированы все речушки и болота.

На полках стоят рядами молодые кактусы, любимые детища Николая Ивановича Курнакова, недавно умершего. В суровую первую зиму блокады Курнаков спас эти кактусы, взяв их к себе домой и отогревая теплом своей печурки. Жена Курнакова чистила их кисточкой, осторожно пробираясь между колючками: кактус, как только засоряется его поры, гибнет, распадается на части.

В бревенчатом домике, известном нам по выставке прошлого года и по торжественному собранию в честь 230-летия Ботанического института, мы увидели у входа

бюст Энгельса на высокой подставке. Одно из первых изданий «Диалектики природы» лежало в витрине под стеклом.

В прошлом году вся выставка целиком была посвящена дикорастущим растениям, этим скромным витаминоносителям. В брошюре, выпущенной в то время, в перечне блюд мы встречаем: «сразы с слопухом», «рулет из лебеды», «рагу из купыря», «икра из одуванчиков» — названия, способные вызвать улыбку, если бы они не были так трагичны.

Теперь дикорастущие являются только подспорьем к настоящим огородным корнеплодам.

В следующей комнате, помимо специально выращиваемых лекарственных растений — белладонны, валерьяны, алтея, наперстянки, — развешаны по стенам и дикорастущие: ландыш, белена, ромашка, липа, полынь, крушина. Многие из них ядовиты и полезны в одно и то же время (диалектика природы).

Увидела здесь цикуту в формалине. И тут же впервые услышала, что не она была причиной смерти Сократа, как это принято думать, а другое ядовитое растение — болиголов. Но, как бы там ни было, вид цикуты все же внушает страх. Это толстое, круглое корневище с ядовитыми железами, как у змеи. Окисляясь на воздухе, они становятся оранжевыми. От корневища отходят шнуровидные корни.

Весной 1942 года, когда изголодавшиеся люди с жадностью набрасывались на каждый зеленый листик, на каждый корешок, ленинградцам очень важно было уметь отличать ядовитые растения.

Круглая оранжерея № 28, с бассейном, где росла виктория-регия, пострадала три раза: один раз от бомбы и дважды от прямого попадания снаряда. Она была снова разбита уже после того, как мы видели ее в прошлом году.

Рожденная в теплых лагунах Амазонки, виктория-регия представляет собой загадку. До сих пор точно не известно — однолетняя ли она и у себя на родине, или только у нас, где ей не хватает света и тепла. Вражеские снаряды и бомбы по-своему «решили» этот вопрос, убив растение и изувечив теплицу.

Когда мы уходили с выставки и шли уже по аллее, нам крикнули вдогонку:

— На яркие скамьи не садитесь, — они только что окрашены!

Начиналось уже восстановление сада.

27 мая 1944 года

Прощались с доктором Месселем. Были в последний, видимо, раз в его владениях, на Центральной станции Скорой помощи, работавшей в самое трудное время как хорошие часы, — бесперебойно и безотказно.

Просматривала их дневники. Подробно записан день 19 сентября 1941 года (когда мы ездили на Разъезжую). Тогда пострадали во время работы две медсестры Скорой помощи: «Алексеева Зинаида — ранение грудной клетки и обеих голеней и Маркова Валентина — ранение правого глаза».

Во время этого налета на Дмитровский переулок, длиной всего в двести сорок пять метров, было обрушено четыре тяжелых фугасных бомбы. Почти весь переулок разрушен.

Да, все это было. Все это мы пережили.

29 мая 1944 года

Теперь я окончательно узнала все про дигиталис, разведением которого занимался в Ленинграде профессор Монтеверде.

В диком виде дигиталис рос только на Гарце и в Тюрингии. Чтобы не тратить на него валюту, мы стали разводить его на Северном Кавказе и в Белоруссии, но с войной это прервалось.

Трагедия дигиталиса состоит в том, что он не выносит длительного хранения. Весной 1942 года в Ленинграде старый дигиталис целиком утратил свои целебные свойства, и горьдравом было дано распоряжение об изъятии его запасов из лечебной сети.

Но что было делать дальше? Сердечная мышца не знает покоя. Особенно тяжело приходилось ей во время блокады, ей нужно было лекарство. И тогда в Ботани-

ческий институт поступило предложение от Ленсовета вырастить собственную наперстянку и приготовить к осени препарат.

Сам профессор Монтеверде, ведающий лекарственными растениями, лежал в это время в жестокой дистрофии в нашей больнице, в клинике профессора Тущинского.

Едва оправившись, он приступил к работе.

В «архивах» Ботанического сада было обнаружено небольшое количество нужных семян, но всхожесть их была неизвестна. А самое главное — некогда было выращивать многолетнее растение (считалось, что только его свойства целебны). Надо было заставить однолетнюю наперстянку работать, как многолетнюю. Семена посадили сначала в оранжерее, потом в парнике, потом — в грунт. Началась борьба за растительную «жилплощадь»: годной земли было мало, а листья наперстянки достигают шестидесяти сантиметров в диаметре.

Для ускорения сбора и экономии места профессор Монтеверде и его сотрудники ввели новшество: последовательный сбор листьев, по мере их созревания. Сначала снимались краевые листья, и тогда скорее развивались центральные.

Листья были очень сочны, а нужны были сухие. Их стали сушить в пустом, недоломанном доме, развешивая, как белье, на веревках. Потом уже Фармацевтический институт предоставил для этого свои специальные сушилки, которые стали топить вконец доломаным для этой цели домом.

Наконец к осени, как и было предложено, дигиталис был готов. Надо было проверить активность лекарства. Однако на ком? Обычно это делают на лягушках, но если даже головастики исчезли, то взрослые лягушки и подавно. Врачи решили проверить действие лекарства на себе. Оно оказалось настолько действенным, что пришлось уменьшить обычную дозу.

Ленинград не только получил драгоценное средство, но даже стал вывозить его за «кольцо» на Большую землю.

Одна из ближайших помощниц профессора Монтеверде написала по этому поводу небольшое стихотворение. В нем говорится о дигиталисе:

Пришлец из Германии,
Когда-то культурной,
Он вырос на нашей земле.
Под солнцем советским
Растет пышным цветом,
Качаясь на длинном стебле.
Но кто он? Германец?
Нет, наш он и с нами.
Он в огненном нашем кольце.

Бомбоубежище Ботанического сада находилось под главным зданием, где помещается знаменитый многомиллионный гербарий. Но сотрудникам было далеко бежать туда во время налетов. Да и времени было жалко. Они продолжали оставаться в наполовину разбитых уже оранжереях и, лежа под деревянными стеллажами (какое хрупкое укрытие), продолжали обрабатывать листья дигиталиса.

Так ленинградские люди заставили северную балтийскую природу вырастить на пользу людям это теплолюбивое растение.

Когда профессор Монтеверде кончил свой рассказ, я спросила: довелось ли ему самому испытать на себе целебные свойства выращенного им лекарства? И он, оживившись, ответил, что да, что дигиталис очень «помог» ему, потому что как только горьком предложил ему, Монтеверде, заняться этим делом, он ощутил большой прилив сил и вышел из клиники раньше срока.

Шипчинский рассказал мне, что ботанические сады разводить много сложнее, нежели зоологические. Животные криком выражают свои желания, растения же безмолвны. Они умирают, если люди не угадывают их воли. Любопытно, что садоводы от влажного воздуха полностью лишаются обоняния. Они не ощущают аромата цветов, как глухой Бетховен не слышал музыки.

До войны на отопление оранжереи здешнего сада уходило две тысячи тонн угля в год. За время блокады от холода погибло девять десятых всех растений. Спаслись только те, что были в маленькой оранжерее и по

домам у сотрудников — как, например, кактусы у Курнакова. Наиболее выносливыми оказались рододендроны с их толстыми, мясистыми листьями.

Узнав, что ущерб, нанесенный войной Ботаническому саду, исчисляется в миллион двести тысяч рублей золотом, я спросила, каким образом получилась эта цифра? Неужели была «вычислена» стоимость каждого дерева? А труд, потраченный на него?

Оказалось, все высчитано совершенно по-иному. Миллион двести тысяч рублей золотом — это стоимость пяти кругосветных путешествий, нужных для того, чтобы снова сделать Ботанический сад таким, каким он был до войны.

Путешествия должны быть:

1. В тропическую часть Южной Америки.
2. В Западную Африку (Бельгийское Конго).
3. В Индийский океан: Мадагаскар, Цейлон (Коломбо), Индия, Сингапур, Бютнзорский ботанический сад на острове Ява.
4. В Восточную Австралию — сюда же входят Новая Зеландия и Тасмания.
5. В юго-восточную часть Китая.

Все это — основные растительные центры, колыбели растений. Наша же собственная страна хотя и велика, но протяженность у нее долготная, а для ботаники нужна широтная.

Переселение взрослых деревьев в другие климаты происходит не просто. Деревья пересаживают из родного грунта в кадки, где они живут два года, привыкая к другой земле. И только потом их отправляют в далекое путешествие, в иные страны.

Монтеверде и Шипчинский ушли, подарив мне на прощанье три маленьких папоротника и бегонию. А я долго еще думала о Ботаническом саду. Он «зеленой нитью» прошел сквозь всю мою жизнь в Ленинграде. Он встретил меня в августе 1941 года и провожает в мае 1944 года. Пулковский меридиан проходит и по газонам Ботанического сада.

Я глядела на свой плохонький глобус, на все эти моря и материки, залитые теперь кровью, и думала о том времени, когда окончится война и станут возможны

все эти пять кругосветных путешествий. «Бютнзорский ботанический сад на Яве...» Одно название чего стоит!

Земной шар весь в садах вставал передо мной. («Растения разворачивают неизмеримую поверхность своих листьев...») И на этой земле — светлые, мирные поколения, для счастья которых так много сделала моя страна. И в частности — Ленинград.

5 июня 1944 года

Мой прощальный вечер в Союзе писателей был хорош, тепел, как сегодняшний день.

6 июня 1944 года

Хотя мне все еще трудно двигаться, все же сегодня утром решила пойти на выставку «Героическая оборона Ленинграда». Я не могла перед отъездом в Москву не повидать ее.

Мы с И. Д. доехали трамваем до Лебяжьей канавки, а оттуда тихонько пошли по солнечной стороне до Соляного городка, где помещается выставка. День был чудесный: первый по-настоящему теплый день. Трудно было оторваться от прогретой солнцем зелени и войти в холодное громадное здание. У входа на каждой трофейной пушке сидело по живому ленинградскому мальчику.

Выставка очень велика, я не могла обойти ее всю. В подвальное помещение мы и вовсе не спускались. Но центральные залы осмотрели хорошо.

Мы мало разговаривали: кивок головы, жест, короткая фраза — и мы понимали друг друга. Почти три года жизни прошли перед нами.

Здесь было собрано все, что угрожало Ленинграду и что его спасло. В главном зале, у стены, треугольным холмом до самого потолка уложены немецкие каски. В середине зала — тяжелая немецкая артиллерия, обстреливавшая «военные объекты» Ленинграда и среди них — нашу больницу («объект № 89»). 154-миллиметровые пушки с жерлом широким, как паровозная топка. Шестиствольные минометы. «Пантеры», «тигры» и «фердинанды», окрашенные в цвета гранита, зелени и

снега. Сбитый самолет с черным крестом на крыльях. Снаряды и бомбы всех видов. Морская магнитная мина, сброшенная в районе Балтийского вокзала, но, к счастью, не взорвавшаяся.

Мы встретили здесь и «нашу» бомбу, сброшенную к нам на территорию в золотой осенний день 1941 года. Под бомбой подпись: «Вес 1000 кг, диаметр — 660 миллиметров, длина — 990 миллиметров. 10 октября 1941 года ее разрядили инженер-капитан Н. Г. Лопатин и командир ополчения А. П. Ильинский».

Бомба была в полной сохранности: не хватало только куска стабилизатора, — он лежал у меня дома, в ящике стола.

Живописное панно: в ночь на 5 октября первый в истории воздухоплавания воздушный ночной таран молодого летчика Савостьянова. Сбив вражеский самолет, он спустился на парашюте. В другом зале, во всю его длину, гигантское орудие с линкора «Октябрьская революция», а рядом приподнятый над полом, как бы летящий по волнам, весь в пробоинах, торпедный катер, явивший чудеса храбрости.

19 сентября 1941 года (день, когда мы приехали на Разъезжую через несколько минут после падения бомбы) оказалось одним из самых кровавых дней блокады. Тогда было шесть воздушных тревог, длившихся в общей сложности 7 часов 34 минуты.

Фугасных бомб было сброшено 528.

Зажигательных — 1435.

Выпущено артиллерийских снарядов по городу — 97.

Зарегистрировано очагов поражения — 89.

Работали: 3912 команд городского МПВО, 52 команды местного МПВО, 17 дружин РОКК и 21 группа самозащиты жилых домов.

Раздел ленинградской промышленности. Она всю себя отдала фронту. Турбогенераторы здешних заводов к концу блокады шли в Комсомольск, Рубцовск, Баку, Брянск, Сталиногорск, в Донбасс — Макеевку, Горловку, Кадиевку.

Табачная фабрика, выпускавшая до войны папиросы «Фестиваль», «Зефир», «Северную Пальмиру», парфюмерная фабрика и фабрика кефира во время блокады

работали на оборону. А теперь мы снова видим в витрине духи «Белая ночь» в чуть менее нарядной упаковке и бутылочки с кефиром, но уже не молочным, а соевым.

Раздел общественного питания. Продукты и меню ленинградских столовых в дни блокады.

Корьевая мука, сметки (то есть сметенные отовсюду остатки) шли на лепешки.

Белковые дрожжи — на первые блюда.

Декстрин (технические отходы) — на оладьи, запеканки, биточки, котлеты.

Мука льняного жмыха — на вторые блюда.

Альбумин — на первые блюда.

Целлюлоза — на оладьи, запеканки, биточки, котлеты.

Гонка (отработанная деталь текстильной машины, изготовленная из свиной кожи) — на суп, студень, котлеты.

Столярный клей и мездра — тоже на студень.

На одной из полок — «осветительные приборы»: лучина, фонарь «летучая мышь», плашки, пробирки, банки, свечи.

Тут мы переглянулись, вспомнив эти мучительные пустотелые свечи из неизвестного состава, в которые фитиль не проходил в центре, а вылезал наружу с боков, шипя и погасая.

Но особенно долго, очень-очень долго, стояли мы перед витриной, оформленной в виде булочной. Это было окно, густо заросшее льдом, только в центре неровно оттаявшее от скупого тепла двух коптилок.

И в этом просвете весы: на одной чашке четыре малые гири. На другой — 125 граммов хлеба, то, что большинство ленинградцев получало с 20 ноября по 25 декабря 1941 года.

Над весами, в стеклянной колбе, мука того времени. И ее состав:

Мука ржаная дефектная — 50%.

Соль — 10%.

Жмых — 10%.

Целлюлоза — 15%.

Соевая мука, отбойная пыль, отруби — по 5%...

После выставки И. Д. пошел в город по делам, а я осталась посидеть на скамье в Летнем саду.

Благоуханный, в нежной зелени, сад был прекрасен. По дорожкам бегали дети в венках из одуванчиков. Солнечные блики падали на памятник Крылову, с которого уже начинали снимать деревянный футляр.

Солнце, тепло, тишина, еле слышное шевеление листьев... Я сидела как зачарованная.

Рядом со мной села женщина, изжелта-бледная, с одышкой. Это была еще блокадная бледность. Я вспомнила: 50 процентов муки ржаной дефектной...

Отдышавшись, женщина сказала, что ей много лучше, что она уже ходит теперь без посторонней помощи, и спросила, правда ли, что «открыт второй фронт». Она только что слышала об этом в трамвае.

Но я сама ничего не знала. Я ушла из дому утром, да и радио у нас все еще не работает.

Я поспешила домой. И там я узнала, что все правда. Союзники высадились в Северной Франции.

7 июня 1944 года

Мы едем в Москву, очевидно, в понедельник 12-го.

12 июня 1944 года

Демон порядка совершенно овладел мной и терзает меня, как хочет. Сегодня увидела себя в униженной позе под столом в поисках любимой тряпки, которую так-таки и не нашла.

«Зеленая дверь» моей работы окончательно заслонена вещами, укладкой, штопаньем, еще раз штопаньем. Фартук прирос ко мне, как дьявольская печать. Ужас что такое! О прозе и стихах стараюсь не думать: слишком жутко становится...

Я готовлюсь к выезду в Москву, как союзники готовились к вторжению... Я даже точно не знаю, что там, на фронте. Отсутствие радио превратилось в подлинное бедствие. Газет почему-то сегодня не приносили.

Вчера мы освободили Териоки. Вчера был и радиомитинг в Пушкине (145 лет со дня рождения). Митинг

происходил в Доме культуры, бывшей ратуше, как сказала мне Ахматова. Подымаясь по лестнице, она добавила: «Сколько раз я танцевала здесь». И от этих слов и моя юность пронеслась передо мной. Я вспомнила себя совсем юной. Над книгой Ахматовой (литературно она гораздо старше меня, хотя человечески, вероятно, не очень).

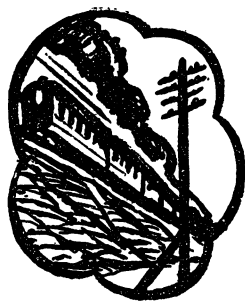
И вот теперь мы, постаревшие — я совершенно седая, она с сединой, — мы выступаем перед микрофоном в бывшем Царском Селе под далекий (а иногда и не слишком) гул рвущихся мин. Это работают саперы, разминирова окрестности города.

Снова перелом жизненный... Вот и тетрадь эта идет в папку. Москву начну с новой тетради...

Прощай, Ленинград! Ничто в мире не изгладит тебя из памяти тех, кто прожил здесь все это время.

1941—1944

очерки



«А». «Б». «В». «Г».

В течение дня население Москвы делится на три части. Одна часть наполняет улицы, вторая сидит по домам и учреждениям, третья стоит в трамваях. Мы говорим «стоит», ибо сидит такое незначительное количество, что его нельзя принимать в расчет.

Москва лежит подобно огромной квашне. Ее границы неопределенны. Если вы свернете от Калужской заставы по Калужской дороге, той самой, по которой шел Наполеон, то долго еще будут встречаться тестяные подтеки этой квашни. Долго еще будут ползти домишки. И все это Москва, и все это люди, которым нужны пища, кров и трамвай.

Московские трамваи идут от центра к перифериям по радиусам, по кругам. Москва опоясана тремя кольцами: «А», «Б» и «В».

От Страстной площади «А», нагруженное, как верблюд в пустыне, движется к Трубе и оттуда медленно вползает к Сретенке. Его населяют портфели, кожаные кеши, куртки и шубы.

Население каждого трамвая двойко: то, которое в самом вагоне, и то, которое на площадке. Оба эти слова ненавидят друг друга. Тем, которые стоят на площадке, всегда кажется, что вагон пуст, и они настойчиво требуют «продвинуться вперед». Стоящие внутри возмущены площадкой и доказывают, что «вагон не

резиновый)... До Покровских ворот «А» безмерно переполнено, и начинаешь жалеть, что оно не какая-нибудь более поместительная буква вроде «Ф». Во время этого пробега можно услышать пререкания, споры и принципиальные разногласия из-за одной копейки. Какая-то кошачья шуба долго стоит на площадке и, наконец, от напора сзади стоящих, вклинивается в вагон и наваливается на кондуктора.

— Вы что же это, гражданка, делаете? Вы мне мешаете при исполнении обязанностей!

— Я тут ни при чем! Тут просто автоматически влезаешь.

— А вы не влезайте автоматически. Я вот не знаю теперь, чьи деньги у меня.

— Вы сами виноваты, между прочим. Напустили народу.

— Гражданка, прекратите ваши трения. Я без вас знаю, что мне делать.

Газеты опускаются, воротники откидываются. Все принимают участие в дискуссии, тем более что окна замерзли и извне не поступает никаких впечатлений.

Спор ширится и растет, овладевает всеми умами, и даже на площадке, откуда не видно ни кондуктора, ни кошачьей шубы, тоже всесторонне обсуждают конфликт. И так до тех пор, пока внутри вагона кто-нибудь не возопит:

— Кондуктор, где мы?

И тогда выяснится, что из-за спора и замерзших стекол несколько человек пропустили свои остановки.

От Покровских ворот «А» разгрузится и станет тихой нормальной буквой. Вагон пройдет по набережной, ледяной ветер с реки ворвется в неплотно прикрытую дверь, и вагоновожатый крепче подтянет перчатки. А с Остоженки снова насядет народ, и все начнется сначала.

Кольцо «Б» проходит по рынкам: его вагоны населены торговыми людьми, предприимчивыми, как финикийцы. На них, по большей части, армяки и тулупы. В руках у них корзины и кульки. Здесь тоже не обходится без происшествий. Иногда какая-нибудь баба пытается сесть на прицепку вместе с гусем, который сидит в корзинке в окружении капусты и свеклы. Тогда

кондукторша будет объяснять, что с гусем нельзя, что от гуся беспокойство, что он шипит и ущипнуть может. От Сухаревки до Земляного вала все будут обсуждать гусиный вопрос, и дряхлая старушонка укоризненно скажет кондукторше:

— Зря затормозили женщину. Что же, ей карету нанимать для птицы или как?

Кольцо «В» фантастично и огромно. На миг буква «В» появляется у Мясницких ворот и снова скрывается. Кто может похвастать, что он объехал все кольцо «В»?

За самое последнее время появилась еще и буква «Г». Но, говоря по чистой совести, я знаю ее только по виду...

Номера 6, 4, 17, 34 и т. д. все имеют свои особенности. Номер 15 ходит редко, но метко. Когда наконец видишь его, испытываешь чувство, как будто выиграл по займу сто рублей.

Но независимо от того, буква это или номер, независимо от времени и места, вас будут толкать, притискивать и сплющивать. Если вы стоите, — на каждой остановке будут спрашивать: «Выходите здесь?» И горе вам, если вы начнете выходить слишком рано или слишком поздно.

Утром, в семь часов, город дрожит мелкой дрожью. Утром, в семь часов, осень безжалостна, и от сырости нет спасенья. На улицах пустота, потому что воскресенье. Ночной извозчик, как филин, щурясь на дневной свет, плетется домой. Вы стоите на Страстной площади и думаете о том, что свет чрезвычайно мал: Охотный ряд тонет в тумане, Триумфальная арка впала в ничтожество. И среди всей этой сырой расплывчатости единственное, что радует сердце, — это теплые булки, вынесенные на продажу. Булки — это определенно, это реально, это победа дня над ночью, труда над хаосом.

На улицах тишина, а в трамваях жизнь. Трамвай «А» полон. Но едущие необычны. Это не однообразные будничные совработники с портфелем и газетой. В воскресенье «А» кипит особой жизнью и населено по-особому. Прежде всего — все люди с кульками. Кульков много, и они внушительны: начинает казаться, что не их везут люди, а они везут людей.

Вот, например, на Трубной площади вошел в трамвай самовар. Он круглый, никелевый, вид у него добродушный и самоуверенный: такой себя в обиду не даст.

— Гражданин, возьмите билет, — говорит кондуктор самовару.

И странно: платит не самовар, а худой щуплый татарин, едущий с ним. Самовар сидит на скамейке, а татарин стоит рядом и оберегает его от толчков. Едет швейная машина, примус, «кухня-лилипут», из угла выглядывает лисий хвост: едет шуба. Все эти вещи едут на Устьинский рынок, за Москвой-рекой. Все это едет по делу.

Но вот в трамвае появляется фантаст и мечтатель. Он входит без кулька на Сретенке, у Сретенских ворот, и говорит спокойно:

— Мне до Трубной площади.

Сейчас же умолкают все разговоры, несмотря на тесноту, головы поворачиваются к новому пассажиру.

— Не туда сели, гражданин, — говорит кондуктор. — Вы сейчас сойдите и поезжайте в обратную сторону; одна остановка отсюда.

— Вы приезжий, как я замечаю, — вносит поправку лисья шуба. — Вы возле самого Трубного и сели. Стретенка, значит, она и есть рядом с Трубной. Не туда вы повернулись.

— Вам бы пешком добежать, — корректирует дальше «кухня-лилипут», — и восемь копеек бы сохранили. Денежки теперь на земле не валяются, а масла и вовсе нет.

— А обратна нада, обратна, — вмешивается татарин-самовар. — Ничего не понимаешь, обратна.

— Нет, ничего, — спокойно возражает пассажир. — Хочу по кругу проехать. Интересно, знаете, по кругу.

Наступает молчание. Кондуктор долго соображает и отрывает билет за одиннадцать копеек (случай небывалый на этой линии). Все смотрят жадно. И наконец немолодая женщина в платке, замороженная тайной, говорит со вздохом одиннадцатикопеечному пассажиру:

— Ну что ж, садитесь. — И уступает ему место.

Москва-река, рябая от сырости, течет медленно. Вагон останавливается возле Устьинского моста, и все

самовары, шубы и примуса поспешно слезают и идут на рынок.

По сравнению с щегольским Трубным, он грязен и сер. Нет в нем асфальтированных улиц. Только края его покрыты асфальтом, а в середине грязь-матушка так и засасывает ноги с калошами...

Рынок только-только продирает глаза. Многие палатки еще закрыты, но там, где продаются старые вещи, царит оживление.

Хромая подагрическая кровать, страшная, как грех, с невыслышим вывертом позвоночника, выставлена на позор. Как ни странно, но к ней приценивается покупатель, а купец, вежливый молодой человек, рассыпается:

— Я сразу вижу, что вам нужно. Эта кровать, я вам скажу, лучше всякого дивана. Днем вы закроете газетой, и она будет, как письменный стол. Обратите внимание — заграничная работа довоенного качества.

— Сапоги неважные, — качает головой паренек. — Кожа дрянь, а подошвы...

— За эту цену лучших не бывает, гражданин. За эту цену и без подошвы покупают, и то благодарят.

В сторонке огромный граммофон показывает красное граненое небо.

— Эх, и хороша машина, — восторгается какой-то деревенский. — До чего хороша!.. На вид хороша. Ты ее поставишь: красота.

Жена его смотрит сомнительно и тоже очаровывается медленно, но верно. Владелица граммофона, в лысенькой горжетке, видимо, волнуется от такого успеха своего товара.

— А ну, пустить-ка его, тетка, — говорит деревенский. — Пусть докажет, какой в нем голос. Только пусть по-нашему поет, чтоб со словами.

Сильва, ты меня не любишь,
Сильва, ты меня забудешь, —

хрипло и зло поет не вовремя разбуженный граммофон. Деревенский потрясен:

— Ишь ты! Разлюбишь — говорит. Ну, скажи на милость, до чего хорошо. Забудешь, говорит, ты меня, Василья.

Но тут женщина приходит в себя:

— Идем,— тянет она за рукав мужа.— Не надо нам его. Куда он нам? Лучше радио послушать.

— Шшш-ззз,— исходит бешенством граммофон. И умолкает.

А на другом конце рынка уже скандал, уже толпа, и весело мелькает среди серых одежд красная шапка милиционера.

— Украли, кошелек украли! — вопит женщина.— Товарищ милиционер, будьте свидетелем! Я стою, подбегает ко мне вот этот, ничтожно одетый, и бац меня в бок. Я туда-сюда, а кошелька-то нет, а в нем удостоверение личности.

— В тебе и личности-то никакой нет,— язвит задержанный,— одна мразь. Не брал я кошелька, хоть зарежьте.

А вот швейная машина: старая-престарая. Покойный Зингер вряд ли признал бы ее своим детищем. У нее убогое колесо и худенький челнок. Те самые деревенские, которые бежали от граммофонного соблазна, стоят теперь здесь. Но теперь уже не муж, а жена взволнована до глубины души. Машина — ведь это богатство, облегчение женской участи. Женщина глядит и, очевидно, ей мерещатся рубахи и сподники, сшитые этой магической иглой. Машину рассматривают, ей лезут в нутро и заглядывают в рот. Ей дают тряпицу, чтобы испытать ее. И вот она начинает шить медленно, осторожно, как старуха, жующая корку хлеба. Она спотыкается, но она шьет. Машина ставит многозначительные многоточия, она подчеркивает, убеждает. Ясно, что она попадет-таки в деревню и потрудится над крестьянской одеждой.

В пышной шелковой юбке продается стоячая керосиновая лампа. В ее оборках при свете этого осеннего утра есть что-то невыразимо жалкое и порочное.

— Купите,— обращается продавец к крестьянину у машины.— Нарядная вещь, настоящий шелк, вы попробуйте. Горит, как солнце.

— Нам ни к чему,— отвечает тот.— Электричество у нас. Не нуждаемся.

СОБАЧЬЯ СЛУЖБА

Молодняк не любит кошек

Судя по названию, в Лосиноостровске некогда жили лоси. Теперь, кроме людей, там живут собаки. Там, за высоким деревянным забором, помещается питомник уголовного розыска. И лай, который несется оттуда, выразительнее слов. Там живут и воспитываются сто сорок собак четырех пород: немецкие овчарки, доберман-пинчеры, эрдельтерьеры и ротвейлеры.

Тем, кто не знает, какие такие бывают эрдельтерьеры и ротвейлеры, скажу, что первые — невысокие кудряво-шерстяные рыжие собаки. На спине у них большое пятно вроде черной салфетки или попонки: это признак их породы. Ротвейлеры похожи на больших доберманов с широкой мордой и неотрезанными хвостами и ушами. Если же кто-нибудь не знает, что такое доберман, то я с таким человеком не могу разговаривать. В питомнике, кроме всего перечисленного, есть еще один бульдог из породы боксеров. Он необычайно силен. В Германии их с недавних пор дрессируют для сыска. У нас же это первый экземпляр. Если смешать кофе «Здоровье» с молоком, то получится его цвет. А челюсть у него такая, что, кого он схватит, тому не поздоровится. Ротвейлеры очень сильны и

выносливы. В той же Германии, во время войны, они подвозили патроны и даже пулеметы.

В тот день, когда мы приехали в питомник, там было много чужих собак, прибывших на выставку. И все — и свои и чужие — были ужасно беспокойны. День был осенний, золотой. Он благоухал осенью, охотой, каждый запах был отчетлив, как стеклянный звук. И, очевидно, собакам до смерти хотелось бегать, кувыркаться, ловить, охотиться, сражаться. Целая гамма собачьих глаз, начиная с черных и кончая бежевыми, следила за каждым нашим шагом. И в каждом лае отчетливо слышалось: «Вот ты на свободе. А почему? Как это несправедливо! Ах, как от тебя пахнет незнакомым! Рр-рр-нга!»

Начальник питомника подробно объяснял нам собачье житье-бытье. Мы узнали, что молодым собакам дают фосфор и рыбий жир, чтобы укрепить их и сделать более выносливыми; что каждая собака получает в день в два приема полтора фунта мяса с рисом и овощами; что летом их купают в реке, а зимой никогда. А для того чтобы не было блох, их натирают особым составом и потом на пятнадцать минут заворачивают в простыню или одеяло до горла, так, чтобы только голова была наружу. От этого все блохидохнут, и их вычесывают гребнем.

Нам показали богадельню, где живут престарелые собаки. Их не уничтожают, а продают в частные руки для приплода или дают им доживать здесь. Среди них самая замечательная Герта. Ей десять лет. Там же живет настоящий волк Васька, дрессированный, как собака. Он и видом совсем собака, только выражение хвоста другое, и глаза широко расставлены на просторном черепе. Глаза, про которые недаром сказано, что они всегда в лес смотрят. Была у него жена — волчица, но однажды весной она перемахнула через забор и ушла навсегда. А Васька остался вдовцом, и ему дали подругу — серую овчарку, по лицу видно, что злюченькая умница.

— Самое большое зло, с которым приходится бороться, это — «отвлечение», — объяснили нам, — то есть когда собака отвлекается.

— А что случится, если, например, в питомник попадет кошка? — спросила я.

— О, не говорите этого. Вы даже представить себе не можете, что здесь происходит, особенно молодняк просто сходит с ума. Он приходит в бешенство.

Мне показалось, что при слове «кошка» пинчериха Контесса, тонкая, деликатная, воспитанная в Германии и не понимающая по-русски, как-то особенно повела щегольски подрезанными ушами. Вероятно, это слово она уже знала и по-русски. Джой, с расцарапанной мордой, привязанный к пню (впрочем, они все привязаны), очень выразительно шмыгнул носом.

Немецкий овчар Вольф, рожденный в СССР, явился на выставку из Крыма. Он не серый, как обычно, а черный, словно загорел от крымского солнца. Его проводник, приехав в Москву, оставил свои вещи у ворот, а сам пошел спрашивать кого нужно. И Вольф сел у корзинки, всем своим видом говоря, что он не советует трогать этих вещей. Вольф показал нам прыжки, «апортировку» и выдержку.

Овчарка Белла единственная ходит в питомнике на свободе. И хотя ее обучение по-настоящему еще не началось, но она безошибочно нашла мой кошелек, зарытый в куче листьев на самом краю сада, и, слегка обнюхав его, вернула мне. Про нее сказали, что у нее очень хорошая «чутьистость» и все данные сдвигаются прекрасным сыщиком.

В теплой тряпке нам принесли щенят. Беспомощные, они вегетариански глядели на мир молочными глазенками и были туго набиты, как подушечки для булавок.

«Фу!»

Доказано, что собаки прекрасно разбираются в человеческих интонациях. Слово «фу», произнесенное убедительно и громко, производит потрясающее впечатление.

Осмотрев все в питомнике, мы вышли на поляну, полную срубленных пней. Здесь мы должны были увидеть отыскивание по следу и поимку преступника.

И тут-то я увидела значение слова «фу». На опушке бродили гуси. И даже старая Герта не удержалась, чтобы не посмотреть в их сторону.

— Фу! — сказал проводник, и Герта виновато повела ушами, как будто желая показать, что это чистая случайность, которая — честное слово овчарки — больше не повторится.

— Бывает ли так, что собака забывает все, чему ее учили? — спросила я.

— Конечно, если она примерно год ничего не будет делать, то «разболтается».

В питомнике, где на стене фотография «Казбека», овчарки, которая играла для кино, висят и лозунги: «Кто хочет воспитывать, тот должен быть сам воспитан!»

«Грубый бьет — дрессировщик наказывает».

«Не обмани собаку ты, а собака никогда не обманет тебя».

И разные другие.

Никто не «разболтался»

Мы всех их увидели на выставке. Здесь были старые знакомые из питомника, но были и другие — из ГПУ, приезжие из Ленинграда и других мест.

На большом выставочном ринге они показали свое умение, свою понятливость, свою выдержку. Одна собака частного любителя, хорошо дрессированная, но слишком толстая, никак не могла взять барьер. Она несколько минут, при полной тишине, висела ни взад ни вперед, скребя лапами и отчаянно вертя хвостом. И я уверена, что не одна я испытала боль во всем теле от напряжения мускулов, так хотелось сделать за нее это усилие.

Но семь собак ГПУ! Они были выше всяких похвал. Особенно отличился рыжий эрдельтерьер, про которого из вежливости сказали в рупор, что он коричневым. Он с такой быстротой полез по лестнице «типа чердачной», что все удивились и заплодировали.

Я думала о том, сколько терпения, сколько ума и знания собачьей психологии у тех, кто их воспитал. Я вспомнила, как уже в машине, возвращаясь из питомника, один из моих спутников полушутя, полугрустно сказал:

— С ними приходится так много возиться, что я почти не бываю дома, и моя жена говорит, что это действительно «собачья служба».

И теперь, сидя на ринге, под плавающей в воздухе «колбасой», под нежным солнцем осени, глядя на трибуны, черные от людей, я подумала о том, что слова «собачья служба» грешно считать обидными. Что собачья служба достойна всякого уважения и что собаки не даром едят свой хлеб (вернее — мясо с рисом) на земле.

1925

ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ

I

Летом 1925 года Авиахим организовал два агит-облета: северный и южный. Один самолет должен был лететь большим кругом над северными реками до Архангельска и обратно, другой — над степями до Астрахани и обратно. Первый был гидроплан, второй — аэроплан.

Незадолго до того улетела экспедиция в Китай, и все умы были заняты ею. Газеты помещали на самом видном месте телеграммы летящих, и у Ильинских ворот, перед огромной картой перелета «Москва — Пекин», по целым часам толпились люди... Карта же агитоблетов, вывешенная на Страстной, не пользовалась успехом. Изредка остановится человек, да и тот в большинстве случаев мальчик, — остановится, посмотрит и побежит себе своей дорогой... Это не помешало, однако, северному и южному самолетам лететь, преодолевать трудности и прилететь обратно. Они сделали менее блестящее и опасное, но, быть может, не менее полезное дело, чем китайская экспедиция.

Лично я вызвалась лететь на север до Перми, где меня должен был сменить Пильняк, а затем Яковлев. Таким образом, весь путь был разбит на три части.

За неделю, кажется, до отлета нас всех, и северных и южных, по очереди подняли над Москвой, чтобы приучить к высоте. Был летний день, закат. Незадолго перед тем прошел дождь. В воздухе трепетало предчувствие радуги. Мы поднялись, и Москва осталась внизу, чисто вымытая, отчетливая. В одном месте виднелась маленькая, густо-зеленая чашечка: это был пруд Зоологического сада... Тот день мне памятен еще потому, что тогда, на аэродроме, я в последний раз в жизни видела Есенина. Он сутулился, был бледен и желт и, глядя на самолет, как-то невесело посмеивался. Может быть, вспоминал собственное воздушное путешествие в Европу...

21 июля был отлет. Но в то время как «южные» отбывали с аэродрома под звуки музыки и напутственных речей, с кинооператорами и друзьями, в начале дня, «северные» улетели на рассвете, почти ночью, без всякой помпы, даже не из Москвы, а из Филей.

По всяким техническим соображениям было решено, что я на самолет сяду не в Москве, а в Нижнем. Я выехала из Москвы вечером, а на рассвете этой же ночи вылетел самолет в Нижний. В городе Владимире я проснулась. Было четыре часа утра. Самолет вылетел только в шесть, но я этого не знала. В моих мыслях он уже летел. Совершенно по-особому я глядела в небо. Оно было в тучах. Земля под ним пахла сеном и дождем.

Хотя я смотрела как профан, но мне не понравилась одна туча, низкая, грифельного цвета. У нее были крутые рога, и она шла как бы для удара. Но в это время в кустах на земле вдруг коротко и крупно защелкал соловей, как будто осыпались лепестки тяжелого и влажного цветка. И, странно, это успокоило меня.

В Нижнем в Авиахиме еще не беспокоились, но уже недоумевали, почему нет самолета. Им неправильно сообщили час вылета из Москвы. Поговорив с секретарем, который озабоченно сообщил мне, что на рассвете шел сильный дождь (причем мне сейчас же припомнилась рогатая туча), я пошла в гостиницу. Через час меня позвали к телефону и сказали, что самолет прилетел и стоит на «стрелке», то есть на месте слияния Оки с Волгой.

Я поехала на него взглянуть. Из трамвая он показался мне трогательно маленьким на этом водном просторе, не то что в Филях на узкой Москве-реке. Он был пуст. Все прилетевшие ушли в город, как сказал мне милиционер. Рядом два мальчугана разглядывали самолет. Они не разговаривали, не двигались, не дышали, они только смотрели. Но смотреть было не на что. Самолет, заботливо укутанный брезентом (он у него на тесемочках), потерял многое из жесткости и великолепия, свойственных летящим аэропланам.

Я вспомнила разговор с одним приятелем. Он говорил, что самолет создан исключительно для войны, для нападения или защиты, вернее, для нападения, но никак не для мирных целей, что в нем злое начало. Тогда я почти поверила этим словам. Но на Оке, взглянув на тесемочки, я поняла, что это не так, что самолет не только для войны, а и для мирных целей. Недаром наш летчик Копылов, еще в Москве, в Филях, сказал: «На них можно перевозить рояли и цветы».

Копылов назвал рояли и цветы, музыку и цветы, одни из лучших вещей на земле. И, вероятно, придет время, когда самолеты будут возить главным образом цветы, и рояли, и вещи, им подобные.

Отлет из Нижнего был назначен на семь часов утра. В городе было безветренно, совсем тихо. Но у моста пришлось ждать. Оказывается, что иногда мост разводят на ночь по требованию пароходств, когда должен пройти «караван». И сборщик десяти копеек (там берут десять копеек с извозчика) сказал мне, что мост не могут свести из-за ветра. И действительно, здесь, где встречаются две реки, где столько простора и воды, ветер был очень силен. Сборщик поинтересовался тем, куда я так рано еду; узнав, в чем дело, он взглянул на белеющий вдали самолет и сказал с почтением:

— Он хотя машина небольшая, но сила в нем невероятная.

Потом сборщик необычайно приветливо пожелал мне всего хорошего и поправил что-то в упряжи извозчичьей лошади. Как будто симпатию свою к «машине невероятной силы» он перенес на меня и даже на лошадь, везшую меня.

Ветер сильный. У самолета — толпа. Стоят там в такой же позе, как накануне мальчишки. Мне показалось, что они со вчерашнего дня не спали и не ели.

Вот взяли мой чемоданчик, вот посадили меня. Что будут делать два мальчика, когда мы улетим?

— Когда я подыму руку, отталкивайте! — кричит Копылов.

И вот он поднял руку. Мы идем, мчимся по реке. Маленькие волны бьются о наши поплавки. За нами туча воды (это можно предположить). Быстрее, еще быстрее. Трудно оторваться от земли, или от земной воды. Трудно, я думаю, мотору и трудно сердцу. Мне кажется, что я успеваю разглядеть обоих мальчиков. Быть может, вон та точка — сборщик десяти копеек на мосту. Боюсь, что он, заглядевшись на нас, пропустит безвозмездно двух легковых извозчиков и одну телегу, и страна понесет, таким образом, убыток. Но ничего. Она возместит его успехом агитоблета.

И вот уже пятьсот метров легло, или, вернее, встало, между сборщиком и нами, между мостом и нами, между землей и нами. Мы летим.

Была страшная минута потери веса собственного тела. Замирание сердца, как в детстве на качелях, когда внизу стоит мальчик Костя Львиное Сердце и стыдно показаться трусихой, но на самом деле умираешь от головокружения. Так было и здесь.

Все было невесомо и ненужно, за исключением сердца, которое весило пуд, колотилось, как медный колокол, и просилось на землю. Но так было только первые минуты. Потом все встало на свое место.

Понемногу я освоилась настолько, что начала делать открытия.

Открытие первое: голову надо поворачивать медленно, потому что она все время норовит закружиться. Смотреть лучше всего в противоположащее окно, вкось. Получается, как в кино на экране. И только привыкнув к этому, можно начать глядеть в ближнее окно, прямо вниз.

Открытие второе: товарищ Вахламов, инструктор Авиахима, сидя за мной, следит по плану за селами

внизу и с необычайной легкостью перемещается по кожаному дивану от одного окна к другому, не предпринимая никаких предосторожностей относительно головы. И ничего. Значит, она может и не кружиться.

Открытие третье: механик, сидящий рядом с летчиком, поет. Открыла я это случайно по выражению его бровей.

Открытие самое главное и четвертое: воздух вовсе не так воздушен, как думают. В нем есть упругость, которую трудно себе представить на земле. Он — настоящая стихия, то благожелательная, то враждебная, а вовсе не голубое или серое барометрическое явление.

Открытия кончились.

Находясь на земле, трудно себе представить, до чего велика она и все, что на ней. В частности, Волга. Ей нет конца. Гигантские сверкающие петли тонут в солнечном дыму. Желтые бархатные мели, затоны, леса и лесочки, луга, по которым разбросаны стада, — все сделалось ослепительно иным оттого, что изменился угол зрения.

Сверху земля кажется теплой от сосновых лесов. Тем прохладнее выглядит вода.

Как изменилось с течением времени путешествие! Сначала это были тяжелые сплошные колеса даже без спиц, грузные массы дерева, которые с бычачьей медленностью попирали землю. Они скрипели длинным и злым скрипом. Они вздымали даже не пыль, а целые комья раскрошенной, но не вполне измельченной земли. Постепенно колеса становились легче и прозрачнее. Их выдолбленная сердцевина наполнилась спицами, в центре зажужжала ось. Облака пыли тонко, но густо покрывали их металлические части. Колеса гудели, и пели, и стонали, жалуясь на огромность земли... Теперь они отдохнут. На их место пришел пропеллер. В нем сосредоточилась мощь множества колес. Он режет, сечет и расшвыривает воздух. Алюминий заменил тяжелое железо.

Само путешествие сделалось беспыльным и легким. Блестящее крыло, в окне облако, чистота и прохлада кожаного кресла — так выглядит современное воздушное путешествие.

Маленький город на Волге, облитый солнцем и засыпанный земляникой, узнает о том, что в такой-то день и час прилетит самолет. Это известие проникает туда в виде телеграммы, посланной на имя председателя местного отделения Друзей Авиахима. Когда телеграфист еще только несет ее, от нее, нераспечатанной, слух просачивается на базарную площадь, проникает сквозь проконопаченные деревянные стены. И телеграфист, переступив порог председателя дома, не застаёт адресата: он уже ушел на совещание о выборе места для приема летучего гостя.

Небольшая местная газета ощущает подземный, вернее, воздушный толчок. Совершенно босой, бритоголовый до голубизны, в спортивной фуфайке секретарь, замещающий в летнее время редактора и замредактора, перестает страдать от жары и купается уже не пять раз в день, а только три. Остальное время он сидит в авиауголке и разглядывает мотор, спроектированный на бристольском картоне. Кроме того, в авиауголке моют окна и кладут бумагу от мух.

Весь город делится на две части: одну, которая верит в прилет, вторую — которая не верит.

Действительно, бывает так, что слухи о самолете оказываются ложными. На этой почве происходят печальные вещи. Так, в данном городе зимой стало известно о прилете гостей. Городок ожил. Была избрана комиссия для приема. Комиссия взялась за дело горячо. Зима была бесснежная, и комиссия предложила даже свезти снег, чтобы устроить на аэродроме пуховую постель. Самолет не прилетел, и порыв угас. Прошло некоторое время. Снова слух о самолете. Снова комиссия. Вырабатывается проект встречи с пионерским отрядом и с музыкой. Время летит, а самолет — нет. Комиссия от бездействия разлагается. Наконец телеграмма. Выбирают третью комиссию. Но она проникнута недоверием. Она подготавливает встречу, но так плохо, что когда прилетает самолет «Все в Авиахим», то для него нет не только музыки, но даже веревок, чтобы привязать крылья к кольям на берегу. Кроме

того, костер, который, по инструкции, должен быть зажжен и дымом указывать место посадки, горит так невыразительно, как будто сам не верит в то, что делает. И мы, прежде чем сесть, несколько раз пролетаем над ним, не видя его.

С поля, из дому, из лесу, из воды, одетые, полуодетые и совсем голые бегут, сыплются люди.

Люди бегут, бегут. Нас встречает вышеупомянутая комиссия. Хотя она состоит из пяти человек, но налицо только трое. Один удит где-то рыбу, второй уехал вчера в Казань. Это значит, что не все пять верили в нас.

Председатель местного Авиахима взволнован до крайности. Он сообщает нам, что встреча не очень парадная потому, что мы прилетели в служебное время, и служащим не разрешили нас встречать. Затем он рассказал историю трех комиссий и говорит, что отсутствие веревки дорого ей обойдется и что ее придется «пересмотреть».

Действительно, через три дня комиссию пересмотрел товарищеский суд. Было говорено о веревке и о музыке. Выяснилось, что музыки не было оттого, что музыканты накануне до двух часов ночи играли в цирке и очень устали. В результате всего этого комиссии было заявлено, что ее «пассивное поведение ниже критики», и спешно выбрана новая...

Покуда самолет стоит на берегу и летчик и механик осматривают мотор (это всегда длится очень долго), председатель Авиахима посылает своего заместителя в город в лучшую и единственную гостиницу заказать для нас обед:

— Скажи, чтобы самый лучший, понимаешь, чтобы... Скажи, что для тех, что прилетели.

К тому времени мальчишки тройным кольцом окружают меня, сидящую на камне, считая, очевидно, что я, как лицо второстепенное и, следовательно, не гордое, смогу удовлетворить их любопытство. Вопросы их так разнообразны, что мне становится еще жарче.

— Почему у него крылья не двигаются, как у птицы?

— Сколько в нем цилиндров?

— Не холодно ли наверху?

— Не жарко ли?

— Пугаются ли его птицы?

— Почему он не гладкий, а «желобчатый»?

— Кого будут подымать?

И, наконец, самый главный вопрос, на который я никак не могу ответить:

— Почему он летит?

— Это так просто нельзя объяснить,— говорю я.— Вам товарищ Вахламов расскажет. Он вам лекцию прочтет.

— Он особо разъяснит, а вы скажите покороче, почему он летит? Сейчас скажите.

И за тройной цепью стриженных ребячьих голов чей-то взрослый голос подтверждает:

— Действительно, почему он летит? Не объясните ли, товарищ?

Вечером город полон самолетом. На улицах разговору только о нем. Какой-то мальчонок орет так, что в ушах звенит.

— Перестань! — грозит ему мать. — Сейчас же перестань, а то вон я скажу дяде, увезут тебя на самолете. Там покри-ичишь.

— Шура,— шепчет у калитки юноша кому-то спрятанному в густой лунной тени под липами.— Шура, мы в лес хотели пойти, и вдруг — вы в лодке с Перегудовым и даже сами гребете.

— Ну и что ж,— отвечает голос из-под лип,— ну и гребу. А он, может, завтра полетит. Он давно уже член Авиахима. И значок имеет.

Наступает тишина. Городок засыпает. Облака уже потухли, и Волга уже не пылает. Воздух тепел. Липы пахнут. Население спит. Вечер был необычен, день был полон. День под знаком самолета.

3

Мы прилетели в Чебоксары утром, а в пять часов дня был назначен митинг на берегу и полеты для активных членов Авиахима. И первый же опыт показал, как трудно осчастливить многих, располагая небольшими возможностями. В тот день было назначено пять

полетов по четыре человека, итого двадцать человек. Но хотели подняться не двадцать, а двадцать раз двадцать. У каждого были доводы, и каждый был прав. Один говорил, что он дальнего уезда и что потому его надо поднять. Чебоксарские возражали, что — это полеты ихние и им надо поднять своих. Члены общества Друзей Авиахима по справедливости полагали, что им принадлежит право полета. Но нечлены возражали, что они, намереваясь записаться в общество, должны удостовериться, стоящее ли это дело. Одни говорили, что летать должны старики, потому что им недолго жить. Но были и такие, которые стояли за детей, говоря, что их надо приучать с малых лет к самолетам. Один деревенский, очевидно, увидав, что его шансы слабоваты, пошел на лукавство.

— Покуда сам не полечу, не поверю,— говорил он.

— Да ты же видал, как летит. Только что видал,— возражал ему земляк.

— Видать видал, но не верю. Сам должен испробовать. Тогда, сделайте милость, не только что две с половиной копейки в месяц, а может, и десяти не пожалею.

И, говоря это, он поглядывал в сторону самолета: «Вот, мол, какой я,— меня нельзя не взять».

Но увы! И это не помогло. Распределением мест заведовал местный человек, товарищ Антонов. У него были свои соображения, и его не так-то легко было разжалобить.

Необычайно повезло какому-то Иванову Семену. Он приехал в Чебоксары продать сено, приехал из такого глухого места, что даже сами чебоксарские сказали:

— Место темное. Туда и птица не полетит, не то что самолет. Пушай, пушай летит. Он своим расскажет. Садись, Иванов. Садись, Семен.

И Иванов Семен, побледнев от счастливой неожиданности, торопливо передал кнут соседу, поправил пояс и полез в кабинку.

Интересно наблюдать лица стоящих на земле в тот миг, когда самолет отрывается и летит. Сколько бы раз он ни взлетал, этому всегда предшествует минута пол-

ной тишины. Чувствуется, что все не дышат. И потом общий гул — «летит». Я сама, стоя на берегу, ловлю себя на том, что не дышу вместе с другими и вместе с другими вздыхаю: «Летит!»

И вот он летит. Сначала он идет по воде. Быстрее, быстрее. Лыжи, сначала целиком лежащие на воде, как бы приседают. Передние концы приподымаются. Оторвались наконец. Самолет делает большой круг над Волгой. Все следят за ним. Наступает минута такого внимания, что страшный, старый, по-моему — просто столетний козел, который всегда ходит в толпе, клянча окурки (kozy очень любят табак), пользуясь замешательством, берет из чьей-то руки зажженную папиросу и, отплеываясь от огня, ест ее...

На другой день был назначен полет в село Ильинку, в тридцати верстах от Чебоксар. Там нужно было поднять двадцать пять человек.

Летели мы в Ильинку двенадцать минут над Волгой. Несмотря на три открытых окна, в кабине еле веял слабый ветер. Было солнце. Была такая тишина воздуха, что она казалась неправдоподобной.

В Ильинке повторилась чебоксарская история. Изумление и трепет были таковы, что не только веревки, даже огня на берегу не было. Огня, указывающего место спуска, необходимость которого была указана в телеграмме, посланной из Чебоксар. Я думаю, что, получив телеграмму, люди просто не поверили в реальность самолета. Когда же поверили, то было уже поздно.

И мы без всякого огня сели на берег, который в одну минуту стал белым от чувашей в белых полотняных кафтанах.

Через несколько минут появилась веревка. Вахламов сказал небольшую речь о значении Авиахима, речь, покрытую аплодисментами. Кстати, я заметила, что аплодисменты под открытым небом похожи на дым дневного костра. Они как бы растворяются в солнце и в воздухе. Потом начались полеты.

Первым подняли старика Баранова, семидесяти пяти лет, чуваша, причем оставшиеся, главным образом женщины, все боялись, что у него «зайдется сердце»

и «как бы он там не умер». Но Баранов оказался настоящим молодцом. Спустившись, он сказал, что «господь бог привел на старости лет увидеть такое чудо; что ничуть не страшно, а качает — вроде как в зыбке».

Потом посадили пионера двенадцати лет, Бориса Ермолаева, у которого вместо носа было просто небольшое возвышение из веснушек. С грустью должна сказать, что Борис Ермолаев оказался не на высоте положения, ибо забился под кресло и заткнул уши. Потом посадили пионерку. И тут-то разразилась обида.

Ко мне подошли четыре девочки, двенадцати — тринадцати лет, и с дрожью в голосе сказали, как это несправедливо, что они и есть настоящие, старые пионерки, а эта полетевшая только что поступила в отряд и что за это надо продернуть кого следует в стенной газете.

— И часто вы продергиваете? — спрашиваю я.

— Когда факты есть, то всегда.

После этого произошел еще длинный разговор. Они мне рассказали, как им трудно, что у них нет своего помещения для клуба, а снимают они один дом у «буржуя» и платят ему по два с полтиной за вечер. Что у них совершенно нет книг и что они сами пишут пьесы и «юморические» стихи с «фактами». Что они слышали про физкультуру, но не знают хорошенько, что это такое. И что у них нет даже руководителя. Они пригласили меня в воскресенье на спектакль.

И когда я уже сидела в кабине, они кричали:

— Ждем! Приезжайте!

4

По городу были развешаны объявления о том, что вечером будет «функционировать кинематограф» и будет показана лента Авиакима «в двух частях». Как только начало темнеть, город потянулся в кинематограф, тем более что это было бесплатно...

Кино, или «Летний театр», прекрасно стоит над Волгой, на бульваре. Это самое красивое место в городе. Бульвар состоит из одной недлинной аллеи;

легкая проволочная ограда отделяет ее от обрыва. Вдоль ограды — скамьи. Внизу — Волга. Там тишина, там веет ветер.

Внизу медленно, как жук, сверкая огнями, проходит пароход по золотой воде. Он загудит у пристани. И мальчишки, даже не видя его, по одному звуку определяют, какой именно. У каждого — свой голос.

«Летний театр» был уже почти полон. Для порядка пускают все же по билетам, хотя бесплатным. У двух дверей — два «юных друга Авиахима» совершенно изнемогали под бременем своих контролерских обязанностей. От гордости они даже перестали помнить своих знакомых.

— Володька, — торопливым тенорком говорит одному из контролеров какой-то, очевидно, его приятель. — Володька, тут придет Маня, так ты ее пропустишь.

— Какая Маня? Не имею понятия.

— Да, Маня же, господи, наша Маня!

— Не знаю никакой Мани, прошу вас отойти.

— Ма-ня — понимаешь?!

— Обязана иметь билет. Иначе не вправе, хоть двадцать раз Маня.

Что произошло с Маней, я не знаю. Мы с Вахламовым тоже с некоторым трудом проникли в театр и сели сбоку. Комары были фантастические. И, кроме них, еще мошки. Пока я размышляла, комариный ли это молодняк или они сами уже взрослые, зал наполнился до отказа.

Пришел оркестр, составленный единственно из гитар и балалаек, Антонов, председатель здешнего общества Друзей Авиахима, встал перед экраном и сказал речь.

В некоторых случаях красноречие просто вредит. Оно было не свойственно Антонову. И я не представляю себе речи более подходящей к случаю, чем та, какую он произнес под пенье комаров перед притихшей толпой. Слушатели забыли про семечки, и стало очень тихо. В щели не совсем плотно сколоченного «Летнего театра» тускнеющим золотом светила Волга.

Антонов сказал, что эти дни, дни нашего пребывания здесь, являются праздником. Что теперь все

убедились, как хорош и нужен самолет. Что Чувашская республика должна приложить все усилия к тому, чтобы иметь свою собственную птицу. Затем он с благодарностью упомянул имена всех прилетевших, главным образом, конечно, Копылова, «славного летчика». И закончил так:

— Будем надеяться, что эти птицы как можно чаще будут появляться на нашем горизонте.

Его речь была затоплена аплодисментами. Затем потушили свет. И под музыку гитар и балалаек поплыли по экрану такие знакомые московские места, такие знакомые лица... Вот помещение московского Авиахима, где происходило совещание перед отлетом. Вот части машины, мотор, разобранный на части, родной брат тому, что так уверенно и бережно принес нас сюда. Большой театр, где происходит торжественное заседание Авиахима. Фрунзе говорит речь. Самолет ядовитым газом борется с вредителями, «не уничтожая посева». Вот, наконец,— и тут весь зал разражается шумным восторгом,— вот наш летчик Копылов в ту минуту, когда он возвращается из зимнего агитполета. И «Летний театр» рукоплещет знакомому лицу, так хорошо передающему улыбкой трудность полета и радость возвращения.

Сеанс кончается. Облака потухли, и Волга уже не пылает. Зрители расходятся. Придя в единственный в городе ресторан, мы читаем в чувашской газете наши имена. И хотя не понимаем текста, но радуемся.

5

Перед отъездом из Москвы домашние и друзья, принимавшие горячее участие в укладке моих вещей, навязали мне калоши.

— Зачем это? — твердила я в отчаянии. — Ведь теперь лето. Не возьму я их.

— Не возьмете? А вы представляете себе дождь в каких-нибудь Чебоксарах и тамошнюю грязь?

Я представила себе эту грязь и взяла калоши. И вот за презрение к ним «какие-нибудь Чебоксары»

отплатили мне безупречно чистыми, ничем не загрязненными воспоминаниями.

В Чебоксарах есть «этот берег» и «тот берег», и они не похожи друг на друга. Чебоксары расположены на «этом берегу». На «этом берегу»: пристань, лодки, город и на поплавах живорыбная торговля, где продают чудесных живых стерлядей и язей. И где при нас однажды взвешивали щуку, величиной с молодую акулу.

Как-то раз мы поехали на «тот берег» и по дороге, прямо на воде, из верши купили у рыбака три фунта язей. Старик дал нам большую вязку, сказав, что «на фунты он мало понимает» и дает «на глаз». Когда мы вернулись, нас с нашим трофеем увидели из живорыбной торговли и очень обиделись, сказав, что не полагается с «того берега» привозить рыбу на «этот берег», потому что тут есть своя.

На «этом берегу» есть бульвар. На «этом берегу» — учреждение, именующее себя «Советской гостиницей № 1», которое, собственно, не гостиница, а ресторан. Это — двухэтажный деревянный дом, но нижний этаж не жилой, а как бы сарай, в котором лежат дрова и где живут одна свинья, три козы и старая седая собака Мальчик. Вы входите в этот сарай и подымаетесь на второй этаж, причем вы вынуждены пройти не через самую кухню, а через комнату, где все готовят для варки. Тут лучше не смотреть по сторонам. А обеды, между прочим, вкусные. И вот наконец вы вошли и сели в большой светлой комнате с маленькими окнами со столами и маленькой эстрадой. На эстраде же оркестр.

При взгляде на него я вспоминаю слова Джека Лондона из рассказов о Клондайке, что в пианиста просят не стрелять. Он играет, как умеет.

Оркестр состоит из рояля, двух скрипок и балалайки. Иногда по вечерам, когда только что зажженные электрические лампы растворяются в меду заката, когда народу мало и окна раскрыты, — оркестр звучит совсем не плохо. Тогда он играет нечто простое, какое-то попури из «Стеньки Разина», «Только ты, моя гитара» и еще что-то. И тогда посетители, ужинающие там, отставляют бутылки пива и внимательно слушают, опершись на локти. И вздыхают.

Но в другие часы и в другие дни все происходит иначе. Вина там не дают, но зато пиво «Красный Восток» Татпищтреста в тяжелых литровых бутылках очень быстро и крепко кружит голову. Особенно шумно в ресторане по базарным дням. Тогда скрипки и балалайки выходят из себя от неистовства. И нередко, среди бела дня, как туча с громом, налетает пляска...

Выйдя оттуда, хорошо взять лодку и переехать на «тот берег». Там — совсем другой мир.

«Тот берег» — низкий и песчаный. Лодка, еще задолго до того, как пристать, садится на мель. Тогда ничего не поделаешь, надо разуться и, войдя по колено в совершенно теплую воду, вытянуть лодку. После чего можно лечь на песок. Песок там такой, какого я не видела никогда и нигде. Это не песок, а тончайшая белая пудра, каменная мука. У самого берега и дальше он еще сероват и влажен. Но, пройдя шагов двадцать, вы найдете такую белизну, такую чистоту, такую сухость, какая может только присниться. Там, где песок высох совсем, растет «дикая капуста». Ее плотные серые непромокаемые листья, очевидно, совершенно не нуждаются в воде. И чем суше песок, тем пышнее разрастается дикая капуста... Вы идете по ней. Ее листья шуршат под ногой, и не гнутся, и не ломаются, а как-то складываются, словно брезент. И из этих листьев, сначала робко, нападают на вас комары. Робко только сначала. Но что будет потом!.. За дикой капустой идет густая заросль ивняка, а потом уже заливные луга.

Травы закрывают вас с головой. Они совершенно сухи.

Задыхаясь от аромата, сплошь покрытые цветочной пылью, ворсинками и усиками, выбираетесь вы на узкую дорогу, с трудом выдерживающую натиск трав. Тогда на вас нападают комары. Они наступают сплошной стеной. От их укусов образуются шишки, шершавые и твердые. Нужно беспрерывно обмахиваться веткой; только это спасает от окончательной гибели.

По этому «великому комариному пути» вы добираетесь до затона. Затон — это нечто вроде почти неподвижной реки, которая вьется около Волги и наконец впадает в нее. Именно эти бесчисленные затоны я при-

нимала сверху за озера и пруды. Во время разлива Волга и затоны соединяются в одно целое. Но по мере того как половодье прекращается, затоны получают свои очертания, свои берега и своих комаров.

Мы недолго побыли здесь. Комары были слишком ужасны. Солнце садилось быстро.

Садясь в лодку, мы еще раз, в последний раз, поглядели на травы, одно из богатств этого края, отраду коров, лошадей и коз всего Поволжья.

Мы снова стали приближаться к «этому берегу». Горящие комариные укусы овевались влажным ветром. Недалеко от пристани, раскинув над зеркальной и красной от заката водой легкие крылья, сидела наша птица.

Завтра она зажужжит, оттолкнется от воды поплавком и полетит на север.

6

Солнечный свет был всюду, даже там, где в нормальный солнечный день полагается быть тени. Он проникал под ресницы, в мозг, в самое сердце. В это утро мы распрощались с Чебоксарами.

Пропеллер начал расшвыривать горячий воздух. И даже этот безрадостный искусственный ветер казался счастьем. Окна были раскрыты. Внизу горячим молоком лежала река и не текла. Так летели мы без пяти минут два часа. В девять часов мы опустились в Богородском.

После прелестного чебоксарского берега, высокого и зеленого наверху и сухого и песчаного внизу, Богородское показалось голым. Самый же берег был грязен и топок, так что к нашему бедному самолету проложили длинную доску, которую через пять минут нельзя было отличить от земли. На голом и красном невысоком холме стоят там нефтяные баки. Богородские холмы так красны и обнажены, что напомнили мне мою родину — юг, побережье Черного моря. Но то, что радует глаз на родине, утомляет его на чужой стороне.

Мы выгрузили весь багаж на берег, как это делается обычно, чтобы облегчить самолет и дать ему

возможность взять четырех пассажиров, кроме летчика, и начались полеты.

Я плохо помню, что было дальше. Я сидела в стороне, на камнях, укрытая носовым платком, умирая от жары. Как сквозь сон я слышала, что поднимают главным образом грузчиков и водников.

Очнулась. Все по-прежнему. А совсем близко от меня, вернее надо мной, кто-то лузгает семечки. Открываю один глаз. Вижу: стоит какой-то в синей рубашке молодец и разглядывает меня. Тогда я открываю оба глаза и спрашиваю:

— Чего вы уставились на меня?

— Интересно, — был неожиданный ответ.

— Интересно? — переспросила я и от негодования даже почувствовала себя лучше. — Что же вам интересно? Я еле живу...

— А вы сами откуда будете?

— Оттуда, — отвечаю я, указывая на самолет на берегу.

— Прилетели. Вы, что же, пассажирка?

— От газеты я.

— А, так мы, значит, товарищи по профессии. Я рабкор с буксирного парохода. Штурвальный я.

И при этом с него слетела всякая галантерейность. Он деловито подошел к Волге, наполнил мою фляжку водой и мне под голову подложил удобный плоский камень. Об «интересе» уже не было разговора. Сев рядом, он мне рассказал, что служит на буксирном пароходе. Что в данное время они тянут баржу. Что они делаكت всего четыре версты в час и будут работать целое лето. Что он работает восемь-девять часов в сутки и пишет корреспонденцию в Москву в газету водников «На вахте».

— Знаете, что я думаю? — спросил меня рабкор.

— Не знаю. А что?

— Хорошо бы кому-нибудь из высших, из московских, простым матросом проехаться по Волге. Он бы всю здешнюю жизнь узнал. Как вы полагаете?

Я согласилась с тем, что это действительно было бы недурно, но вряд ли возможно, потому что у московских в Москве дела довольноно.

В это время я заметила, что в самолет втаскивают вещи. Мой коллега проводил меня до самолета и пожелал счастливо оставаться. Я увидела его еще раз уже из окна: он махал нам.

После раскаленного богородского берега — каким раем показалась кабина самолета. С Вахламова потек такими большими каплями, что сначала я думала, что он искупался и не вытерся. Даже этот неутомимый человек сказал, что в Богородском было «трудновато».

Я с ужасом думала, что до Чистополя мы должны еще спуститься в городе Лаишеве. Наш мотор тоже был, очевидно, того мнения, что на сегодня довольно. Он дал это понять. И мы, описав круг над плоским и пустым Лаишевом, полетели прямо в Чистополь. Этот час в воздухе, полный ветра, был настоящим блаженством... По приезде в Чистополь исследование мотора показало, что от жары он нагрелся (а это не полагается) и даже пропеллер стал влажным от выступившего из него клея. А пропеллер — вещь крепкая.

В тот день было тридцать пять градусов жары.

7

Река Кама сыграла с городом Чистополем злую шутку. Она образовала у берега большую отмель, которая с каждым годом растет; река же отступает. И Чистополь, всегда считавший себя речным городом, рискует в один печальный день остаться без реки. Вот почему наш самолет не мог спуститься там, где его ждали. Он сел на другом, глубоком и просторном месте. И хотя благодаря этому он очутился так далеко от города, что к нему надо было ездить на извозчике, но зато никакая отмель не грозила его благополучию.

Чистополь, один из городов Татареспублики, насчитывает около двадцати тысяч жителей. Его газета «Прикамье» выходит два раза в неделю. В городе есть большие магазины, широкие, даже слишком широкие улицы. После Волги Кама показалась мне суровой и строгой рекой. В ее воде нет волжской ласковости.

В очертаниях ее берегов есть уже северная сдержанность...

Летя из Чебоксар сюда, еще над Волгой, в стороне, мы видели Казань. Она казалась совершенно затерянной среди пространства. Маленькая горсточка детских кубиков на гигантском паркетe полей и заливных лугов.

В Чистополе, на берегу, ребяташки мне сейчас же рассказали, что самолет они уже видели, что к ним прилетал один или два уже давно. Затем они, как обычно, начали задавать мне вопросы:

— Когда будут полеты?

— Будут ли подымать пионеров?

При этом вопросе поднялась буря негодования. Какая-то маленькая девочка, с личиком цыганки, вся в косичках, запищала, что это несправедливо. Что «если только больших будут катать, то они ничего». А если и пионеров, то они, октябрята, протестуют и будут требовать, чтобы взяли и их делегата тоже.

Тогда пионеры тоже заволновались:

— И вы туда же. Ну, кого вы выберете? Ну, кого к примеру?

— Котьку Шмотова! — закричала девочка в косичках. — Он активный!

— Активный! Хорош активный,— издевались пионеры.— Вот давеча недосмотрел, и чужой теленок ихнюю корову высосал.

— Ну что же, что корова. Это сюда не касается.

Долго еще продолжался этот спор. Затем они опять забросали меня вопросами:

— Ночью вы летите или на воде отдыхаете?

— Крылья пустые внутри или как?

— Кто у вас самый главный?

— А на землю он может сесть?

— Видать ли человека сверху и какого он росту?

В это время за нами прислали лошадей, и мы поехали в гостиницу, в «Советскую гостиницу № 1». В городе совершенно нет зелени. Только на улице Карла Маркса есть прекрасный тенистый бульвар со старыми березами, довольно длинный. Но почему-то это единственное зеленое место в городе никому не доступно, ибо вход и выход из него заколочены досками. И прохожие,

густо покрытые пылью (а пыль здесь ужасная), с тоской смотрят на высокую траву и тень под ней. Нельзя.

На другой день после нашего приезда (как это ^{бы}дится) вечером был устроен в саду Карла Маркса митинг. На афише было сказано, что сначала сделает доклад о Китае тов. Лебедев. Второй доклад будет об Авиахиме. На верху афиши была следующая довольно нескладная надпись:

«Городу Чистополю! С прилетевшего гидроаэроплана привет от Авиахима».

Мне очень хотелось сказать здешнему председателю Авиахима, что это не совсем верно. Что если наш самолет — «гидро», то не нужно «аэро». Но я не осмелилась.

Сад Карла Маркса, в который упирается улица того же названия, тенист и густ. Это милый, провинциальный сад, запущенный, без песка и клумб, полный берез и крапивы, муравьев и влюбленных... В этот вечер, кроме всего перечисленного, в нем было очень много мальчишек, жадных до митингов. Они, не платя пяти копеек за вход, как полагалось, безвозмездно пролезали во все щели.

Прямо от входа идет недлинная и широкая аллея. В конце ее — деревянная раковина. В ней перед началом митинга оркестр играл мечтательные вальсы. На ней же потом выступали ораторы.

Я пришла в сад рано. Он был пустоват. Потом стал прибывать народ. Зажглись две очень сильные электрические лампы... Лампы мигнули три раза; после этого прошелся мальчик со звонком. Музыканты ушли, и с эстрады было объявлено, что митинг открыт. Затем всех попросили подойти ближе...

Со своего места я видела мальчишек в первом ряду, положивших локти на эстраду, совсем как рафаэлевские херувимы, затем толпу взрослых. Все внимательно слушали.

В первом ряду какой-то мальчишка, положив загорелую щеку на ладонь, слушал всем своим существом.

Уже выходя из сада, я увидела его снова. Он шел со стайкой сверстников и звонко доказывал что-то. Заметив меня, он понизил голос, и я услышала слово «самолет».

— Котька,— встретил его у выхода строгий женский окрик,— кому я сказала дома сидеть!

Я почему-то подумала, что, быть может, этот Котька и есть Котька Шмотов, активный октябренок, будущий делегат для полета.

8

В Перми была ярмарка. Она открылась совсем недавно, в ней была еще свежесть только что построенного деревянного дома.

Ярмарка большая, краевая. В ней есть что посмотреть, чему поучиться, есть где повеселиться. Ярмарочный комитет, весь в ситцевых рубашках, изнемогает от жары. На столах всевозможные образцы, начиная от уральских камней и кончая пряниками. Телефоны обливаются потом. Все это происходит на втором этаже с лестницей в нижнее отделение. Внизу же сельскохозяйственные орудия. Там целый день толпятся крестьяне. Загорелые руки бережно ощупывают колеса и металлические сита. Здесь же специальный инструктор дает объяснения.

А в гуще ярмарки оживление и упоение обновками и азарт продаж. Здесь и посуда, и сандалии (неисчислимое количество), плетения из лыка, ткани, костромские кружева, вяземское печенье, лампы, мыло. Есть и лотерея, где вы можете выиграть будильник и вожжи.

В цирке пожилая белая лошадь выкидывает всякие штуки и в заключение танцует вальс с похоронным уклоном. Крестьяне не одобряют ее.

— Кормленая скотина, но никчемная.

После ярмарки особенно тихими и тенистыми кажутся пермские улицы. Как раз во время нашего пребывания там цвели липы. В Перми еще много деревянных домов с хитрыми пряничными балкончиками.

В редакции пермской газеты «Звезда» — оживление по поводу нашего прилета. Там сидят большие патриоты родного города.

— Пермь — лучший город на Урале,— говорит секретарь.

Я недослышала и переспрашиваю:

— В Европе?

— Я сказал — на Урале, но, впрочем, возможно, и в Европе. Прекрасный город!

— Но чем именно?

— Прекрасный. Прежде всего, как он стоит. Он стоит, товарищ, на Капе, на самом красивом месте. У нас белые ночи. Это относительно красот природы. Теперь смотрите дальше. Промышленность: заводы какие! Одна Мотовилиха чего стоит! Открылась у нас первая в СССР фабрика сепараторов. Кизел-копи электрифицированы. В двадцать четвертом году пущена в ход Государственная районная станция. Это сердце Кизеля. Уголь из шахты вывозят электровозами. И весь округ наш... Возьмите железнодорожное депо на станции Чусовая. Так там, знаете, целый паровозный город.

Мы прощаемся с пермской «Звездой» и выходим. Прекрасный тихий свет разлит по небу. Кама плывет бледным золотом. Мы смотрим на часы: без пяти одиннадцать. Уже ночь, но белая или почти белая. Тихая северная негаснущая заря...

Обратно в Москву из Перми я еду уже пароходом. Наш самолет «Все в Авиахим» полетит дальше на север, на Чердынь, на Архангельск.

На пароходе «Совнарком», который везет меня, много говорят о самолете. Особенно интересны разговоры на корме на закате, где пьют в это время чай с малиной. Мнения о самолете и о воздухоплавании очень разнообразны.

— Не дело это, — говорит пожилой человек в коворотке, — не дело. Это еще не значит, что человек летит, если он забрался в машину, как в телегу, и жарит. Нет, ты сам к себе пристрой крылья и сам лети самостоятельно, тогда я тебе поверю.

Наступает молчание. Аудитория, очевидно, не улавливает мысли оратора и смущена. Наконец какой-то паренек спрашивает:

— А почему вам так надобно, чтобы с крыльями сам человек летел? Скорее будет или как? Вот мы, к примеру сказать, на пароходе плывем, — продолжает он, воодушевленный несомненной, хотя и безмолвной симпатией окружающих, — ну и плывем. Так что же, я рыбе должен завидовать, по-вашему? А я так пола-

гаю, что у нее небось жабры болят, устала она небось и мне, может, завидует.

Косоворотка прихлебывает чай и не устаивает никого никакими разъяснениями. Разговор продолжается.

— От хорошей жизни не полетишь, — произносит наконец кто-то. Произносит ее, эту неизбежную фразу, которая уже давно носилась в воздухе.

И вот я сижу и думаю о ней.

Мне кажется, что нет большей ереси, чем эти слова; летят именно от хорошей жизни и для хорошей жизни. Аэроплан — такое расширение жизни, такое улучшение ее, такое качественное ее изменение, которое даже не снилось предшествующим поколениям...

Обычно, снизившись, набрасываешься на землю с жадностью, как на газету с далекой родины, не читанную много месяцев. Начинает казаться, что за три часа вашего пребывания в воздухе могло случиться нечто необычайное. И страшно радостно бывает узнать, что все обстоит благополучно.

Значит, самолет не только дает возможность ознакомиться с воздухом, но и заставляет крепче любить землю.

А пока я думаю обо всем этом, беседа на пароходе течет, как речная струя. Долго еще течет беседа, пока кто-нибудь не запоеет «Стеньку Разина». А остальные пристально глядят на реку, как будто и впрямь сейчас появятся «расписные Стеньки Разина челны». Но вместо них появляется из-за поворота встречный пароход «Памяти Шмелева». И его и наши волны, стекляннорозовые от заката, встречаются на середине реки, обнимаются и пропадают друг в друге.

Потом снова наступает тишина. От берегов пахнет травой, лесом, землей, покосом, жизнью, трудом. На корме снова говорят о самолете.

Я думаю о хорошей, о прекрасной жизни, когда полетят все.

ТАК НАЧИНАЕТСЯ ДЕНЬ

Перестав греметь тяжелыми трамвайными кольцами и подложив себе под голову Свердловскую площадь, Москва спит. Во сне ее тревожат сны. Какое-нибудь дневное событие, чья-нибудь речь, саранча на Кавказе, забастовка в Англии, чье-то предательство, чье-то геройство овладевают ночным беззащитным сердцем. И только под утро глубочайший покой без видений снисходит на город. А как только рассветает, Москва, потянувшись так, что хрустнут все переулки и мосты, начнет вставать.

Для некоторых, впрочем, именно наступающий день означает сон. Легко себе представить, что для ночного сторожа, например, ночь — это тот же день, только темный и тихий. Для ночного сторожа два часа ночи — это разгар жизни, как в Америке, которая лежит в другом полушарии и живет, когда мы спим. На рассвете, закутавшись покрепче в брезентовое пальто и плотнее усевшись на фанерный ящик, ночной сторож, ощущая законное утомление, уснет в ту минуту, когда в соседнюю квартиру впервые ворвется телефон. Трудовая ночь окончена. Магазин МСПО или склад какого-нибудь кооператива провели ее спокойно, потому что у их дверей на фанерном ящике бодрствовало брезентовое пальто.

Каждое живое существо, проснувшись утром, приводит себя в порядок. Собака встряхивается, кошка умывается, птица причесывается. Человек и встряхивается, и умывается, и причесывается. То же самое происходит с городом, за исключением, впрочем, того, что все это с ним проделывают ловкие человеческие руки. Сначала его метут... На улицах, несмотря на урны, все еще грязно. Клочок газеты, коробка от папирос, косточка от сливы, арбузная корка, пуговица, лошадиные следы и, наконец, просто пыль, — за все это берется неутомимая утренняя метла. Утром никто не мешает метле гулять на вольной волюшке. Улицы пусты. Даже Театральная площадь пуста как ладонь, и ее можно мыть, как угодно. Жаль, что нельзя похлопать Большим театром о Малый, как одну рукавицу о другую. Воображаю, сколько пыли посыпалось бы из одного и другого. Но так как сделать этого нельзя, то Большой театр чистят иным способом, при помощи штукатурки. Часто он стоит весь заставленный лесами, и четверка зеленых бронзовых коней неодобрительно глядит вниз на суету, как бы говоря друг другу: кто знает, чем кончится вся эта история. Со своей любовью ко всему новому, не вздумают ли нас заменить автобусом на том основании, что мы устарели и стоим на одном месте, вместо того чтобы идти в ногу с веком.

После мостовых приходит очередь рельсов. Известно, что в тропических странах при крокодилах состоят особые маленькие птички, заменяющие им зубные щетки. Крокодилы разевают длинные пасти, и зубные птички, бесстрашно влетая туда, выковыривают из мельчайших кривых зубов остатки пищи. В чистильщиках рельсов есть нечто напоминающее этих птиц. Длинные рельсы, такие опасные днем, такие смертельно блестящие, всецело отданные колесам, наказывающие смертью каждого, кто заезается на мостовой, — эти самые рельсы кротки и покорны по утрам. Они, подобно крокодилам, отдают себя в распоряжение маленьким хрупким существам. И внимательная кисть, обмокнутая в ведро, бесстрашно пробирается туда, где водятся стрелки, где особенно много всякого мусора набилось в стальные челюсти. После всего этого город умывается.

Умывание это совсем не похоже на те краткие прополаскивания, какие бывают днем. Тогда бесчисленные прохожие ноги, попадая под струю воды, приходят в невыразимое волнение и мечутся туда и сюда, покуда поливающий не скажет в негодовании:

— Ходите тут по тротуарам, как будто вам улица мала!

Но, невзирая на строгие окрики, ногам все же очень обидно, когда их поливают, как какую-нибудь капусту, прямо на светлые чулки и вычищенные ассирийскими щетками башмаки.

Совсем не то утро. Нет ни прохожих, ни лошадей, ни автомобилей. Никто не шебаршится и не подпрыгивает. И чистая крепкая струя воды моет и моет рябое лицо мостовой до полного блеска. Попробуйте после беспутной и бессонной ночи, с нечистым лицом и нечистыми мыслями, с непутовой головной болью, наткнуться на эту твердую светлую полосу воды, которая, не вихляясь, бьет в одну точку. Вероятно, будет очень совестно.

После умывания город чист. Чист настолько, что воробьи и голуби, оставшись без лошадиного помета, приходят в отчаяние, ища, где бы позавтракать. Они будут долго и неутешно летать над улицами, приведенными, по их мнению, в такое нелепое состояние. Увидя наконец какую-нибудь лошадь, они обрадуются ей так, как радуется голодный и бездомный человек открытию первой чайной... Город чист, и постовой милиционер довольно оглядывает свое хозяйство: ни пыли, ни грязи, ни скандалов, ни пьяных. Утренний час как-то не располагает к таким вещам.

Город только что привел себя в порядок, он еще не вполне проснулся, а поезда приносят ему новых обитателей. Учиться, учиться и учиться. Грызть молодыми зубами сахар успехов и горькую соль неудач.

Приезжих легко отличить по расширенным зрачкам, по ненасытной жадности к впечатлениям. Приезжий или приезжая в один день хотят увидеть: Кремль, Третьяковскую галерею, парад пионеров и крематорий. Хотят увидеть какую-нибудь знаменитость и найти какую-нибудь работу. Если же это будущий вузовец,

то его претензии более скромны: ему необходимо сделать не больше шести ошибок в письменной работе по русскому языку. Увы, как мы видим из газет, и это не вполне достижимо. В корзинках, а иногда и в головах приехавших учиться лежит много ненужных вещей. И это уже дело Москвы, дело большого города, перебрать весь привезенный с собой багаж, отобрать необходимое и отложить в сторону балласт, то, что отягочало корзину и голову.

Весь предыдущий день корова паслась где-нибудь под Кунцевом или в Лосиноостровском. Шершавым языком она слизывала росу с травинки, потом съедала и самую травинку. Попадались ей на пути безыменные мохнатые, как бы шерстяные, цветочки, она съедала и их. Пережевывая жвачку, она тяжело вздыхала. Она думала о своих коровьих делах, думала о том, что вот родился у нее сынок-первенец, сам рыжий, лоб белый, необыкновенно умный. Все матери говорят так о своих детях, корова знала это, но она была совершенно беспристрастна, как совершенно посторонняя корова. Сынок был не по летам умен и развит. Скоро у него должны прорезаться рожки. Но горе было в том, что ей не давали кормить его вволю. Все ее молоко, это чудесное, пенистое, ароматное молоко, выдаивали из нее до последней капли. И хоть бы сами пили. Так нет же. Они отвозили его куда-то в город, в страшное место, где, по рассказам знакомой опытной козы, совершенно нет травы, а вместо нее растет на земле что-то твердое, что люди называют мостовой, но что на вкус — совершенно несъедобная гадость.

Утром первые поезда, идущие из-под всевозможных подмосковных мест в Москву, полны молочниц. Это — совсем особое племя, очень молодое, очень шумное и говорливое. Тяжелыми бидонами они заполняют все промежутки между скамьями и совершенно заталкивают редкого безмолчного пассажира. Приехав в Москву, тяжелые бидоны рассыпаются по улицам, переулкам и даже тупикам. Ибо нет такого тупика, из которого молочница не нашла бы выхода... Частные

дома, гостиницы, общежития, больницы, магазины, все жадные кастрюли, кружки, стаканы и даже чайники (хотя это не их дело) наполняются молоком. Бедная обиженная корова может сколько угодно болеть душой за своего сына. Она ничего не может поделать против того закона, что город притягивает к себе пригороды.

Но рано утром мало выпить молока или чаю, хочется еще съесть французскую булку или русский калач, или плюшку, или баранку. Рано утром, когда городской воздух еще сравнительно чист и все запахи выпуклы, как белые облака в синем небе,— утром нестерпимо вкусно пахнут теплые булки. Каков будет день — неизвестно, но первым делом нужно поесть. И редкий прохожий, если только найдется у него необходимый гривенник, не остановится и не купит вкусно пахнущую штуку.

Случилось мне однажды в Константинополе, нет, в Скутари, пригороде Константинополя, поздно вечером остановиться перед маленькой турецкой пекарней. Ночь была темна и душна. В пекарне ярко горела печь, и немолодой турок, полуголый и в феске, на железном листе сажал куда-то в огонь круглые булки.

— Как ловко,— сказал кто-то из нас.— Смотрите, ни одного лишнего движения. Сейчас видно, что настоящий человек Востока, который никогда не волнуется.

И вдруг «человек Востока» дрогнул и уронил несколько штук сырых булок в золу.

— Вы русские,— сказал он.— Я тоже русский, москвич, работал когда-то у Филиппова. Скажите, что в Москве?..

Постройки тоже просыпаются утром. Длинные бревна, кирпичи, огромные гранитные глыбы начинают ползти по деревянным мосткам. Каменщики, штукатуры, столяры, плотники, маляры, все, кто в начале лета толпились на своей бирже, заполняя переулки Каланчевской площади, которые там спали на земле, ели, читали газету, покуда отдохали их молотки и пилы, теперь спешат на работу. Гигантская армия подлинных «мирных строителей», на чью долю выпадает нечастая

удача видеть и осязать плоды своих трудов, рассыпается по своим местам. Они стучат, колотят, дробят и соединяют. Они перекраивают старый дом. Здесь кладут заплату, там подштопывают, там делают новую пройму. Или шьют заново новые здания из нового материала. Иные роются и в нутре улиц, ковыряют, чистят, сверлят и пломбируют трубы. Еще иные, вися в воздухе, ту же натягивают провода, как струны гитары, на которой ветер впоследствии будет исполнять телеграфные симфонии. И город постепенно меняется. Весь пыльный и серый летом, осенью он будет подчищен и подправлен.

Приезжающие, прежде чем поступить в вузы, прежде чем взять какие бы то ни было уроки, прежде всего волей-неволей берут урок у города.

Город перво-наперво учит их самой простой вещи: для того чтобы сесть в трамвай или в автобус, надо стать в очередь. Этой, казалось бы, незначительной мелочью кладется начало городской дисциплине, городской выучке. Сырой и рыхлый провинциал, живущий не спеша, вдруг познает, что день ограничен, что каждый час дорог, что в нем всего шестьдесят минут, что нужно торопиться занять место в очереди и не зевать по сторонам, иначе прозеваешь автобус или трамвай, прозеваешь экзамен и прозеваешь жизнь. Стоянием в очереди, этим неизбежным предтрамвайным бытием, внезапно определяется робкое еще сознание провинциала. Первое время он будет неприткнuto болтаться по улицам, сохраняя в широких зрачках все медленное течение какой-нибудь Вологды или Чухломы. Но постепенно его зрачки будут сужаться, пока не дойдут до границ, установленных Наркомздравом. И уже через неделю новообразовавшийся москвич займет свое место в жизненной очереди и будет учить новичка...

Покуда город спит, ночью совершаются события. Человеческая воля бодрствует над земным шаром, над его сушами и морями, над его границами. В течение одной ночи может совершиться многое. Проснувшись утром, можно узнать о том, что объявлена война, что произошло землетрясение, что открыт какой-то неизвестный третий полюс и что понизились цены на хлеб.

Радиоволны облетают мир. И всю ночь ротационные машины с почти неутомимой жадностью глотают и пережевывают радионовости с тем, чтобы утром, вместе с кружкой молока и свежей булкой, подать горожанину пищу для ума. Груды событий, планов, предположений и катастроф уложены в ровные строки, сверстаны и набраны так, чтобы как можно скорее и безболезненнее внедрить все это в сознание, чтобы напитать жадный ум, который жаднее желудка и жаднее сердца.

Город просыпается и разворачивает газету. Так начинается день.

1926

Я ЛЮБЛЮ ЗВЕРЕЙ

По воскресеньям, зимой, когда снег так розово-бел под румяным солнцем, по широким и узким аллеям Зоопарка ползут и бегут шапочки, платки, капоры, наушники разные. Воротники застегнуты до самого носа, шапка надвинута опять-таки до носа. Но в промежутке пара глаз сверкает ужасно ярко. Глаза безостановочно смотрят, восторгаются, удивляются, смеются, но иногда и плачут: а вдруг укусит. Руки тоже не остаются в покое. Они стараются залезть сквозь прутья решетки, где так заманчиво пушится лисий хвост или кроличье ухо. Потрогать необходимо. Рукавицы теряются в огромном количестве. Немыслимо помнить о такой мелочи, и рукавицы, величиной с лягушку, валяются повсюду. Иногда, впрочем, бывает и пострашнее. Иногда рукавица остается в клетке у волчонка Лобы, чья любимая забава — стаскивать перчатки, иногда второпях прихватывая и пальцы. Поэтому надо быть осторожнее. Мамы и папы ужасаются, указывая на неудачника Петеньку, у которого и рукавицы не осталось, и рука в крови. Но уже следующий Петенька лезет опять туда же.

Волки

Волков очень много.

Это народ серый, простой, нашего климата. Среди них есть и чистокровные, как, например, вышеупомянутый Лоба, спец по перчаткам, есть и собаковолки. Из них самый примечательный — Мак. Он черный, веселый, ходит в упряжке и тянет так, что «юный биолог» шестнадцати лет, по имени Леля Ильина, валится в снег к ужасу и восторгу всего детского населения. А Леля Ильина сконфуженно объясняет:

— Он привык ходить в упряжке. Вот он и тянет.

Другой «биолог», Ляля Румянцева, с муками устанавливает перед нашим аппаратом волка по имени Скукун, что означает по-индейски в переводе Сетона-Томпсона «текучие воды». Эти «воды» изо всех сил стараются утечь от фотографа. Но наконец мы снимаем его с высунутым языком и явно расстроенного. Но как различны вкусы! В то время как Скукун всем своим видом ясно говорит коллегам: «Братишки, мучают меня здесь! Бегите отсюда», — какой-то ручной волк без названия, очевидно, умирая от желания попасть на страницы периодической прессы, перелезает через ограду и во весь дух несется к нам.

— Перелез! — раздается восторженно-испуганный детский хор.

Его ловит какой-то третий «биолог» и водворяет на место. Так, невыявленная, погибает волчья личность.

Антилопник и «прочие птицы»

Антилопы живут в крытом помещении. Там так тепло, что рукавицы окончательно бросаются за ненадобностью, воротники расстегиваются, и носы из малиновых делают нормального розового цвета...

Перед решеткой, за которой сидит зебра Тони, дети стоят очень долго. Действительно, трудно себе вообразить такого аккуратно нарисованного зверя. Он похож на живую шахматную доску, только не в клетку, а в полоску. И все же он существует, и даже ест сено, как самая обыкновенная лошадь.

Неподалеку от него лежит лось, и даже не лось, а лосиха, больная катаром легких. Зовут ее почему-то Церетелли. Она очень грустна и ни на кого не смотрит. В соседнем помещении, где тоже очень тепло, у самой печки сидят птицы, про которых руководитель какой-то экскурсии при нас сказал детям:

— Эти птицы, как вы сами можете видеть, называются марабу!

Марабу непрерывно дрожат мельчайшей дрожью, хотя одеты очень тепло в мягкие перья. Думаю, что это у них скорее от неважного характера. Против них, огромной пушистой грудой, сидит на яйцах страус. Оказывается, у страусов все наоборот. Страусиха пользуется жизнью и, быть может, платит алименты, а страус возится с детьми. Вид у него при этом мрачный и, говорят, он пребольно лягается, если его тронуть.

Забыла сказать, что в антилопнике находится также ручная тигрица Тереза, которая, когда к ней подошел директор парка, даже замурлыкала от удовольствия и зажмурилась, как простейшая кошка.

Медведи и Полярный круг, который оказался очень маленьким

Белый медведь по фамилии Ермак пользуется плохой репутацией. Про него ходят слухи, что он съел человека. И хотя достоверно неизвестно, так ли это, но уже задолго до его клетки родители берут за руку своих детей. На всякий случай.

Ермак и рядом, в соседних клетках, два каких-то его юных родственника, очевидно, чувствуют себя прекрасно. Пятнадцать градусов мороза вполне устраивают их, они находят, что жизнь хороша даже в неволе, и бодро ковыляют на вывернутых лапах. Их родичи, бурые медведи, из которых самый большой — Борец, борются, режут и в заключение открывают рот: «По-жертвуйте, кто что может».

Им жертвуют сахар и морковь...

Кто сказал, что Полярный круг за тысячи километров от нас? Он здесь, в Зоопарке. По нему ездят на северных оленях и, как это ни странно, на верблюдах,

на ослах и на шотландских пони величиной с собаку. Но, конечно, тон задают олени, и при их содействии все принимает настолько северный вид, что начинаешь глазами шарить по небу в поисках северного сияния.

Олень Васька очень своенравен. Запряженный в сани, он везет седока за определенную плату по кругу до одного определенного поворота и там выворачивает его в снег. После чего он ведет себя тройко: или бежит обратно к исходной точке, или стоит и смотрит на мир, или — и это хуже всего — мчится вбок, в густые кусты и там застревает. Благодаря таким особенностям Васьки, дети с ним дела не имеют. Васькин вожак объясняет его поведение так:

— Скотина северная, несознательная, питается мохом, что с нее возьмешь!

Тем большим успехом пользуются смиренные остальные везучие животные, из которых самые смиренные — верблюды.

Маленькие пони иногда закидываются, как настоящие лошади, осла подозрительны по упрямству. Но верблюды — безукоризненны. Единственный их недостаток — что они очень высоки и с них далеко лететь до земли, если упадешь. Кроме верхового верблюда, там есть такой, который везет карету на полозьях. Карета — необычайна. Она есть нечто среднее между паланкином, порт-шезом и чайной шкатулкой. У нее красные занавески и елизаветинский стиль. Дети наполняют ее целиком. Из окон выглядывают носы, папы и мамы машут вслед руками, а верблюд невозмутим.

Лисица Мурочка

Лисицы во время завтрака ведут себя странно. Получив каждая свою порцию, они начинают бегать по клетке с мясом во рту. При этом видно, что они серьезно мучаются, а в чем дело — неизвестно: спрятать, что ли, хотят? В такие минуты разговаривать с ними невозможно.

Лисий воспитатель, лет четырнадцати, очень сконфужен поведением своих питомцев и поспешно объясняет:

— Теперь нельзя. Поели и стали ленивые. Вы летом приходите; тогда лучше, когда тепло.

Потом оказывается, что лисица Мурочка еще не завтракала, и ее можно взять на руки. И хотя она всячески вертится и старается показать, что ей это ни к чему, ее все же снимают вместе с мальчиком.

Другая лисица, Пионер, наблюдает все это из клетки. Между прочим, среди лисиц есть одна на трех ногах: подруги отъели ей ногу, что не мешает ей быть вполне здоровой и даже веселой.

Зубро-бизоно-корова

Судя по названию, можно подумать, что это три различных животных. На самом же деле оно единственное, но произошло путем последовательного скрещивания всех трех. Поскольку трудно определить, как надо называть его: «он» от зубра или бизона, или «она» от коровы, то лучше всего остановиться на «оно» — животное.

Оно такое большое, что это даже невероятно. Глаза, окруженные ресницами, как озерцо травой, смотрят медленно и важно. Обладателю таких глаз есть над чем подумать. Ведь чистых зубров, по словам «юных биологов», осталось всего сорок штук на всей земле. И вот теперь образовалось общество по охране зубров. Это оно скрещивает зубров с бизонами и коровами и таким образом обновляет древнюю кровь, берет под свою защиту заповедники и делает их еще заповеднее.

Когда земля была молода и сильна, она производила на свет мамонтов и зубров. Теперь земля одряхла, ее леса поредели, воды обмелели, звери измельчали.

Зубро-бизоно-корова не может шевелить головой; если ему нужно взглянуть в другую сторону, оно, как броненосец, поворачивается все целиком.

К решетке подошел ребенок, мальчик, Игорь назывался он. Он был малюсенький. Животное, приблизив к решетке одну ноздрю, окутанную паром, как самовар, очевидно хотело обнюхать Игоря, но не могло нагнуться

так низко. И несколько минут они безмолвно глядели друг на друга, один — подняв голову, другой — опустив. Один — большой, другой — маленький.

**«Красивая женщина»,
съедающая в день семь пудов свеклы**

Впрочем, не только свеклы. Туда входят и сено, и картофель, и еще что-то. Но самое любимое блюдо — свекла.

Джин-дау, или, по-русски, — «Красивая женщина», весит пятьсот с чем-то пудов. Она — слон. Ее привезли в Москву в подарок от Бухарского правительства... По дороге «Красивая женщина» разбила вагон, но, оставшись на открытой площадке, успокоилась и благополучно прибыла в Зоопарк. Теперь она живет в Зоопарке, здорова и так пополнила, что с трудом пролезает в дверь специально для нее отстроенного помещения. Она очень чистоплотна. Двадцать ведер воды выпивает, а другие двадцать тратит на туалет, льет себе на голову, обливается вся, моет ноги и т. д. Ее погонщик очень хорошо отзывается о ней, и она, видимо, довольна им. Он особым образом чешет ей под мышкой (если только «мышка» уместна для определения такого огромного места), а Джин-дау подымает при этом всю переднюю ногу и от удовольствия кричит: звук, похожий на накачивание примуса.

Но зато когда она сердится, то трубит, как самый большой паровоз, и однажды ночью, очевидно в часы бессонницы, сломала рельсу, которая ей служит переплетом решетки.

«Красивая женщина» встретила нас не то чтобы недружелюбно, но неопределенно выжидательно. Мы залезли в самую клетку, которая, собственно, комната с прожиточным слоновьим минимумом в смысле площади. Этот минимум таков, что на нем прекрасно можно устроить небольшой театр.

Вжик... — вспыхнул магний, необходимый для моментального снимка в закрытом помещении. Слон внимательно взглянул в ту сторону, где находились мы. Неприятно, когда слон смотрит внимательно.

— Прощайте, Джин-дау! У вас на спине мозоль от веревки. Вы — честный трудовой слон, вы не были паразитом. Вы заслужили свой отдых в Зоопарке, хотя, вероятно, предпочли бы его в родных джунглях. Но в жизни не все делается по нашему желанию. Прощайте, Джин-дау!

Сонливый Каспер

Под одной крышей со слонем живет бегемот. Каспер. Иногда он так долго не вылезает из воды, что дети и даже взрослые приходят в отчаяние.

— Это что же такое, — негодует какой-то гражданин. — Он спит, а мы стой!

— А вы не стойте! Чего же вы стоите?

— То есть как это — «чего»? Я пришел сюда для образования и для интереса. Это просто невнимание администрации.

— А что же она может сделать, если он желает спать?

— Должна принимать меры, чтобы по праздничным дням не спал!

А дети туда же ноют:

— Мамочка, пусть он хоть спинку покажет.

Какая-то школьная экскурсия начинает хором свистать в надежде разбудить бегемота. Неизвестно, это ли подействовало, но только внезапно из густой воды высовывается четырехугольная полуоткрытая морда, похожая на мокрый чемодан. Ух и морда же!

Тропики, где водятся фламинго

Белые медведи были в восторге от погоды, но мы начали замерзать. Резкое зимнее солнце утомило глаза, твердый синий снег скрипел слишком громко, зима была слишком сурова... И вдруг тишина, райское тепло (семнадцать градусов), мелкая прозрачная вода в плоском бассейне, застекленный свет, и в теплом сыроватом воздухе трепет и шорох розовых крыльев. Другой мир, другая часть света.

На дверях было написано: «Виварий». И затем — «Вход воспрещен». Но именно оттого, что там никого из посторонних не было, оттого, что там было так тепло и тихо, — все это показалось еще диковиннее и лучше...

Там был только старичок, заведующий этим местом. Он в туфлях бесшумно двигался по кафельному полу, и тихая девушка, его помощница, вылавливала кого-то сеточкой из бассейна.

Фламинго, на длинных пурпурных ногах, непрерывно встряхивали очаровательно окрашенными крыльями, в клетках легко вскрикивали какие-то птицы, как от щекотки. Три попугая — голубой, синий и зеленый — оглушительно ссорились между собой, и маленькая голая африканская собачка, невыразимо уродливая, по имени Венера, лаяла на нас. И все же была дремотная тишина, от которой хотелось спать.

Так как это самое теплое место во всем Зоопарке, то оно служит санаторием для обезьян. При нас их было две. У одной сухотка мозга. Она из породы «капуцинов» и очень напоминает маленького некрасивого ребенка. Ей предстояла тяжелая операция. Вторая — Яша — уже выздоравливала после тяжелой дизентерии. На носу у нее глубокий шрам, и нам объяснили, что это она от слабости упала и разбила себе нос о перекладину. Теперь она окрепла настолько, что сама может держать чашечку с красным вином, которое ей дают для укрепления. Кроме того, она ела крутое яйцо, медленно покусывая его и взглядывая на нас.

В одной из клеток сидят два тукана, или перцеда. Сами они небольшие, но носы у них громадные, как пена, только кривой. Глаза оранжевые с синим. Этих птиц кормят катышками из мяса, мака, моркови, риса и муравьиных яиц. Тукан, получив такой шарик, сначала держит его концом клюва, как бы любуясь, а затем молниеносно подхватывает тонким роговым языком и катит в горло, как по желобку.

Со стеклянной крыши капали крупные теплые капли — настоящий тропический дождь. Объектив аппарата все время запотевал. Венера больше не лаяла. Был слышен только плеск фламинговых крыл. Так бы

лечь и спать под этими нежными стеклянными тропиками, в пяти минутах от трамвайной линии.

«Юные биологи» предложили нам осмотреть помещение, где содержатся куры, из которых делают петухов, но мы уже были не в силах. Слишком много животных, слишком много климатов, слишком много детей.

Мы придем в другой раз, весной, когда фламинго будут на воле, и «Красивая женщина» тоже, если только она к тому времени сможет пролезть в дверь, несмотря на толщину.

Мы придем непременно!

1926

ДВОРЫ И ДЕТИ

Каждая страна имеет свой образ правления, свой климат, свою систему телефонов, свою обувь и свои дворы. Я подразумеваю дворы, которые находятся при домах. Ясно, что в каждом таком дворе свои особенные дети...

Мне довелось наблюдать дворы в четырех странах. И хотя мои наблюдения, в полном смысле слова, не широки и даже просто узки, но все же я поделюсь ими.

В Константинополе двор был самым узким из всех когда-либо виденных мною. Это была скважина, выходящая на Босфор. Из груды мусора росла непомерно старая пальма. Ей, так же как и людям, хотелось на волю, и она тянулась к синей полосе воды и неба. От этого у нее образовался горб, как у верблюда. Очень редко, приблизительно раз в месяц, она выпускала новорожденный лист. Он раскрывался постепенно, как веер. Но на третьем этаже узкого турецкого дома жил англичанин, весельчак и спортсмен. Он, как только показывался лист, устраивал стрельбу в цель. Он метал в старую пальму жестянками из-под консервов и очень ловко сбивал нераскрытый веер.

На закате, когда Босфор был похож на золотой воздух и широкие броненосцы и узкие лодки роняли в него алые и зеленые огни, когда над Золотым Рогом

залива вставал серебряный рог месяца и автомобили пели вдаль, как птицы, тогда под верблюжьей пальмой рассаживались смуглые дети — турецкие, армянские, греческие и еще всякие.

Там был один мальчик, — я думаю, что это был поэт. На закате он рассказывал сказки, но так, что дети не двигались в течение часа и даже больше. Толстая гречанка с корзиной мусора, которой она собиралась угостить пальму, останавливалась и слушала. И рыба голова в ее корзине, блестя единственным глазом, тоже слушала повествование. Меня так мучило любопытство, что я однажды подловила на лестнице маленькую гречанку Амине и, соблазнив ее яблоком и двумя орехами, пыталась узнать, в чем дело. Амине не любила говорить по-французски. Кроме того, как это ни странно для гречанки десяти лет, вообще была молчалива. Она нехотя засунула орехи — один в карман, другой — в рот — и неопределенно ответила:

— Рассказывает. Про людей. Про автомобиль. Про духа одного. Про принцессу.

— А где он жил? — спросила я.

— В гараже, в одном отеле.

— Не может быть. Почему же это он?

— Да вы про кого спрашиваете? — выговорила Амине с презрением.

— Про духа этого.

— А! Дух жил в банке с маслинами. Меня тетя Евстафия зовет.

И Амине исчезла.

Я представила себе, какой винегрет из духов, маслин, автомобилей и принцесс образовался в этих детских головах, и больше не спрашивала.

В Берлине двор тоже был узок, но гладок и чист, как манжет. Посредине, вместо пальмы в железной оборочке, рос чрезвычайно корректный тополь. Он был очень опрятен, потому что каждый день его мыли из шланга. Со всех четырех сторон двор окружали окна шестиэтажного дома. И за блестящими стеклами с математической точностью чередовались спальни, прием-

ные, ванне, уборные и кухни, потому что все квартиры были расположены одинаково. Детей там было немного, но все же они были и играли. Чаще всего выходили к тополию две девочки. Они всем семейством ходили друг к другу в гости и разговаривали.

— Доброго утра, ффрау Гертруда,— говорила одна, придя к другой и усаживая кукол,— как вы поживаете? Как учатся дети?

— Благодарю вас, ффрау Матильда, благодарю вас. Мой Фриц ужасный шалун. Он за этот месяц потерял одну перчатку. Кушайте, пожалуйста, теперь такая дороговизна...

Серое берлинское небо было натянуто над домами. Утром, в определенный час, в накрахмаленный дворик въезжала собака с молочной тележкой. И «ффрау» Гертруда и «ффрау» Матильда внимательно изучали толстые рабочие лапы и морду, удрученную тяжестью молока

— Какая большая собака,— с уважением говорила одна из «ффрау».— Воображаю, сколько она съедает супа. Это при теперешней дороговизне!

— Да, но вы забываете, что она сама зарабатывает себе на жизнь...

В Париже двор был не двор, а квадратная коробочка, высланная кафлями. Там ничего не росло, и только по вечерам туда выходили такие страшные крысы, что их боялись самые смелые коты. Там по утрам у каждой двери стояли: бутылка молока, длинный батон и газеты. Название газеты менялось в зависимости от того, каких взглядов были жильцы. Но молоко и хлеб были неизменны... Дети сюда не приходили играть по той причине, что во всем доме не было ни одного ребенка.

Но однажды пронеслась поразительная весть: у консьержки (привратницы) родился мальчик. Через несколько дней мать вынесла на крысиный двор продолговатый сверток. И изо всех окон бездетные женщины долго и пристально рассматривали сморщенные ручки и кнопкообразный нос.

— Ребенок,— говорили они.— Мальчик. Вот он какой!

Потом высунулась и мужская голова с трубкой в зубах.

— Ребенок,— произнесла трубка. — Мальчик. Вот он какой!

В Одессе, на просторном дворе, с которого было видно ничем не омраченное море и где росли клены и акации, под моим окном четыре девочки играли в «Евгения Онегина».

Трудные военные и послевоенные годы, совершенно очевидно, как-то отразились в детских мозгах. И, соответственно этому, бессмертное творение Пушкина претерпело значительные изменения.

Так как все четверо были девочки, то у Онегина была рыженькая коса,— даже две, — а Ленский был стриженный, с челкой и бантиком.

— Почему у вас Онегин собирает коробочки? — спросила я у своей дочери, которая была Ленским.

Она замялась:

— Они с Татьяной живут в беседке. Но ведь они должны что-нибудь делать!

— Ну, так что же?

— Ну, так у них аптека...

Таковы были эти дети, рассеянные по всему свету. Теперь, за последнее время, народились новые, совсем другие. Но об этих других надо писать другими словами, которые, быть может, еще и не найдены.

КАК ОБРАЗОВАЮТСЯ ГОРЫ

Рано утром мы завтракаем на террасе, и осы завтракают вместе с нами. Вместе с нами они едят мед из банки, и тонкие их талии извиваются от наслаждения: так желт и прозрачен мед, так желто и прозрачно сентябрьское солнце. Внизу, каменно-синяя, лежит бухта, по ней линия легкая, полукруглая, как бы проведенная алмазным циркулем. Эту линию, уходя в море, оставил после себя моторный катер «Коля». «Коля» собственно, не катер, он «лайба», иначе говоря, большая лодка с мотором. Так как при быстром ходе такую «лайбу» засыпает ворохом пушистой пены, то с боков ей приделаны парусиновые стенки, как в люльке. У «Коли» новый мотор, бенцовский, шестнадцатисильный, самый сильный в Балаклаве, и поэтому «Коля» непреклонно упрям: корма его тяжела и квадратна.

Солнце движется замедленно. Его медовая прозрачность обтекает землю, обтекает нашу дачу. В аллее сквозь кипарисы и туи солнце стекает теплыми каплями. И тень на земле мелка, поздревата и душиста, как соты. Осы, наевшись, улетают до следующего утра. На террасе остается тишина. Тишина словно скатерть лежит на столе. Кот, один из знаменитых балаклавских котов, которые утром поджидают рыбаков на набережной в час рыбного торжища, один из тех

котов, что вырывает живую рыбу прямо из рук и даже бросается в море за выпавшей из лодки рыбиной,— такой кот ложится на солнечное пятно и спит. Под крышей, между стропилами террасы, все пышнее, все сентябристее распускается паутина, которую паук начал еще в августе. Теперь она достигла полного расцвета. Погибшие мухи образуют в ней узоры, как созвездия в полночь. Солнце отмечает огнистым блеском ее мельчайшие содроганья. А сам паук, жемчужно-мохнатый и седой, тихонько ходит по рядам и ремонтирует все это великолепиие...

В «Гранд-отеле», в передней, на той стене, возле которой приезжие складывают свои чемоданы, висит гравюра: «Балаклава сто лет тому назад». Сто лет тому назад не было ни «Гранд-отеля», ни «Юли», ни каменной набережной, ни поплавка на набережной, где продают и давят виноград. Был простой и скудный берег. Но зато на горе стояли еще все шесть башен старинной генуэзской фактории. Теперь их осталось три с половиной, и они настолько крепки, что никакие экскурсии не в состоянии разрушить их. Говорят, что генуэзцы, строители, не знавшие цемента, скрепляли камни яичным белком, и этот белок пережил столетья... С этих башен на закате далеко видно море, шелковое, оранжевое, в голубых атласных течениях. В нем играют в этот час дельфины, морские свиньи, кормящие грудью своих поросят. На закате они плывут вслед за солнцем, но оно ныряет глубже, чем они, и дольше остается под водой. И с высоты старых генуэзских башен простирается необозримый бессолнечный дельфиний простор. И мыс Айя аметистовой глыбой уплывает в море.

Правее от башен, на южном склоне горы, виноградник вьется и пенится, как строфа Гомера. Там по пятнадцати копеек за фунт можно закупить бездну этой эллинской сладости, еще теплую от солнца и уже прохладную от луны. Виноградные листья бросают разные тени на серую древнюю землю Крыма. На той стороне бухты, в доме отдыха, звонят к ужину, и этот звон прозрачнее морских склянок.

Наступает вечер. На набережной зажжены все огни. Последние лодки плывут с моря в бухту, полную

огней и винограда. Рыбак Юра и рыбак Котя, местные «львы», в полосатых фуфайках, гуляют с девицами и ведут беседы о странностях любви и ставридки, маленькой, но чрезвычайно ехидной рыбешки. Из Евпатории приходит баркас с арбузами. Их распродают тут же, на баркасе, и тут же пропивают деньги, заедая молодое вино арбузами.

Тяжелая грузная баржа, на которой работают японцы, подымая «Черного принца», стоит посреди бухты. Она одета мраком, и вокруг ее подъемного крана падающие звезды играют, как рыбы. Немного поодаль тоже баржа, и тоже звезды над ней. Там на мачте висит фонарь. Полуголые и совсем голые люди кружком сидят вокруг чтеца, потому что это плавучий концерт. Чтец тоже почти гол. На нем ковбойская шляпа, трусики и татуировка, густая, как тельник. На его груди и плечах синим порошком изображены замечательные вещи, известные всей Балаклаве. Там есть и рыбаки, поймавшие в сети русалку, и деревенские пейзажи с огородом (мелкое кустарное хозяйство), и какое-то строенье с трубой (быть может, кооператив), и пышногрудые женщины, причесанные, как наши бабушки... Владелец этой галереи состоит из трех частей: на треть он матрос, на вторую треть — киноактер и наконец слесарь. Сейчас он властитель душ. Фонарь освещает его плечо с частью кооператива. Одной рукой он держится за мачту, другую простирает к звездам. Он читает:

Я не поэт. Но верьте, целый мир
Я обошел вот этими ногами...

При этих словах все глядят на его мощные икры. И падающие звезды одевают его стихи серебряными запятыми.

Вечер превращается в ночь. Все выше подымается из-за гор дикая, прекрасная горная луна. Надышавшись морем и луной, наглотавшись виноградной сладости, мы уходим на гору к себе на дачу. Там нет огней. Там нетронутая ночь. Кипарисы крупно осыпаны звездами, и фиговое дерево растет из амбразуры бывшей прачечной. Над самым домом, уходя в гору, плавными

петлями разворачивается дорога, старая военная дорога. Строили ее французы и англичане, осаждая Севастополь. На горе были батареи, там был госпиталь: его стены стоят до сих пор. Там были сестры милосердия. Две из них, Винифред и Мэри, умершие одна от холеры, другая от малярии, как гласят надписи на крестах, похоронены на старой дороге, на повороте, откуда видна вся Балаклава.

На даче уже спустили с цепи Барбоса, кипарисы пахнут по-ночному, паутина, обрызганная луной, стала еще красивее, чем днем. Перед сном обязательно полагается беседа с нашим хозяином о здоровье одной из виноградных лоз, растущей на каменной лестнице у входа. Лоза (предполагалось) получила солнечный удар. Она нехорошо сморщилась и почернела. Но сегодня она весь день провела под зонтиком, и теперь ей лучше. Спокойной ночи!

В одиннадцать часов мы спим.

Мне снится сон, будто евпаторийская баржа с арбузами каким-то образом подплыла к нашей даче и начинает разгружаться в комнату, прямо через крышу, которой нет. Большие арбузы очень смешно падают с потолка, и комната начинает дрожать. Она дрожит все сильнее, арбузы гудят, как начиненные динамитом, все происходит быстрее, чем я это пишу. Страшно, страшно разворачивается смешной сон. Чье-то нечеловечески горячее дыхание опалает мне щеки. Часы, которые мы останавливаем каждый вечер из-за громкого тиканья, срываются с места и пускаются в ход. Они бьют одиннадцать, то, что не успели пробить вечером, и бой этот дрожит вместе с комнатой. Гул голосов подымается снизу, с набережной, взлетает, как облако пыли. И все это так ни на что не похоже, что узнаешь сразу — землетрясение! Рука дрожит, зажигаешь спичку, которая тоже дрожит. Комната трясется, и при маленьком спичечном пламени можно разглядеть, как посреди пола на трясущихся лапках стоит щенок Томи, который, дохнув мне в лицо ужасом, соскочил с кровати.

Наш дом стоит на горе, он низкий, одноэтажный и очень крепкий. Но и то, изнемогая под тяжестью «горообразовательного процесса», дрожат балки. Но внизу все по-иному и гораздо страшнее. Внизу рыбаки Котя и Юра, уснувшие в своих яликах, чувствуют, как ялики эти сначала потащило от берега, а потом швырнуло о набережную так, что все затрещало. Гостиница «Гранд-отель», украшенная видом старой Балаклавы, первая дала непоправимые трещины. Коридоры наполнились обезумевшими людьми. Все бежали подальше от стен, от земли к воде. Но вода, оттянув и снова бросив на берег ялики Коти, Юры и многих других, внезапно хлынула на берег так, что увлеченные ею несметные поколения водяных крыс покрыли набережную и докатились до ног бегущих людей.

Старые балаклавские рыбаки, знающие бухту, как свои сети, были потрясены поведением воды. Тихая, не смущаемая никакой рябью, покорная вода балаклавской бухты, — неужели это она затопила набережную, неужели она нецеломудренно обнажила дно и оскалила зубы? Старый маклер, тот самый, что вот уже тридцать лет, ловя приезжих у остановки трамвая, тихонько шепчет: «Должен предупредить, что имеется дивная комната с видом», — этот самый маклер слегка повредился рассудком. Он сидит на набережной, рассматривает трещины, словно линии любимой и ненавистой руки, и шепчет: «Что вы скажете... И здесь она была. Она была и здесь». Она — это вода.

В тревоге и толчках проходит первая ночь землетрясения. Она резко делит лето на две части. Люди говорят: «Это было еще до...» — И все уже знают, до чего. Наутро мы идем посмотреть разрушения в «Гранд-отеле». На кроватях лежит штукатурка, верхние этажи приобрели вид древнего запустения. Вдоль стен змеятся трещины, полы поседели от пыли. На втором этаже почти все то же, только немного менее страшно. Но и здесь нам показывают окно и крышу: из этого окна на эту крышу прыгнул (и чрезвычайно удачно) некий юноша после первого же толчка. И только в самом низу, в столовой, все обстоит как будто благополучно. Ничто не разрушено, и только куски известки,

падающие с потолка в жареную камбалу, доказывают, что горы «образовались» еще не окончательно...

Можно считать вполне установленным, что люди не любят землетрясений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наутро после первой же трясучей ночи возле конторы, где шла запись на железнодорожные билеты, раскинулось становище. Люди не хотели ни спать, ни есть виноград, ни смотреть на море, ни греться на солнце, они хотели — только из Балаклавы и вообще из Крыма.

Кассир, ведший билетную запись, потерял спокойствие и лишь в девятом часу вечера взмолился об обеде. Хотя и неохотно, но его отпустили на полчаса.

Покуда люди сидели на набережной возле конторы, днем, в пять часов, тряхнуло землю еще раз: от этого окончательно обрушилась одна из стен «Гранд-отеля». Нужно считать чудом, что никто из ждущих билета не пострадал. Но естественно, что от этого второго сильного толчка жажда уехать отнюдь не уменьшилась, и обеденная ситуация кассира еще более осложнилась... На почте в это время стая телеграмм осаждала единственное окно. Телеграммы были однообразны: «Здорова», «Жива» и т. д. Только одна гражданка, загорелая до чрезвычайности, проявила изобретательность, послав кому-то такую телеграмму: «Землетрясение продолжается. Пока жива».

В телеграфной очереди идут разговоры. Некоторые говорят, что «теперь бояться уже нечего, так как лава вся уже вытекла». «Куда вытекла? — удивляются другие. — Какая лава? И где вулкан?»

После первой же трясучей ночи у нас в саду ночует пятнадцать человек: считается, что у нас безопасно. Дача приобретает вид табора: там и люди и собаки. Там большой, огромный даже, дог Акут, который после первого же толчка поседел: уши и усы стали белые. Он плохо спит по ночам, и ему дают бром.

На третий день после землетрясения мы на машине едем в Севастополь. Балаклава уже пуста, дороги пусты, небо пусто: ни облака. Осень стоит над Крымом. Виноградники изнемогают от урожая. Все непостижимо пустынно: тишина осени и катастрофы. Изредка в саду

или на винограднике мелькнет человеческая тень. У самой дороги, положив голову на лопату, как на подушку, крепко спит человек. Перед ним, не спеша, движется повозка, на ней лодка лежит на боку, как стреноженный теленок. Шофер кричит мне в ухо:

— Вот и «Червончика» увозят в Севастополь. Кончился сезон в Балаклаве.

Увозят, значит, «Червончика», самую веселую, самую маленькую, самую верткую лодочку всей бухты. Сезон действительно кончился, потому что без «Червончика» не может быть сезона...

Наш дом совершенно не пострадал, один из немногих в Балаклаве. Он мал и крепок, на нем нет ни одной трещины. А действительно, так ли это? На прощанье мы смотрим под крышу террасы, где несколько дней тому назад так пышно цвела паутина; теперь она измята и порвана. В этом углу ясно видно, что балки дрогнули и покривились. Одна налегла на другую и защемила верхнюю часть паутины вместе с пауком. Все оттого, что где-то на дне моря образуются горы.

В Москве уже дождь, и скоро начнут топить. А здесь медовое солнце и густо смолисто пахнут кипарисы. Мы завтракаем на террасе, но ос нет: после землетрясения они окончательно исчезли. В последний раз мы смотрим на генуэзские башни, на серую древнюю землю. Оказывается, она не так стара, она одна из молодых на земном шаре. И подземные толчки и гул — все это от юности: вешние бури.

ОТ ПУШКИНА ДО ТИМИРЯЗЕВА

Склонив набок курчавую голову и выставив левую ногу вперед, заложив одну руку за борт пиджака, а в другой держа шляпу, сосредоточенный, внимательный, неподвижный, стоит Александр Сергеевич на площади, и трамваи рокочут у его ног... Крутые арабские кудри, теплые и спутанные при жизни, приобрели теперь смертельную отчетливость и неподвижность. Снег, дождь и цветочная пыль весны попеременно ложатся на пелерину бронзового пальто, и Александр Сергеевич не препятствует этому: он погружен в голоса и шумы Москвы.

Он стоит лицом к площади, но за спиной его бульвар. Тверской бульвар дышит ему в затылок.

Если бы на Страстной площади вместо круглых добродушных городских часов, по-человечески неуравновешенных, то спешащих, то отстающих, а то и вовсе стоящих, если бы на площади, говорим мы, был установлен маленький алмазно-точный хронометр, чей час соответствовал бы нашему году, а сутки — веку, то мы увидели бы, что всего трое суток тому назад на территории Страстного монастыря был густой лес. Всего триста лет тому назад темными ночами волчьи глаза горели на площади взамен электричества, земляника и

грибы росли вдоль рельсов, и зайцы прыгали через будку МЖХ и скоплялись на трамвайных остановках.

От Страстной площади, за спиной Александра Сергеевича, начинается Тверской бульвар, первый из московских бульваров. Здесь на небольшом пространстве отстоялся густейший жизненный экстракт. Здесь сосредоточено все нужное для жизни и даже для смерти: потому что в первом же доме, на углу, помещается аптека. Затем последовательно идут: парикмахерская, пивная Моссельпрома, булочная, слесарная мастерская, кино. Потом идут: прачечная, переплетная, ящичная мастерская, Камерный театр, Союз писателей, опять прачечная, опять ящичная мастерская.

В морозные январские сумерки особенно легко распознать прачечную, хотя она опущена в подвал. Несмотря на мороз, окна раскрыты. Светящийся пар стоит над землей. Ясно ощущаешь запахи распаренного полотна и мадаполама, жавелевой кислоты, гарь гладильных досок, обернутых сукном.

Переплетная мастерская ревниво укрылась от сторонних взоров деревянными щитами: она не под землей, но она вровень с землей. Что касается щита, то он беззащитен против человеческого глаза. Через скважину глаз прекрасно видит внутренность переплетной, женские головы в красных косынках, синие халаты и груды книг в переплетных тисках.

Несколько слов о книге. Книги бывают худые и толстые, опрятные и неряхи, дурно и хорошо одетые. Одежда книги — показатель культурного богатства страны. Чем крепче и умнее страна, тем лучше одеты книги. Вспомним наши недавние, тяжелые, «голые» годы, когда люди и книги были еле прикрыты хилой одеждой и когда переплетных не было вовсе. Теперь они есть. И книг теперь много.

В дни книжного базара, весной, книжные корешки и листья распускаются на Тверском бульваре. В дни книжного базара бульвар полон книжного шума. У каждой книги свой голос: важно шумят многолистные тома ученых трудов, серебряным тополем журчит лирика, и веселая мелкая поросль брошюр щебечет на

все лады. И Александр Сергеевич, склонив голову набок, слушает и тех и других. Зрелище «книжного дня» нравится ему.

Вообще Тверской бульвар — давний любитель и коллекционер зрелищ. Он начал собирать их еще на самой заре своей юности, в конце XVIII века. Уже тогда на нем, по выражению современников, было «множество утех». Там были фонтаны, мостики, беседки, даже бюсты знаменитых людей на цоколях из крашеного гипса. На закате солнца Страстная площадь бывала сплошь уставлена экипажами гуляющих.

«Утехи» Тверского бульвара, даже самая зелень его менялась несколько раз. То это были клены, то липы. Однажды аллеи даже окаймились тонкими тутовыми деревцами, дрожащими от северных ветров и скудными зеленью. Деревца стояли до тех пор, пока Николай I не обратил внимания на «эти палки». В ту же ночь «эти палки» исчезли. Но другие остались.

Как уже было сказано, Тверской бульвар любит зрелища. Утром иногда, спеша на службу, человек с портфелем внезапно останавливается. За спиной Александра Сергеевича на сырой земле бульвара аккуратное кольцо спин. В пустоте кольца — представление. Медвежонок Мишка, Михаил Иванович Топтыгин, неумирающий персонаж старинных русских увеселений, показывает, как молодая «пудрится», а старая «жеманится», как «парень в школу идет», как «бухгалтер блины ест».

— События в Китае! — выкрикивают газетчики. — Постройка воздушных броненосцев! Фотография по радио!

Новое открытие. Новое изобретение. Жизнь не стоит, жизнь идет. Из грозной дали, окутанный туманами, пронизанный молниями, возвещая о себе нарастающим гулом, надвигается на земной шар двадцать первый век. А здесь на бульваре, в трезвый утренний час, на грани портфеля и трамвая, кувыркается старая Русь. Казалось бы, не хватает только троек в снегу да красного звона в церквах. Но красного звона нет, и, наоборот, красный бант на шее Топтыгина свидетельствует о том, что даже здесь есть нечто новое.

Каждый год в дни больших праздников Тверской бульвар, любитель зрелищ, любитель движений и толп, бывает доволен. Но особенно доволен он был в нынешнем 1927 году, в дни десятилетия революции.

Тверской бульвар видел, как несли знамена (мокрый и серый снег порозовел от красных шелков). Китайские студенты пронесли безмерно длинного дракона с желтым брюхом. Прошли рикши, люди-лошади. В колясочке сидел англичанин в шлеме. «Так не должно быть. Так не будет» — возвещали плакаты. Пронесли Чемберлена с Муссолини. Чемберлен был из крашеной фанеры, он был в два, в три, в четыре раза больше нормального человека. Его монокль был величиной с жерло пушки. Тверской бульвар впивал в себя дракона, Чемберлена и монокль.

И наконец, после драконов и фигур, после капиталистов, рабочих, банкиров, красноармейцев (долго, верно, работали над ними по клубам), после аллегорий, символов и плакатов, — на черных конях, в черных бурках и синих башлыках промчались по Тверскому бульвару терские казаки, далекие люди далеких окраин, приехавшие в Москву, чтобы вместе с ней отпраздновать ее торжество. И Тверской бульвар зашумел, как Терек, при их появлении.

В глубине двора, за решеткой, не утративший еще черт старого московского особняка, стоит на Тверском бульваре Дом Герцена. В нем помещается Союз писателей. Там соединилось множество литературных организаций, литературных ячеек, целый литературный улей. По каменной дорожке, отделяющей решетку от дома, проходит вся литературная Москва. Шествуют уверенные в себе «старики», пробегают проворные «молодые». Дому, где соединено такое количество много, а иногда и хорошо пишущих людей, вполне естественно именоваться Домом Герцена, именем человека, который так много и хорошо писал. Кроме того, в нем действительно родился и вырос сам Герцен.

По вечерам Дом Герцена светится и гудит. В окнах мелькают спины, головы, плечи. Вот некая рука ребром ладони резанула воздух, затем указательный палец, вращаясь, протянулся вперед, очевидно просверливая

насквозь неговорчивого оппонента... А потом, попозднее, когда придут к концу все собрания и заседания, внутри дома, в писательском ресторане, будут теснота и гуд. По головам ужинающих пронесут судака и поросенка, дежурные блюда посыплются градом в гарнире из облачного дыма, забушует рояль под пальцами отчаянной темноволосой девушки, запоет гитара, бала-лайка. И среди всего этого невнятного, как бы морского гула сверкнет внезапное словцо, удачная фраза, меткая горсточка слов. Сверкнет общепризнанная «серая» истина, вывернутая наизнанку, как старое пальто, и превратившаяся в многоцветный парадокс. Удачные бывают там выражения.

— Если ты пришел к занятому человечеству, кончай свою жизнь и уходи,— сказали там однажды за одним столом.

По другую сторону бульвара, в милом, по-стариковски уютном доме помещается МУР. Дому этому с его нежно продуманным фасадом, с его нетеперешним обликом, больше ста лет. Больше ста лет тому назад его выстроил помещик, веселый, хлебосольный, беспечный человек. Грибоедовская Москва съезжалась к нему на балы. Фамусовы являли там свои звезды и свои седины, в сложных кадрилих проплывали Софьи, Чацкие лихорадочно глотали лимонад перед очередным монологом, и всюду мелькали тихие, незаметные, «бессловесные» Молчалины, подавая влиятельным дамам то собачонку, то веер, то шаль.

Уютный светлый дом богат историей. После светского блеска он сделался средоточием блеска административного. В нем поселяются московские градоначальники. Усиленная охрана военными шинелями и гороховыми пальто окаймляет снаружи дом. Извозчицы пролетки всегда наготове. А внутри — сумрачный блеск паркетов, тишина, картавый рокот шпор. Прием у градоначальника протекает торжественно, как служба в храме Христа Спасителя. Но вот в 1905 году, в июне месяце, тишина эта прерывается четырьмя выстрелами. Стреляет бывший член боевой организации эсеров и убивает градоначальника графа Шувалова. В следующем году в следующего градоначальника Рейнбо-

та бросают бомбу. Рейнбот остался жив, но спокойствие умерло навсегда. Тревога растет вплоть до семнадцатого года. Наступает революция, градоначальники исчезают с лица земли. В небольшом стареньком доме близ памятника Пушкину поселяется МУР.

«Запушкиным» называют его люди, которым существование МУРа нежелательно и само имя неприятно.

— А «запушкиным» хочешь? — спрашивают они друг у друга, затевая какое-нибудь «дело».

Но мало кто хочет «запушкиным», и «дело» зачастую не выгорает.

У Никитских ворот, спиной к бульвару, как и Пушкин, прямой, длинный и слегка сутулый, стоит Тимирязев. Когда-то на этом месте был обычный московский дом. В первом этаже была столовка, где студенты с «Козихи» негусто насыщались котлетами и супом. В остальных этажах густо жили люди. В дни Октября свинцовая оспа орудийного огня прошла по дряхлому туловищу дома. Позднее все это превратилось в груды развалин. Скелет дома разрушался, даже подобие жизни отлетело от него.

Сейчас из прошлого хаоса возник организованный простор. Тверской бульвар получил естественное завершение в виде сквера. И маленькие дети, которых всегда особенно много в тех местах, где незадолго до того прошла смерть, пекут песочные пироги и снежные кулебяки у ног Тимирязева, которых, кстати сказать, у него и нет.

Зато у самих детей руки быстры и ноги проворны. Проворство это порой даже чрезмерно и приводит в отчаяние старших. Но это не так существенно. Дети тимирязевского сквера бегают быстро, растут быстро. Растут быстро, как будто они подслушали и вывернули наизнанку фразу из Дома Герцена. Теперь она звучит так:

«Если ты пришел к занятому человечеству, скорей принимайся за жизнь».

ВЕСЕЛЫЙ ГАМБУРГ

У самых опытных путешественников бывают приключения. И я скажу: хорошо, что они бывают. В наш век, когда все учтено и расчислено, когда приходы и уходы, приплытия и отплытия, прилеты и отлеты — все это совершается в заранее указанные доли времени, когда одни только метеориты прилетают неожиданно и неожиданно падают в глухой тайге, не предупреждая никого, — в такой век натолкнуться на дорожное приключение — это особое счастье. На нашу долю выпало это счастье, тем более редкое, что оно произошло в центре цивилизованных земель — в Германии, в той Германии, где ошибиться в чем-нибудь, где заблудиться где-нибудь, казалось бы, невозможно.

Было решено из Берлина ехать в Гамбург, взглянуть на удивительный город, на порт, от одних описаний которого сердце сжимается жаждой дальних странствий. Было намечено солнечное морозное воскресенье, каких было много в том году в Европе. И был намечен вокзал, с которого следовало уезжать. Впоследствии выяснилось, что уезжать с него не следовало, так как это был не тот вокзал. Но тогда мы этого не знали.

В Гамбурге я никогда не была. Мне было неизвестно, какие пути ведут в этот волнующий город. Наоборот, в то утро мне казалось, что все пути ведут в Гамбург. Кроме того, я доверилась мужчинам, покупающим билеты, а этого никогда не следует делать.

Это был веселый, удешевленный воскресный поезд, набитый людьми и бутербродами. На маленьких чистых вокзалах дымились сосиски в картонных блюдах, белые мальчики разносили пиво. Всем было холодно, и все смеялись от холода: так он был непривычен и весел. В самом вагоне было тепло и светло. Солнечные зайцы, единственные зайцы немецких дорог, сидели рядом с нами на желтых деревянных скамьях и тоже ехали в Гамбург.

Товарищ, купавший билеты, предупредил нас, что поезд дешевый и что путешествие будет долгим. Мы не возражали. Мы понимали, что за восемь марок нельзя рассчитывать на поезд-молнию, который, не переводя дух и не останавливаясь ни разу, в три часа долетает из Берлина в Гамбург.

День из розового становился малиновым, оранжевым, багровым. Солнечные зайцы постарели, поблекли, потом совсем умерли. Зажгли огни, а мы все еще ехали. Веселые лыжники входили и выходили: от них пахло снегом и хвоей. А мы все ехали. Мы были в пути уже семь часов. Мне стало казаться, что даже за наши скромные деньги это слишком много. Я справилась у контролера. Взглянув на билет, он сказал:

— Вы пропустили пересадку. Вам надо было пересестись на предыдущей станции.

Мы переглянулись: в Берлине нам ничего не сказали о пересадке.

Я спросила еще:

— Как же нам попасть теперь на предыдущую станцию?

— У вас будет поезд туда через двадцать минут. Но там вам придется ждать.

— А отсюда далеко до Гамбурга? — спросила я.

— Сорок минут ходьбы.

— Тогда мы можем взять автомобиль. Это будет не так дорого стоить.

Контролер взглянул на меня странно.

— Здесь нет автомобилей. Это очень маленькая станция.

— А если вызвать его из Гамбурга?

— Не знаю. Вы спросите в буфете.

Мы вышли на «маленькой станции». Она действительно была очень мала, очень тиха. Большие провинциальные звезды пристально глядели на нее с неба.

— Я как будто вижу горы, — сказала я неуверенно. — Откуда бы им здесь быть? Гамбург, ведь он кажется...

— Вот что значит пиво в дороге, — задумчиво произнес один из моих спутников. — Нехорошо, когда женщина пьет пиво.

В буфете было необычайно уютно. Он был убран головами оленей и ланей. Возле каждой головы была краткая биография: сколько лет животному, когда, где и кем оно было убито. Мы узнали интересную вещь — что начальник станции Кначке совсем недавно убил молодую лань и пожертвовал ее голову на украшение родной станции.

Охотничьи трофеи на стенах, лыжи в поезде, горная прозрачность воздуха — все это показалось мне странным.

— Где у вас телефон? — спросила я буфетчицу. — Мне нужно поговорить с Гамбургом.

Так как по случаю воскресенья и позднего часа автомат был закрыт, то пришлось идти к начальнику станции. Это было маленькое помещение, где из стен торчали всевозможные рычаги, где зажигались сигнальные лампочки и позванивали звоночки. Здесь же был и телеграф. Начальник станции и еще какие-то железнодорожные фуражки грелись у электрической печки. Начальник станции рассказывал:

— Я сидел у орешника и не ждал ее. Внезапно появилась она, вон там. Я выстрелил, она пошатнулась...

— Нельзя ли поговорить у вас по телефону? — прервала я рассказ охотника. — С Гамбургом.

Все оторвались от печки и взглянули на меня.

— А зачем вам? Что случилось?

— Хочу вызвать автомобиль.

— Там есть два наемных автомобиля, но они всегда в разгоне.

— Но это невозможно, то, что вы говорите. Всего два автомобиля! В таком большом городе?

— Город, конечно, порядочный. Он развивается.

Он очень развился, особенно с тех пор, как построили маслобойный завод. Но большим я бы его не назвал. Вы бы назвали его большим городом? — спросил начальник остальные фуражки. И те подтвердили, что нет, большим городом его назвать нельзя.

— Большой город, — настаивала я с отчаянием в голосе, удивляясь про себя размаху немецких служащих. — Огромный город. Мировой порт. Корабли. Доки. Больше миллиона жителей.

— Тысяч пять, пожалуй, наберется, — возразил начальник станции. — А порта у нас нет. Маслобойный завод не отрицаю, а порта нет в Камбурге.

— Как? Как вы сказали? Камбург, а не Гамбург? Не тот, который у моря? Где корабли?

— Гамбург далеко, моя уважаемая. Он в два раза дальше от вас теперь, чем был в Берлине. Теперь вы должны поехать в Лейпциг, переночевать там, а утром поехать в Гамбург.

Итак, все выяснилось. Выяснилось, что в Германии, на самом ее краю, у гор, существует Камбург с маслобойным заводом и что созвучие имен сгубило нас.

Мы были так сражены, что, отправляясь в Лейпциг, по ошибке сели в обычно неприкосновенное купе для инвалидов. И, что страннее всего, нас там не тревожили. Быть может, считали, что это место для нас самое подходящее.

Я почти не сомневаюсь в том, что маленькая горная станция, помимо охотничьих рассказов, будет теперь развлекаться беседами о людях, захавших вместо Гамбурга у моря в Камбург в горах.

— Я сидел у печки, — будет рассказывать начальник станции. — Я не ждал ее. Внезапно она появилась, вон там, и спросила про корабли. Я сказал ей про маслобойный завод. Тут она пошатнулась.

Немецкие города рано ложатся спать и рано встают. В час ночи Лейпциг уже крепко спал. Только тяжелое ночное веселье полыхало еще кое-где в узких привокзальных улицах. На тех улицах, где много красных огней и где кружки пива, намалеванные на окнах ночных ресторанов, пенятся сказочными клубами, каких не бывает в жизни.

Мы переночевали в подозрительной, но чистой гостинице, где ключ от каждой комнаты был крепко-накрепко привязан к большой деревянной болванке, очевидно для того, чтобы все это нельзя было унести с собой в город. Вероятно, в средние века в самых первоклассных отелях были такие ключи.

В шесть часов утра, когда мы встали, была еще ночь, но город уже не спал. Он звенел первыми трамваями и догорал последними огнями. Люди в кепи, подняв воротники, торопились на работу.

И вот мы снова в поезде. И поезд снова пересекает солнечную и морозную Германию. Снова проникают в вагон солнечные зайцы.

Нам предстоит быть в пути пять часов.

Нет ничего более волнующего, чем приближение к большому городу. Его еще нет, он еще далеко, но он, как воин, несет перед собой свои щиты и стрелы — радиострелы и рекламные щиты. Все чаще ныряют навстречу поезду зернистые кубы домов. Вот обозначилась улица. Прорезался новый, светлоглазый, чистотрубный какой-то завод. Не маслобойный ли? Хищно скользнул плоский автомобиль. Итак, вот он, настоящий Гамбург. И вдруг все снова исчезло, опять пустыри, зимние просторы.

Но домов все больше, заводы все чаще, автомобили все смелее. И мы въезжаем под своды гамбургского вокзала, где скопились грохоты, свистки, гудки, верещание железа и одышки паровозов.

Непривычно как-то в серьезном, деловом городе, в самом центре его, увидеть водное пространство, где водятся пароходы и пасутся яхты. Однако в Гамбурге так оно и есть. Озеро Альстер делит город на две части. Это как бы отметина города, его водяное тавро.

Говорят, что летом это холеное, гладкое, шелковое, шелестящее парусами озеро особенно красиво. Но в зимний день нашего приезда, пустынное, перламутровое, с большим красным солнцем в снежных ветвях, с пушистой купальней, с узорами лебяжьих лап на прибрежном инее, озеро это было совершенно очаровательно. Правда, через час подул обычный для этих мест ледяной и острый ветер с моря, и вся эта перламутровая

симфония замутилась и исчезла. Но один час был прекрасен. И, зная гамбургский климат, можно сказать, что час этот был подарком нам, советским людям, приехавшим с севера и знающим толк в северных красотах.

Наш советский пансион стоит у самого Альстера. Кроме комнат для приезжих, в пансионе есть и клуб: чистые парадные комнаты с портретами вождей, библиотекой и столами для пинг-понга. Но главный клуб не здесь. Он в столовой, внизу, в нижнем этаже, в бывшей кухне, где пол вымощен такими славными плитками, где в нише на газовой плите добродушная и опрятная товарищ немка кипятит в светлом баке неизбежные сосиски и жарит яичницы. Где за длинным столом, под лампой, играют в шахматы, попивают чай и вспоминают Москву.

Противоположный берег Альстера кажется далеким в зимнем тумане. Это как бы другой город, другая страна, быть может, даже другой материк. Материк этот, и воздух над ним, и вода под ним полны северного сияния, словно пролили топленое лапландское солнце. Это светятся и сияют по вечерам ярмарочные балаганы, тир, русские горы, рулетки, кукольные театры, цирки и карусели. Это светится и сияет предрождественская ярмарка развлечений и веселых пустяков.

Трамвай, увозя нас от нашего тихого, спящего уже берега, приближается к освещенным местностям. Чем ближе к ярмарке, тем светлее. Целые улицы уставлены по бокам электрическими шарами невиданной мощности. Там светло даже не как днем (такие дни бывают разве что на тропиках), — там светло, как полярной ночью на полюсе, если бы он был электрифицирован. Весь этот блеск по случаю ярмарки.

А внутри, за ярмарочными воротами, пестрота и варварская музыка. Мороз страшный, скрипит снег, люди окутаны паром. Цирковые герольды, синие и багровые от холода, в маскарадном тряпье, кричат в рупоры:

— К нам, к нам! Загляните к нам. Женщина без головы!

— Двухголовый теленок!

— Русалка тропических морей! (Бедняжка!)

— Вы можете выиграть виолончель!

- У нас величайший великан!
- Вафли со сливками!
- Молодая голландская великанша!
- Пятнистый ручной леопард: питается яблоками!

И веселые гамбургцы с громадными воздушными шарами в руках, с воздушными колбасами и аистами набрасываются на леопарда и великаншу.

Перед одним из балаганов пронзительно звонит звонок. Человек во ффраке, с электрической лампочкой в петлице, зазывает народ. Он обещает исключительно блестящее, нигде еще в мире не виданное обозрение из величайшего великана и мельчайших карликов. Присмет также участие и великанша.

Сообщив все это, он ставит на столик перед собой маленький картонный дворец, похожий на колпак для чайника. Там есть окна и двери. И в одно из этих окон просовывается сморщенная, сухая, шершавая от стужи, красная, как черепица, ручка: там сидит мельчайшая из карлиц и приветствует публику.

Внутри балагана очень тесно: всего пять рядов стульев. Пол усыпан опилками. Небольшая сцена завешена красной тряпкой. Перед первым рядом стульев — маленькая керосиновая печка: сырые опилки шипят и дымятся под ней. Скрипач играет жалобное совершенно замерзшее вступление: словно сосульки попадали с крыши.

Занавес отдергивается, выходит великан во ффраке и цилиндре. Он действительно очень велик, у него густой, грубый голос. Можно заметить, что он простужен, что у него насморк. Он рассказывает, что родился в зажиточной семье и что до четырнадцати лет был, как все. Голос его звучит мрачно и монотонно; сколько раз он рассказывал в своей жизни, что до четырнадцати лет он был, как все! Сосчитать это невозможно.

Выходит голландская великанша: ей восемнадцать лет. Она в носочках, в чепчике и ффартучке. Она так толста, что для нее выносят особый стул свайной постройки. Руки ее лежат красными окошками на ффартучке. Она тяжело дышит, у нее ожирение сердца. Она тоже сначала была, как все.

Появляются карлики, один меньше другого. Самый

маленький, сморщенный и злой, усаживается, как на выступ скалы, на башмак великана. Сидя там, он курит сигару и поет куплеты. Задрав голову кверху, он с ненавистью смотрит на выступ великаньего колена и поет веселые куплеты о том, что он влюблен в Амалию фон Шишкингольм, чья рука высывалась из картонного колпака, и что он намерен на ней жениться.

Другие карлики тоже намерены, но неизвестно, что скажет прекрасная Амалия.

Амалия фон Шишкингольм появляется. Она мала, как кукла, уродлива и жалка, одета в бархатное платье со шлейфом. Она очень немолода. Ее старческая шейка побурела от холода, она смотрит на печку глазами больной мартышки, она тоже простужена.

Карлики поочередно делают ей предложение, но сердце свое и свою сморщенную обезьянью ручку она отдает тому, кто сидел на сапоге и курил.

Обозрение окончено.

Уже перед концом великан внезапно чихает. Громо-вой чих, от которого подскакивают Амалия и все карлики. Великан смущен, но он не мог удержаться, он вытирает свой огромный нос. Скрипач переживает это непредвиденное событие, снаружи звонит звонок к следующему сеансу, керосиновая печка тоненько шипит. Все молчат. Для всех явственны грусть, одиночество, отчаяние этих карликовых и великаньих жизней, которые до четырнадцати лет были, как все, и лишь потом от каких-то причуд шитовидной железы все пошло к черту.

— Безобразие,— мрачно бормочет сидящий рядом со мной товарищ. Он только что весело смеялся, кружился на карусели, играл в рулетку и выиграл большого плюшевого медведя. А теперь он мрачен.— Необходимо урегулировать это,— яростно шепчет он.— Чтобы не было этого. Вот такого.

Но это есть. Изуродованные жизни печальны и многообразны.

Мы выходим молча. Снова выносят картонный колпак для Амалии фон Шишкингольм, снова распинается человек во фраке.

Все начинается сначала.

ВЕСНА В ЗЕРКАЛЕ

Бледный человек, ответственный работник, хозяйственник, чей день набит рабочими часами, как папирсная коробка папиросами, идет наконец к врачу, он жалуется на утомление, на тоску по утрам и тревогу по вечерам, на мигрени, на то, что он разучился улыбаться, на апатию, когда новый завод, появлением на свет которого он заведует, кажется ему недоношенным уродом. Ответственный работник полагает, что ему для скорейшего укрепления нервной системы необходим какой-нибудь нитро-гидро-бromo-бензол-валерьян.

Старый умный врач смотрит ответственного пациента, нажимает под ложечку, стучает под коленкой и потом говорит:

— Я дам вам прекрасное и недорогое средство. Имеется повсюду, отпускается без рецепта и действует без промаха. Да вы его знаете, только не умеете им пользоваться.

— Что же это такое? — спрашивает пациент, любопытствуя, как женщина. — Как называется?

— Называется «весна». Будете принимать каждый день по два часа.

Пациент уходит и на другой день принимается за лечение.

На другой день в легком пальто, без портфеля, без секретаря, совершенно один, он отправляется бродить по городу. Наученный старым умным врачом, он лечится весной. Он смотрит, он слушает, он вдыхает. Он видит поразительные вещи, которые потом не рассказывает никому. Они бы умерли с ним, эти весенние тайны, если бы мы не шли по его следам и не видели того, что видит он.

Он видит рыхлый снег, розовый, как соты, и синюю мостовую под ним. Он видит большое легкое облако, похожее на Главрыбу, где он некогда работал. У «главрыбы» перламутровые плавники, огнистый глаз, перистый хвост и куча детенышей. Все они плывут над Замоскворечьем и бросают легчайшую тень.

Он слышит разговор работниц женотдела, когда они идут вдвоем по солнечной стороне, сунув кепи под мышку, и весенний ветер треплет их короткие волосы.

— Как ты думаешь, товарищ Голованова,— спрашивает одна,— отвечает ли чувство запросам сегодняшнего дня или лучше руководствоваться разумом?

— Смотря, какое чувство, товарищ Петронюк,— отвечает другая.— Если, например, чувство, что клубная крыша протекает как раз над портретом Ильича, то лучше всего, действительно, поработать головой. Ну, и завклубом должен помочь, конечно.

— А заметила ли ты, товарищ Голованова,— снова говорит первая,— что у завклубом, между прочим, глаза серые?

— Я на такие вещи, товарищ Петронюк, не слишком внимательна. Но, между прочим, глаза у него не серые, а голубые.

Пациент идет дальше. Теперь он глотает щепотки воздуха, и с каждой щепоткой ему становится легче. Он видит, как в большом и тихом дворе дети охотятся за солнечным зайцем. Зверь, рожденный осколком зеркала, осторожен и хитер. Он бежит, скачет, он уходит. Он делает огромные прыжки, словно кенгуру.

Охотников двое. Два мальчика, сжав губы и насупив брови, идут на зверя с шапками в руках. Вот-вот поймают. Но нет, лукавая дичь уходит снова.

Пока мужчины охотятся, женщина... что делает женщина? Сидя на солнце, она пытается обвести куском мела свою маленькую четкую тень. Поступая так, она, сама того не зная, подражает той безвестной античной девушке, которая обвела впервые свой контур и тем самым положила начало живописи.

В другом дворе дети играют в нападение и защиту, в изобретательность, в силу. Они играют в революцию, хотя, быть может, сами не знают названия своей игры. Они строят баррикаду. Они строят великолепную и мощную баррикаду из комьев первой грязи и последнего снега, из щепок и дохлой крысы, найденной поблизости. Безродная рваная калоша, вздетая на палку, заменяет знамя.

Наконец враг появляется. Он идет, он надвигается из весенней дали. Он тяжел, грузен, неутомим: это грузовик с песком. При виде его строители баррикады бросаются в подворотню и следят, как развернутся события. События не разворачиваются никак: грузовик проходит по баррикаде, не замечая ее. Прошел и ушел. Только чмокнула калоша перед передним колесом.

— Ну, ничего,— говорит один из тех, что в подворотне.— В другой раз он непременно перевернется.

Весной на бульварах очень много крохотных детей: очевидно, все они народились за эту зиму и теперь вылезли погреться. Весной на улицах очень много женщин. Где они были зимой? Они были в шубах и тяжелых ботах: их ноги ступали по-мужски и оставляли в снегу большие следы. А теперь это оказались совсем небольшие тонкие ноги, быстрые легкие шаги, молодые улыбки. Это оказались совсем юные девушки.

Пациент принимает каждый день по два часа весны, но ему хочется еще и еще этого лекарства. Проходит несколько дней, и он начинает принимать его перед сном.

Вечером лучше всего набережная. Река, только что сбросившая лед, еще высока и смутна. Но по ночам она полна звезд. Большая круглая луна стоит над куполом ВЦИКа. И пары, проходящие внизу, обсуждают весну, ее конкретные предложения и организационные выводы. Весна вносит существенные поправки, учит,

наставляет. А если иногда и ошибается, то ее ошибки важнее и нужнее зимней непогрешимости.

У ворот одного из домов небольшая конференция: старая женщина, сухая и седая, наставляет женщину молодую, очень молодую, белокурую и розовую, как надо выходить замуж.

— Надо познакомиться степенно, — говорит она, — разглядеть его, каков из себя, главное, как ест. Если кушает тихо, степенно, куском не швыряет и хлеб не ерошит — значит, характер подходящий, выходи свободно. А если все рывком да щипком, и капусту за ложкой тянет — значит, нрав тяжелый, мучительный. Ревностью замучает, и на рынок не будет щедр. Ты наблюдай за этим, когда знакомиться начнешь.

— А я, Марья Ефимовна, уже познакомилась. Только он ничего не ест, а все кедровые орешки щелкает: такой интересный.

Но не только на земле происходят встречи, знакомства и объяснения. Высоко над землей, на крыше, уходя черной выгнутой спиной в лунные впадины, старый кот поет, мечтая. И звуки его голоса так неожиданны, переходы так потрясающи, что мороз пробирал людей, сидящих под крышей, хотя время морозов давно миновало.

В биографии Диккенса можно встретить любопытные строки о том, как писатель, влюбленный в родной Лондон, проводил на улицах целые ночи. Он бродил, прислушивался к отрывкам фраз, к строфе песни, к блику луны на оловянной кружке, к свистку паровоза. Он собирал разрозненные волокна, из которых потом сплетал ткань своих романов. Луч света из полуоткрытой двери, недопитый стакан на окне, старик, бредущий в весенних сумерках неизвестно куда, девушка на набережной — все было нужно, все находило приют на страницах Диккенса.

Москва весной — это большая ненаписанная книга. Хорошо тому, кто может ее почитать на досуге. Здесь будет все: даже девушка на набережной.

Девушка стоит на остановке «А». У нее только сейчас произошло крупное объяснение с другом. Они расстались навсегда, их пути расходятся. Она должна

ехать в сторону Арбата, он — в сторону Покровки. Они оба ждут трамвая «А», но ждут его, стоя друг против друга. Их разделяют убеждения, вкусы, наконец улица: все кончено. Но трамваи, как назло, запоздали, задержались где-то в какой-то точке своего кольца. Девушка и ее друг ждут в томлении: хоть бы скорей пришел трамвай и развез бы их по разным концам города, ее на Арбат, его на Покровку, с тем, чтобы больше не встречаться в жизни.

А трамваи все не идут. Наконец приходит тот, что пойдет на Покровку. Мужчина, как бы он ни был зол на женщину, не бросит ее в трудную минуту. Мужчина говорит через улицу женщине:

— А вашего трамвая все нет?

— Нет трамвая. Да вы не думайте обо мне.

Но он не может не думать. Делая вид, что он не попал в вагон, он остается. Тогда приходит арбатское «А». Но женщина не может быть невеликодушной к мужчине, который приносит жертвы.

— А вашего трамвая еще нет? — спрашивает теперь она через улицу.

— Нет, да вы поезжайте. Не заботьтесь обо мне.

Но она не может.

Пациент, который лечится весной, стоит тут же, смотрит и слушает. Он видит, как один за другим уходят трамваи — и арбатский и покровский, а двое пассажиров все еще стоят на местах. И как наконец, договорившись через улицу, сделав друг другу некоторые уступки и найдя точки соприкосновения, они уходят гулять до утра по тихой и светлой набережной.

Эта трамвайная история приносит много пользы ответственному работнику. Он впервые после долгой хмури почти начинает улыбаться веселой улыбкой. Ему становится веселее жить: весна начинает производить целебное свое действие.

На другое утро он едет на завод, подчиненный ему, и находит, что за последние дни тот заметно вырос и похорошел.

Но лечение еще не закончено. Необходим какой-то окончательный нажим: легкое, негромоздкое воспоминание, которое можно было бы носить с собой, как

пилюлю, в жилетном кармане и глотать в плохую минуту.

Этот штрих найден: в совершенно тихом и пустом переулке девочка лет тринадцати, как это ни странно, в косах, глядится, словно в зеркало, в большую голубую весеннюю лужу. В луже отражается кусок неба, облако, скворец на ветке, две крепко заплетенные косы и глаза, которые смеются.

Пациент улыбается и проходит мимо: он здоров.

1928

ТРИ НЕДЕЛИ В ИРАНЕ

I

Поднявшись с рассветом над прохладными московскими лесами, в разгаре утра мы были на сталинградском аэродроме, где сухой теплый ветер заставил нас снять пальто. Сам город был невидим, и только обломки германских самолетов по краям громадного поля подтверждали, что это Сталинград.

К полудню мы были в Баку.

Здесь солнце набирало уже такую силу, что мы укрылись от него в маленьком приаэродромном саду, где в полуденной тишине не по-северному сладко пахли цветы.

После Баку мы начали одолевать воздушную кручу над горными хребтами. Далеко внизу, неподвижно, точно каменное, синело Каспийское море.

Внезапно сразу же под нами очутились облака, казалось, даже более плотные, чем горы. Это была компактная облачная страна с крутыми рельефами: с тенистыми серыми ущельями и ослепительно белыми вершинами.

У нас в самолете стало прохладно, почти холодно.

Подобно оглушающему удару гонга, встретил нас зной в Тегеране. И это ощущение уже почти не покидало нас.

Прохладных минут за все время пребывания в Иране было так мало, что нам нетрудно было запомнить их все наперечет.

Особенно мне запомнился в этом смысле один наш перелет в транспортном самолете, столь слабо переоборудованном под пассажирский, что в нем совсем не было кресел, а стенки были без мягкой обшивки.

На высоте пяти тысяч метров наш «дуглас» охладился, как тонкий алюминиевый сосуд во льду: даже изнутри он был холоден на ощупь. Но зато он быстро накалился при спуске.

Прохладно было в Тавризе, в старинном сводчатом складе, где хранились ковры, поразившие нас своей красотой.

Они лежали на каменном полу плотной кипой, слегка пересыпанные нафталином. Два человека, стоя с двух сторон, откидывали перед нами ковры, один за другим, точно перелистывали альбом персидских миниатюр, доведенных до исполинских размеров. И действительно, многие из этих рисунков были заимствованы из иллюстраций к Хафизу и Саади.

Здесь были овальные медальоны тончайшей работы, рассыпанные по красному фону той бархатистой глубины, какая бывает у темно-алых роз. Кроме чисто персидских мотивов, мы увидели прекрасные копии старых французских гобеленов цвета осенних листьев и лисьих шкур.

Все эти краски, за исключением привозного синего индиго, были местные. Все, кроме кошенили — крошечного червячка гранатового оттенка, растительные.

Шелковистую шерсть для таких ковров берут от самых молодых ягнят, привозя ее преимущественно из Керманшаха. Длинные вереницы ослов и мулов, нагруженные шерстяными тюками, движутся по здешним дорогам.

Каждый такой ковер, работа над которым длится год, стоит пять тысяч туманов. Целое состояние!

Год работы... Мы поняли, что это значит, отправившись из склада на ковроткацкую фабрику.

Изготовление ковров здесь не вышло еще из ранней стадии мануфактуры.

Помещение фабрики — одна большая комната, переделенная на части ткацкими станками, — было наполнено мельчайшей шерстяной пылью. Вентиляции нет. Едят рабочие тут же, не отходя от станков.

Ковер ткут сначала с одного края, потом с другого; в центре края соединяются. Перед основой, натянутой от потолка до пола, ткачи сидят на длинных деревянных скамьях, поджав под себя ноги. В каждом таком ряду есть «главный», перед которым под нити основы подложен бумажный листок: образец рисунка.

Мы узнали знакомые узоры. И здесь, в этой обстановке, они показались нам уже менее прекрасными.

Цветные мотки свешивают сверху свои овальные паучьи туловища. И маленькие, совсем маленькие дети, главным образом девочки, грязным ноготком, окрашенным хной, ухватив нужную нитку, продергивают ее сквозь основу.

Инструментов у них никаких. Это в полном смысле *ручной* труд.

Так и сидят эти девочки, как мошки в паутине, суча ее худенькими лапками. Даже в косички их, вместо косоплеток, вплетены шерстинки. Все, что у них есть в жизни, — это чужой ковер. Изю дня в день они смотрят на него, дышат им, кормятся им и умирают от него в двадцать лет от чахотки.

Кончив один ковер, они начинают другой. И чем он пышнее, больше и богаче, тем скуднее и короче жизнь маленьких ткачих.

Бывает и так, что за одним и тем же станком работает целая семья: мы видели отца и троих детей. Отец изю дня в день должен наблюдать, как чахнут его дети, как бледнеют их лица и тускнеют глаза. Год за годом, ковер за ковром — своего рода календарь, от которого смутно становится на душе и уже не хочется украсить свою комнату тканями персидскими изделиями.

Детский труд, эта древняя язва Востока, еще существует в Иране. Эта болячка находится в непосредственной связи с общим экономическим положением страны, из которой хищные концессии выкачивают ее природные богатства.

Когда мы уходили с ковроткацкой фабрики, нам было не по себе. Нам было душно. Но то была не простая физическая духота — она была глубже, ядовитее, она подступала к сердцу. И она заслоняла собой прохладу коврового склада.

Нам доводилось читать, что во время качки все предметы на корабле, даже самые, казалось бы, безгласные, начинают издавать звуки: скрипеть, брнчать, дребезжать, шуршать.

Нечто подобное происходит на восточном базаре во время зноя, но касается не звуков, а запахов.

Мы долго бродили по бесконечному тегеранскому базару. Но даже в его крытых переходах было жарко, особенно там, где солнце вламывалось сверху сквозь просветы.

Воздух был плотен и густ.

Все пахнет. Все издает аромат, благовоние — или наоборот. Пахнут не только овощи в плетенке, но и сама плетенка и пол под ней. Вода, вылитая из чайника на плотно утрамбованную землю, вызывает целый взрыв запахов, говорящих о том, что тут недавно проходил осел, нагруженный дынями.

Приторно пресно пахнет шелковица на деревянных лотках.

Шелковичные ягоды так нежны, что не выносят прикосновения. Их осторожно трясут с дерева на разостланную внизу чадру. Остается пожелать, чтобы у чадры только и осталось это назначение.

В отделе пряностей невозможно было дышать. Блюда желтоватого сахара, которые здесь дарят новобрачным, пахли лимоном и ванилью.

Жара гнала нас все дальше. В ювелирном ряду мы любовались работой золотых дел мастера. Что за искусник! Из тонкой золотой пластинки на наших глазах возник цветок с бутоном.

В другом месте мы смотрели на штопальщика ковров. Как бы ни был изодран ковер, его починят так, что не найдешь и следов изъяна.

Медный ряд казался охваченным смуглым пламенем заката. Никогда еще мы не видели столько медных предметов зараз.

Здесь были чайники, кофейники, тазы, кастрюли, котлы и самовары, очень много самоваров.

Маленькие кувшинчики с ручками были нанизаны на прут, как грибы. Любопытнее всего, что все эти медные вещи продают на вес. Так странно, когда на чашечные весы кладут громадный медный поднос и определяют его цену по весу.

Жара, всюду жара... И вдруг — мы остановились как зачарованные.

Попав в стеклянный ряд, мы вошли в совершенно круглое помещение одной из лавок, где не было видно не только покупателей, но и продавцов.

Это было царство стекла, такого, как любят в Иране: чисто-белого, без примеси цветного.

На полках, на столах, а то и просто на полу были расставлены стеклянные изделия: вазы для цветов и для фруктов, подсвечники с абажурами в виде колокольчика, ветвистые канделябры с витыми стволами, столики из хрустальной чешуи. С потолка, отливая ледяным блеском, свешивались пирамидальные люстры.

На стенах были ветвистые бра, точно изморозью тронутые матовым узором.

Лучи солнца, зачарованные, как и мы, медлили уходить из этой, такой прохладной на вид, стеклянной рощи. Здесь было тихо, как в зимнем лесу, и так же красиво.

Но почему все же здесь было так тихо и пустынно?

Оставить лавку без присмотра было не страшно, украсть в ней что-либо трудно: все эти изделия издают звон при малейшем прикосновении, как самая совершенная сигнализация. Но где же были покупатели?

Их не было, как нет их, впрочем, и во многих других лавках.

Стародавняя политика Англии привела Иран к промышленному застою и безработице. Тысячи искуснейших рук тоскуют здесь по работе, но ее нет.

Местные товары — это Золушка на балу, где царят алчные заезжие сестры.

Американская вискоза, английская шерсть, немецкая оптика, бразильские, турецкие чулки, готовые платья из Палестины заполняют прилавки.

Здесь разыгрываются невидимые битвы. Молодая американская косметика душит своим ароматом, хватая за горло старую французскую. Швейцарские часы самых разных фирм готовы побить друг друга всеми своими камнями.

«Меня! Купите меня!» — пламевидными языками (последний «крик моды») взывают яркие ткани, отесняя местные шелка на самые дальние полки. Но покупать вещи некому: у населения нет денег. Нет национальной промышленности — нет и заработков.

«Создание национальной промышленности», — вчитываясь в пункты программы нового иранского правительства, опубликованной и в нашей печати, мы находим там и этот пункт.

Будут ли выполнены все эти торжественные обещания, или они — в который раз! — останутся на бумаге?

«Ликвидация безработицы», — читаем мы. И вспоминаем встречи с людьми, чье основное занятие в течение ряда лет — безработица.

— Мой муж уже пять лет безработный, — сказала нам одна женщина.

2

Наше пребывание в Иране продолжалось три недели, из которых неделя была уделена конгрессу иранских писателей.

Конгресс — первый в истории иранской литературы — был событием в культурной жизни Ирана.

Председательствующий на конгрессе крупный иранский поэт, давая слово тому или иному писателю, называл также и город, откуда тот прибыл. И постепенно перед нами разворачивалась своеобразная карта Ирана: не политическая, не экономическая, а поэтическая, во всяком случае — литературная.

Мы убедились, между прочим, что наибольшее количество поэтов дал город Шираз, самое имя которого

стало синонимом поэзии в мировой литературе: ведь Саади и Хафиз тоже родом из Шираза.

На конгрессе, помимо писателей, мы встречались несколько раз и с доктором К., о котором особо хочется сказать несколько слов.

Однажды мы встретились с ним и не на конгрессе. Доктор К. — превосходный детский врач — был приглашен к заболевшей советской девочке. В один из тех знойных часов, когда жизнь в Тегеране и его окрестностях замирает, из-за циновок, защищающих террасу от солнца, показалась уже знакомая нам невысокая, быстрая и энергичная фигура человека с лицом, слегка тронутым оспой: признак того, что в дни детства доктора К. в Иране было очень мало хороших врачей, подобных ему самому.

Осмотрев больную девочку, доктор стал объяснять матери, как надо сделать компресс.

— Вы обвяжете горло салфеткой, — сказал он, — а сверху обернете газетой.

— Независимо от ее направления? — был задан ему вопрос.

Доктор К. в ответ на эту шутку закивал головой, засмеялся и ответил:

— Независимо, независимо.

Но, пожалуй, это был единственный случай, когда политическая окраска печатного органа была безразлична доктору. Он известен как демократ, отдающий все свои силы делу независимости родной страны.

Доктор К. заговорил о предполагаемом журнале. Его спросили, на какие средства он будет издаваться. Наш собеседник, указав на свой стетоскоп на столе, ответил: «Немного больше вот этого, и средства будут!»

И тогда, совершенно неожиданно, сквозь восточный облик иранца явственно просквозили черты нашего русского дореволюционного земского врача. Вот так же, с такой же слуховой трубочкой и молоточком, в пыль и зной разъезжал он по состоятельным пациентам, чтобы помочь своим гонораром журналу, школе, больнице.

«Зачем бедным людям сады? — с горечью сказал шофер, возивший нас по городу. — У богатого при доме всегда имеется сад, где можно отдохнуть в тени. А бедному хорошо и так».

И он указал на ремонтного рабочего, спящего на мостовой в скудной тени камнедробилки.

Действительно, реконструкция Тегерана, проведенная в свое время Реза-шахом, коснулась, главным образом, богатых кварталов. Там мостовые, залитые асфальтом, окаймлены сплошным рядом густых чинар, дразнящих наш глаз своим сходством с северными кленами. Там журчат фонтаны и цветут цветы.

Но чем ближе к окраинам Тегерана, тем больше он становится городом, где нет асфальта, где бóльшая часть населения живет в нужде, скученности, грязи. Где матери — сами еще девочки — укачивают крошечных бледных детей, чьи неправильной формы головки сплошь да рядом свидетельствуют о том, в каких тяжелых условиях протекала беременность женщин, родивших этих детей.

Детская смертность здесь очень велика. Велико число желудочных заболеваний. Питьева вода, бегущая с гор, была при Реза-шахе заключена в трубы; она так и именуется: «шахской водой». Это — роскошь, доступная немногим. Большинство тегеранцев утоляет жажду из арыков.

Чем ближе к окраинам, тем больше женщин в чадрах. На остановках автобусов они теснятся, точно траурные птицы, слетевшиеся на тризну.

Все тот же Реза-шах пытался было «раскрепостить» иранскую женщину, насильственно сняв с нее чадру. Женщину в покрывале не пускали ни в какое публичное место. На улице любой прохожий имел право сорвать с женщины чадру — это даже поощрялось.

Чадру преследовали, штрафовали, клеймили устно и в печати. Словом, было сделано все, за исключением главного: женщина по-прежнему оставалась в полной моральной и экономической зависимости сначала от родителей, потом от мужа. По-прежнему была она

неграмотна, фанатично религиозна, изолирована от жизни.

Эта «эмансипация» иранской женщины закончилась с падением Реза-шаха. Чадра вновь восторжествовала.

И все же начинает приходить конец ее власти.

По пути из Тегерана в Шираз, приземлившись в Бушире, мы услышали крупный разговор. Какая-то женщина в чадре громко и взволнованно говорила что-то по-персидски. Нам перевели ее слова. «Для всех есть место в самолете,— говорила она,— только не для нас, иранцев!»

Это было символично. Женщина еще в чадре, но ее возмущенный и страстный голос уже слышен.

Собрание женского клуба народной партии происходило во внутреннем дворике, лишенном зелени, с квадратным кирпичным бассейном посередине.

Вокруг бассейна на деревянных скамьях сидели работницы, служащие, домашние хозяйки, урвавшие часок, чтобы тайком от мужа прийти на собрание, учительницы, женщины-врачи, общественницы. Все они хотели услышать о жизни женщин в Советском Союзе.

Здесь были первая женщина-юрист, первая профессор-гинеколог, первая женщина-литературовед, читающая лекции в Тегеранском университете.

Дворик замыкался стеной смежного четырехэтажного дома. Но и там, в высоком окне, тоже виднелись женские головы, жадно глядевшие вниз.

Нас засыпали вопросами.

В каких областях техники, науки, искусства, сельского хозяйства и так далее проявили себя советские женщины? Их имена?

Необходимо ли у нас в стране делать выбор между домашней и общественной жизнью, или это совместимо?

Каково отношение советской женщины к религии?

Может ли советская женщина, уже будучи замужем, получить высшее образование?

Существуют ли специально женские журналы?

Встречаются ли советские женщины с прогрессивными женщинами других стран?

Эти вопросы и ответы на них шли через переводчика. Но смысл иных речей понятен на любом языке.

Самое характерное сейчас для многих иранских женщин — это чувство политического пробуждения.

Каждая снятая чадра, каждая усвоенная азбука, прочитанная книга, каждая девушка, сумевшая избежать насильственного брака, род занятий, выбранный по влечению, — все это воспринимается многими как общая победа.

Для этих женщин маяком, светочем, желанным солнцем вдали светит Советский Союз с его широчайшими путями в жизнь, открытыми для всех, независимо от пола.

3

В то тегеранское утро на аэродроме было необычнолюдно: много народа провожало иностранного дипломата, возвращавшегося к себе на родину.

В буфете при аэродроме висели на стенах желтые, синие, фиолетовые плакаты с изображением всевозможных маршрутов. «За 75 минут из Лондона в Париж». И на плакате был изображен Ламанш, над которым в зыбких струях воздуха неслись навстречу друг другу галльский петух и британский лев.

«Воздушная линия Лондон — Калькутта...» Это была длинная ломаная линия с многочисленными кружочками промежуточных посадок. На двух таких смежных кружках было написано: «Багдад — Бушир».

В Бушире предстояло приземлиться и нам на пути в Шираз. Это была наша остановка. Она лежит на пути в Индию.

Настала наша минута.

Мы совсем уже приготовились, даже вылили чернила из вечных ручек. Если этого не сделать, то от смены атмосферного давления капиллярные каналы

ручки расширяются и чернила просачиваются наружу. Один из нас, пренебрегший этим правилом, был за это наказан.

Мы столпились у самолета. «Сэр такой-то», — провозгласил диспетчер. И по металлической лесенке стал подниматься в самолет классический англичанин тропиков: с голыми коленками и руками, в шлеме и темных очках. Только хлыста не хватало, но он подразумевался.

«Сэр такой-то», — снова прочел по бумажке диспетчер. И в самолет вошел англичанин, подобный первому.

«Мистер такой-то», — взошел третий англичанин, а возможно, и американец.

После них назвали и меня, грешную, как одну из трех женщин-пассажирок. За женщинами — всех остальных.

Нам предстояло увидеть часть Индийского океана — Персидский залив, с его температурой воды, самой высокой в мире: 35 градусов на поверхности.

Я уроженка Черноморского побережья. Мое родное Черное море чрезвычайно богато оттенками. Я видала его и синим, и голубым, и лиловым, и серо-черным. Но никогда мне не доводилось видеть такой воспаленно-зеленой воды, такой лихорадочно-белой пены, как в Персидском заливе.

Из окна самолета были также видны и желто-сиреневые отмели, и влажная полоса, оставляемая приливом. Мы видели сверху и реку Корун, в которую заплывает из залива столько акул, что не так давно ими были съедены два английских солдата. Отныне англичане купаются здесь в специальной железной барже.

Мы пытаемся разглядеть сверху акул и видим пять плоских овальных предметов, плывущих стаей. Это танкеры, везущие нефть из Абадана, а вовсе не акулы.

Впрочем, как подумаешь, так ли уж велика разница?

Персидский залив богат также и жемчугом. Ловец жемчужных раковин погружается в эти горячие воды,

где ему угрожают страшные рыбы с мертвенно-бледным брюхом.

Невесела на вид и река с названием, как бы заимствованным из «Тысячи и одной ночи», — Шат-эль-араб.

Немногочисленные персидские водные артерии не похожи на наши милые среднерусские реки с их лесисто-луговыми берегами. Здесь реки безрадостно текут в желтых песках. Изредка только чинары подходят к ним вплотную, чтобы напиться их мутной влаги.

Мы были на подступах к Индии.

Бушир, видимый сверху, поражает полным отсутствием зелени. Глинисто-серый и плоский, он почти неотличим от почвы. Огненный ветер пустыни терзает его. В летние месяцы англичане отправляют свои семьи в Шираз, который хотя и сам напоминает жаровню, но в нем по крайней мере есть сады.

Небольшое расстояние, отделяющее самолет от крытого помещения (нечто вроде сарая или ангара), мы проскочили так, будто бежали по раскаленной сковороде...

Помимо этой страшной жары, Бушир запомнился нам детьми, бегающими по ангару. Они явно не принадлежали к категории отправляемых на лето в Шираз. Особенно тяжело было смотреть на девочку с гноящимися глазами и косую: глазные болезни, в частности трахома, здесь очень распространены.

В ожидании, пока нас снова позовут в самолет, какой-то юноша развлекался тем, что взвешивал знакомую девушку на багажных весах.

Недра Ирана чрезвычайно богаты. В разных частях страны имеется железо, свинец, медная руда, уголь, соль, ртуть, никель, марганец, мрамор и бирюза.

Железная руда имеется и в районе Персидского залива. Но добывается повсюду почти исключительно нефть — знаменитая иранская нефть, родная сестра еще более знаменитой мосульской нефти.

Абадан — порт на берегу Персидского залива, центр англо-иранской концессии. Отсюда нефть на тан-

керах уходит по морям для нужд Соединенного Королевства. Абадан — это нефтесосная банка на теле Ирана.

Нефтепроводы тянут сюда нефть со всего юга страны. Сверху они кажутся тонкой ниткой на желтом фоне пустыни.

Абадан гораздо зеленее Бушира.

Наш «дуглас», делая вираж при снижении, как бы медленно вращает у себя под крылом симметричные ряды деревьев, посаженных по диагонали на коричневой земле. Это пальмы. Плантации финиковых пальм.

Покуда самолет делает круг над Абаданом, мы стараемся угадать расположение его улиц, площадей и садов.

Мы в сердце «английской зоны».

Французский язык, столь частый в Тегеране, сменяется английским. Все чаще мелькают шлемы, голые коленки и тропические башмаки на пробке.

Персидский залив здесь так близок, что его горячее дыхание доносится до нас, когда мы стоим у задней стены ангара, в полоске тени, узкой, как только что народившийся месяц.

Пыльные пальмы раскачиваются под ветром. Ветер гонит клубы песка. Женщина в черной рваной чадре несет кувшин на плече. Тощие грязные дети бредут за ней.

4

О Ширазе можно было бы рассказывать долго.

О его местоположении. О его облике, о гармонической линии холмов и необычайной прозрачности воздуха.

Мы были здесь во время полнолуния. И сияние полной луны над садами Шираза — это одно из тех воспоминаний, которые остаются на всю жизнь.

Предупреждая неизбежные вопросы, скажу сразу, что знаменитые ширазские розы цветут в апреле, когда солнце еще милостиво, и что мы в июле месяце их не видели.

Зато мы видели на деревьях маленькие местные лимоны, еще зеленые, но такие пахучие, будто их дополнительно надушили лимонной эссенцией. Сок этих лимонов подается к столу в особых флакончиках с узким горлышком. И к этой чрезмерно ароматной приправе привыкаешь не сразу.

Говоря о Ширазе, обязательно надо рассказать о могилах трех его поэтов: Саади, Хафиза и третьего, менее известного, о котором я скажу позже.

Могила Саади несколько разочаровала нас. Она находится в закрытом помещении, но не в склепе, а просто в комнате, где довольно грубо позолоченная решетка окружает мраморное надгробие. Обыкновенная, крайне прозаическая керосиновая лампа висит на потолке: чуть стемнеет, тут зажигают свет и гасят его с первыми лучами зари.

Портрет Саади на стене тоже крайне будничен.

Но таково обаяние имени Саади, что и теперешняя его могила не может не волновать, особенно поэтов.

Зато прекрасна, полна солнечного воздуха и запаха цветов недавно реконструированная гробница Хафиза, под открытой колоннадой, на высоком месте, откуда открывается вид на Шираз. По гладкому мраморному саркофагу узорами заплетаются строфы великого жизнелюбца. Где-то рядом лепечет фонтан.

Вечером того же дня мы слышали стихи Хафиза в саду, на берегу маленького арыка с искусственным водопадом, освещенным луной.

Скатерти были разостланы поверх ковров на земле. Горели свечи под прозрачными абажурами в виде колокольчиков. На жаровне, куда в таких случаях подсыпают сладко пахнущие куренья, жарился кебаб. Бутылки вина охлаждались тут же, в арыке.

Когда был утолен первый голод и разлито по бокалам вино, свечи погасили: осталась только луна. Невидимые в лунной тени, зазвучали скрипка и зарб — род тамбурина. Голос певца запел слова Хафиза: «Когда я умру, похороните меня в гробу из виноградной лозы. Пусть брызги вина окропят землю, укрывшую меня».

Мы подняли бокалы и выпили за неумирающую поэзию...

Однако я вижу, что, не собираясь рассказывать о Ширазе, я все же начала рассказывать о нем.

Такова сила воспоминаний!..

Но не это главное, о чем мне хотелось вспомнить. Главное — это поездка в Персеполь, руины древних дворцов в шестидесяти километрах от Шираза.

Мы не историки-ориенталисты. Для нас не так уж существенно, был ли Персеполь подлинной столицей древней Персии или же ею были Сузы.

Также никогда не узнаем мы первоначального названия древнего персидского города: «Персеполис» — слово греческое, более позднего происхождения. Но и это не важно.

Персеполийские развалины — одни из самых величественных на земном шаре — не нуждаются в комментариях и уточнениях. Они говорят сами за себя.

Помню, давно, много лет тому назад, в честь окончания мною гимназии я получила от отца необыкновенный подарок: путешествие морем из Сдессы до Генуи, с заходом в различные порты Черного и Средиземного морей.

За несколько часов пребывания в Пирее мы успели побывать в Афинах и на том высоком холме, где стоит Парфенон.

Навсегда я запомнила, как с непостижимой легкостью возносились в воздух колонны теплого, почти телесного мрамора, как навстречу небу вздымалась снизу морская синева, заполняя пространство между колоннами.

Это было так прекрасно, что, казалось, сама муза Истории улыбнулась недавней гимназистке, для которой прошедшие века были только скопищем хронологических дат.

И все же Парфенон моложе Персеполя. Эллада — это голубая юность по сравнению с древней Персией, выжженной до седины грозным солнцем и восходящей к Ассиро-Вавилонии.

Две с половиной тысячи лет насчитывают развалины дворца Дария Гистаспа — того самого,

в существовании которого мы не так уж были уверены на уроках истории.

В Персеполь было решено ехать на рассвете, до восхода солнца.

Но пока мы ждали машину в саду гостиницы «Саади», пока брали бензин из колонки на одной из ширазских застав, солнце начало подниматься со стремительностью ракеты.

Дорога от Шираза до Персеполя пустынна и бесплодна. Изредка только покажется фигура человека на осле: осленок бежит сзади, косясь на шум нашего мотора. Смешанное стадо овец и коз щиплет какие-то невидимые глазу выжженные остатки трав среди камней.

Цыганский табор (две-три кибитки) кажется беспрютнее, чем где-либо, среди этих безлюдных просторов.

Мелькнет глиняное сооружение, нечто вроде безгорлового громадного кувшина, врытого в землю: это кустарная печь для обжига кирпича.

Внезапная яркая зелень непадолго радует глаз: поле сахарной свеклы. Сахарный завод тут же, влево от дороги, но он не работает.

Чем дальше от Шираза, тем глубже тишина. Солнца еще не видно, но оно уже лежит между вершинами холмов, бросая нам под колеса дымные столбы своих лучей. Еще немного — и оно ослепит нас. Зной нагнетается с каждой минутой, а ведь только пять часов утра.

Скорей, скорей! Необходимо хоть немного обогнать солнце. Но мы прибываем почти одновременно с ним. Ясное дело, мы опоздали. Подножия лестниц и основания колонн еще в тени, но там, на высоте двадцати метров, их капители уже залиты таким блеском, от которого не спасают даже темные очки.

Что ж! Придется остаться здесь на весь день и досмотреть на закате все то, что не успеем увидеть сейчас. Застигнутые солнечным приливом, мы вынуждены ждать, пока он схлынет.

Оглядываясь теперь назад, мы понимаем, что должны быть благодарны солнцу. Из-за него мы не просто осмотрели Персеполь, как это делают туристы. Мы

провели там весь долгий безмолвный июльский день. Мы пили воду из древнего источника. Ели рис, сваренный на тамошнем огне. В самые глухие часы палящего зноя мы спали в прохладных комнатах при музее, в такой тишине, с которой не сравнится никакая ночь.

В Персеполе нет ни стрекожущих насекомых, ни птиц. Только громадные ящерицы — вараны — бесшумно скользят меж камней.

В комнатах, где мы отдыхали, нет окон, одни лишь двери, выходящие в длинную галерею, где у каждой арки стоит большой, в человеческий рост, кувшин для масла, вина или воды... Кто это может теперь с точностью определить?

В самом музее (он очень мал) на полках стоит глиняная утварь, спасенная от забвенья усилиями реставраторов. Бронзовая кастрюля (меди тогда еще не знали) протягивает посетителям свою длинную ручку.

Металл гораздо больше страдает от времени, нежели дерево. Оно как бы превращается в кость, твердеет, а металл покрывается ржавыми волдырями, расслаивается и крошится.

Под стеклом были здесь расставлены мутно-радужные флакончики с узкими горлышками (не для лимонного ли сока?).

Мы увидели здесь отдельные детали статуй: собачья лапа, кусок крыла, мраморный глаз.

Большой ящик был наполнен наконечниками для стрел, тоже бронзовыми. Они лежали горкой, как патроны. Велик был соблазн взять один наконечник на память. И, честно скажу, я до сих пор жалею, что не сделала этого: их ведь так много.

Среди прочих бронзовых предметов в музее хранится грубая катушка, на которую, очевидно, наматывали канат от блока: единственный намек на технику.

Но как же в таком случае были возведены эти колонны, как тесались и скреплялись эти глыбы с их непостижимым зодческим совершенством? Это и по сей день остается тайной.

Персеполь, гениально расположенный на трех уступах скалистой террасы, не дворец. Это собрание дворцов

целой династии персидских царей, стертой с лица земли Александром Македонским.

Позднее арабы довершили дело разрушения, тщательнее выскоблив, сбив или расплющив человеческие лица на барельефах: мусульманская религия не разрешала людских изображений.

Лишь изредка на каком-либо фризе видны неповрежденные лица воинов или жрецов. Очевидно, арабы просто изнемогли от этого расточительного и неистребимого, как сама природа, персидского изобразительного искусства.

Побежденные оказались сильнее победителей.

Недаром одному из арабских халифов приписаны слова: «Удивляюсь я этим персам. Они царствовали тысячу лет и ни одного часа не нуждались в нас. Мы царствовали сто лет, и ни одного часа не можем обойтись без них».

Поднимаясь по уступам, дворцы упираются в царские гробницы, высеченные в горе.

В вечной тени этих склепов еще сохранились громадные саркофаги. Они пусты.

В центре скопления дворцов помещается колодец. Это и понятно: на самом почетном месте вода, источник жизни.

После дворца Дария остальные постепенно мельчают, если только это слово уместно по отношению к исполинам.

Полагают, что один из дворцов стал жертвой огня. Остались только плоские мраморные основания колонн. Сами же колонны, видимо, были из дерева и сгорели.

Нас заинтересовали надписи на стенах, сделанные разными посетителями в разное время и на разных языках. Какой-то Шарль Бовье побывал здесь в 1810 году. Наполеон еще только собирал тогда войска для похода в Россию, а Пушкину было одиннадцать лет. Это было давно, но и тогда уже эти руины были такими же, как сейчас.

Даты этих надписей, расположенные во времени, подчеркивают и оттеняют глубь веков, сообщают ей стереоскопичность.

Так иногда облака, плывущие на разных высотах, открывают всю бездонную глубину неба.

Переступая через мелкие обломки и взбираясь на крупные, заслонив ладонью глаза, разглядывая верхушки колонн, погружая руки в горячий мраморный прах, заглядывая в дверные проемы, безмолвно движемся мы по Персеполю.

Пустыня, расстилающаяся вокруг, была некогда кипучим городом. Здешняя земля хранит в себе еще много-много остатков жилищ, водоемов, гробниц.

Все было уничтожено Александром Македонским.

Муза Истории не улыбается здесь, как в Элладе. Опершись на рухнувшую колонну, под жестоким солнцем, вперяет она взор в поверженные царства.

Но вокруг нее, на стенах и капителях, все снова и снова повторяется символическое изображение борьбы Ормузда и Аримана. И снова и снова Ормузд — доброе начало — одерживает победу.

На закате, когда тени колонн начали бесконечно удлиняться, мы покидали Персеполь.

На этот раз мы догоняли солнце. Мы спешили до наступления темноты поспеть в Шираз. После заката движение по здешним дорогам запрещено из-за частых нападений одного из бродячих племен, промышляющих грабежом.

В одном месте нам преградил путь вооруженный пост: мы пропустили установленный срок. Но после кратких препирательств перед нами было поднято бревно, заменяющее шлагбаум.

Приближение ночи ощущалось с какой-то античной отчетливостью: и люди и стада спешили к городским воротам.

Перед тем как въехать в черту города, наш спутник, перс, попросил шофера остановиться.

Мы вышли из машины и поднялись по узкой лестнице, сложенной из камней. Там, над дорогой, на небольшой площадке, отвоеванной у холма, возле густой чинары, под тихий плеск горного ручья, покоится третий ширазский поэт — Кермани, учитель Хафиза.

Предание рассказывает, что Хафиз любил приходить сюда и здесь писать.

Так как уже начинало темнеть, то над могилой Кермани был на шесте зажжен старинный фонарь, напоминающий факел.

И этот вечный сон поэта в сосредоточенной тишине и чистоте сумерек при свете первой звезды показался нам слаще пышного сна Саади и даже Хафиза.

5

Залитый раскаленным, как бы застывшим в небе, солнцем, появляется под крыльями нашего самолета Абадан с его нефтеперегонным заводом. Здесь работают тысячи рабочих — иранцев и арабов. Администрация и высший технический персонал, — конечно, англичане.

Сверху нам видны не только цистерны на путях, но и нефтепровод, тянущий нефть из глубины Южного Ирана к Персидскому заливу.

Абадан — одна из промежуточных посадок воздушной трассы Шираз — Тегеран. По расписанию нам предстояло остаться там до следующего дня. Аэродром — кусок пустыни. Обжигающий ветер, родной брат самума, вздымает песчаные смерчи. Персидский залив здесь совсем близко: видна его змеистая пена.

Выйдя из самолета, все кинулись к буфету. Но он был пуст. Взамен оранжевых, зеленых и алых фруктовых напитков, которыми обычно полны такие буфеты, принесен был откуда-то грязноватый лед в ведре. Глотать его было нельзя, но можно было охлаждать им руки, прикладывать к голове, прижимать к сердцу: жара была страшная.

Человек, принесший лед, сказал, что в городе забастовка рабочих нефтяных промыслов, что транспорт дезорганизован, — поэтому-то и не было питья, — что английские власти «навели порядок» и что «пролилась кровь».

Усталость и желание поскорее прилететь в Тегеран, а оттуда в Москву боролись в нас с желанием побывать в Абадане и, может быть, даже поговорить с кем-нибудь из его жителей через переводчика.

Но, пока мы ждали машины, чтобы ехать в город, внезапно выяснилось, что мы летим дальше. Объяснялось это тем, что отсюда спешно возвращалась в Тегеран правительственная комиссия, посланная для расследования обстоятельств забастовки. Уже было известно, что она сопровождалась трагическими эпизодами. Английские концессионеры натравили арабов на рабочих-иранцев: старый, испытанный способ. В результате действительно «пролилась кровь».

Члены комиссии, сидя в самолете, рассматривали фотографии раненых и убитых. Комиссия спешила в Тегеран.

Но кто знает, может быть, и то, что здесь находились мы, советские люди, также ускорило отлет. С точки зрения местных властей, конечно, совершенно незачем было нам быть в Абадане, а тем более беседовать с тамошними людьми. Ибо не личными качествами того или иного советского человека определяется в конечном итоге отношение к нему за рубежом, а высоким моральным авторитетом всей нашей страны в целом.

Мы, отдельные ее представители, светим отраженным светом нашей великой родины. В самом присутствии советского человека есть нечто мешающее спокойно творить беззакония.

В Тегеране мы узнали, что английские крейсера вошли в Персидский залив и навели пушки на Абадан.

Каждый иранец, любящий свою страну, желает видеть ее свободной. Даже и в южной ее части, наиболее зависимой от иностранного влияния, нет-нет и проглянет сквозь густую колониальную окраску живое смуглое тело Ирана с мускулами, напряженными для борьбы.

Именно этот образ мы и увезли с собой.

Август 1946 года

НА ЛИНИИ ВОДЫ

В Ферганской долине

Знаменитый русский почвовед Василий Васильевич Докучаев, хорошо изучивший в свое время Среднюю Азию, писал о Мерве, пощаженом некогда Тамерланом: «Грозный и неукротимый варвар разрушил этот культурный оазис... но и он не тронул водохранилищ и многих святилищ Магомета, они и до сих пор целы. Так что трудно определить, кому он больше поклонялся — воде или Магомету».

И действительно, вода была и остается поныне основной проблемой всей Средней Азии. Недаром воду называют здесь «кровью земли»: подобно тому как тело мертво без крови, мертва без воды и земля.

«Там, где кончается вода, там кончается и земля», — гласит старинная узбекская поговорка.

О хлопке говорят, что он — «дитя солнца». Но еще точнее было бы сказать, что он — «дитя солнца и воды».

В краеведческом музее в Самарканде перед глиняной статуэткой богини воды Анахиты останавливаются советские гидрологи.

Анахита изображена стройной девушкой в свободно льющейся, высоко подпоясанной одежде (отличительный признак этой прелестной богини). У ног ее в

волнистых складках легкой ткани запутались цветы и травы. Головку Анахиты украшает узел волос, стянутый на затылке.

А ирригаторы, стоя перед тысячелетней фигуркой, толкуют о современных водных сооружениях.

Больше чем где бы то ни было в здешних местах исследовано поведение воды при различных обстоятельствах. Прослежены даже отдельные завитки и изгибы ее почерка.

В 1948 году мне довелось встретиться в Фергане со старейшим ирригатором этого края, ныне покойным Клавдием Никаноровичем Синявским.

В то время Клавдий Никанорович был уже болен, но он обязательно сам хотел показать москвичам хотя бы отрезок Большого Ферганского канала, в постройке которого была и его доля труда. Каждая новая поездка на канал приносила старому ирригатору новую радость.

Жарким летним утром мы выехали из Ферганы на машине и повернули на запад, где проходил канал.

Говоря о воде, что она прозрачна, мы тем самым хотим похвалить ее отличные водяные качества. Но на деле в полной мере это может относиться лишь к питьевой воде.

— Оставим прозрачность поэтам, — неодобрительно сказал мне однажды уроженец горного района Шахмардана, заметив мое восхищение кристально чистым ручьем.

Хорошая оросительная вода чаще всего мутна, так как насыщена частицами плодородного ила.

Большой Ферганский канал не прозрачен. Деревья не отражаются в нем с зеркальной отчетливостью, стволы не видны, и только кроны как бы плавают на поверхности. Но какая могучая сила плодородия, какая красота исходит от этой желтоватой, порой даже бурой водной полосы! До сих пор не перестаешь изумляться смелости народной инициативы, проявившейся в переброске воды из реки Нарын в западную засушливую часть Ферганской долины.

Возле одной из плотин, служащих для распределения воды по колхозным полям, мы остановились.

Системой щитков вода была здесь заперта на замок, ключ от которого хранился у седобородого сторожа — мираба.

Наш Синявский и мираб встретились как давнишние приятели. Беседуя между собой по-узбекски, оба старика поднялись на плотину, мы за ними.

Дремотный покой горячего полудня охватил нас. На огородике у мираба благоухали дыни. Усыпительно журчала вода, образуя в одном месте прихотливую воронку.

— Какая тишина, — переговаривались мы. — Вот где не бывает никаких волнений.

Мы дивились тишине, а Синявский тем временем придирчиво вглядывался в воронку, недовольно выговаривая за что-то мирабу. А тот, заволновавшись, все указывал рукой на лежащий вдали кишлак.

Выяснилось: узорчатая воронка образовалась здесь от того, что на дне, в непрозрачной воде, лежала рукоять распределительного щитка. Бывший председатель одного из колхозов, желая захватить неположенное количество воды, силой вырвал у мираба рукоять, крутнул ее, но, не справившись с ней, сломал и в ярости швырнул на дно.

— Вы не думайте, бывает здесь и такое, — заключил Синявский, усаживаясь в машину.

Схватки бывают не только на «линии огня», но и на «линии воды». Несколько дней спустя мы мчались на машине по направлению к плотине Кампыр-Рават. Гроза настигала нас, бешеная гроза этих краев, во время которой мгновенно рожденный в горах поток — «силь» — устремляется в долину, сметая на своем пути хлопковые поля, сады и жилища.

Близился вечер. Омраченный закат цвета меди и пламени утонул в тучах. И только месяц плавал в просвете неба, напоминая того молодого лебеда, который, отбившись от стаи, все плавал и плавал в замерзающем озере, разбивая грудью корку льда.

Тяжелые капли дождя, смешанные с песком и пылью, неслись нам навстречу. Кара-Дарья, полностью

оправдывая свое название, почернела от ярости. Мост через нее лежал уже вровень с бешено несущимися волнами. Мы проскочили его, дрожа от страха, ощущая водяные толчки о дно машины, как будто находились в лодке.

Среди густеющей темноты с невыразимым облегчением увидели мы огни Кампыр-Равата. Прозрачная, легкая, не похожая ни на одну из виденных нами раньше, плотина была поразительно красива.

Внезапно ослепительный громовой удар погрузил все во мрак. Рухнуло дерево и повредило электрический провод. Единственным освещением остались только молнии. Одиночные капли дождя превратились в сплошную стену ливня. Порывы ветра были так сильны, что невольно приходило на ум одно описание бури: «Ветер был так силен, что, казалось, можно вцепиться в него и висеть».

Находиться на плотине было еще страшнее, чем переезжать мост. Ох, почему эта плотина была так легка, так прозрачна! Все ее тело вздрагивало. Напряжение ее устоев передавалось человеческим мышцам, и они напрягались вместе с железом и бетоном.

Сквозь шум дождя и ветра прорывался человеческий голос, отдававший распоряжения: все водоспуски были открыты, и высокие воды реки ринулись в открывшиеся проходы. Немного позднее зажегся и свет: с опасностью для жизни монтеры устранили аварию.

Без шапки, бледный, в струящемся дождевике стоял на дамбе главный инженер. Он подтвердил нам, что такие бури опасны. Стоит воде просочиться хотя бы в одной точке — и сооружение может пострадать. Даже простая сусличья нора, при недоглядке, может стать причиной аварии.

— Впрочем, — добавил главный инженер, вытирая влажный лоб, — это ведь был еще не самый «силь», он прошел левее. Это было только его крыло.

В поселке Кампыр-Равате все подчинено режиму плотины: слаженности ее механизмов, уровню воды, силе и направлению ветра. А ветры здесь такие, что могучие тополи на главной и единственной улице поселка все наклонены в одну сторону — так и растут.

Далеко от областных и районных центров, в суровом предгорье, лицом к лицу с необузданной рекой, деятельно и сплоченно живет немногочисленный коллектив узбеков и русских.

Здесь есть школа, имеется небольшая больница, во главе которой стоит женщина-врач, родом из Белоруссии (по крайней мере так было три года назад).

Не сразу удалось женщине-врачу завоевать доверие населения, утвердить авторитет медицины. Бывали случаи, что и жены не вполне доверяли докторше, и мужья относились к ней без должного уважения.

— Однажды было так, — рассказала нам докторша. — Приехал за мной человек из недалекой (по здешним понятиям) Киргизии. «Торопиться надо!» — «А в чем дело?» — «Жена не может родить. Смерть подходит».

Не медля ни минуты, отправились в путь. Киргиз на лошади впереди, а я с тяжелой врачебной сумкой сзади. Я и говорю: «Пусти меня на лошадь: скорее будет».

«Не может женщина быть на коне, когда мужчина идет пешком», — отвечает киргиз.

«Как знаешь, говорю. Но учти, что смерть не боится мужчины на коне. А вот женщина-врач на коне — это для смерти опасно».

Подумал киргиз. Оглянулся — не видит ли кто — и уступил мне седло.

— А теперь тоже так бывает? — спросили мы.

— Нет, что вы. Теперь коня пришьют, а иногда даже машину.

Кампыр-Раватская плотина питает водой Кара-Дарьи хлопчатники, лежащие в Ферганской долине, которая так обширна, что только совместными усилиями больших и малых оросительных каналов можно напоить здесь и людей и растительность.

Яростные «сили» приносят много вреда полям, садам и человеческим жилищам. В частности, андижанский «силь», о котором идет речь, смыл речными водами урожай хлопка с семидесяти пяти гектаров и на чисто уничтожил около тридцати домов колхозников.

Кара-Дарья еще раз проявила свою «черную», разрушительную силу. Но с каждым днем все увереннее противостоит своевольным рекам светлая воля советского человека. Все тверже диктует он водным потокам линию их поведения.

«Силь» пронесется так же быстро, как и возникает.

Когда мы покидали Кампыр-Рават, ажурная плотина была уже вся осыпана звездами. Месяц спокойно стоял на самом краю неба. Кара-Дарья понемногу освобождала мост. И мы проехали по нему, почти не замочив колес.

Два чигиря

Одним из наиболее ранних технических достижений человека является водоподъемное колесо — чигирь.

Усаженный по окружности ковшами, чигирь приводится в движение чаще всего течением самой воды. Если же быстрота ее недостаточна, то прибегают к помощи рабочего скота.

Неустанно движется такое примерно на треть опущенное в воду колесо, подставляя потоку один ковш за другим. Поднявшись вверх, ковш выливает свое содержимое в желоб и опять идет вниз за новой мерой воды.

Уже в глубокой древности чигирь был известен всюду, где человек изыскивал средства, чтобы напоить растения. Большинство из них пьет очень много: подсолнечник, например, выпивает за лето бочонок объемом в двести — двести пятьдесят литров.

Средняя Азия некогда была щедро усеяна чигирями. Изо дня в день подымали они огромные водные тяжести из низин на высоко лежащие поля.

С точки зрения нашей современной техники — чигирь примитивен. Лепет воды, обычно производимый чигирем, — это настоящий детский лепет ирригации. Но и сейчас еще там, где реки и каналы лежат ниже уровня полей, в частности в Хорезме и Кара-Калпакии, наряду с насосными установками сохранились и чигири.

Чигирь — по-узбекски «чунтак-карман» — бывает самых разных размеров: его ковши то немногим больше стакана, то немногим меньше ведра. В Узбекистане мне особенно запомнились два чигиря. Один из них я видела в самом Ташкенте.

Московский самолет прибывает в Ташкент в полночь. Задолго до появления города бархатное восточное небо озаряется далеким сиянием, словно там, за горизонтом, восходит невиданных размеров луна.

Город, чье освещение некогда составляло триста керосиновых ламп, издали приветствует вас огнями десяти тысяч электрических фонарей.

В беспыльном ночном воздухе чисто и ярко горят все эти городские созвездия. Ташкент все ближе. С воздуха можно уже обнаружить на земле множество Больших и Малых Медведиц. Мелко насыпанные Плеяды — это освещенные окна жилых домов. Подобно Юпитеру, сверкает какой-то крупный источник света у входа в театр или у ворот завода. Световые линии образуют обдуманый орнамент. Сейчас эти линии под нами, а завтра мы увидим их у себя над головой: это огни ташкентского парка. Большое озеро в центре парка, вырытое уже после войны руками комсомольцев, так и называется «Комсомольским».

У входа в парк висит большая карта Узбекистана, и над ней лозунг, провозглашенный комсомольцами: «Сотрем с карты нашей республики название «Голодная степь»».

Голодная степь, находишь она в капиталистической стране, так бы и осталась «голодной». Об этом свидетельствует хотя бы вышедшая у нас книга бразильского профессора Жозеф де Кастро. Уже само название этой книги чрезвычайно красноречиво. Она называется: «География голода».

На ее страницах описывается ужасающее человеческое бедствие, ставшее обычным в ряде районов реки Амазонки. Бразилия, это крупнейшее государство Южной Америки, это самый обширный в мире «зеленый океан» девственных лесов. Бразилия, богатая золотом, алмазами, железом, каучуком и

нефтью, — эта Бразилия «богата» также и голодом, для описания которого не хватает слов.

Жозеф де Кастро приводит страшный факт, имевший место во время одной из голодовок: «Дети, которые уже ходили, начали снова ползать».

В Советской стране Голодная степь превращается в источник урожаяев. Вместо зла она родит благо. Вместо нищеты — богатство...

Но вернемся, однако, в ташкентский парк, полный вечерней прохлады. Электрические лампочки пунктиром повторяют в воздухе очертания озера. Цепочка огней обводит выгнутый дугой мостик. Всюду слышны говор и смех гуляющих.

Но где же чигирь? А вот и он в головной части маленького канала, отходящего от озера куда-то в глубь парка для орошения цветочных клумб. Погруженный в воду, как человек в задумчивость, чигирь в этот вечер бездействовал. Возможно, что он выполнил свое дневное задание и теперь предавался отдыху.

Это колесико не играло никакой роли в величавом механизме нашего государства. Однако в сопоставлении с дерзновенным, но все же осуществимым призывом: «Сотрем Голодную степь», малый чигирек был примечателен.

В ташкентском парке столкнулось старое и новое. Первые робкие шаги ирригации и шагающие экскаваторы наших сегодняшних гигантскихстроек. Голодная степь еще существует. Не так-то просто стереть то, что природа вписала на века в историю планеты. Но человек, движимый жаждой справедливого счастья, оснащенный могучей техникой, все более овладевающий тайнами науки, такой человек сильнее природы. Она творит на века, а он — навечно.

Один из колхозов Ленинского района Андижанской области лежит над долиной, где протекает река Шархан-сай. Вода Шархан-сай крепка, пружиниста, упруга. Только ей под силу вращать такой громадный чигирь.

Чигирь в восемнадцать метров высотой вздымается вровень с пирамидальными тополями, растущими в долине, там, внизу. Птицы, гомозясь в тополях, садятся порой на колесный обод, но тотчас же срываются прочь, спугнутые его движением и скрипом. Неукоснительно, неторопливо вращается колесо, перемещая свои огромные спицы.

Если смотреть сверху, редкостное зрелище являет собой долина, вовлеченная в медлительное вращение, плавное, как вращение земли.

Темно-зеленые хлопковые поля, более светлые сады, селенья, дороги, далекий поезд с клубами дыма — все проходит перед нами, полное движения и воздуха.

С необходимым напряжением, но без натуги, совершают свой круговорот вместительные ковши. Их вода попадает в систему желобов и идет все дальше по территории колхоза, орошая его уголья.

Но есть место, где вода достигает своей кульминационной точки. Это — школа. Перед зданием школы, на чисто подметенной площадке, разбит цветник. Садовые маки, цинии и мальвы сближают здесь свои головки. И вода, поднятая на высоту, журчит здесь, орошая цветы, посаженные школьниками.

Голос Родины

Гостиница в Бухаре помещается в бывшем медресе Диван-Беги. И следует признать, что это совсем не плохое использование старого здания.

Приезжий получает в свое распоряжение прохладную келью (худжру), выходящую во внутренний двор. В центре двора — несколько тенистых деревьев, под деревьями — скамьи, где происходят деловые и дружеские встречи. На этих скамьях сидят отъезжающие со своими чемоданами. Приехавшие — ждут свободной койки. По вечерам здесь обмениваются впечатлениями дня.

Сюда к вам наведается почтенный археолог в комбинезоне и тапочках, покрытых пылью тысячелетнего

памятника зодчества. Забежит молодой архитектор, принимающий участие в планировании новых улиц Бухары. Директор областной библиотеки с жадностью станет спрашивать вас о последних книжных новинках. Каракулевод расскажет любопытную историю о том, как в виде опыта партию каракулевых овец перевели в украинскую степь, богатую сочной травой. Овцы, видимо, были довольны, раздобрели, но... перестали быть каракулевыми. Изменился режим питания: не стало солянки и верблюжьей колючки пустынно-степных пастбищ, и овечья шерсть утратила свои ценные завитки.

Со стороны улицы у каменного портала гостиницы нередко можно увидеть верблюда; порой на нем сидит пожилая туркменка и, собираясь обратно в родную республику, деловито надевает автомобильные очки.

Ишачок с кладью, утомясь длительным ожиданием, вдруг разразится рыдающими звуками, но их заглушит энергичный гудок машины.

Отсюда отъезжают на вокзал, находящийся в городе Кагане, в пятнадцати километрах от Бухары. Отсюда отходит на аэродром автобус. Из какой бы точки города, по каким бы делам ни направлялся в район человек, он почти наверняка задержится у ворот гостиницы и возьмет там попутчика, поклажу, письмо или устное поручение.

Из этих ворот в сентябре 1950 года вышли и мы — пятеро писателей, обрадованных возможностью отправиться с оказией в Кзыл-Кумы, к месту археологических раскопок, куда нам все время хотелось попасть.

Нас захватил с собой грузовик экспедиции, пришедший в город за продуктами и почтой. Но на этот раз грузовик вез еще нечто гораздо более ценное: радиоприемник «Родина». Мешки с хлебом и арбузами, кульки с рисом и баранья тушка потеснились, давая место тщательно упакованному ящику, с которого не спускал глаз завхоз экспедиции, он же младший научный сотрудник Ташкентского археологического института.

На грузовике лежало несколько досок; они необходимы в тех случаях, когда машина, как в снегу, буксует в зыбучих песчаных буграх.

Мы уселись. Шофер, он же повар экспедиции, включил мотор, и мы пустились в путь.

Он пролегал среди бесконечных хлопковых полей, где начался сбор урожая: его собирали вручную. Но на смену человеческим рукам уже идет, уже пришла хлопкоуборочная машина. С ее приходом высвобождается огромное количество трудовой энергии. Хлопок — одна из наиболее трудоемких сельскохозяйственных культур на земном шаре. Сколько труда нужно, чтобы из ее маленького мохнатого семечка вырастить пышный куст, обвешанный ярусами коробочек.

Когда они раскрываются, темно-зеленые поля Узбекистана начинают походить на морские просторы, вскипающие несчетными белыми гребешками. Близится буря. Хлопковый «шторм» крепчает: пять баллов, десять баллов, двадцать. В колхозах не хватает рабочих рук, и город приходит на помощь колхозу. Меняется ритм жизни всей республики. Сбор хлопка требует напряжения всех сил. Сотни миллионов коробочек: каждую из них надо снять руками, к каждой прикоснуться. Сотни миллионов движений.

Хлопкоуборочная машина, заменяющая собой ежедневно сорок сборщиков, уже создана, уже работает.

С каждым годом все более меняется пейзаж Узбекистана. Подобно кораблям, плывут машины в хлопковых морях, в тех морях, где испокон веков, перебирая руками, двигались только пловцы...

В Бухарской области районный центр Свердловск расположен недалеко от границ «культурных земель». Еще немного — и последний ряд хлопковых кустов проведет свою отчетливую зеленую линию, после которой начнутся пепельно-серые пространства Кзыл-Кумов.

В Свердловске мы сделали привал, чтобы напиться чаю и набраться сил для самой трудной части пути. Сходя с грузовика, я больно наколола себе ногу о какой-то острый и твердый шип.

— Это так называемая «культурная колючка», — объяснили мне. — Дальше и такие уже будут редки.

Свердловск — это еще царство хлопка. Зайдя в аптеку купить одеколон и вату, мы были немало удивлены, когда перед нами на весах вырос пышный белый холм, закрывший лицо аптекарши: виднелась только ее ковровая тюбетейка.

— Нам нужно совсем немного ваты, — сказали мы, — а вы нам дали...

— Я и дала вам совсем немного, — ответила невидимая аптекарша.

И снова мы в дороге. Снова то негодующий, то жалобный голос нашего мотора. Скрежет колес о песок или (что много хуже) бессильное их вращенье на одном месте. Тут-то и пускаются в ход взятые с собой доски.

— Главное еще впереди, — озабоченно говорит шофер. — Там будут еще такие барханы... а пока что держитесь крепче.

— Коля, Коля, умоляю тебя, осторожно, — доносится в шоферскую кабину, где сижу и я, голос завхоза. — Помни, что мы везем радиоаппаратуру. Осторожно.

— Я и то не забываю. Я и то осто... Эй, готовьте доски!

Бухарский грузовик проявляет чудеса почти цирковой ловкости. Он то становится на задние колеса, то круто ныряет вниз.

Водитель, Николай Петрович, мастер своего дела. Уроженец средней полосы России, он давно уже променял прохладные лесистые места на раскаленные среднеазиатские пески.

Периоды его жизни обозначаются различными археологическими экспедициями, которые он обслуживал в разное время. Николай Петрович всегда в курсе того, где кто «копает» и где что «откопали» в Узбекистане, Таджикистане или Туркменистане.

Николаю Петровичу хорошо известно волнение при виде какого-нибудь «сфероконического» сосуда, пролежавшего в земле тысячу лет. Не сразу прогревается тело такого сосуда. Но, согревшись от человеческих рук

и солнечных лучей, он становится теплым, почти живым, пока музейная прохлада снова не охладит его...

Для неискушенного человека разница между полупустыней и пустыней не ощутима. Та же угрюмая знойная тишина под раскаленным небом, та же мертвая зыбь песков, покрытая мельчайшими письменами ветра, то же чувство робости перед грозным явлением природы, существовавшим еще на палеозойских и мезозойских материках. Как бы там ни было, но мы ощутили Кзыл-Кумы как настоящую пустыню.

Мне представляется, что встреча с первым барханом чем-то напоминает соприкосновение с первой льдиной в Арктическом бассейне. Говоришь себе: «Внимание!» — и невольно начинаешь говорить тише, улыбаться реже, думать сосредоточеннее. Но одновременно с этим испытываешь желание дерзко нарушить эту тишину, сбросить с себя ее недобрые чары. Особенно отчетливо мы ощутили это в заброшенной мечети Кыз-биби, что означает «Престарелая дева-стеница».

Кыз-биби находится уже в пределах Кзыл-Кумов. Когда-то неподалеку от мечети было селение; теперь оно засыпано песком, замечено ветром. Одна мечеть еще стоит, как крепость, покинутая гарнизоном.

А песок наступает. С невероятной силой давит он на стены, проламывая в них бреши. Тонкими, чуть заметными струйками просачивается в щели, длинными шлейфами тянется по полу. Полукруглые дверные проемы бывших келий до половины замечены песком. Тишина. Полная тишина. Слышится только легкое посвистывание, похожее на змеиное шипение: это голос песка.

Внутри мечети пустота. В полу — неглубокая выемка, где каким-то чудом сохранились остатки влаги. В углу, на возвышении две-три молитвенные книги, пощаженные временем и людьми. Видимо, в мечети когда-то жили голуби: еще виден их известковый помет.

Снаружи у входа несколько старых могил. На каждой — подобие каменного шеста с воздетой к небу каменной же кистью руки. Ее пять пальцев — это пять халифов, наиболее любимых пророком.

Как зловеще выглядели в багровом зареве заката эти поднятые кверху выпрямленные пальцы. Какие длинные-длинные тени отбрасывали на уже остывающий песок. Холодок пробежал по коже. Начало казаться, что все это неспроста. Что поднятием этих каменных рук здесь голосует сама смерть. Голосует за безмолвие, за безводие, за безлюдие.

Так нет же, не бывает этому! Да будет здесь жизнь! Да звучат ее звонкие голоса! Теплые, неутомимые руки советских людей проведут сюда воду не для молитвенных обрядов, а для колхозных садов и полей. Новые книги зашелестят своими страницами в недавно отстроенном жилище. Живые голуби заворкуют на кровле, увитой виноградом. И не «престарелая девственница», а цветущая молодая мать с ребенком на руках встанет у дверей, поджидая на закате мужа.

— Да здравствует жизнь! — громко воскликнули мы.

И эхо, полузадушенное песком, глухо, как сквозь сон, но все же ответило нам...

В одной из своих статей академик Винтер приводит высказывание американского экономиста. Говоря о хищническом использовании в США водных ресурсов и земель, тот утверждает: «Еще несколько поколений, и у нас будут такие пустыни, которых нет ни на одном материке».

Трагическое превосходство! Предоставим же его американским делягам.

Титанические возможности заложены в самой структуре нашей планеты. Гибралтарская гидроэлектростанция, будь она построена, превратила бы Гибралтар в неиссякаемый источник энергии. Физическая природа планеты Земли идет навстречу человеку, но социальная природа капиталистического общества препятствует осуществлению гигантских замыслов...

— Однако пора поторапливаться, — озабоченно говорит Николай Петрович. — Уже вечерет, а путь неблизкий. Да и главные барханы еще впереди.

Итак, снова в путь, тем более что солнце уже высоко над горизонтом.

В сентябре здесь темнеет быстро. Идя к закату, легко плывущее огненное светило с каждой минутой превращается в тяжело остывающий шар, собственной тяжестью увлекаемый за край неба.

Так же быстро зной сменяется к вечеру прохладой, а ночью — холодом. Вообще период, пригодный для археологических работ, в Кзыл-Кумах сравнительно недолог. До августа — днем невыносимая жара. С августа — укорачиваются дни. Чувствуется приближение осени.

— Я первый замечаю это явление, — еще в Бухаре сообщил нам завхоз, размещая на грузовике свои мешки.

— Почему же именно вы?

— Резко снижается потребление арбузов и повышается потребление хлеба. Вы сами увидите...

Глаз быстро утомляется в пустыне. Утомляется прежде всего от безлюдия. Мы только однажды встретили у колодца пастухов с большой отарой совхозных овец. Особенно внимательно смотрели на нас мягко, словно в черных чулочках, ступающие ягнята. У одного из них была перевязана задняя ножка: возможно, что и он накололся на совсем уже «малокультурную» колючку.

Но главное — глаз утомляется, не видя растительности. Только здесь понимаешь, как прекрасен, как дорог нам зеленый цвет, как хороши были хлопковые поля, оставшиеся там, позади. Низкие, прижатые к земле сухие пучки трав и кустарников могли радовать овец, но не нас.

И вдруг, словно вызванный к жизни силой нашего желания, перед нами возник лес. Если не лес, то, во всяком случае, роща, но странная, необычная, непривычная для глаз.

Узловатые деревья были невысоки. Их по-осеннему желтое, седое от пыли оперение ничем не напоминало ни лиственных, ни хвойных лесов и почти не отбрасывало тени. Это были саксауловые заросли, насаженные рукой человека.

Мы подъехали к лагерю археологов как раз в ту минуту, когда скрылось солнце. Оно скрылось, но сия-

ние еще переполняло западные области неба, постепенно темнея, переходя из тона в тон с той неуловимостью, о которой может дать представление только музыка.

Десять палаток, вытянутых в одну линию, перед ними прямоугольный стол, за которым между двумя кольями натянута холстина с таким расчетом, чтобы днем она хоть как-то затеняла обедающих (в этом мы убедились на следующий день), деревянный ларь для продуктов, глиняная печь для варки пищи и возле нее средоточие всей стоянки — колодец, — таким предстал перед нами лагерь, затерянный в Кзыл-Кумах.

Вокруг была пустыня со всеми ее приметам. Даже кочевая юрта не была забыта: там жила семья казахов, работавших на раскопках. Их верблюд возил сучья саксаула для топлива. Он стоял сейчас у колодца и был так отчетлив, какими только и бывают предметы в час заката, если смотреть на них против света. Верблюд стоял неподвижно, и между двумя его темными горбами пламенело небо.

А метрах примерно в пятистах от лагеря, к востоку, откуда должны были показаться первые звезды, сумрачно громоздились земляные валы, усеченные треугольники, кубы и полукубы разрытой почвы, остатки стен — все, что много столетий тому назад было городищем Варахшой, где и происходили теперь раскопки.

Наш приезд был встречен приветственными кликами. Впрочем, тут же выяснилось, что относились они главным образом не к нам, а к давно ожидаемому радиоприемнику. Наиболее молодые из археологов, комсомольцы, поздоровавшись с нами, тотчас же скрылись с заветным ящиком в одной из палаток, откуда вскоре начали доноситься радостно оживленные голоса, какие-то потрескивания, затем что-то разбилось. Это вызвало новый взрыв оживления, на этот раз горестного, после чего все затихло.

— Такое явление можно было предвидеть, — мрачно произнес завхоз, сгружая мешки.

Что касается нас, то, сперва чрезмерно возгордившись не нам оказанным приемом, мы впали теперь в

другую крайность: нами овладело угнетенное состояние. Мы сообразили, что неудобно, дико даже, являться незваными на ночь глядя (и в таком количестве!) в пустыню, не догадавшись захватить с собой хотя бы колбасы (а есть очень хотелось). Прибывшие с нами продукты были ведь рассчитаны не на нас.

Но уже шел навстречу нам начальник экспедиции Василий Афанасьевич. И от его спокойной улыбки и очень тихого голоса нам всем стало спокойно и просто. «В крайнем случае — наляжем на арбузы», — перешепнулись мы.

К этому времени на песке был разведен огонь. Жарко запылали сучья саксаула. Укрепленный меж двух камней котел для плова был так велик, что мы полностью обрели душевное спокойствие.

Тот не знает по-настоящему, что такое плов, кто не едал его прямо с огня, с дымком, под первыми звездами, свежим вечером после палящего зноя и долгого, утомительного пути; кто не видел вокруг себя дружественных лиц сплоченных и увлеченных любимой работой людей, готовых поделиться с нами своими удачами (а иногда и трудностями), лиц того особого склада, которые, как правило, встречаются чаще всего в Советской стране.

После плова был подан нарезанный крупными ломтями арбуз. И, честно говоря, не заметно было, чтобы наступление осени как-то снизило потребление этого продукта. Превосходнейший ужин завершился дымящимся чаем. Каждый (за исключением нас) пел его из лично ему принадлежащего сосуда. Сосуды были разнообразны и до известной степени отражали характер владельцев. Здесь были и объемистые эмалированные кружки, и плоские походные алюминиевые стопки, и даже изысканная фарфоровая чашка (правда, без ручки).

После ужина остались только Василий Афанасьевич и мы. Керосиновая лампочка бросала маленький круг света на клеенку, покрывавшую стол. Над нами, в небе, все явственнее проступали созвездия. Барханы окутывались тенями ночи.

— Пустыня, — с замиранием сердца повторяли мы.

— Полупустыня, — мягко уточнял Василий Афанасьевич и тут же, утешая нас, добавлял: — Но на грани пустыни.

И все же это не было только утешением: это была правда...

Василий Афанасьевич много рассказал нам о раскопках и очень немного о себе. Родился в Вятке, в семье лесничего. Поступил в университет двадцати семи лет от роду. В Средней Азии уже тринадцать лет. В настоящее время — кандидат исторических наук. Живет в Ташкенте. Раскопки Варахши были начаты под его руководством в 1939 году, но война прервала изыскания; теперь они будут продолжены. «Уже найдено кое-что интересное, вы это увидите завтра утром». Сейчас в возглавляемой им комплексной экспедиции Академии наук СССР и Академии наук Узбекской ССР принимают участие археологи Ленинграда и Ташкента. Есть молодежь, аспиранты Ташкентского археологического института. «Вы не всех еще видали, увидите завтра утром».

Василий Афанасьевич рассказывал неторопливо и очень негромко, изредка отводя ото лба прядь прямых, выгоревших от солнца волос, а мы слушали.

Вот ведь как: сидит человек в нехитром ватнике (к вечеру все археологи надевали ватники, а ночью укрывались ватными одеялами), сидит, повторяю, такой человек, говорит крайне тихо (такая у него манера), жестикулирует мало и невыразительно, а во всем его существе такая убежденная любовь к своему делу, которую не скоро забудешь. Между прочим, зашла речь и о зарослях саксаула, виденных нами в дороге. И тут Василий Афанасьевич заговорил несколько громче, глаза его блеснули.

— Это очень важно, — сказал он, — саксаул и черкез закрепляют движущиеся пески. Завтра, если у вас будет время, мы подведем в этот лесхоз.

В эту минуту перед нами был настоящий сын лесничего, с детства любящий лес и, возможно, тайно тоскующий по нему в здешних местах.

Теперь — о Варахше.

Бесплодная пустыня, лежащая сейчас перед нами, все это «земли древнего орошения».

До XI века Варахша была сначала цветущим селением, а впоследствии и городом, занимавшим, как теперь уже установлено, площадь в пятьдесят тысяч гектаров. Богато разветвленная сеть каналов, арыков и арычков подводила к Варахше речную воду Зеравшана. Еще и сейчас можно видеть следы этой древней оросительной системы. По пути сюда мы их видели, эти следы, распознаваемые лишь по прямым линиям, смутно темнеющим среди скудных, шерстистых на вид, песколюбивых растений, так называемых псаммофитов первого и второго порядка, чье название напоминает имена египетских фараонов. Воды давно уже нет, но линии бывших каналов сохранились. Так иногда в старой тетради: стерлись записи, а линейки еще угадываются.

Об одном из правителей старого Мерва мы узнаем, что, желая снискать расположение народа, он прежде всего «велел прочистить каналы, иссохшие, как сердца влюбленных в разлуке».

В другом месте летописец прославляет «распределяющего воду начальника, более сильного, чем начальник охраны».

«И не увидишь ты более совершенного и искусного распределения воды», — распинается летописец. Дальше он приводит слова начальника: «Я не оставляю ни капли справедливости, чтобы не употребить ее в дело, кроме того, чего я сделать не в состоянии».

Нельзя не обратить внимания на витиеватое коварство этого высказывания. Известно, что «капли справедливости» изливались главным образом на богатых и знатных. Так обстоит дело еще и сейчас на колониальном Востоке. «Прочистка» каналов не намного улучшает дело.

Междоусобные войны и нашествие в XI веке арабов-завоевателей подорвали древние оросительные системы, и «этим воспользовались пески». Снова была развязана их грозная сила, скованная было усилиями предшествующих поколений. Снова началась пустыня,

Сравнительно недавно в Бухарской области погибло селение Вардандзи. Еще в 1929 году там был оживленный базар, где продавали домашний скот, плоды, овощи, ткани, утварь, особенно гончарные изделия. Пески шевелились где-то на окраинах.

Через десять лет в Вардандзи оставалась только одна старуха, не пожелавшая покинуть дом, где она родилась. Сыновья и внуки, переселившиеся в другой аул, по праздникам навещали ее.

Увязая в песке, подходили они к знакомому жилью и молчаливо садились за праздничный обед на ковре, разостланном в помещении: во дворе, под деревом был уже песок. Старуха, строгая, прямая, управляла трапезой. Гости угощались пловом, стараясь не замечать песчинок, скрипевших под зубами. В тишине было слышно жалобное блеянье голодного барана.

В один из таких праздничных дней старухе принесли ее первого правнука. Суровая прабабка просветлела при виде его и дала ему поиграть рогом недавно погибшего барана. Черноглазый мальчишка ухватил его и засмеялся.

— Джигит! — сказала прабабка.

Отец ребенка только того и ждал.

— Ана¹, — смиренно молвил он, — не поедете ли вы все же с нами, как мы не раз просили. Верблюды ждут у порога.

В эту минуту песчаный вихрь ворвался в дверь и, как одержимый, закружился по комнате. Ребенок испугался и заплакал.

— Трус, — сказала старуха. — Уберите его и уберите сами.

В 1949 году Василий Афанасьевич, пролетая на самолете низко над Вардандзи, не смог уже обнаружить ни следа жилья.

В районе Варахши, проследив движение одного большого бархана, он установил, что за десять лет тот продвинулся на сто пятьдесят метров.

В этом нет ничего удивительного, если учесть,

¹ Ана — мать (узб.).

что к 1925 году в Бухарском оазисе было засыпано подвижными песками более восьмидесяти тысяч гектаров возделанных земель и несколько селений. Пески наступали на оазис фронтом до ста пятидесяти километров шириной.

Такая же участь постигла некогда и Варахшу. Жители, теснимые песками, постепенно покинули ее. Питаясь остатками влаги, некоторое время, вероятно, еще буйствовала одичалая растительность, кишачая змеями. Коршуны гнездились в развалинах. Потом и они исчезли...

Покуда мы сидели за столом, ночь все углублялась. Она здесь наступает на три часа раньше, нежели в Москве, — ведь это Восток.

В Москве еще горели вечерние огни, шли спектакли, звонили телефоны. А здесь была первозданная ночь. И каюсь, эта тишина, эти сонмы звезд в глубинах неба, эти несметные миры, плывущие в эфире, — все это подавило меня. Световой кружок нашей лампадки был так ничтожен: точка, искра, пылинка света.

«Говорит Москва!» — громко и внятно, на всю пустыню раздался вдруг голос. Это был радиоприемник «Родина», о котором мы совершенно забыли. Налаженный, наконец, молодыми археологами, он заговорил в час «Последних известий».

«Говорит Москва!» И на голос Москвы отовсюду вышли все бодрствующие, засыпающие и проснувшиеся. Из своей юрты близ колодца вышла семья казахов.

Все мы, усевшись на песок, полукольцом окружили палатку, откуда несся голос.

Родина говорила с нами.

Мы услышали густой, слитный шелест миллиардов колосьев с полей Украины, гудки уральских заводов, плеск Баренцева моря под китобойным судном, детский лепет в яслях на отрогах Памира, скрипку советского виртуоза на Международном конкурсе. Бой часов на Спасской башне.

Мы слушали о том, что уже сделано и что еще предстоит сделать для блага великой нашей страны.

Мы молчали, и, говоря словами поэта, перед нами

...в сумраке без счета проступали,
как звезды, предстоящие дела.

Прошлое и настоящее

После долгого и необычного дня мне крепко спало в «женской» палатке, где меня приютили Наталья Васильевна, ленинградка, работник Эрмитажа, и ташкентская комсомолка, аспирантка Археологического института. Эта девушка, по-юношески стройная, с гибкой, как стебель, шеей и зеленоватыми глазами (такие глаза часто бывают у узбечек), являла собой образец классической восточной красоты. Возможно, что именно так выглядела красавица Ширин, воспетая Алишером Навои.

Тепло укрывшись, я спала непробудно. Однако и сквозь сон, за брезентом палатки, у самой своей щеки я ощущала песок пустыни. Ночь была очень холодная. Но с восходом солнца палатка стала нагреваться с такой быстротой, как будто на нее неся курьерский поезд с грузом огня. Наступало знойное утро.

«Освежи водой и накорми путника», — предписывает восточное гостеприимство. Мы были накормлены досыта, но жесткой солоноватой водой из колодца надо было освежаться крайне бережно. Каждая кружка воды была здесь более драгоценна, чем кружка алмазов.

Пока мы умывались, к нам, трем женщинам, подошла четвертая. Это была казашка Джумагуль. Ее муж и отец работали на раскопках.

Джумагуль была в штанах, стянутых у щиколоток, в куртке без рукавов, надетой на легкую блузу, с головы спускалось на плечи покрывало. Кожа лица была темна от солнца. И только на лбу, под повязкой, сохранилась более светлая полоска. На руках у Джумагуль сидел ребенок в вязаной тубетеечке, смуглый, как кофейное зернышко. Его звали Тохтубай.

Девушка Ширин говорила немного по-казахски, несколько слов знала и Наталья Васильевна: они служили мне переводчицами.

— Сколько месяцев Тохтубаю? — спросила я.

— Ему скоро год. Маленький. Не видел еще ни одного дождя.

— А как по-казахски «вода»? — спросила я.

— Су, — ответила Джумагуль.

— Су, су, су, — заворковал Тохтубай из-под материнского покрывала.

— Легкое слово, хорошее слово. Каждый ребенок может сказать, — объяснила мать.

Пространство, отделяющее лагерь от раскопок, много веков тому назад было местом погребенья. Если взглянуть, то на серой, как пепел, поверхности почвы, словно наведенные мелом, проступают очертания скелетов: хоронили совсем неглубоко.

Но тут же, под тонким слоем земли, — бесчисленные следы жизни: монетки, изъеденные песком и ветром, стеклянные осколки, похожие на льдинки, глиняные черепки, покрытые «пустынным загаром», — так именуют археологи эту патину времени и солнца.

— Уговор, — предупредил нас Василий Афанасьевич, — все, что подымете с земли, сначала покажите мне. Если это что-нибудь новое — одиннадцатого, ну десятого века, пожалуйста, можете оставить себе. А все более раннее — уже наше.

Сказав это, он вынул из кармана и подарил мне недавно найденное им прясло: кружок из красноватого камня, величиной со старинный медный пятак, толщиной в два пятака, с отверстием посередине. Такое прясло надевали на веретено для веса.

С одной стороны прясло было гладкое, точно отполированное, с отдельными будто оспинками, с другой — мелко шероховатое.

Я люблю эту вещицу. Она и сейчас передо мной. Трудлюбивая рука изо дня в день прикасалась к ней, пользовалась ею в труде. Каменное пряслице, как чаштицами радия, заряжено рабочей энергией, над которой не властно время. Полезно иметь на своем письменном столе такую вещь...

Рабочий день на раскопках начался, как обычно, в восемь часов утра. Солнце не высоко, но зной уже силен. И только на площадках, между нарытыми грудами земли, еще таится прохлада, как вода на дне кувшина.

Археологи и землекопы расходятся по своим рабочим местам.

В первой стадии работы занята лопата землекопа. Я задала (наивный, конечно) вопрос: не случается ли по ошибке копать, допустим, стену, приняв ее за почву. Ведь они друг от друга не отличимы: глина и глина.

— Э-э-э-э,— укоризненно покачал головой старый казах, поняв, о чем речь.— Смотри,— он копнул, и отвалился рыхлый кусок — почва.— А смотри опять,— он осторожно вонзил лопату в другое место. Там плотность была совсем иная. Это был древний кирпич из глины-сырца.

Рядом с землекопом находится коллектор, в чьи руки прежде всего попадает каждая находка. Правда, и коллектор берется за лопату, когда это нужно. Но в основном — его орудия более деликатны и причудливы. Иногда это сапожное шило, которым накалывают почву, чтобы затем отделить ее мелкими частицами. Иногда — металлическая лопаточка, наподобие той, которой пользуются врачи, заглядывая вам в горло. (Пренеприятное ощущение!)

Коллектором была и девушка Ширин. В рабочем комбинезоне и широкополой соломенной шляпе с резинкой у нежного подбородка (зеленоватые глаза блещут в тени), стройная, как юный тополь... Я подумала: а не мешает ли это заниматься прошлым, когда настоящее так прекрасно.

И рядом с Ширин — Наталья Васильевна. Русоволосая, светлые глаза. Даже «пустынный загар» не изменил ее чисто славянского облика.

Но молодые узбекские и русские археологи не думали обо всем этом в настоящую минуту. Все их внимание было обращено на большой сосуд для масла или для вина. Глиняное бедро этого сосуда, уже наполовину освобожденное от земли, было по-своему не менее гармонично, чем бедро античной мраморной статуи.

Было бы затруднительно определить, в какой точке раскопок находится обычно сам Василий Афанасьевич.

Его негромкий голос раздается всегда именно там, где нужен совет, где происходит заминка или, наоборот, где все идет так волнующе хорошо, что не следует торопиться, чтобы поспешностью не повредить делу...

Все выше солнце, все жарче. Все короче тени на площадке, где мы находимся. Перед нами на земле разложены фрагменты алебастровых орнаментов, найденные в Варахше.

Вот морда коня с впившейся в нее лапой грифона: нападение было внезапным и смертельным.

Вот точеные ножки джейрана.

Голова джейрана с прямыми рожками.

Козлик.

Часть каменной драпировки.

Колчан со стрелами.

Обломок стены с головой юноши в венке из виноградных гроздьев. Отдельные гроздья винограда, причем тех самых сортов, какие разводятся и сейчас в Бухарской области: «бишты», «хусайне», «тайфи розовый». Цвет, конечно, не передан, но гроздь полна жизни. И возможно, земляные пчелы источили так усердно именно ее потому, что были введены в заблуждение столь реалистическим искусством.

Наталья Васильевна рассказывает нам, как все волновались, когда показалась голова юноши: человеческие изображения здесь большая редкость. Все они были уничтожены арабами: мусульманская религия запрещает изображения людей.

И вот показалась голова юноши. Все собрались в одно место, узнав, что «идет подбородок», вспоминает Наталья Васильевна. Голова юноши тоже была частью орнамента.

Задача археолога — понять язык этих обломков, сложить из них внятную скульптурную фразу. Расшифровать ее. Найти «ключ орнамента».

Таким «ключом» отмыкается многое. Всему найдется свое место: бесформенная глыба оказывается туловищем, к которому прирастают ножки джейрана.

Обломок, имеющий форму раковины, превращается в надбровную дугу на лице юноши, рассыпанные виноградины уплотняются в гроздь. Не хватает листьев, но они угадываются. И понемногу становится ясен замысел тысячелетней давности.

Вот и сейчас Наталья Васильевна, вся залитая солнцем, в задумчивости глядит на лежащие у ее ног обломки: возможно, ищет «ключик». А я смотрю на нее. Ленинградка. Сотрудница Восточного отдела Эрмитажа. И передо мной встает хмурый, оледеневший Эрмитаж дней блокады. Окна наглухо закрыты. Осколком снаряда ранен один из десяти гранитных атлантов, поддерживающих перекрытие портика на улице Халтурина.

В самом здании — безмолвие, почти пустота. Драгоценные полотна мастеров, скифские золотые украшения, китайские вышивки, русский фарфор — все это тщательно упаковано и увезено на самолетах. В эрмитажных галереях остались только монументальные статуи: какая-нибудь мраморная Диана с луком и стрелами, вся покрытая инеем. Однако и эта бесстрашная охотница вздрагивает от разрывов бомб и снарядов, словно и ее каменное сердце доступно страху.

Но по затемненным коридорам, в валенках и платках, с масляным светильником в руке проходят работники музея. Жизнь еще теплится в глубине здания. Она не прекращается. И зимой 1942 года, в люто морозный день Восточный отдел Эрмитажа отмечает дату рождения великого азербайджанского поэта Низами...

Сейчас Ленинград за тысячи километров отсюда. Не хмурое балтийское небо над нами, а бездонная синева среднеазиатской осени с ее щедрым, слишком щедрым солнцем.

Наша страна необъятна. В то время как залитый солнцем Узбекистан утопает в холмах свежего хлопка, с Курильских островов сообщают, что команда «Циклона» уже выполнила план добычи усатых китов, однако за ней еще числится долг по кашалотам.

Мы в Варахше, перед стенами бывшего дворца правителей этого края, бухар-худатов. Раскопки дворца начались еще до войны. На одной из стен обнаружена редчайшая, хорошо сохранившаяся роспись

V—VI веков нашей эры. Фреска, писанная по глиняной штукатурке, передает сцену охоты. Сидящий на слоне принц охотится на гепардов. Здесь же, на слоне, и его погонщик, карнак. Он сознательно изображен маленьким, гораздо меньше принца, как и подобает по законам социальной перспективы.

Слон необычен: он в яблоках. Оседлан, как лошадь, седло с подхвостником: все признаки того, что художник никогда не видал ни одного слона и изобразил его понаслышке. Незнание изображаемого предмета всегда мстит за себя.

Любопытная деталь: живописец, оставшись недоволен рукой принца, сжимающей копьё, стер ее и нарисовал другую, но очертания первоначального варианта сохранились. Мы присутствуем при творческом процессе: человек колебался, искал, зачеркивал. Знакомо, все знакомо.

На той же фреске на второго слона бросается вставший на задние лапы пятнистый грифон, с хвостом, похожим на каллиграфический росчерк.

Фотографии этой известной росписи не дают представления о ее своеобразном, розоватом колорите. Он очень точно передан в зарисовках археологов, в частности в альбоме Натальи Васильевны.

Благодаря раскопкам стал доступен дворик с крытой террасой, где сохранилась суфа, род глинобитной тахты. Покрытая коврами, она служила местом отдыха. Здесь, в часы дневного зноя, приближенные очередного правителя пили чай, плели интриги, играли в шахматы.

«Это в точности поле битвы, сказал бы ты»,— говорится о шахматах у Фирдоуси.

В другом месте рассказано о том, как, вручая иранскому шаху еще не известные в Иране шахматы, индийский посол сказал: «Пусть опознают все фигуры по имени, и каков путь их движения, и где их место. А если прославленные среди иранского народа окажутся не в силах познать это, то, поскольку они не выдерживают сравнения с нашим знанием, впредь не требуют налога и подати, а вы представляйте налог нам, ибо знание есть лучшее из того, что приносит славу».

«Победа, одержанная разумом,— вот суть этой игры»,— утверждает древний шахматист.

А покуда на прохладном дворике Варахши «разум одерживал победы», налоги и подати тяжко обременяли народ, междоусобицы истощали земли, разрушали сооружения, развязывали силу песков.

Давно уже опровергнуты домыслы зарубежных иранистов о несамостоятельности культуры Средней Азии. Уже в седой древности здешняя культура была самобытна и высока, искусство разнообразно. Хорезм, Педжикент, Варахша — все это различные ответвления могучего ствола среднеазиатского искусства.

Оно было самобытно, прекрасно, но радовало только избранных, хотя, как это всегда бывает, искуснейшие мастера были выходцами из народа. В наше время блестящие образцы таких стариннейших искусств Узбекистана, как резьба по алебастру, по дереву, по мрамору, можно видеть в Ташкенте, в Государственном театре оперы и балета имени Навои.

Шесть залов-кулуаров — Ташкентский, Самаркандский, Бухарский, Хивинский, Ферганский и Термезский — олицетворяют собой шесть областей республики. В Бухарском зале легчайшие алебастровые орнаменты, наложенные на зеркальные пилястры, создают полную иллюзию кружевных стен, висящих в воздухе.

Искусство, сжатое здесь, в Варахше, тесными дворцовыми стенами, вышло теперь на широкий простор чудесных зданий, созданных народом для народа.

Жизнь в пустыне

Солнце достигло середины неба и жжет нестерпимо: не спасают ни широкие шляпы, ни темные очки. Близится обеденный перерыв. Серенький ишачок (он пасся неподалеку) первый почувствовал это и уверенной рысцой направился к лагерю.

«Наши часы»,— зовут его участники экспедиции. «Часы немного спешат,— смеются археологи,— но и нам пора».

Пора, пора!.. Алые пятна плывут перед глазами. Впечатления в полном смысле слова ослепили нас. Надо поесть (теперь мы уже не волнуемся по этому поводу), переждать разгар зноя и на закате вернуться в Бухару. Все тот же Николай Петрович отвезет нас на своем испытанном «корабле пустыни». Кстати, и товарищ завхоз вспомнил, что ему снова необходимо в Бухару, так как он забыл купить соли. Впрочем, знающие люди намекают, что «соль» заключается в бухарском почтамте, куда приходят письма из Ташкента.

Как бы там ни было, пора обратно в лагерь.

Но в эту минуту послышался конский топот, облачко пыли возникло вдали. Оно все приближалось.

— Это, наверно, Тамара Рыбникова, — сказал Василий Афанасьевич, щурясь от солнца: он не носил очков.

Мы заинтересовались, кто такая Тамара Рыбникова.

— Девушка из лесхоза, — ответили нам.

И правда, это была она.

Тамара Рыбникова ездила верхом как заправская наездница, совершенно не боялась жары, свободно изъяснялась по-узбекски и по-казахски. Одета была примерно так же, как Джумагуль: узкие штаны, ситцевая блуза до колен, безрукавка. Только белый головной платок был повязан по-русски. И сама Тамара была русская девушка, родом из Воронежа, лесовод по образованию, вот уже три года заведующая здешним лесхозом, чьи саксауловые насаждения мы видели.

Сейчас, в сопровождении двух конных лесничих, Рыбникова отправлялась, как она выразилась, «по хозяйству». Происходило укрупнение лесхоза: вместо трех лесничеств он должен был объединить пять. Масштабы работ возрастали и здесь.

По дороге Рыбникова заехала к своим ближайшим соседям — археологам и кстати попеняла им:

— Небось в прошлом году, когда собственного колодца не было, к нам каждый день ездили. А теперь и дорогу забыли.

Мы познакомились с девушкой из лесхоза и сказали, что предполагали заехать в ее владения.

— Вот и отлично,— обрадовалась Тамара Рыбникова, готовясь снова вскочить на коня.— На месте все вам и покажем. И оборудование и транспортную базу: там у нас лошади, ишаки, верблюды, быки. Машины пока нет, но обещана. Значит, жду вас.

— А вы скоро вернетесь?

— Скоро. Дней через пять, не больше.

«Скоро!..» Для нее это было «скоро».

Вот какое «хозяйство» было у Тамары Рыбниковой. Вот какой счет времени был у нее.

Нет, так долго мы не могли ждать. Но кое-что Рыбникова рассказала нам тут же, во дворике бухархудатов. Все это я записала в свой блокнот. А услышанное в Варахше дополнила прочитанным в Москве.

Основная задача лесного хозяйства в Узбекистане (и вообще в Средней Азии) — это закрепление движущихся песков. Одним из таких «пескоукрепителей» является черный и белый саксаул. Разводят здесь еще черkez и кандым — растительность песчаных пустынь. Но первое место занимает саксаул. Помимо всего прочего, он «теплотворен» — по своим топливным качествам приближается к каменному углю.

Посев семян саксаула производится с самолета. Но семена саксаула и сами по себе «крылаты». Микроскопическое летное приспособление, которым снабжено семечко, далеко уносит его от намеченного места. Чтобы предотвратить это, семена сначала «обескрыливают» веялкой.

На рассвете или на закате, в часы безветрия, подымается в воздух самолетик «ПО-2». Летя на высоте двадцати пяти — тридцати метров, он несет с собой будущие леса. В кабине помещается аппарат с лопастями и раструбом, «юбкой». Во избежание чрезмерной густоты посева семена смешиваются с некоторым количеством песка. На один гектар полагается три килограмма семян саксаула. Саксаул живет двадцать лет, после чего его корневая система погибает.

Первое время, когда лесоводство здесь было в новинку, старые узбеки недоверчиво улыбались.

— Кто, спрашиваю я вас, может остановить пески? — вопрошал какой-нибудь старик в белой чалме.—

Песок — вот, — старик разжимал горсть, и песчинки неудержимо устремлялись вниз. — Песчинки, как звезды. Но кто, спрашиваю я вас, может остановить звезды? Такими создал пески аллах. Пророк также не учил нас останавливать пески.

— Да, но я слышал, что у христиан в их Ветхом завете кто-то остановил солнце, — раздумчиво говорил другой старик, великий начетчик; в молодости он переписывался по религиозным вопросам с Львом Толстым.

— Солнце на небесном своде — числом одно, а звезды — неисчислимы, — упорствовал первый старик.

— Я, простите, вмешаясь, Ризамат-ака, — почтительно произносил его внук, комсомолец. — Ветхий завет, поскольку он ветхий, не может сказать разумное новое слово по данному вопросу. Солнце остановить нельзя, звезды тоже, а пески — посредством растительности — можно. И мы к этому уже приступили.

Теперь такие разговоры невозможны. Встречая Тамару Рыбникову в районном центре, куда она изредка навещается, и, представьте, тоже за солью, седобородый старик, но уже без чалмы, с упреком говорит:

— Девушка, девушка, мало деревьев сажаешь. Наш колхоз «Хартум» хочет сеять новый хлопок, но сначала надо закрыть его от песков.

«Хартум» означает «хобот». Узким своим концом он вдаётся в пески, и колхоз, естественно, стремится расширить свой хлопковый клин даже под угрозой утратить живописное название...

Помимо древесных растений, в пустыне встречаются различные виды кустарников, «кустарничков» и «полукустарничков». Их апрельское цветение восхитительно, но кратко, недолговечно, эфемерно. Весна хороша, но за нею следует все испепеляющее лето. И вот тогда-то растения пустыни полностью проявляют свои удивительные способности добывать влагу буквально «из-под земли». Приводится в действие сложная «водопроводная» система корней, длиной иногда до ста метров.

Неутомимо трудятся такие «кустарнички» или даже «полукустарнички» из семейства «кумарчиков», песколюбы, пионеры барханных песков, однолетники, работяги-упрямцы (употребляю это слово потому, что нет существительного от прилагательного «упорный»), каждый год наново начинающие свою работу. Все эти нетребовательные растеньица вызывают к себе чувство, которое никак иначе не назовешь, как чувством уважения.

Поэтому так трогательно звучит сухая служебная фраза из специальной брошюры о полезных растениях пустыни: «Кумарчики безусловно заслуживают должного внимания», — читаем мы. И даже не зная лично этих кумарчиков, от всего сердца соглашаешься: «Заслуживают должного внимания. Да, да, безусловно заслуживают».

К растениям пустыни принадлежит также и полынь, по-латыни «артемизия». Одна из ее разновидностей, растущая в Кызыл-Кумах, носит необыкновенно звучное название «артемизиетта эфемероза».

Видов полыни очень много — свыше двухсот. Полынь Черноморского побережья — «артемизия инодората» — знакома мне с детства. Сколько раз я вдыхала ее аромат, хотя ботаники и утверждают, что она, инодората, «непахнущая». Или это аромат воспоминаний?

В Ленинграде, в знаменитом гербарии Ботанического института, папки с артемизиями занимают несколько полок. Я встретила там и свою инодорату.

Ботанический институт имени академика В. Л. Комарова был организован в Петербурге на базе Ботанического сада, выросшего, в свою очередь, из Аптекарского огорода, основанного Петром Первым. Основывая его, Петр сказал: «Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей, пристыдят многие просвещенные народы успехами своими в науке, неутомимостью в трудах и величием твердой и громкой славы».

Одиннадцатого февраля 1721 года, будучи избран членом Парижской академии наук, Петр послал туда благодарственное письмо, в котором просил сообщать ему о новостях науки и искусства. Со своей стороны,

Петр отправил в Париж карту Каспийского моря, только недавно впервые снятую первой экспедицией.

Экспедиция эта ознакомилась и с растительностью «Киргизских степей», как именовали тогда Казахстан. Рукопись под названием: «О произрастаниях, находящихся в сих степях» — сообщала между прочим следующее (сохраняю орфографию подлинника): «Саксаул деревцо высотой в сажень или менее того, много походит на сосну, листья тонкое и длинное, некоторые сказывали, что к зиме листья опадают, а другие утверждают, что неоподают; весьма жестко, но хрупко; топором его не рубят, но взяв руками за верхушку, ногами при корне подбивают; горит весьма жарко, и огонь в угольях довольно долго держится. С золы делают щелок, с которого делают мыло. Растет около Сыр-Дарьи и в других местах открытых степей».

В той же рукописи приводится легенда о саксауле.

«Сказывали киргизы фэбулу сию, что прежде сие дерево было довольно высоко и, поссорясь с сосной, имело баталию и, будучи побеждено, отошло в степь и унизилось, чтобы сосна его не могла видеть, а сосна, искав его, больше поднялась и пошла высматривать его на горе, где оно находится».

В наши дни «фэбула» о саксауле не соответствует действительности. Сейчас саксаул занят не партизанскими вылазками, не одиночными «баталиями» со своими родичами. Он ведет организованные бои огромного масштаба, он борется против несметных полчищ барханных песков.

Сила воды, ветроломная сила деревьев и кустарников, изобилие солнечного тепла и света — все будет использовано для блага народа.

И тогда, по великолепному выражению даже не поэта, а ученого: «Наступит зеленая смерть пустыни».

Иначе говоря — *жизнь*.

В СТРАНЕ КАМНЯ И ВОДЫ

Советской писательской делегации, приехавшей в Хельсинки в 1959 году, повезло: мы очутились там вскоре после посещения Финляндии товарищем А. И. Микояном. Это крупное политическое событие согрело многие сердца в холодной северной стране. «Прибыл со снегом — встречен розами», — писала о визите Микояна одна из газет. И какая-то часть этих роз, в прямом и переносном смысле, выпала и на нашу долю.

Мы тоже «прибыли со снегом», правда, сменившимся вскоре дождем. Время года вообще было неподходящее для путешествия. Озера еще не спали под первым льдом, хвойные леса, в клочьях снега, сумрачно чернели. Ветры дули пронзительно. Природа торопилась в предзимних хлопотах: ей было не до красот. И все же она была прекрасна.

Мы наблюдали ее и в Хельсинки, с трех сторон омываемом морем, и в центральных областях страны, куда нас повезли наши новые друзья, писатели Финляндии. Программа, разработанная ими для нас, была на редкость разнообразна и содержательна.

Но сначала о Хельсинки.

Мне передавали высказывание одного москвича. О Хельсинки он выразился так: «Хороший городок!» Городок... Как неточно и как несправедливо.

Зданию, чтобы стать монументальным, совсем не нужна грандиозность. Городу, чтобы быть столицей, вовсе не требуется многомиллионное население. Да оно было бы и невозможно в небольшой стране.

Хельсинки, с его бодрящим, упругим, «спортивным» ритмом уличного движения, с его подтянутостью, собранностью, с отличной архитектурой, с отменным порядком во всем, с театрами, музеями, — это настоящий крупный европейский город. Настоящая столица, культурный и административный центр страны.

Хельсинки совершенно своеобразен. Он весь высечен в граните. Автобус идет меж двух гранитных стен, стесанных на высоте человеческого роста. Рядом с бензоколонкой вдруг выступает из земли гранитный бугор. У входа в продовольственную лавку грань гранита превращена в порог. Так и кажется, что в самой лавке, за базальтовым прилавком, продавец с каменным выражением лица предложит вам вырезку из красного гранита...

Но нет. В лавке самообслуживания — тепло, светло, удивительно аппетитно, щеголевато. На стене — схематическое изображение коровы расцвечено маленькими электрическими лампочками, чтобы хозяйке удобнее было выбрать нужную часть.

Неподатливый камень остался снаружи. А внутри — эластичность, домовитость, предельная чистота.

В новых, недавно отстроенных кварталах особенно отчетливо видно неустанное единоборство человека с камнем. Твердость против твердости: и человек побеждает.

В широкие, кристально ясные стекла любого здания непременно заглядывает дерево или водная поверхность. В обязательном, установленном муниципалитетом порядке между домами везде оставлены куски леса. А вода — она и так повсюду...

Один из вопросов, обязательно задаваемых мне в частных и официальных беседах, был о самом Хельсинки: какие изменения нашла я в этом городе со времени моей первой поездки в Финляндию, ровно двадцать пять лет тому назад?

Впечатления у меня были тогда самые мимолетные: я была в Хельсинки проездом. Но сейчас я не могла все же не заметить, что город стал еще красивее, оживленнее, благоустроеннее, обогатился новыми зданиями, такими, например, как здание главного почтамта. Его чистые, строгие очертания бросаются в глаза сразу же по выходе из вокзала.

Нет, неправ был москвич. Но не прав и тот финн, который, увидав невзрачный подмосковный домишко с крышей, густо уставленной телевизионными антеннами, недовольно сказал: «Лучше бы крышу починили». Приезжий, видимо, еще не знал, что у нас и крыши чинят, и телевизоры приобретают, а главное, возводят целые новые районы города, где на домах антенн нет только потому, что имеется одна общая — для всех квартир.

А вот в Финляндии телевизоры большая редкость. Сами они, а главное — пользование ими так дорого, что доступно лишь немногим.

Здесь еще только брезжит заря телевидения, в то время как у нас это уже день, который разгорается все ярче, все шире...

Хочу, однако, вернуться к финскому строительному искусству.

Архитектура Финляндии, ее блестящая плеяда прошлых и современных архитекторов во главе с гениальным Альваром Аальто, этим северным Растрелли (так хочется назвать его), все это требует целой книги, а не скупой отмеренных строк.

Финские архитекторы внимательно изучают потребности человека и, строя дома, думают обо всем, что повышает работоспособность, улучшает отдых, экономит силы, что ласкает глаз, радует осязание, совершенствует акустику. Финская архитектура примечательна еще и тем, что умеет извлекать из строительных материалов их сокровенные свойства: тепло или прохладу, шероховатость или гладкость, тяжесть или легкость.

Здесь вы не увидите насилия над камнем, который заставляют выглядеть как дерево, или дерево, загрибованное под камень. Все, оставаясь самим собой,

охотно, даже как бы весело, отдает свою фактуру для пользы дела.

Внутри здания изобретательно и красиво решается «проблема пространства». Нигде не видно здесь малоосмысленных, гулких мраморных пустот. Все заполнено разновысотной и разнообразной.

Особенно запомнилось нам Высшее педагогическое училище в городе Ювяскюля, куда мы прилетели из Хельсинки.

Училище это, выстроенное по проекту Альвара Аалто, представляет собой целый архитектурный комплекс на лесном участке. Прямые стволы сосен и сквозные силуэты берез окружают кирпичные кубы на стеклянных основаниях. Кирпич, как, например, и в Швеции, использован очень широко, и не только снаружи. Внутри зданий — коридоры, облицованные кирпичом, уложенные то вплотную, то с пропусками части стен, иногда даже кирпичный пол, покрытый особым лаком, не скользким и не гулким.

Крупных централизованных кирпичных заводов в стране нет. Каждая местность выделывает из собственной глины кирпич в потребном количестве и нужной формы.

Училище в Ювяскюля с его наружными галереями, крытыми черепицей, с внутренними двориками, площадками, лестницами, лоджиями располагает к сосредоточенности. Во всем этом есть нечто даже от монастыря, где какой-нибудь «монах трудолюбивый» занят не столько молитвами, сколько бдениями над книгами или рукописями.

Но в центральном корпусе — чудесная большая аудитория. В случае надобности задняя стена раздвигается и помещение становится еще больше, входят в действие новые ряды кресел. Это уже создано для совместных занятий или торжеств.

Обставлено училище превосходно. Дерево, плетение из соломы, ткани (очень простые, отнюдь не бархат), керамика, стекло, пластмассы — все приведено в гармоничное целое.

В другом небольшом городе — Кеуру — также хороша народная школа. Мы были там, когда ребяташки

только что окончили занятия. Самых маленьких уводили родители или увозили на велосипедах.

В том же Кеуру нам показали новую, только что отстроенную больницу. Она не была даже открыта: еще только вносили мебель. Белые, как снежинки, медсестры (даже обувь белая) пронесли по коридорам вороха светлых пушистых одеял.

А в родильном отделении уже посапывал автоклав. В одной из палат лежала первая роженица. В широкое окно глядели на нее сосны, виднелось озеро с малиновой полоской заката. Но юная будущая мать не смотрела ни на что, ни на кого; вся ушла в себя. Видимо, боялась страданий и радовалась им.

В Кеуру нам было предложено осмотреть отделение издательства «Отава», одного из тех мощных издательств, которыми славится Финляндия: мы видели их несколько.

В гербе «Отавы» — год ее основания, 1890, и семь звезд Большой Медведицы. «Отава» это и есть Большая Медведица.

Светлы, просторны, оборудованы новейшей техникой цехи «Отавы».

Уютны, светлы домики те самые «финские домики», которые известны и у нас. И встречали нас в них радужно, приветливо.

Но в одном из таких уютных жилищ (опять-таки среди сосен, на берегу озера) жила явно неблагополучная семья. Отец (мастер-линотипист) с впалой грудью, узкоплечий, с глухим тембром голоса, встретил нас на пороге: рабочий день кончился.

Дочь (работница переплетного цеха), жалостно худенькая, с недобрым румянцем, подала нам вялую, влажную руку. Видимо, туберкулез, зловещий гость многих северных стран, задержался даже и на этих, пропитанных озоном островах...

Светлы, удачно распланированы, заботливо оборудованы и городские квартиры. В Хельсинки мы пили кофе и оживленно беседовали о литературе в уютно обжитых комнатах.

Но квартирная плата высока. Бюро социальных исследований сообщает, что за год она выросла больше

чем на десять процентов. Еще больше увеличилась она в домах, построенных до 1949 года, а также в городах и поселках, где регламентирование квартирной платы с недавнего времени прекращено.

За десять дней, проведенных в Финляндии, мы видели чрезвычайно много, встречались с самыми разными литераторами, начиная с романистки госпожи Сьюльви Кекконен, супруги президента, и кончая работницей, пришедшей на собрание литературной секции Рабочего клуба в прозодежде и пробующей свои силы в повести о быте строителей.

Но всюду: на официальных обедах, за длинными, нарядно убранными столами, за маленьким столиком где-нибудь в вестибюле гостиницы, на пресс-конференции, во время очередного интервью, в беседах, а также иногда в спорах с тем или иным писателем, мы ощущали, что термометр дружбы показывает все растущее потепление.

В небольшом (всего двенадцать тысяч жителей), но известном культурном центре Порво, или по-шведски Борго, волнующее впечатление произвел на нас домик классика финской литературы, поэта Рунеберга. Мне он напомнил домик Короленко в Полтаве. Такая же тихая улица, осененная деревьями, такое же одноэтажное деревянное строение, та же милая старомодная мебель, тот же дух скромности и трудолюбия.

В этом же городе мы видели пятисотлетний шведский собор из неотесанного гранита. Несколько граждан, стоявших на колокольне, приветствовали нас, советских людей, приехавших из страны, где соборы и церкви в большинстве случаев представляют лишь историческую ценность.

Этот привет с колокольни старого собора еще раз доказал, что было бы желание, а люди даже самых различных убеждений все же могут понять друг друга.

В Хельсинки, в недрах огромного здания, пожилые, почтенные члены правления Центрального

союза потребительских обществ удивили и обрадовали нас хорошим знанием русской классической литературы.

Последний, предотъездный вечер мы провели за скромным ужином в кругу демократических писателей.

В облаках табачного дыма (здесь очень много курят) приветливо улыбались нам дружеские лица.

В экономике Финляндии значительную роль играют заказы Советского Союза. Особенно ощутимо это в области судостроения.

За три дня до нашего приезда на одной из верфей Турку был спущен на воду грузовой теплоход «Александровск».

Финны, эти испытанные судостроители, строят для нас и ледоколы. Бороздя северные морские просторы, эти суда разбивают большие и малые, всякого рода льды.

...Мы уезжали из Финляндии, увозя самые теплые воспоминания, сопровождаемые гораздо большим количеством друзей, нежели то, которое нас встречало.

Мы сочли это хорошим знаком.

Хочется верить, что ребенок, вот-вот готовый родиться, когда мы были в Кеуру, будет подрастать в атмосфере еще большего дружелюбия между СССР и Финляндией, еще более глубокого знания друг друга, как это и подобает добрым соседям.

СОДЕРЖАНИЕ

АМЕРИКА В ПАРИЖЕ (*Путешествие в прошлое*) . . . 5

ПОЧТИ ТРИ ГОДА (*Ленинградский дневник*) 129

ОЧЕРКИ

«А». «Б». «В». «Г». 393

Собачья служба 399

От хорошей жизни 404

Так начинается день 427

Я люблю зверей 434

Дворы и дети 443

Как образуются горы 447

От Пушкина до Тимирязева 454

Веселый Гамбург 460

Весна в зеркале 468

Три недели в Иране 474

На линии воды 495

В стране камня и воды 528

**Вера Михайловна
Инбер**

**Стихотворения и поэмы
Т о м 3**

**Редактор А. Ноткина
Художественный редактор Ю. Васильев
Технический редактор Л. Фейлер
Корректор Е. Патина**

**Сдано в набор 29/VI-1965 г.
Подписано в печать 29/IX-1965 г.
Бумага 84×108¹/₃₂ 16,75 печ. л.
28,14 усл. печ. л. 25,13 уч.-изд. л.
Тираж 35 000. Заказ 2725. Цена 1 руб.**

**Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.**

**Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома
Государственного комитета
Совета Министров СССР
по печати
Москва, Ж-54, Валовая, 28.**

